

Билл Брайсон

Краткая  
История  
быта и частной  
Жизни



## Annotation

Билл Брайсон — автор мирового бестселлера «Краткая история почти всего на свете». После феноменального успеха этой книги, посвященной «большим» проблемам — рождению Вселенной, развитию планеты Земля, происхождению жизни, — он решил сосредоточиться на, казалось бы, более мелких вопросах, которые, тем не менее, чрезвычайно близки большинству из нас: на истории частной жизни, быта и домашнего уюта. Рассказ о житейских мелочах и предметах домашнего убранства превращается в историческое повествование, уводящее нас в глубокое прошлое человеческой культуры.

---

- [Билл Брайсон](#)
  - [Вступление](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
  - [Глава 14](#)
  - [Глава 15](#)
  - [Глава 16](#)
  - [Глава 17](#)
  - [Глава 18](#)
  - [Глава 19](#)
  - [Задняя обложка](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)



**Билл Брайсон**  
**Краткая история быта и частной жизни**

*Джессу и Уайатту*

## Вступление

Спустя некоторое время после того, как мы переехали в бывший дом английского приходского священника в идиллической, но безликой деревне в графстве Норфолк, я поднялся на чердак — посмотреть, где источник неожиданно обнаружившейся таинственной протечки. Поскольку в нашем доме нет чердачной лестницы, пришлось воспользоваться высокой стремянкой, чтобы, долго и неприлично извиваясь, пролезть в потолочный люк — вот почему раньше я туда не совался (да и потом не испытывал большого восторга от подобных экскурсий).

Взобравшись наконец на чердак и кое-как поднявшись на ноги в пыльной тьме, я с удивлением обнаружил во внешней стене потайную дверь, которую не было видно со двора. Дверь легко открылась и вывела меня в крошечное пространство на крыше, площадью чуть больше столешницы обычного стола, между передним и задним фронтонами. Викторианские дома часто являют собой скопление архитектурных несуразниц, но эта казалась совершенно непостижимой: зачем понадобилось делать дверь там, где в ней не было очевидной необходимости? Впрочем, с площадки открывался чудесный вид.

Когда вдруг видишь знакомый мир с непривычного ракурса, это всегда завораживает. Я находился футов в пятидесяти над землей; в центральном Норфолке такая высота уже гарантирует более или менее панорамный обзор. Прямо передо мной стояла старинная каменная церковь (наш дом когда-то служил к ней дополнением). Дальше, чуть под уклоном, на некотором удалении от церкви и пасторского дома, раскинулась деревня, которой и принадлежали обе эти постройки. По другую сторону высилось аббатство Уаймондхэм — нагромождение средневековой роскоши, господствующее над южной частью горизонта. На полпути к аббатству, в поле, тарахтел трактор, чертя на земле прямые линии. Остальная часть пейзажа представляла собой безмятежную и милую английскую пастораль.

Мне было особенно интересно смотреть по сторонам, потому что буквально вчера я бродил по этим местам со своим другом Брайаном Эйрзом. Брайан недавно вышел на пенсию, а до этого занимал пост археолога графства и, наверное, лучше всех остальных знал историю и ландшафты Норфолка. Однако он ни разу не бывал в нашей деревенской церкви и очень хотел взглянуть на это красивое старинное сооружение, более древнее, чем собор Парижской Богоматери, и примерно того же

возраста, что соборы в Шартре и в Солсбери. Впрочем, в Норфолке полно средневековых церквей — целых 659 штук (их количество на квадратную милю здесь самое большое в мире), так что они не слишком обращают на себя внимание.

— Ты когда-нибудь замечал, — спросил Брайан, когда мы вошли в церковный дворик, — что деревенские церкви почти всегда словно утопают в земле? — Здание церкви действительно стояло в мелкой низине, точно груз на подушке; фундамент церкви был примерно на три фута ниже окружающего церковного кладбища. — Знаешь почему?

Я признался, как это часто бывало в обществе Брайана, что понятия не имею.

— Дело вовсе не в том, что церковь проседает, — улыбнувшись, объяснил Брайан. — Это поднимается церковное кладбище. Как ты думаешь, сколько здесь похоронено людей?

Я окинул оценивающим взглядом надгробия:

— Не знаю. Человек восемьдесят? Сто?

— По-моему, ты *чуть-чуть* преуменьшаешь, — отозвался Брайан с добродушной невозмутимостью. — Подумай сам. Такой сельский приход насчитывает в среднем 250 человек, значит, за столетие умирает около тысячи взрослых плюс несколько тысяч маленьких бедолаг, так и не успевших вырасти. Помножь это на количество веков, прошедших со дня постройки этой церкви, и ты увидишь, что здесь не восемьдесят и не сто покойников, а тысяч двадцать.

(Все это, как мы помним, происходит в шаге от моей входной двери.)

— *Двадцать тысяч?* — изумленно переспросил я.

Мой друг спокойно кивнул.

— Да, это очень много. Вот почему земля поднялась на три фута. — Он немного помолчал, давая мне время переварить информацию, потом продолжил: — В Норфолке тысяча церковных приходов. Умножь все эти столетия человеческой деятельности на тысячу, и получится, что перед нами — значительная часть материальной культуры. — Он обвел рукой высившиеся вдали колокольни: — Отсюда ты видишь десять-двенадцать других приходов, так что фактически ты смотришь сейчас на четверть миллиона захоронений — и это здесь, в сельской тиши, где никогда не было серьезных катаклизмов.

Из слов Брайана мне стало понятно, почему в пасторальном и редко заселенном Норфолке археологи находят по 27 000 старинных предметов в год — больше, чем в любом другом графстве Англии.

Люди теряли здесь вещи задолго до того, как Англия стала Англией.

Брайан как-то показал мне карту археологических находок в нашем приходе. Почти на каждом поле что-нибудь да нашли — орудия эпохи неолита, римские монеты и гончарные изделия, саксонские броши, погребения бронзового века, усадьбы викингов. В 1985 году проходивший по полю фермер обнаружил возле самой границы наших владений редкую римскую фаллическую подвеску.

Я представляю себе мужчину в тоге, стоящего совсем рядом с моим участком; он растерянно охлопывает себя сверху донизу, обнаружив, что потерял ценное украшение; подумать только: его подвеска пролежала в земле семнадцать или восемнадцать веков, пережила бесконечные поколения людей, занимавшихся самой разной деятельностью, нашествия саксов, викингов и норманнов, зарождение английской нации, развитие монархии и все остальное, прежде чем его подобрал фермер конца XX века, наверняка весьма удивленный столь необычной находкой!

Так вот, стоя на крыше собственного дома и разглядывая неожиданно открывшийся пейзаж, я поразился странностям нашего бытия: спустя две тысячи лет человеческой деятельности единственным напоминанием о внешнем мире остается римская фаллическая подвеска. Столетие за столетием люди тихо делали свои повседневные дела — ели, спали, занимались сексом, развлекались, и я вдруг подумал, что история, в сущности, и состоит из таких вот обыденных вещей. Даже Эйнштейн потратил большую часть своей интеллектуальной жизни на размышления об отпуске, новом гамаке или изящной ножке юной дамы, сошедшей с трамвая на другой стороне улицы. Эти вещи наполняют нашу жизнь и мысли, однако мы не придаем им серьезного значения. Не знаю, сколько часов я потратил в школе на изучение Миссурийского компромисса<sup>[1]</sup> или Войны Алой и Белой розы, но мне никогда бы не позволили уделить столько же времени истории еды, истории сна, секса или развлечений.

Я решил, что это может оказаться интересным: написать книгу про обычные вещи, с которыми мы постоянно имеем дело, наконец-то заметить их и воздать им дань уважения. Оглядев свой дом, я со страхом и некоторым смятением понял, как мало знаю об окружающем меня мире быта. Однажды днем, когда я сидел за кухонным столом и машинально крутил в руках солонку и перечницу, я вдруг задался вопросом: а почему, собственно, при всем многообразии специй и приправ мы так почитаем именно эти две? Почему не перец и кардамон или, скажем, соль и корицу? И почему у вилки четыре зубца, а не три и не пять? У подобных вещей должны быть какие-то объяснения.

Одеваясь, я задумался, почему у всех моих пиджаков на каждом рукаве

имеется по несколько бесполезных пуговиц. По радио рассказывали о ком-то, кто «оплачивал жилье и стол», и я удивился: о каком таком столе речь? Внезапно мой дом показался мне загадочным местом.

И тогда я решил отправиться в путешествие по дому: пройтись по всем комнатам и понять, какую роль каждая из них сыграла в эволюции частной жизни. Ванная комната расскажет историю гигиены, кухня — кулинарии, спальня — секса, смерти и сна и так далее. Я напишу историю мира, не выходя из дома!

Признаюсь, идея пришла мне по душе. Недавно я закончил книгу, в которой попытался постигнуть вселенную и то, как она образовалась, — задача, прямо скажем, была не из легких<sup>[2]</sup>. Поэтому я с удовольствием думал о таком четко ограниченном, имеющем пределы объекте описания, как старый пасторский дом в английской деревне. Да эту книгу запросто можно сочинять в домашних тапочках!

Но не тут-то было. Дом — объект поразительно сложный. К своему великому удивлению, я обнаружил: что бы ни происходило в мире — открытия, творения, победы, поражения, — все их плоды в конце концов так или иначе оказываются в наших домах. Войны, голод, промышленная революция, эпоха Просвещения — вы найдете их следы в ваших диванах и комодах, в складках штор, в мягкости пуховых подушек, в краске на стенах и в воде, текущей из крана. История быта — это не просто история кроватей, шкафов и кухонных плит, как я смутно предполагал раньше, это история цинги, гуано, Эйфелевой башни, постельных клопов, похищения мертвых тел, а также почти всего остального, что когда-либо имело место в человеческой жизни. Дом — не убежище от истории. Дом — это место, куда в конце концов приводит история.

Думаю, не стоит говорить о том, что история — штука весьма пространная. Я с самого начала предвидел, что мне придется мучительно отсеивать материал, чтобы уместить историю быта в один том. Поэтому, хоть иногда я и заглядываю в далекое прошлое (нельзя рассказать про ванну, не упомянув римлян), основное внимание в тексте уделяется событиям последних 150 лет, в течение которых действительно зародился современный мир. Так совпало, что именно столько и стоит дом, по которому мы вскоре совершим экскурсию.

Мы привыкли к бытовому комфорту — чистоте, теплу, сытости — и забыли, что почти все эти удобства появились не так уж и давно. Можно сказать, прошла целая вечность, прежде чем они надвинулись на нас неудержимой лавиной. Как это произошло и почему человечеству понадобилось столько времени, чтобы добиться комфортного

существования, и рассказывается на этих страницах.

Я не называю деревню, где стоит мой дом, старый дом приходского священника, однако этот дом вполне реален, так же, как и люди, упомянутые в связи с ним. Следует также отметить, что фрагмент первой главы, в котором рассказывается про преподобного Томаса Байеса, появился в слегка измененном виде во вступлении к моей книге «Взгляд вдаль. История науки и Королевского общества».



*Рис. 1. Интерьер Хрустального дворца Джозефа Пакстона, построенного для «Великой выставки» 1851 года. Эти кованые ворота до сих пор стоят в парке Кенсингтон-гарденз*

# Глава 1

## Этот удивительный год

### I

Осенью 1850 года в лондонском Гайд-парке было воздвигнуто весьма необычное сооружение — гигантская оранжерея из железа и стекла, занимавшая девятнадцать акров<sup>[3]</sup> земли (на этой огромной площади вполне могло бы разместиться четыре собора Святого Павла). В течение короткого времени своего существования это было самое обширное здание в мире. Дворец, построенный для первой Международной промышленной выставки, бесспорно, был великолепен, он поражал своей оригинальностью и обилием стекла. Дуглас Джерролд, обозреватель еженедельного журнала *Punch*, окрестил здание «Хрустальным дворцом», и это название прижилось.

На строительство ушло всего пять месяцев. Казалось чудом, что этот дворец вообще сумели воздвигнуть. Меньше года назад не существовало даже самой идеи. Выставка, для которой задумали дворец, была мечтой государственного служащего по имени Генри Коул (другим его вкладом в историю стало изобретение рождественской открытки как способа заставить людей пользоваться новыми дешевыми почтовыми услугами). В 1849 году Коул посетил парижскую выставку — более специальное, профессиональное мероприятие, предназначенное для французских мануфактурщиков, — и загорелся идеей устроить в Англии нечто подобное, только более грандиозное.

Он заразил идеей «Великой выставки» многих важных особ, в том числе принца Альберта, мужа королевы Виктории, и 11 января 1850 года состоялось первое совещание организаторов, на котором они наметили открытие выставки на 1 мая следующего года. Меньше чем за пятнадцать месяцев удалось спроектировать и возвести здание доселе невиданной величины, привлечь и выставить десятки тысяч экспонатов из всех частей света, устроить рестораны и туалеты, набрать обслуживающий персонал, организовать страховую и полицейскую защиту, напечатать рекламные листки и сделать массу других вещей — и все это в стране, которая совсем не была уверена в том, что ей вообще нужно столь дорогое и разорительное

мероприятие. Явная утопичность этого честолюбивого замысла подтвердилась в течение следующих нескольких месяцев. В открытом конкурсе приняли участие 245 проектов выставочного зала, и все они были отвергнуты как невыполнимые.

Перед лицом катастрофы комиссия сделала то, что обычно делают комиссии в безвыходных ситуациях: она назначила другую комиссию с еще более звучным именем. В строительную комиссию Королевского комитета Великой международной промышленной выставки вошли четыре человека: Мэтью Дигби Уайатт, Оуэн Джонс, Чарльз Уайлд и выдающийся инженер Изамбард Кингдом Брунел. Перед комиссией стояла единственная задача: разработать проект, достойный самой крупной выставки в истории, и через десять месяцев, в рамках стесненного бюджета, начать строительство.

Из четырех членов комиссии только юный Уайатт был профессиональным архитектором (правда, ничего пока не построившим, ибо на этом этапе своей карьеры зарабатывал на жизнь писательством). Инженер Уайлд специализировался почти исключительно на морских судах и мостах. Джонс был оформителем интерьеров, и лишь Брунел имел опыт крупномасштабных проектов. Но его бесспорная гениальность раздражала — ведь для того, чтобы совместить его возвышенные мечты и достижимую реальность, почти всегда требовались огромные деньги и очень много времени.

Сооружение, которое предложили четверо членов комиссии, являло собой чудо нелепости. Просторный, но низкий и темный дом-сарай своей мрачной гнетущей атмосферой напоминал скотобойню. Казалось, четверо проектировщиков работали совершенно несогласованно друг с другом. Подсчитать стоимость такого здания было довольно трудно, но в любом случае его постройка считалась практически невыполнимой задачей. Для начала требовалось тридцать миллионов кирпичей, и никто не мог гарантировать, что такое количество удастся даже изготовить (не говоря уж о том, чтобы уложить в стену) к намеченному сроку.

Всю конструкцию должен был венчать задуманный Брунелом железный купол поперечником в двести футов — деталь, безусловно, впечатляющая, но для одноэтажного здания довольно нелепая. Никто и никогда еще не возводил из железа столь массивную конструкцию, а Брунел, естественно, не мог начать работу, пока не будет поставлено само здание.

Все это следовало сделать за десять месяцев ради проекта длительностью менее полугода. А кто потом будет разбирать невероятную конструкцию? И что станет с огромным куполом и миллионами кирпичей?

Эти неудобные вопросы даже не рассматривались.

И вот в самый разгар кризиса на горизонте возникла спокойная фигура Джозефа Пакстона, главного садовника Чатсуорт-хауса, основной резиденции герцогов Девонширских (по странной английской традиции расположенной в графстве Дербишир). Пакстон был удивительным человеком. Он родился в 1803 году в Бедфордшире в бедной фермерской семье; в четырнадцать лет его отдали в ученики садовнику. Он отлично проявил себя и в течение шести лет заведовал экспериментальным дендрарием нового престижного Садоводческого общества (вскоре оно станет Королевским) на западе Лондона — невероятно ответственная работа для столь юного человека, практически еще мальчика.

В дендрарии он однажды разговорился с герцогом Девонширским, владельцем находившегося неподалеку Чизик-хауса, а также множества других угодий на Британских островах — в его собственности было около двухсот тысяч акров плодородных сельских земель, на которых стояли семь больших помещичьих домов. Герцог проникся к Пакстону внезапной симпатией — не столько из-за каких-то особых талантов садовника, сколько потому, что тот разговаривал громким четким голосом, а тугому на ухо герцогу нравились люди с хорошей дикцией. Поддавшись сиюминутному порыву, герцог предложил Пакстону стать главным садовником в Чатсуорте. Двадцатидвухлетний Джозеф согласился.

Это приглашение было самым мудрым поступком герцога. Пакстон взялся за работу с поразительным рвением и старанием. Он спроектировал и установил знаменитый Императорский фонтан, который выбрасывал в воздух струю воды высотой 290 футов, — чудо гидравлической инженерии, до сих пор превзойденное в Европе лишь однажды; он соорудил самую большую альпийскую горку в Англии; составил план нового поместья; стал ведущим в мире специалистом по выращиванию георгинов; его дыни, персики, нектарины и инжир награждались призами как лучшие в стране; построил огромную тропическую оранжерею, известную как «Великая теплица», которая занимала целый акр и была такой просторной, что посетившая ее в 1843 году королева Виктория прокатилась по ней в конном экипаже.

За счет умелого управления поместьем Пакстон сократил долги герцога на миллион фунтов. С благословения герцога он основал и вел два журнала по садоводству и национальную ежедневную газету *Daily News* (которую недолгое время редактировал Чарльз Диккенс), а также писал книги по садоводству. Он чрезвычайно разумно вкладывал деньги в акции железнодорожных компаний (три из которых пригласили его в совет

директоров), а также спроектировал и разбил в Беркенхеде, недалеко от Ливерпуля, первый в мире городской парк, который произвел такое впечатление на американца Фредерика Лоу Олмстеда, что тот взял этот парк за образец для Центрального парка в Нью-Йорке. В 1849 году главный ботаник Кью-гарденз<sup>[4]</sup> прислал Пакстону редкую большую лилию и спросил, нельзя ли ее спасти. Пакстон спроектировал специальную теплицу — и через три месяца редкая лилия уже всю цвела!

Когда Пакстон узнал, что члены комиссии по «Великой выставке» безуспешно ищут проект выставочного зала, ему пришло в голову, что здесь подойдет нечто похожее на его оранжереи. Председательствуя на собрании комитета по Мидлендской железной дороге, он набросал на клочке промокательной бумаги черновой эскиз, а через две недели подготовил чертежи для показа. Фактически Пакстон нарушил все правила конкурса. Во-первых, он представил свой проект уже после официальной даты окончания подачи заявок. Во-вторых, несмотря на обилие стекла и железа, его здание включало много горючих элементов (в том числе целые акры деревянных полов), что было строго запрещено условиями конкурса.

Архитектурные консультанты не без основания замечали, что Пакстон — не профессиональный архитектор и никогда ранее не занимался столь масштабными проектами. Однако опыта подобного строительства не имел никто. И поэтому никто не мог заявить с полной уверенностью, что идея Пакстона сработает. Многих беспокоило, что в помещении, наполненном солнечным светом и толпой людей, будет нестерпимо жарко. Другие боялись, что высокие полированные ребра каркаса расширятся от летнего зноя и тогда гигантские стекла вывалятся из рам и рухнут на посетителей. Но больше всего опасений вызывала видимая хрупкость сооружения: говорили, что его просто-напросто снесет бурей.

Итак, риски были значительны и весьма ощутимы, однако, поколебавшись всего несколько дней, члены комиссии одобрили проект Пакстона. Самое смелое здание столетия доверили садовнику — этот факт, как никакой другой, характеризует викторианскую Британию. Для Хрустального дворца Пакстона не потребовалось ни единого кирпича — не нужны были ни строительный раствор, ни цемент, ни фундамент. Железную конструкцию просто скрепили болтами и установили на земле, как палатку. Это было не просто оригинальное решение грандиозной задачи, это было радикальное отступление от всего, достигнутого архитектурой ранее.

Основное достоинство просторного, полного воздуха дворца Пакстона состояло в том, что его можно было изготовить на месте из стандартных

деталей. Ячейкой конструкции была чугунная стропильная рама в 3 фута шириной и 23 фута 3 дюйма длиной, которую соединяли с такими же рамами. Получался каркас, на который навешивали окна (на них ушло около миллиона квадратных футов стекла, то есть треть общего объема годового производства Британии). Была разработана специальная передвижная платформа, которая позволяла рабочим устанавливать 18 000 оконных стекол в неделю — такая производительность даже сейчас считается очень высокой. Чтобы установить огромное количество кровельных желобов — всего около двадцати миль, Пакстон спроектировал станок, управляемый небольшой бригадой рабочих, который мог крепить по две тысячи футов желобов в день (раньше для такой работы потребовались бы триста человек). Да, этот проект был удивительным во всех отношениях.

Пакстону повезло, поскольку как раз в момент подготовки «Великой выставки» стекло вдруг стало доступным продуктом. Надо отметить, что стекло — материал сложный. Его непросто изготовить, а тем более — изготовить качественно. Вот почему оно так долго считалось предметом роскоши. По счастью, все изменилось после двух технологических прорывов. Сначала французы изобрели листовое стекло (жидкая стекломасса распределялась по столам, которые назывались листами). Благодаря этому впервые появилась возможность изготавливать действительно большие оконные стекла, в том числе магазинные витрины. Однако оконное стекло приходилось охлаждать в течение десяти дней после прокатки, и значит, в это время стол не мог быть использован снова. Кроме того, каждый лист тщательно шлифовался и полировался, и это, естественно, приводило к удорожанию продукции. Но в 1838 году была разработана более дешевая процедура обработки листового стекла, которая требовала меньшего времени охлаждения и полировки. Производство стекла больших размеров в неограниченных объемах вдруг стало экономически выгодным.

Одновременно с этим в Британии отменили два долгое время существовавших налога — налог на окна и налог на стекло (последний, строго говоря, был акцизным сбором). Налог на окна появился еще в 1696 году и считался весьма обременительным: люди по возможности старались не делать лишних окон в своих домах. «Глухие» окна (ниши), которые сейчас считаются отличительным признаком старинных британских зданий, когда-то раскрашивали таким образом, чтобы они походили на обычные. Этот налог сильно возмущал население, и его даже называли «налогом на свет и воздух»; из-за него прислуга и бедняки были

вынуждены жить в душных комнатах без окон.

Вторым налогом, введенным в 1746 году, облагалось не количество окон, а вес вставленных в них стекол (поэтому в Георгианскую эпоху стекло делали тонким и хрупким, а оконные рамы, наоборот, особо прочными). В то время были популярны круглые слуховые окна, которые назывались «бычий глаз». На самом деле «бычий глаз» (круглое утолщение в центре стеклянного листа) был технологическим браком, возникавшим в ходе производства стекла (он образовывался в том месте, где крепилась трубка стеклодува). Поскольку эта часть листа считалась дефектной, она не облагалась налогом и представляла определенный интерес для бережливых людей. Круглые окна стали использоваться при остеклении дешевых постоянных дворов, конторских помещений и задних фасадов частных домов, где вопрос качества стоял не так остро.

Налог на стекло был отменен в 1845 году, незадолго до его столетнего юбилея, а затем, в 1851-м, отменили и налог на окна. Это оказалось весьма кстати. Как раз в тот момент, когда Пакстону понадобилось столько стекла, сколько еще никто и никогда не заказывал, стоимость этого материала снизилась больше чем вдвое. Это совпадение плюс технологические достижения, которые, в свою очередь, стимулировали стекольное производство, сделали возможной постройку Хрустального дворца.

Законченное здание было длиной ровно 1851 фут (в честь года), 408 футов в поперечнике и около 110 футов высотой вдоль центральной оси — словом, достаточно просторным, чтобы в нем поместилась очень красивая аллея из вязов, которые в ином случае пришлось бы срубить. Из-за своего размера сооружение потребовало больших денежных затрат: необходимо было приобрести 293 655 оконных стекол, 33 000 железных рам и десятки тысяч футов деревянного пологого покрытия, однако благодаря бережливости Пакстона окончательная стоимость составила вполне приемлемую сумму — 80 000 фунтов стерлингов. Вся работа, от начала до конца, заняла чуть меньше тридцати пяти недель (собор Святого Павла возводили тридцать пять лет).

В двух милях от дворца вот уже десять лет строились новые здания парламента, и конца этой стройке не было видно. Один репортер журнала *Punch* полушутя сказал, что правительству стоило бы дать поручение Пакстону — пусть тот спроектирует Хрустальный парламент. Родилась даже крылатая фраза — когда возникала какая-нибудь трудноразрешимая проблема, стали говорить: «спроси Пакстона».

Хрустальный дворец стал самым большим в мире зданием, и самым легким, как бы воздушным. Сегодня мы привыкли к обилию стекла, но для

человека, жившего в 1851 году, сама идея пройтись по огромному, полному света и воздуха помещению казалась совершенно удивительной. Нам даже трудно представить, какой восторг испытывал посетитель, когда впервые видел издалека блестящий и прозрачный Выставочный зал — такой же хрупкий, призрачный и волшебно неправдоподобный, как мыльный пузырь. У любого, кто попадал в Гайд-парк, перехватывало дыхание при взгляде на Хрустальный дворец, парящий над деревьями и сверкающий на солнце.

## II

В том же 1851 году, когда в Лондоне возводили Хрустальный дворец, в ста десяти милях к северо-востоку, под просторными небесами Норфолка, рядом с сельской церковью, недалеко от рыночного городка Уаймондхэм, выросло гораздо более скромное сооружение — новый дом священника. Здание неопределенной конструкции и хаотичной планировки, под несимметричной крышей, с фронтонами из корабельных досок и веселенькими дымовыми трубами в готическом стиле — словом, «большое, довольно удобное жилище, прочное, уродливое и респектабельное»: так Маргарет Олифант, весьма популярная и плодовитая писательница викторианской эпохи, описала подобный тип зданий в своем романе «Ответственный викарий».

Именно этот дом и будет главным объектом нашего внимания на протяжении следующих страниц книги. Его спроектировал некий Эдвард Талл из Эйлшема, на удивление бездарный архитектор. Заказчиком был молодой священник по имени Томас Джон Гордон Маршем, выходец из хорошей семьи. В возрасте двадцати восьми лет Маршем возглавил церковный приход — эта должность давала возможность весьма обеспеченной жизни, мало чего требуя взамен.

В 1851 году, когда начинается наша история, клир Англиканской церкви насчитывал 17 621 человек, и сельский приходской священник, паства которого составляла примерно 250 душ, мог рассчитывать на средний доход в 500 фунтов стерлингов — столько же получали высокопоставленные чиновники, такие, например, как Генри Коул, идейный вдохновитель «Великой выставки». Младшие сыновья пэров и нетитулованных мелкопоместных дворян, как правило, шли либо в церковь, либо в армию и часто вкладывали в свой приход семейное состояние. Многие имели значительный доход от сдачи в аренду церковных земель

или приусадебного участка, полученного вместе с должностью.

Даже наименее привилегированные приходские священники обычно не бедствовали. Джейн Остин выросла в доме священника в Стевентоне, графство Хэмпшир, который казался ей «постыдно убогим», однако в доме были гостиная, кухня, вестибюль, кабинет, библиотека и семь спален — едва ли такое жилище можно назвать трущобой. Самый богатый церковный приход находился в Доддингтоне, графство Кембридж: он занимал 38 000 акров земли и гарантировал везучему священнику годовой доход 7300 фунтов стерлингов, что в пересчете на сегодняшние деньги составляет примерно 5 миллионов фунтов; в 1865 году приход был расформирован<sup>[5]</sup>.

Священники Англиканской церкви были двух типов — викарии (*vicars*) и собственно священники или ректоры (*rectors*). Разница между ними была незначительной с точки зрения канонической и огромной — с экономической. Исторически викарии были временными заместителями священников (само это слово произошло от латинского *vicarius* — «заместитель», «наместник»), однако к тому времени, когда мистер Маршем получил свой приход, эта функция утратила свою значимость. Как называли священника — викарием или ректором, зависело в основном от местных традиций. Однако разница в доходах была существенной.

Церковь не платила священникам. Их доход складывался из арендной платы и церковного налога (десятины). Десятины были двух видов: «большая» десятина, которой облагались основные сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница и ячмень, и «малая» десятина, которую платили с огородов, плодокорма (выпаса свиней в лесу) и прочих менее значительных деревенских занятий и объектов. Ректоры получали большую десятину, а викарии — малую, поэтому первые обычно были богаче вторых, порой значительно.

Десятины служили постоянным источником конфликтов между церковью и фермерами, и в 1836 году, за год до восшествия на престол королевы Виктории, было решено упростить эту систему. Теперь вместо того, чтобы отдавать приходскому священнику оговоренную часть своего урожая, фермер платил ему фиксированную ежегодную сумму, рассчитанную исходя из общей стоимости его земли. Это означало, что духовенству полагалась точно зафиксированная выплата, и даже если у фермеров выдавался неурожайный год, у священников всегда были полные закрома.

Роль сельского священника была весьма необременительной. Набожность не являлась обязательным требованием. В Англиканской церкви рукоположение требовало университетской степени, однако

большинство священников получали классическое образование и совсем не знали богословия; они не умели проповедовать, вдохновлять, утешать — словом, не могли предоставить своей пастве подлинной христианской поддержки. Многие даже не утруждали себя сочинением проповедей, а просто покупали сборники готовых проповедей и читали из книги.

В результате появился класс хорошо образованных состоятельных людей, располагавших массой свободного времени. Нередко скучающие приходские священники находили себе разные полезные хобби. Впервые в истории большая группа людей занималась целым рядом нужных дел, совершенно не входивших в их прямые обязанности.

Рассмотрим некоторые из них.

Прихожане так плохо посещали службы Джорджа Бейлдона, vicария из глухого уголка Йоркшира, что он переоборудовал половину своей церкви в курятник, зато стал самоучкой-авторитетом в лингвистике и составил первый в мире словарь исландского языка.

В тех же краях, неподалеку от Йорка, приходской священник по имени Лоренс Стерн писал популярные романы, самый известный из которых — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Эдмунд Картрайт, сельский священник из Лестершира, изобрел механический ткацкий станок, благодаря которому стала возможна промышленная революция. К моменту открытия «Великой выставки» в одной только Англии работали свыше 250 000 станков Картрайта.

В Девоне преподобный Джек Рассел вывел породу терьеров, названную его именем, в то время как в Оксфорде преподобный Уильям Бакленд составил первое научное описание динозавров и стал ведущим в мире специалистом по копролитам — окаменелым экскрементам позвоночных. Томас Роберт Мальтус из Суррея написал книгу «Опыт закона развития населения» (в которой, как вы, конечно, помните, утверждается, что ускорение темпов снабжения продовольствием никогда не поспеет за ростом народонаселения), заложив тем самым начало новой дисциплины — политической экономии.

Преподобный Уильям Гринвилл из Дарема был отцом-основателем современной археологии, хотя еще больше он известен среди рыбаков как изобретатель любимой многими «славы Гринвила» — искусственной мухи-наживки для ловли форели.

В Дорсете священник с необычным именем Октавиус Пикард-Кембридж стал ведущим мировым специалистом по паукам, а его современник, преподобный Уильям Шепард, написал историю непристойных анекдотов. Джон Клейтон из Йоркшира устроил первую

практическую демонстрацию газового освещения.

Преподобный Джордж Гарретт из Манчестера построил одну из ранних подводных лодок<sup>[6]</sup>. Адам Баддл, викарий-ботаник из Эссекса, вырастил цветущий кустарник, названный в его честь буддлея. Преподобный Джон Макензи Бейкон из Беркшира стал пионером-воздухоплавателем и отцом аэрофотографии. Сабин Бэринг-Гулд сочинил гимн «Вперед, солдаты-христиане!» и (что гораздо более неожиданно) первый роман про оборотня — человека-волка.

Преподобный Роберт Стивен Хокер из Корнуолла писал выдающиеся стихи, которые приводили в восторг Лонгфелло и Теннисона, однако при этом несколько смущал своих прихожан тем, что носил розовую феску и почти всегда находился под умиротворяющим воздействием опиума.

Гилберт Уайт из западного Гемпшира стал самым уважаемым натуралистом своего времени, написал блестящую и до сих пор популярную книгу «Естественная история и древние памятники Селборна». В Нортхэмптоншире служил преподобный Майлз Джозеф Беркли, ставший выдающимся специалистом по грибам и заболеваниям растений; к сожалению, именно он оказался повинен в распространении многих вредных болезней, в том числе самой губительной для садовых культур — мучнистой росы. Джон Митчел изобрел метод взвешивания планеты Земля, который стал, возможно, самым оригинальным практическим научным экспериментом XVIII века. Митчел умер раньше, чем появилась возможность осуществить этот эксперимент, который в конце концов был проведен в Лондоне Генри Кавендишем, выдающимся родственником работодателя Пакстона, герцога Девонширского.

Но, пожалуй, наиболее необычным из всех священников был преподобный Томас Байес из Танбридж-Уэллса, графство Кент, живший в 1701–1761 годах. Этот, согласно общему мнению, робкий и совершенно безнадежный проповедник, оказался необычайно одаренным математиком. Байес вывел математическое уравнение, ныне известное как теорема Байеса, которое выглядит следующим образом:

$$p(\theta|y) = \frac{p(\theta)p(y|\theta)}{\int p(\eta)p(y|\eta)d\eta}$$

Люди, понимающие, что здесь написано, могут использовать теорему Байеса для решения таких сложных задач, как определение вероятностей, или обратных вероятностей, как их иногда называют. Это способ получения статистически надежных вероятностей на основе частичной информации. Самое удивительное, что до изобретения компьютера теорема Байеса не находила практического применения (поскольку только компьютер способен выполнить необходимые расчеты), так что в XVIII веке это было интересное, но бесполезное упражнение. Явно придавая мало значения своей теореме, Байес даже не потрудился ее опубликовать. В 1763 году, через два года после смерти священника-математика, один из его друзей отослал теорему в Лондонское королевское общество, где ее опубликовали в «Философских трудах» под скромным названием «Очерк о решении задачи в доктрине вероятностей». Это было ключевое событие в истории математики.

Сегодня теорема Байеса используется при моделировании климатических изменений, прогнозировании фондового рынка, в радиоуглеродном датировании, интерпретации космических событий и во многих других исследованиях, где необходима интерпретация вероятностей, — и все благодаря научным изысканиям английского священника XVIII века.

Многие другие представители духовенства не прославились великими делами, зато произвели на свет великих детей. Джон Драйден, Кристофер Рен, Роберт Гук, Томас Гоббс, Оливер Голдсмит, Джейн Остин, Джошуа Рейнольдс, Сэмюэл Тэйлор Кольридж, Горацио Нельсон, сестры Бронте, Альфред Теннисон, Сесиль Родз и Льюис Керролл (который и сам был посвящен в духовный сан, но никогда не служил) — все они были отпрысками священников.

Вы убедитесь в огромном влиянии класса церковнослужителей на культуру, если попытаетесь поискать в электронной версии «Национального биографического словаря» по нескольким ключевым словам. Введите слово «ректор», и вы получите около 4600 ссылок, «викарий» даст на 3300 ссылок больше. Куда более скромные результаты даст поиск по категориям «физик» (338), «экономист» (492), «изобретатель» (639) или «ученый» (741). Забавно, что поиск по этим последним категориям дает лишь чуть больше результатов, чем по ключевым словам «донжуан», «убийца» или «сумасшедший», и что всех их значительно опережает выдача по словам «эксцентричный персонаж» (1010 ссылок).

Все священники были людьми очень разными и часто необычными, однако большинство из них походило на нашего мистера Маршема,

который если и имел какие-то достижения или хотя бы амбиции, то, увы, не оставил никаких вещественных следов этого. Единственное, что хотя бы слегка роднило его со славой, это тот факт, что его прадед Роберт Маршем изобрел фенологию — науку (если можно так ее назвать) о сезонных изменениях в природе: первых почках на деревьях, первом весеннем пении птиц и так далее.

Вы, наверное, думаете, что люди всегда подмечали подобные вещи, но на самом деле систематически до Маршема никто этим не занимался. С его подачи наблюдения над природой стали чрезвычайно модной и престижной забавой во всем мире. В Америке Томас Джефферсон был преданным последователем Роберта Маршема. Даже на посту президента он находил время записывать даты первого и последнего появления на вашингтонских рынках тридцати семи видов фруктов и овощей, а его помощник выполнял такие же наблюдения в Монтичелло<sup>[7]</sup>, чтобы путем сравнения записей можно было отследить какие-либо важные различия между этими двумя местностями. Когда современные климатологи заявляют, что сейчас яблони зацветают на три недели раньше, чем в прошлом, или делают другие подобные выводы, то в качестве источника информации они зачастую используют заметки Маршема.

Кроме того, Роберт Маршем был самым богатым землевладельцем восточной Англии, хозяином большого поместья в Страттон-Стролесс близ Нориджа, где в 1822 году родился Томас Джон Гордон Маршем. Там же юный Маршем и провел часть своей жизни, прежде чем переехать за двенадцать миль и принять должность священника в нашей деревне.

Мы почти ничего не знаем о жизни Томаса Маршема, зато, по счастливой случайности, неплохо представляем, как проводили время сельские священники в ту эпоху. Мы знаем это благодаря запискам одного из них, служившего недалеко от нас, в пяти милях к северу, в соседнем приходе Уэстон-Лонгвилл (это местечко вдаль, за полями, видно с крыши моего дома). Священника звали преподобный Джеймс Вудфорд, он жил за пятьдесят лет до нашего Маршема, но за это время уклад жизни изменился не слишком сильно. Вудфорд не был особенно увлеченным, образованным или одаренным человеком, но он любил жизнь и в течение сорока пяти лет вел любопытный дневник, в котором необычайно подробно описывается повседневное существование сельского священника. Записи были забыты больше чем на сто лет, потом их снова обнаружили и в 1924 году опубликовали в сокращенном виде под названием «Дневник сельского священника». Книга стала мировым бестселлером, хотя, в сущности, представляла собой «просто хронику обжорства», как заметил один критик.

В XVIII веке столы ломились от еды, и Вудфорд основательно и с любовью описывал едва ли не каждую свою трапезу. Вот блюда, которые он вкушал на типичном обеде в 1784 году: дуврская камбала в соусе из омаров, цыпленок, бычий язык, ростбиф, суп, телячье филе со сморчками и трюфелями, голубиный пирог, «сладкое мясо»<sup>[8]</sup>, молодой гусь с грушами, абрикосовый джем, творожный торт, тушеные грибы и трайфлы<sup>[9]</sup>. В другой раз ему выпало отведать: линия, ветчину, три вида дичи, двух жареных уток, свиную шейку, сливовый пудинг и сливовый пирог, яблочный пирог, разнообразные фрукты и орешки. Все это запивалось красным и белым вином, пивом и сидром.

Ничто не могло помешать хорошему застолью. Когда у Вудфорда умерла сестра, он в своем дневнике выразил искреннюю скорбь по покойной, однако не удержался от записи: «Сегодня на обед была вкусная жареная индейка». Никакие события внешнего мира не нарушали эту гастрономическую идиллию. Об американской войне за независимость Вудфорд упоминает лишь мимоходом. А в 1789 год он записал в дневнике новость о падении Бастилии, однако отвел гораздо больше места описанию блюд, съеденных им на завтрак. Неудивительно, что последняя запись в дневнике тоже касается еды.

Вудфорд был весьма порядочным человеком, время от времени он посылал беднякам продукты и вел безупречно добродетельную жизнь. Однако в его многолетних дневниковых записях нет ни строчки, в которой говорилось бы о содержании проповедей или какой-то особой привязанности к прихожанам, если не считать радости, которую он испытывал, когда кто-то из них приглашал его на обед. Трудно сказать, являлся ли Вудфорд типичным представителем духовенства того времени, но, во всяком случае, он хотя бы отчасти отражал то, что имело место быть.

Каким человеком был мистер Маршем, история умалчивает. Он словно нарочно задался целью оставить по себе как можно меньше памяти. В 1851 году, в двадцать девять лет, он все еще был холостяком, да так и не женился до самой смерти. Его экономка, женщина с необычным именем Элизабет Уорм<sup>[10]</sup>, жила с ним лет пятьдесят до своей смерти в 1899 году — значит, по крайней мере ей общество Маршема казалось приятным. Как относились к нему остальные, неизвестно.

Впрочем, есть одна маленькая ободряющая деталь. В последнее воскресенье марта 1851 года Англиканская церковь провела национальный опрос с целью выяснить, сколько человек в тот день посетили службу. Результаты оказались шокирующими. Больше половины населения Англии

и Уэльса вообще не ходили в церковь, и лишь 20 % побывали в тот день на службе. Пусть умные священники и придумывали новые математические теоремы и составляли словари исландского языка, но они уже не были так важны для своих прихожан, как раньше. По счастью, в приходе мистера Маршема дела обстояли гораздо лучше. Данные опроса показывают, что в то воскресенье раннюю службу посетили 79 человек, а 86 пришли к поздней. Это почти 70 % всех его прихожан — цифра значительно выше средней по стране. Если она отражает обычную посещаемость в этом приходе, то наш мистер Маршем был уважаемым человеком.

### III

В том же месяце, когда англиканская церковь предприняла опрос прихожан, в Британии состоялась очередная перепись населения, проводившаяся раз в десять лет. Выяснилось, что в стране проживает 20 959 477 человек. Это составляло всего 1,6 % мирового населения, но можно с уверенностью утверждать, что эта часть была самой богатой и продуктивной. Именно британцы производили половину мировых объемов угля и железа, контролировали около двух третей всех морских перевозок и участвовали в трети всех торговых сделок. Практически весь обработанный хлопок в мире выпускался на британских фабриках с помощью станков, изобретенных и построенных в Британии. Лондонские банки держали на депозитах больше денег, чем все другие мировые финансовые центры вместе взятые. Лондон был центром огромной (и продолжающей расти) империи, которая на пике своего могущества охватывала территорию площадью 11,5 миллиона квадратных миль и сделала «Боже, храни королеву» национальным гимном четверти мирового населения. Британия лидировала практически во всех категориях, поддающихся измерению. Это была самая богатая, инновационная и совершенная страна того времени — страна, в которой даже садовники становились великими людьми.

Впервые в истории судьбы большинства ее жителей были наполнены таким множеством самых разных событий. Карл Маркс, живя в Лондоне, с удивлением и невольным восхищением писал, что в Британии продается пятьсот видов молотков. Повсюду кипела бурная деятельность. Современные лондонцы живут в великом викторианском городе, но люди Викторианской эпохи в нем скорее выживали.

За двенадцать лет в Лондоне открылось восемь железнодорожных

вокзалов. Столица стремительно наполнялась железными дорогами, мостами, канализационными коллекторами, насосными и электрическими станциями, подземными линиями метро; в результате повсюду были траншеи, туннели, грязные котлованы, толчея повозок и другого транспорта, дым, грохот, сутолока. Викторианский Лондон был не только самым большим городом в мире, но и самым шумным, зловонным, грязным, душным из всех когда-либо существовавших. К тому же он постоянно был весь перекопан.

Перепись 1851 года показала также, что в Британии городское население превысило сельское — такое случилось в мире впервые. Наиболее явным последствием стали невиданные прежде толпы народа. Теперь люди все делали массово — работали, путешествовали, учились, сидели в тюрьмах и лежали в больницах. Они даже развлекаться предпочитали толпой и охотнее всего приходили для этого в Хрустальный дворец.

Конструкция здания казалась чудом, но его интерьер впечатлял ничуть не меньше. Примерно в 14 000 экспозиций было представлено около 100 000 объектов, в том числе такие диковины, как нож с 1851 лезвием, мебель, вырезанная из огромных блоков угля (и ни на что, кроме выставки, не пригодная), четырехстороннее фортепиано для домашнего музицирования в восемь рук; кровать, превращающаяся в спасательный плотик, еще одна кровать, автоматически сбрасывающая потрясенного хозяина в только что наполненную ванну; летающие приспособления всех типов (за исключением реально работающего); хирургические инструменты для кровопускания; самое большое в мире зеркало; огромный кусок гуано из Перу; знаменитый бриллиант Хоупа и алмаз «Кохинур»<sup>[11]</sup>; макет подвесного моста, который мог бы соединить Британию и Францию, а также бесконечные образцы промышленного оборудования, текстильных изделий и разнообразной мануфактурной продукции со всего света. Газета *Times* подсчитала, что на осмотр всех выставленных экспонатов понадобится двести часов.

Не все предметы, впрочем, были одинаково интересны. К примеру, Ньюфаундленд посвятил всю площадь своего стенда истории и производству рыбьего жира, поэтому эта часть территории выставки стала оазисом спокойствия: туда заходили желающие немного отдохнуть от напора толпы. Секция Соединенных Штатов чуть вообще не осталась без экспонатов. Конгресс в приступе бережливости отказался финансировать мероприятие, и деньги пришлось изыскивать частным образом. К сожалению, когда американская продукция прибыла в Лондон, оказалось,

что организаторы оплатили только доставку на портовые склады, а на перевозку в Гайд-парк средств уже не хватило. Не было денег ни на установку выставочных стендов, ни на их обслуживание в течение пяти с половиной месяцев. По счастью, американский филантроп Джордж Пибоди, живший в Лондоне, в срочном порядке предоставил 15 000 долларов и тем самым спас американскую делегацию от позора. Это еще более укрепило и так почти повсеместное мнение о том, что американцы — всего лишь милые дикари, еще не готовые выступать на международной арене.

Но когда выставочные стенды открылись, публика ахнула от удивления: секция США оказалась аванпостом волшебства и чародейства. Американские станки умели делать такие вещи, о которых остальной мир мог лишь мечтать, — они штамповали гвозди, резали камень и формовали свечи с невиданной аккуратностью, быстротой, выносливостью и надежностью. Швейная машинка Элиаса Хоу привела дам в полный восторг; она обещала превратить одно из самых монотонных домашних занятий в увлекательный процесс. Сайрус Маккормик продемонстрировал жатвенную машину, выполнявшую работу сорока человек. Это звучало настолько неправдоподобно, что почти никто не поверил — до тех пор, пока жатку не привезли на ферму в одном из ближних графств<sup>[12]</sup> и не показали, что она и впрямь способна творить заявленные чудеса.

Наиболее интересным экспонатом стал револьвер Сэмюэла Кольта, не только на удивление эффективный, но к тому же изготовленный из взаимозаменяемых деталей; подобный подход даже назвали «американской системой». Лишь одно британское творение могло соперничать с этими оригинальными, полезными и технически точными новинками — сам выставочный зал Пакстона, однако после окончания выставки ему пришлось исчезнуть.

Для многих европейцев это был первый тревожный звонок: оказывается, люди, живущие по ту сторону океана, — жующая табак деревенщина — потихоньку возводят очередной промышленный колосс. Столь неожиданное превращение просто не укладывалось в голове. Большинство не поверило в него, даже когда оно состоялось.

И все же самым популярным объектом на «Великой выставке» стали не сами экспонаты, а весьма элегантные «комнаты отдыха», где посетители могли облежаться в комфортных условиях. Этим удобством с благодарностью и энтузиазмом воспользовались 827 000 человек, примерно по 11 000 в день. В 1851 году в Лондоне было прискорбно мало общественных туалетов. В Британском музее, куда ежедневно приходило

до 30 000 посетителей, к их услугам было всего два сортира на улице. Ватерклозеты привели посетителей Хрустального дворца в такой восторг, что после этого унитазы со сливными бачками стали массово устанавливаться в домах — как мы вскоре увидим, это усовершенствование возымело катастрофические последствия для Лондона.

Но «Великая выставка» явилась не только санитарной, но и социальной революцией: впервые людям всех сословий было позволено собраться вместе и смешаться в тесноте. Многие опасались, что простолюдины — «толпа немых», как презрительно окрестил их годом раньше писатель Уильям Мейкпис Теккерей в своем романе «История Пенденниса», — не оправдают оказанного им доверия и испортят удовольствие представителям высших классов. Ожидали даже возможных диверсий. Как-никак, всего три года назад, в 1848 году, Европу сотрясали массовые восстания, в результате которых были свергнуты правительства в Париже, Берлине, Кракове, Будапеште, Вене, Неаполе, Бухаресте и Загребе.

Особенно боялись, что выставка привлечет чартистов и сочувствующих. Чартизм был популярным социальным движением, название которому дала «Народная хартия» (*People's Charter*) — петиция, поданная в парламент в 1837 году и требовавшая целого ряда политических реформ. Они были весьма скромными по меркам сегодняшнего времени: от ликвидации «гнилых» и «карманных» избирательных округов до принятия всеобщего избирательного права для мужчин<sup>[13]</sup>. На протяжении примерно десяти лет чартисты подали в парламент несколько петиций, одну из которых подписали 5,7 миллиона человек, так что общая длина листов с подписями, по свидетельству очевидцев, превышала шесть миль. Парламент был глубоко впечатлен, однако отклонил все требования народа — ради народной же пользы. Всеобщее избирательное право, по единодушному мнению парламентариев, было опасной выдумкой, «совершенно несовместимой с самим существованием цивилизации», как выразился историк и член парламента Томас Бабингтон Маколей.

В Лондоне это движение достигло своего апогея как раз в 1848 году, когда чартисты создали массовый митинг в Кеннингтон-Коммон, к югу от Темзы. Власти боялись, что негодование и накал страстей выльются в насилие, и как бы митингующие не перешли реку по Вестминстерскому мосту и не захватили парламент. Правительственные здания по всему городу были укреплены и готовы к обороне. Министр иностранных дел приказал защитить окна в министерстве подшивками газеты *Times*. На крыше Британского музея заняли позиции люди с запасом кирпичей, готовые бросать их на головы возможным агрессорам. Вокруг Банка

Англии выставили пушки, а сотрудникам ряда государственных учреждений выдали шпаги и старинные мушкеты сомнительной исправности, многие из которых были по меньшей мере так же опасны для стрелявших, как и для тех, кто отважился бы шагнуть под их пули. Было призвано сто семьдесят тысяч специальных констеблей<sup>[14]</sup> — в основном богатых людей и их слуг, и командование над ними принял дряхлый и глухой герцог Веллингтон, которому было уже восемьдесят два года и который мог слышать лишь очень громкий крик.

Но митинг ни к чему такому не привел — возможно, отчасти из-за странного поведения главы чартистов Фергюса О'Коннора (причиной оказалось не диагностированное на тот момент сифилитическое слабоумие; в следующем году его поместили в психиатрическую клинику), отчасти же потому, что большинство участников в душе не были революционерами и не желали устраивать кровопролития. Наконец, весьма своевременный ливень прогнал митингующих с улиц: идея уютно отсидеться в пабе вдруг показалась им гораздо более привлекательной, чем штурм парламента. *Times* писала:

*Лондонская толпа, хоть и не отличается ни героизмом, ни поэтичностью, ни патриотизмом, ни просвещенностью, ни чистотой, представляет собой сравнительно добродушную массу.*

При всей своей снисходительности это высказывание было похоже на правду.

Несмотря на временную передышку, в 1851-м мятежные настроения в некоторых кварталах продолжали набирать силу. Генри Мейхью в своем исследовании «Труженики и бедняки Лондона», опубликованном в тот год, заметил, что «почти все до единого» трудящиеся — «неистовые пролетарии, поддерживающие силовые методы борьбы».

Но даже самым воинственным пролетариям понравилась «Великая выставка». Она открылась 1 мая 1851 года без происшествий — «красивое, грандиозное и волнующее зрелище», по словам блистательной королевы Виктории, которая совершенно искренне назвала день открытия «величайшим днем в нашей истории». Люди приехали со всех уголков страны. Некая Мэри Каллиак восьмидесяти пяти лет пешком пришла из Корнуолла, преодолев расстояние свыше 250 миль и тем самым прославившись на всю страну. За пять с половиной месяцев работы «Великой выставки» ее посетило шесть миллионов человек. В самый

оживленный день, 7 октября, там побывало около 110 000 посетителей, причем в какой-то момент в Хрустальном дворце одновременно собрались 92 000 человек — никогда раньше столько людей не находилось под одной крышей.

Не все посетители были в восторге. Уильяма Морриса, будущего дизайнера и эстета, которому в ту пору было семнадцать лет, так потрясли безвкусица и культ излишеств, увиденные им на выставке, что он вышел из здания пошатываясь и его стошнило в кустах. Но большинству понравились экспозиции, и почти все вели себя достойно. За время работы «Великой выставки» арестовали всего двадцать пять правонарушителей: пятнадцать карманников и десять мелких воришек. Отсутствие преступлений было фактом весьма удивительным, ибо к середине XIX века Гайд-парк приобрел дурную славу очень опасного места; с наступлением темноты риск быть ограбленным становился настолько велик, что люди обычно гуляли здесь только в сопровождении охраны. Благодаря обилию народа меньше чем за полгода Гайд-парк стал одним из самых безопасных уголков Лондона.

Чистый доход от «Великой выставки» составил 186 000 фунтов стерлингов; этих денег хватило, чтобы выкупить тридцать акров земли к югу от Гайд-парка, в районе, неофициально названным Альбертополис. Там были построены прекрасные музеи и учреждения культуры, которые и поныне господствуют над соседними кварталами: королевский Альберт-холл, Музей Виктории и Альберта, Музей естественной истории, Королевский художественный колледж, Королевский музыкальный колледж и др.

Огромный Хрустальный дворец Пакстона простоял в Гайд-парке до лета 1852 года, пока решалось, что с ним делать. Никто не хотел, чтобы здание вовсе исчезло, однако по поводу его судьбы шли бурные споры. Кое-кто в порыве азарта предлагал превратить его в стеклянную башню высотой в тысячу футов. В конце концов было решено перевезти конструкцию в новый парк, который планировалось назвать парком Хрустального дворца, в Сиденхэме на юге Лондона. Как-то так получилось, что в итоге новый Хрустальный дворец стал в полтора раза больше старого и на него ушло вдвое больше стекла. Поскольку здание на этот раз разместили на склоне, повторная установка оказалась гораздо более сложной задачей. В ходе строительства дворец четыре раза рушился. На его возведение потребовалось более двух лет и около 6400 рабочих, семнадцать из которых погибли в ходе строительства.

Странно, но теперь Хрустальный дворец уже не казался чудом. Нация

навсегда утратила к нему интерес. В 1936 году сооружение сгорело.

Через десять лет после «Великой выставки» умер принц Альберт, и впоследствии чуть западнее того места, где стоял Хрустальный дворец, возвели мемориал принца — нечто вроде готического космического корабля. Его сооружение обошлось в огромную сумму — 120 000 фунтов стерлингов, в полтора раза дороже, чем сам Хрустальный дворец. Каменный принц Альберт восседает на троне под огромным золоченым балдахином и держит на коленях книгу — каталог «Великой выставки». А от первоначального Хрустального дворца остались лишь большие декоративные ворота из кованого железа, перед которыми когда-то проверяли билеты в выставочный зал Пакстона. Сейчас они отмечают небольшой участок границы между Гайд-парком и Кенсингтон-гарденз и не привлекают особого внимания публики.

Золотой век сельского духовенства тоже внезапно закончился. В 1870-х годах в сельском хозяйстве разразился кризис, который ударил по землевладельцам и всем тем, от кого зависело их процветание. Через шесть лет сто тысяч фермеров и сельскохозяйственных рабочих оставили свои земли. В нашем приходе за пятнадцать лет население сократилось почти в полтора раза. К середине восьмидесятых годов налогооблагаемая стоимость всего прихода составляла лишь 1713 фунтов стерлингов — всего на какую-то сотню фунтов больше, чем Томас Маршем тридцать лет назад потратил на строительство своего дома.

К концу века средний доход английского священника снизился более чем вдвое по сравнению с доходом пятидесятилетней давности. Если этот доход проиндексировать в соответствии с покупательской способностью денег, то получатся и вовсе жалкие гроши. Сельский приход перестал быть теплым местечком. Многие священники уже не могли позволить себе жениться. Те, у кого были мозги и возможности, применяли свои таланты в других областях. На исходе столетия, как писал Дэвид Каннадин в книге «Упадок и падение британской аристократии», «лучшие умы поколения находились вне церкви, а не внутри нее».

В 1899 году родовое гнездо Маршемов было окончательно разорено и продано; это положило конец добрым и уважительным взаимоотношениям семьи и графства. Любопытно, что разрушительному упадку сельского хозяйства, начавшемуся в 70-е годы XIX века, в немалой степени способствовали те неожиданные изменения, которые произошли в ту пору на домашней кухне. Скоро мы перейдем к этой истории, но, прежде чем заглянуть в дом и начать нашу экскурсию, давайте посвятим несколько страниц рассмотрению весьма уместного здесь вопроса: почему вообще

люди живут в домах?

## Глава 2

### Место действия

#### I

Если бы нам каким-то чудом удалось воскресить преподобного Томаса Маршема и вернуть его домой, он бы здорово удивился, обнаружив, что его дом сейчас практически незаметен со стороны. Сегодня дом стоит в густом лесу, находящемся в частном владении, и это делает его крайне уединенным. Однако в 1851 году, когда коттедж был только построен, он просто-таки бросался в глаза, словно гора красного кирпича посреди чистого поля.

Впрочем, во всех других отношениях, если не считать некоторой обветшалости, появления электрических проводов да телевизионной антенны, здание почти не изменилось с середины XIX века. Сейчас, как и тогда, оно представляет собой воплощение понятия «дом», соответствующим образом выглядя и по-прежнему наполнено уютом.

Поэтому мысль о том, что здесь, как и в любом другом доме, нет ничего заранее предопределенного, может показаться несколько неожиданной. Все, конечно, пришлось продумывать — двери, окна, дымовые трубы, лестницы. Как мы скоро увидим, на эти детали ушло невероятно много времени и стараний.

Дома — объекты и впрямь довольно странные. Они почти не имеют стандартных, от дома к дому неизменных, качеств, могут быть практически любой формы, почти любого размера и включать в себя буквально любой материал. Между тем в какой бы уголок мира мы ни попали, мы тут же, с первого взгляда, среди всех сооружений опознаем людское жилище. Оказывается, атмосфера домашнего уюта пришла к нам из глубины веков, и первый намек на сей важный факт обнаружился случайно — как раз во время строительства нового дома священника, зимой 1850 года, когда почти над всей Британией бушевала сильнейшая буря.

Это был один из самых страшных ураганов за несколько десятилетий, и он причинил множество разрушений. В Гудвин-Сэндс, на побережье Кента, разбились в щепки пять кораблей, все моряки погибли. Рядом с Уэйртингом в графстве Сассекс гигантская волна перевернула

спасательную шлюпку, которая шла на помощь терпящему бедствие судну; утонули одиннадцать человек. В местечке под названием Килки ирландское парусное судно «Эдмунд», следовавшее в Америку, потеряло управление, и пассажиры вместе с экипажем беспомощно смотрели, как их несет на скалы; судно разлетелось вдребезги, девяносто шесть человек погибли, лишь некоторым удалось добраться до берега, в том числе одной пожилой даме, «вцепившейся в спину капитана» (газета *Illustrated London News* с мрачным удовлетворением подчеркивала, что мистер Уилсон, храбрый капитан ирландского судна, был англичанином). Всего в водах Британских островов погибло в ту ночь свыше двухсот человек.

В Лондоне, в еще не достроенном Хрустальном дворце, возвышавшемся посреди Гайд-парка, только что установленные рамы со стеклами громко хлопали на ветру, но ни одна из них не выпала, да и все здание почти без скрипа выдержало напор урагана — к большому облегчению Джозефа Пакстона, который хоть и уверял с самого начала, что его дворцу не страшны будут бури, все же был рад столь наглядному подтверждению.

В семистах милях севернее, на Оркнейских островах, к северу от Шотландии, шторм бушевал два дня. В одном местечке на берегу залива Скайл ветер был так силен, что полностью сорвал травяной покров с большого кочковатого холма (местные жители называют такие холмики «хауи» — *howie*).

Когда шторм наконец утих, островитяне исследовали свое изменившееся побережье и с изумлением обнаружили на месте хауи остатки маленького древнего городища, которое на удивление хорошо сохранилось. Поселение состояло из девяти домов, все они были построены из камня, и в каждом нашлось множество самобытных предметов.

Этот древний поселок был построен пять тысяч лет назад. Он старше Стоунхенджа, старше египетских пирамид, старше вообще всех дошедших до нас сооружений древнего мира. Подобные находки чрезвычайно редки и очень важны. Поселение называли Скара-Брей. Благодаря своей целостности и хорошей сохранности оно дает невероятно подробную картину быта каменного века.

Ни в одном первобытном городище не возникает такого сильного ощущения домашнего уюта. Создается впечатление, будто жители только что покинули свои дома. Древний поселок поражает бытовыми усовершенствованиями, которые кажутся нам совершенно неожиданными. В жилищах людей эпохи неолита, оказывается, были запирающиеся двери

и даже простейшая канализация с отверстиями в стенах для слива нечистот. Просторные помещения, каменные стены, до сих пор сохранившиеся на высоту до десяти футов (не хватает только крыш), мощные полы. В каждом доме имелось нечто вроде встроенных каменных комодов, ниши-кладовые, огороженные спальные места, баки для воды, а также гидроизоляция, обеспечивавшая постоянную сухость в домах.

Все здания одинакового размера и построены по единому плану, из чего следует, что люди здесь жили старой доброй общиной и еще не знали традиционной племенной иерархии. Между домами тянулись крытые переходы, которые выводили на открытую мощеную территорию — археологи окрестили ее Рыночной площадью, — где жители городка, возможно, сообща решали какие-то вопросы.

Похоже, жители Скара-Брей благоденствовали. У них были ювелирные украшения и гончарные изделия. Они выращивали пшеницу и ячмень, в большом количестве ловили моллюсков и рыбу, в том числе треску, отдельные экземпляры которой весили до семидесяти пяти фунтов. Они держали крупный рогатый скот, овец, свиней и собак. Единственное, чего у них не было, так это древесины. Чтобы согреться, им приходилось жечь водоросли, а они плохо горят. Впрочем, это неудобство для нас обернулось удачей: будь у них возможность строить дома из дерева, сейчас от Скара-Брей не осталось бы и следа.

Невозможно переоценить значение этой находки. Доисторическая Европа представляла собой в основном весьма пустынное место. Пятнадцать тысяч лет назад население всех Британских островов насчитывало каких-то две тысячи человек. Пусть к моменту постройки поселка Скара-Брей эта цифра возросла примерно до двадцати тысяч, но это все равно лишь один человек на три тысячи акров, так что когда вдруг находишь какой-либо признак жизни эпохи неолита — это всегда невероятно волнительно. В XIX веке это было настоящей сенсацией.

Тем временем в Скара-Брей обнаруживались все новые странности. Одно здание, стоявшее чуть в стороне от других, по видимости, запиралось только снаружи. Значит, его обитатели сидели в заключении? Это несколько портило радужную картину общества всеобщего благоденствия. Зачем надо было держать кого-то под арестом в столь маленькой общине — вопрос, на который сегодня уже невозможно ответить.

Такую же загадку представляют собой водостойкие емкости, найденные в каждом доме. Согласно предположению большинства археологов, в них держали морские блюдечки — раковинных моллюсков, которые в изобилии водятся в окрестных водах. Но зачем древним людям

был нужен запас свежих блюдецек? Ведь они практически непригодны в пищу — в каждом моллюске содержится всего лишь около одной калории, и при этом они настолько жилистые, что на их пережевывание придется потратить больше энергии, чем они дадут человеческому организму.

Мы совсем ничего не знаем про этих людей — откуда они пришли, на каком языке говорили, что заставило их поселиться в таком уединенном и совершенно безлесном краю Европы. Но так или иначе, в течение примерно шестисот лет поселок Скара-Брей жил, судя по всему, комфортно и спокойно. А затем, где-то в 2500 году до н. э., его население исчезло, и, похоже, исчезло в одночасье. В переходе, пристроенном к одному из домов, были найдены рассыпанные бусины. Владелец (или владелица) этих бус наверняка дорожил украшением, но когда оно нечаянно порвалось, его в панике или спешке не стали собирать.

Почему счастливая идиллия Скара-Брей внезапно закончилась, мы не знаем. Так же, как не знаем и многого другого.

Забавно, что сразу после открытия городище Скара-Брей было вновь надолго забыто, и лишь через три четверти века древний поселок вновь привлек к себе хоть чье-то внимание. В 1851 году Уильям Уатт, владелец соседнего поместья Скайл-хаус, взял себе в качестве трофеев несколько предметов с городища, но гораздо более печальное событие произошло в 1913-м: как-то после одной вечеринки в Скайл-хаусе гости, вооружившись лопатами и другим инструментом, пришли в Скара-Брей и всего за один уик-энд радостно разграбили поселение, забрав себе все, что им приглянулось, в качестве сувениров.

Но и после этих эпизодов власти не обращали на Скара-Брей никакого внимания. И лишь в 1924 году, когда во время очередного шторма волны смыли часть одного из древних домов, было решено официально проинспектировать территорию и предпринять меры для сохранения памятника. Это задание поручили чудаковатому, но блестящему профессору из Эдинбургского университета по имени Вир Гордон Чайлд. Он был уроженцем Австралии и убежденным марксистом.

У Чайлда не было практического опыта раскопок; в начале 1920-х годов подобные археологи-практики считались редкостью. Кроме того, Чайлд в принципе терпеть не мог полевые работы и старался вообще не выходить из дома без крайней необходимости. В молодости он читал лекции по классической литературе и филологии в Сиднейском университете, где и почувствовал глубокую и непреодолимую склонность к идеям коммунизма. Ослепленный этой страстью, Чайлд совершенно не

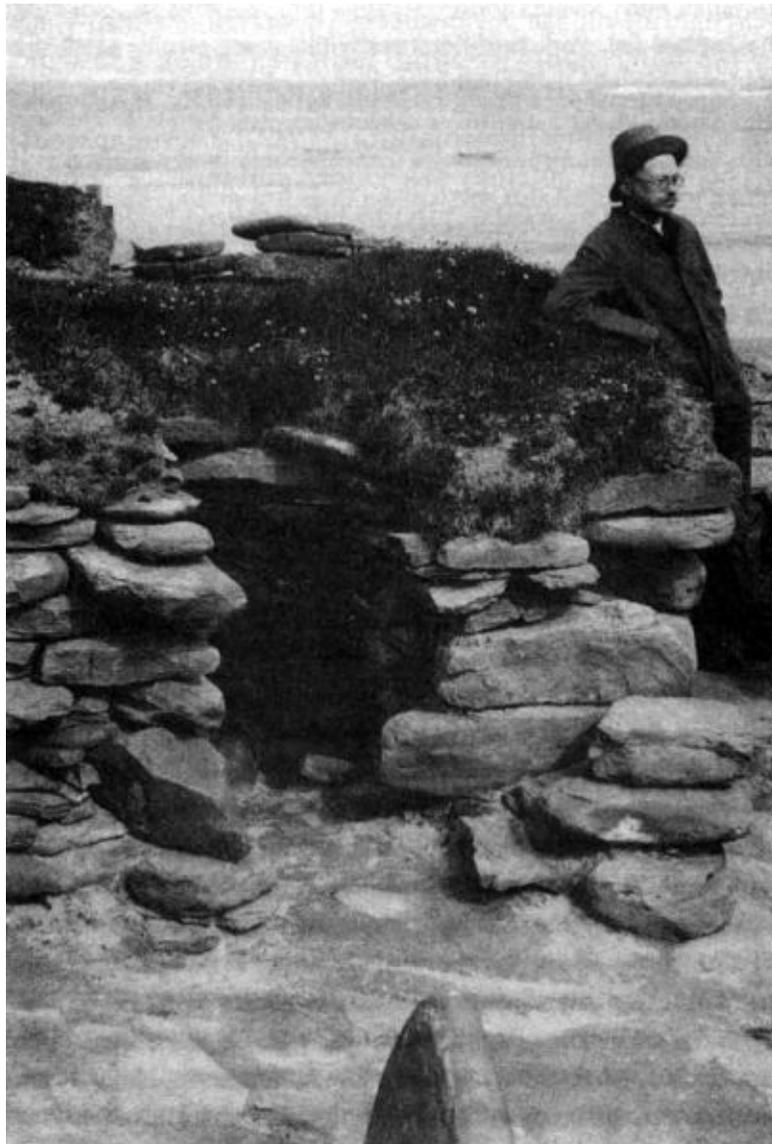
замечал бесчинств Иосифа Сталина, зато заметил довольно много важных вещей в области истории и археологии. В 1914 году он поступил в аспирантуру Оксфордского университета, занялся там изучением образа жизни и путей миграций первобытных людей и стал самым авторитетным специалистом своего времени в этой области. В 1927 году Эдинбургский университет назначил его на должность заведующего кафедрой первобытной археологии, только что учрежденной профессором Аберкромби. Таким образом, Чайлд стал единственным профессиональным археологом в Шотландии, и когда такие объекты, как Скара-Брей, требовали внимания ученых, призывали именно его. Вот почему летом 1927 года Чайлд отправился поездом на север, а потом на пароходе добрался до Оркнейских островов.

Почти во всех воспоминаниях о Чайлде много внимания уделено его странным манерам и необычной внешности. Его коллега Макс Маллоуэн (который больше известен тем, что был вторым мужем Агаты Кристи) писал, что лицо Чайлда «было таким уродливым, что на него было больно смотреть». Другой коллега запомнил Чайлда как человека «высокого, нескладного и безобразного, эксцентричного в одежде, с резкими манерами, с любопытной и зачастую пугающей внешностью». Несколько сохранившихся фотографий Чайлда подтверждают, что он и впрямь не был красавцем: костлявый, почти без подбородка, с прищуренным взглядом сквозь круглые стекла очков и тонкими усиками, готовыми, казалось, вот-вот ожить и поползти прочь. Но как бы зло ни шутили окружающие по поводу внешности чудака-профессора, все признавали, что разум его — чистое золото.

Чайлд отличался чрезвычайно пытливым умом и исключительной способностью к языкам. Он читал по меньшей мере на двенадцати языках, живых и мертвых, легко разбирая как старинные, так и современные тексты по любым интересующим его темам. А интересовало Чайлда практически все.

Сочетание странной внешности, невнятного бормотания и физической неуклюжести со столь подавляющим интеллектом делало общение с Чайлдом практически невыносимым. Один его студент вспоминал, как однажды на вечеринке профессор обращался к присутствующим на шести языках, демонстрировал, как делить в столбик римские цифры, подверг подробному критическому анализу химическую основу датирования предметов бронзового века, а напоследок долго читал наизусть отрывки из древних авторов на языке оригинала. Мало кого из гостей порадовал столь утомительный собеседник.

Как мы уже упоминали, Чайлд, мягко говоря, не был прирожденным землекопом. Его коллега Стюарт Пигготт с некоторым даже благоговением отмечал его «полную неспособность оценивать характер археологических находок в поле, а также понимать процессы, в ходе которых таковые извлекаются, идентифицируются и интерпретируются». Почти все книги и статьи Чайлда основаны на письменных источниках, а не на личном опыте практикующего археолога. Даже языками профессор на самом деле владел недостаточно. Да, он бегло читал на разных языках, однако произношение домысливал сам, и никто из носителей этих языков не понимал его. Однажды в Норвегии, надеясь произвести впечатление на коллег, Чайлд по-норвежски попросил официанта принести тарелку малины — и тот немедленно принес чудаку-англичанину двенадцать кружек пива.



*Рис. 2. Вир Гордон Чайлд в Скара-Брей, 1930 г.*

Однако при всех недостатках внешности и странности своих манер Чайлд, безусловно, значительно продвинул вперед археологию. На протяжении трех с половиной десятилетий он выпустил шестьсот статей и книг — как научно-популярных изданий, так и учебников, в том числе бестселлеры «Человек создает себя» (1936) и «Расцвет и падение древних цивилизаций» (1942); многие археологи говорят, что именно эти книги помогли им выбрать профессию. Чайлд был оригинальным мыслителем, и как раз во время раскопок в Скара-Брей ему пришла в голову идея — одна из самых важных и своеобразных в современной археологии.

Первобытное прошлое человечества традиционно делят на три весьма неравные по продолжительности эпохи: палеолит («древний каменный век»), который начался два с половиной миллиона лет назад и закончился примерно 10 000 лет назад; мезолит («средний каменный век»), в течение которого происходил постепенный переход от охоты и собирательства ко все более широкому распространению сельского хозяйства (10 000–6000 лет назад); наконец, неолит («новый каменный век») — два последних, но крайне продуктивных тысячелетия доисторической эпохи, вплоть до наступления бронзового века. Каждый из этих периодов делится на множество подпериодов: олдувайский, мустьерский, граветтский и так далее, но эта периодизация интересна в основном для специалистов, так что мы не будем здесь на нее отвлекаться.

Важно помнить, что 99 % всего времени своего существования человечество потратило лишь на производство потомства и выживание и только потом изобрело земледелие, ирригацию, литературу, архитектуру, государство и другие вещи, которые сделали возможным развитие цивилизации. Все эти изобретения по праву считаются самыми значительными в истории, и первым, кто полностью осознал и осмыслил все их в целом, был Вир Гордон Чайлд. Он назвал эту волну изобретений неолитической революцией.

Это одна из величайших тайн в развитии человечества. Даже сегодня ученые не могут сказать, почему произошла неолитическая революция, хотя и знают, где и когда это случилось. Скорее всего, здесь сыграли какую-то роль глобальные изменения климата. Около 12 000 лет назад на Земле началось довольно быстрое потепление, а затем по неизвестным причинам наша планета вновь замерзла примерно на тысячу лет — это был своего рода последний вздох ледникового периода. Ученые называют этот период

поздний дриас (в честь арктического растения дриада, которое одним из первых заселило северные области планеты после схода ледников). Когда тысяча лет холода миновала, наша планета опять быстро прогрелась и с тех пор остается относительно теплой. Почти все, чего мы достигли, будучи высокоразвитыми существами, сделано нами в течение этого короткого мига климатологического расцвета.

Интересно, что неолитическая революция происходила по всему земному шару. Люди понятия не имели о том, что жители далеких краев занимаются тем же самым, чем и они. Земледелие было независимо изобретено по меньшей мере семь раз — на Ближнем Востоке, в Китае, на Новой Гвинее, в Андах, в бассейне Амазонки, в Мексике и Западной Африке. Города (также независимо) появились в шести разных регионах — в Китае, Египте, Индии, Месопотамии, в Центральной Америке и в Андах. То, что это происходило повсеместно и зачастую без малейшей возможности какого-либо общения между жителями этих регионов, кажется совершенно необъяснимым. Один историк, описывающий экспедицию Фернана Кортеса, замечает:

*Когда Кортес высадился на берегу Мексики, он увидел дороги, каналы, города, дворцы, школы, суды, рынки, ирригационные сооружения, королей, священников, храмы, крестьян, ремесленников, военных, астрономов, купцов, спортивные состязания, театр, искусство, музыку и книги.*

Все это было изобретено жителями Америки совершенно самостоятельно и развивалось примерно так же, как и на других континентах. Такие совпадения действительно поражают. К примеру, собак приручили практически одновременно на столь удаленных друг от друга территориях, как Британские острова, Сибирь и Северная Америка.

Есть соблазн назвать подобные вещи «всемирным озарением», однако это было бы преувеличением. Многие изобретения были бы невозможны без длительных периодов проб, ошибок и все новых попыток. Иногда эти периоды были длиной в тысячелетия. Сельское хозяйство зародилось на Ближнем Востоке 11 500 лет назад, в Китае — 8000 лет назад, а в большинстве районов Америки — всего 5000 лет назад с небольшим.

Люди уже умели одомашнивать животных на протяжении 4000 лет, прежде чем кому-то пришло в голову, что самых крупных из них можно приспособить для вспашки земли; в течение следующих 2000 лет жители Европы и Западной Азии пользовались неповоротливым, тяжелым и крайне

неэффективным плугом с прямым отвалом, пока не познакомились с плугом с изогнутым лемехом, которым с незапамятных времен пахали китайцы.

Жители Месопотамии давно изобрели и активно использовали колесо, однако соседи-египтяне позаимствовали это полезное приспособление только спустя 2000 лет. В Центральной Америке народ майя тоже изобрел колесо (совершенно независимо), однако не придумал ему никакого практического применения и использовал исключительно в детских игрушках. А у инков вообще не было ни колеса, ни денег, ни железа, ни письменности. Короче говоря, шаги прогресса были крайне непредсказуемы и неритмичны.

Долгое время считалось, что оседлость и земледелие появились одновременно: люди оставили кочевой образ жизни и занялись в оседлых поселениях сельским хозяйством, чтобы обеспечить себе запасы продовольствия. Добывать пищу охотой нелегко, и охотники очень часто возвращаются домой с пустыми руками. Гораздо выгоднее и удобней наладить постоянное воспроизводство пищевых ресурсов и всегда быть сытым.

Но ученые довольно рано поняли, что дела обстоят далеко не так однозначно. Примерно в то время, когда Чайлд занимался раскопками в Скара-Брей, археолог из Кембриджского университета Дороти Гэррод, работавшая в Палестине рядом с деревней Шукба, обнаружила древнюю культуру, которую окрестила натуфийской, по названию ближайшего вади (сухого русла реки) — Вади-эн-Натуф. Натуфийцы, вполне вероятно, построили самые первые деревни в мире и основали Иерихон — первый город в истории человечества. Следовательно, у них был очень большой опыт оседлости, но, как ни странно, земледелием они при этом не занимались. Новые раскопки на территории Ближнего Востока показали, что люди вообще довольно часто жили подолгу на одном и том же месте, но лишь очень много времени спустя начинали заниматься земледелием — иногда этот временной интервал составлял 8000 лет.

Зачем же переходить к оседлой жизни, если не для того, чтобы заняться земледелием? Это нам неизвестно — вернее, у нас есть много предположений, но мы понятия не имеем, какое из них правильное. По словам британского историка Филипе Фернандеса-Арместо, имеется как минимум тридцать восемь причин, которые могли бы побудить людей жить оседло: изменения климата; желание остаться рядом с могилами родных; потребность варить и пить пиво, удовлетворить которую можно было, только обосновавшись на одном месте. Согласно одной теории (Джейн

Джекобс<sup>[15]</sup> вполне серьезно обсуждает ее в своей важной книге «Экономика городов», 1969), «случайные космические ливни» привели к мутациям диких злаков, в результате чего эти травы вдруг сделались привлекательным источником пищи.

Одним словом, никто не знает ответа на вопрос, почему началось развитие сельского хозяйства.

Готовить еду из растений очень тяжело. Превращение пшеницы, риса, кукурузы, проса, ячменя и других культур в основные продукты питания — одно из величайших и вместе с тем неожиданных достижений человечества. Взгляните на лужайку за вашим окном, и вы поймете, что трава в ее натуральном виде — не лучшая пища для тех, кто не относится к жвачным животным. Сделать траву съедобной — непростая задача, которую можно решить только с помощью тщательной многоступенчатой обработки и большого мастерства.

Возьмем, к примеру, пшеницу. Она будет пригодна в пищу, только если превратить ее в такой сложный продукт, как хлеб. А для этого требуется масса усилий. Вам придется сначала отделить зерна от плевел и смолоть зерно — сначала крупно, затем мелко; полученную муку надо смешать с другими компонентами — дрожжами, солью и т. д. — приготовить тесто, вымесить его до определенной консистенции и, наконец, испечь, внимательно и аккуратно. Вероятность испортить результат на последнем этапе настолько велика, что во всех обществах, где люди едят хлеб, его выпечку поручают профессионалам.

Нельзя сказать, что переход к земледелию значительно улучшил условия жизни человека. Типичный охотник-собиратель питался намного разнообразней, потреблял больше белка и калорий, чем оседлые люди, и получал в пять раз больше витамина С, чем среднестатистический современный человек. Даже в мрачных глубинах ледникового периода, как мы теперь знаем, пища кочевников была на удивление качественной и здоровой. У оседлых общин, напротив, еда стала гораздо более однообразной, что привело к нехватке витаминов и минеральных веществ. Три основные культуры, которые выращивал древний человек, — это рис, пшеница и маис (кукуруза), но все они имели существенные недостатки как основные продукты питания. Британский писатель и кулинарный критик Джон Ланчестер объясняет:

*Рис снижает эффективность действия витамина А; в пшенице есть химические вещества, которые подавляют действие цинка и могут привести к задержке роста; в маисе*

*мало важных аминокислот, кроме того, он содержит фитаты, которые препятствуют усвоению железа.*

И действительно, в эпоху зарождения земледелия средний рост обитателя Ближнего Востока снизился почти на шесть дюймов. Даже на Оркнейских островах, доисторические жители которых процветали, исследование 340 древних скелетов показало, что мало кто из них доживал до тридцати лет.

Однако по большей части оркнейцы умирали не от дефицита питательных веществ, а от болезней. Когда люди живут тесной общиной, вероятность распространения инфекций значительно возрастает. Свою роль сыграл и близкий контакт с одомашненными животными: от свиней и кур человек мог заразиться гриппом, от коров и овец — оспой и корью, от лошадей и коз — сибирской язвой. Насколько мы можем судить, практически все инфекционные заболевания стали эндемическими только тогда, когда люди начали жить большими общинами. Кроме того, оседлый образ жизни способствовал увеличению популяции мышей, крыс и других животных, которые живут среди нас и за наш счет — а заодно служат переносчиками опасных инфекций.

Итак, оседлый образ жизни привел к оскудению рациона и росту заболеваемости; у людей появились проблемы с зубами и деснами; они стали раньше умирать. Причем, что поразительно, все эти факторы до сих пор оказывают свое действие. Из тридцати тысяч видов существующих на Земле съедобных растений всего одиннадцать: кукуруза, рис, пшеница, картофель, маниока, сорго, просо, бобы, ячмень, рожь и овес — составляют 93 % всей пищи человека, а культивировать все эти виды начали наши предки эпохи неолита. То же самое относится и к животноводству. Животные, которых мы сегодня выращиваем для еды, выбраны нами вовсе не потому, что они особенно вкусны или питательны или их присутствие доставляет нам удовольствие, а потому, что именно их мы первыми одомашнили в каменном веке.

Мы с вами по существу являемся людьми каменного века. Если судить по нашему рациону, то эпоха неолита по-прежнему с нами. Да, мы добавляем в блюда лавровый лист и нарезанный фенхель, но в основном едим пищу каменного века. И страдаем болезнями каменного века.

Если бы десять тысяч лет назад вас попросили угадать, где будет расположена величайшая цивилизация будущего, вы, скорее всего, назвали бы какую-нибудь область Центральной или Южной Америки, ибо именно там люди проделывали удивительные вещи с пищевыми растениями. Ученые называют эту часть Нового Света *Мезоамерикой* — весьма расплывчатый термин, который в принципе означает «Центральная Америка плюс некоторая часть Южной» (какая именно часть — зависит от того, какую именно гипотезу требуется подтвердить данному конкретному ученому).

Мезоамериканцы были величайшими землепашцами в истории, но из всех их многочисленных сельскохозяйственных достижений самым важным и неожиданным стало выведение маиса, или кукурузы (*corn*), как его называют на моей родине, в США<sup>[16]</sup>. Мы до сих пор понятия не имеем, каким образом они это сделали. Если сопоставить первобытные формы ячменя, риса или пшеницы с их современными аналогами, сходство сразу будет заметно. Однако в дикой природе нет ничего, даже отдаленно напоминающего современную кукурузу. Генетически ее ближайшим родственником является тонкая травка под названием *теосинте*, но на самом деле они мало чем похожи. Кукуруза дает мощный початок на единственном стебле, ее зерна заключены в жесткую листовую обертку, а початок теосинте имеет в длину меньше дюйма, лишен листовой обертки и растет на множестве стеблей. В качестве еды он почти бесполезен. Одно зернышко кукурузы более питательно, чем целый початок теосинте.

Трудно сказать, как люди сумели вывести кукурузные початки из такого тонкого и практически несъедобного растения, да и как им вообще пришла в голову эта идея. Надеюсь раз и навсегда разобраться с этим вопросом, университет штата Иллинойс в 1969 году организовал специальную конференцию, посвященную проблеме происхождения кукурузы, на которую съехались ведущие специалисты со всего мира, однако научные дебаты переросли в такой ожесточенный и такой оскорбительный спор, порой переходивший на личности, что конференция была закрыта, а ее материалы никогда не были опубликованы. С тех пор подобных попыток больше не предпринималось. Впрочем, сейчас ученые совершенно уверены — спасибо последним успехам генетики, — что кукуруза впервые была окультурена на равнинах западной Мексики и что ее получили из теосинте, но как именно — по-прежнему остается загадкой.

Так или иначе, в результате появилось первое в мире искусственно выведенное растение, причем это растение требует столь тщательной культивации, что сегодня его выживание всецело зависит от нас.

Кукурузные зерна не отделяются от початков сами — их надо специально отделить и посадить в почву, иначе кукуруза не вырастет. Если бы люди не заботились о ней на протяжении тысячелетий, эта культура вообще исчезла бы с лица земли.

Изобретатели кукурузы не только вывели новый вид растения, они практически создали из ничего новый, ранее не существовавший, тип экосистемы. В Месопотамии дикие луговые злаки росли почти повсеместно, и задача земледельца заключалась главным образом в культивации этих лугов и постепенном превращении их в культурные, хорошо обработанные зерновые поля. Однако жители засушливых, поросших невысоким кустарником равнин и плоскогорий Центральной Америки не знали, что такое поле. Им пришлось создавать то, чего они никогда раньше не видели, — это как если бы обитателю пустыни пришлось в голову устроить у себя травяной газон.

Сегодня кукуруза незаменима, причем в гораздо большей степени, чем многие думают. Кукурузная мука используется в производстве газированных напитков, жевательной резинки, мороженого, арахисовой пасты, кетчупа, автомобильной краски, бальзамирующего состава, пороха, инсектицидов, дезодорантов, мыла, картофельных чипсов, перевязочных материалов, лака для ногтей, присыпки для ног, соусов для салата и еще сотен вещей. По словам Майкла Поллана, автора книги «Дилемма всеядного», не столько мы одомашнили кукурузу, сколько она одомашнила нас.

Существует опасение, что культуры, доведенные до единообразного генетического совершенства, могут утратить свою защитную приспособляемость. Проезжая сегодня мимо кукурузного поля, вы увидите, что каждый стебель похож на остальные — конечно, между ними есть какие-то небольшие различия, но по сути своей они идентичны. Эти особи-близнецы живут в полной гармонии, поскольку ни одна из них не конкурирует с другой. Но в этом есть и свои опасности. В 1970 году производители кукурузы в США были в страшной тревоге: кукуруза по всей Америке погибала от болезни, которая называется бурая пятнистость, и в этот момент агрономы сообразили, что практически все кукурузные поля страны засеяны семенами с генетически идентичной цитоплазмой. Если бы заболевание напрямую поражало цитоплазму или оказалось более вирулентным, то сейчас ученые всего мира ломали бы голову, пытаясь найти способ снова окультурить теосинте, а нам с вами пришлось бы надолго забыть про попкорн.

У картофеля, другой важной пищевой культуры Нового Света, не

меньше интригующих тайн. Это растение семейства пасленовых, известного своей токсичностью. В диком картофеле много ядовитых гликоалкалоидов — они же, только в меньших дозах, содержатся в кофеине и никотине. Чтобы сделать дикий картофель безопасным пищевым продуктом, надо было снизить в нем содержание гликоалкалоидов до одной пятнадцатой или двадцатой от изначального уровня. Возникает масса вопросов, и самый главный из них — как люди это сделали? И откуда узнали, что именно надо сделать? Как они смогли определить, насколько снизился уровень токсичности? И как контролировали ход этого процесса? Да и вообще, откуда древние люди знали, что игра стоит свеч и что в результате получится безопасный и питательный продукт?

Конечно, нетоксичный картофель мог появиться и в результате самопроизвольной мутации. Если так, значит, людям не пришлось тратить столетия на экспериментальную селекцию. Однако каким образом они узнали, что этот вид картофеля мутировал и из всех сортов ядовитого дикого картофеля именно этот пригоден для еды?

Словом, первобытные люди часто совершали не просто удивительные, а поистине непостижимые открытия.

### III

Пока мезоамериканцы выращивали кукурузу и картофель (а также авокадо, томаты, бобы и около сотни других видов растений, без которых мы теперь не мыслим свое существование), люди на другом конце земного шара строили первые города, и это было не менее загадочно и удивительно.

Одной из таких загадок стала археологическая находка, сделанная в Турции в 1958 году. В конце этого года молодой британский археолог Джеймс Меллаарт вместе с двумя коллегами путешествовали по пустынным районам Центральной Анатолии и увидели на бесплодной засушливой равнине большую вытянутую возвышенность явно естественного происхождения — «холм, поросший чертополохом», высотой в пятьдесят-шестьдесят футов и длиной в две тысячи футов. Станный холм занимал площадь в тридцать три акра. Вернувшись туда на следующий год, Меллаарт провел пробные раскопки и обнаружил, что холм скрывает остатки древнего города.

Это было совершенно невероятно. Древние города, как было известно в то время даже неспециалистам, существовали лишь в Месопотамии и на Ближнем Востоке, но никак не в Анатолии. И вот же, пожалуйста: один из

старейших — возможно, самый старый в мире — город, да еще беспрецедентных размеров, в центре Турции! Городище Чатал-Хююк (турецкое название означает «раздвоенный курган») возникло девять тысяч лет назад и было постоянно населено в течение более тысячи лет; в период расцвета его населяли восемь тысяч человек.

Меллаарт назвал Чатал-Хююк первым городом мира, и эта точка зрения стала общеизвестной, когда Джейн Джекобс повторила ее в своей влиятельной книге «Экономика городов», однако она неверна по двум причинам. Во-первых, это на самом деле был не город, а просто очень большая деревня (различие, с точки зрения археологов, состоит в том, что город имеет не только достаточно большой размер, но и ясно выраженную административную структуру). А во-вторых, что еще более важно, другие поселения — Иерихон в Палестине, Айн-Маллаха в Израиле, Абу-Хурейра в Сирии — согласно последним исследованиям, значительно старше. Тем не менее Чатал-Хююк оказался самым странным из всех древних поселений.

Вир Гордон Чайлд, отец неолитической революции, умер, не успев узнать про Чатал-Хююк. Незадолго до этого открытия Чайлд впервые за тридцать пять лет приехал на родину, в Австралию. Он не был там больше половины всей своей жизни. Отправившись на прогулку в Голубые горы, он либо случайно сорвался с тропы и погиб, либо покончил с собой. Как бы там ни было, его тело обнаружили у подножия возвышенности Говеттс-Лип. На тысячу футов выше был найден тщательно сложенный пиджак профессора, поверх которого аккуратно лежали его очки, компас и трубка.

Чатал-Хююк наверняка восхитил бы Чайлда, ибо с этим поселением все было непонятно. Там не было ни улиц, ни переулков. Дома жались друг к другу, образуя неоднородный по плотности массив. Добраться до стоящих в центре зданий можно было лишь по крышам других (причем все они были разной высоты) — на редкость неудобное решение. В поселении не было ни площадей, ни рынков, ни зданий, похожих на общественные, — словом, никаких признаков социальной организации. Каждый строитель нового дома всегда возводил четыре новые стены, даже если строил впритык к уже существующему зданию. Похоже, население еще не постигло даже азов коллективного проживания.

Это напоминает нам о том, что характер населенных пунктов и зданий внутри них не является predetermined. Нам кажется естественным, что на первых этажах наших домов есть двери, а сами дома отделены друг от друга улицами и переулками, однако жители Чатал-Хююка смотрели на вещи иначе.

Кроме того, к древнему городу не вела ни одна дорога. Он был построен в болотистой местности, в ежегодно затопляемой пойме реки. На многие мили вокруг расстилалось незанятое, пустынное пространство. Почему же люди решили жить так тесно, словно их со всех сторон теснили волны прилива? Почему скопились тысячами в одном месте, если имели возможность свободно распределиться по незанятой территории? Никаких объяснений этому нет.

Жители Чатал-Хююка занимались земледелием, но их поля находились по меньшей мере в семи милях от их домов. Земля вокруг поселения была малопригодна для пастбищ, на ней не росли дикие фруктовые деревья, орехи и другие природные источники питательных веществ. Не было и древесины для топлива. Короче говоря, абсолютно неясно, почему вообще древние люди решили обосноваться именно на этом месте.

Чатал-Хююк никак нельзя назвать примитивным поселением. Для своего времени он был поразительно передовым и сложно устроенным. Там жили ткачи, мастера, умевшие делать корзины, бусы и луки, плотники, столяры и представители разных других профессий. Они были искусными ткачами и производили ткани изящного плетения. Умели даже делать полосатые ткани, а это явно непросто. Им было важно хорошо выглядеть. Удивительно, что они задумались о полосатых тканях раньше, чем о дверях и окнах.

Все это лишний раз подтверждает, как мало мы знаем — даже на уровне догадок — об образе жизни и обычаях древних людей. А теперь давайте наконец войдем в дом и посмотрим, сколько еще неизвестного нам откроется.

## Глава 3

### Холл

#### I

Ни одна комната дома не может похвастаться более долгой историей, чем холл. Место, где сейчас вытирают ноги и вешают шляпы, когда-то было одним из главных помещений в доме. В течение долгого времени холл, собственно, и был домом. Как это получилось? Для того чтобы в этом разобраться, нам придется вернуться к моменту зарождения Англии, к тем дням 1600 лет назад, когда к берегам Британии причалили полные вооруженных людей корабли и сходявшие с них на берег обитатели материковой Европы стали каким-то загадочным образом одерживать одну победу за другой. Нам на удивление мало известно о том, кем были эти люди, но именно с них началась история Англии и история английского дома.

Традиционно считается, что события развивались просто и последовательно: в 410 году нашей эры римляне, империя которых рушилась, в спешке и смятении покинули Британию, а германские племена — англ, саксы и юты, известные нам по тысяче школьных учебников, — обрушились на острова, как лавина, чтобы занять их место. Однако на самом деле все могло быть и по-другому.

Во-первых, не факт, что захватчики действительно обрушились лавиной. Согласно одной из оценок, в течение ста лет после ухода римлян в Британию переселились всего десять тысяч чужестранцев, то есть примерно по сто человек в год. Пусть большинство историков считает эту цифру слишком маленькой, однако привести более точную никто не берется. Точно так же никто не берется сказать, какова была численность коренного населения (бриттов) к моменту вторжения германцев. Оценки варьирует от полутора до пяти миллионов, что лишней раз демонстрирует, с каким туманным периодом истории мы имеем дело. Однако одно известно почти достоверно: местных жителей было значительно больше, чем завоевателей.

Почему бриттам не хватило возможностей или смелости для более эффективной борьбы — глубокая тайна. Ведь им было что защищать. На

протяжении почти четырех веков они были частью самой мощной в мире цивилизации и наслаждались всеми преимуществами этого положения: у них имелись водопровод, центральное отопление и горячие ванны, отлично организованная связь и отлаженная система правления — словом, все то, о чем понятия не имели их грубые завоеватели. Трудно представить, какое негодование должны были испытать коренные жители Британии, оказавшись под пятой у неграмотных грязных язычников с лесных окраин Европы. При новом режиме они лишились почти всех своих материальных достижений и снова обрели многие из них лишь спустя тысячу лет.

Это была эпоха *Volkerwanderung*, Великого переселения народов, когда группы племен из разных концов Европы и мира — гунны, вандалы, вестготы, остготы, франки, англ, саксы, даны, алеманны и другие — вдруг ощутили внезапную и, похоже, совершенно непреодолимую тягу к перемене мест; захватчики Британии тоже входили в их число. У нас есть единственное письменное изложение тех событий, оставленное монахом, которого звали Беда Достопочтенный. Именно Беда, писавший три века спустя после вторжения, поведал нам, что армия захватчиков состояла из англов, саксов и ютов, но что это за народы и как связаны между собой, неизвестно.

Юты — совершенная загадка. Считается, что они вышли из Дании, так как там и сегодня есть провинция Ютландия. Но историк Фрэнк Стентон замечает, что когда Ютландия получила свое название, на ее территории уже давно не было ни одного юта. Согласитесь, довольно странно называть местность в честь людей, которые там больше не живут. Кроме того, скандинавское слово *jotar*, из которого было образовано название Ютландия, вряд ли имеет отношение к какому-либо народу или племени. Ни в одном источнике, кроме записок Беды Достопочтенного, юты не упоминаются, да и сам хронист больше никогда о них не говорил. Некоторые ученые вообще полагают, что рассказ о ютах — позднейшая вставка, добавленная позже другой рукой, и Беда здесь вообще ни при чем.

Вокруг англов тумана почти столько же. О них время от времени упоминается в европейских текстах, так что, по крайней мере, мы можем быть уверены, что они действительно существовали. Однако дошедшая до нас информация не дает нам ничего существенного. Возможно, они внушали страх или вызывали восхищение, однако в любом случае они были не слишком известны. Поэтому есть некоторый абсурд в том, что именно в честь англов — видимо, по чистой случайности — назвали страну, в образовании которой они принимали явно не самое деятельное участие.

Наконец, остаются саксы, которые, вне всякого сомнения, оставили заметный след в Европе — это подтверждает наличие в современной Германии сразу нескольких местностей под названием Саксония, имя Саксен-Кобургской династии и прочее. Однако создается впечатление, что и этот народ не был особенно могущественным. Стентон называет саксов «наиболее известными» из трех групп захватчиков, но не более того. По сравнению с готами, разграбившими Рим, или вандалами, захватившими Римскую Африку, эти племена никогда не проявляли особых воинских доблестей. Похоже, Британию захватили не воины, а обычные крестьяне.

Они не принесли с собой почти ничего нового — только язык и собственную ДНК. Ни одна их технология, ни одна особенность их образа жизни ничего не добавили к тому, что уже существовало в то время на Британских островах. Их, конечно, не могли полюбить, но и уважать себя они не заставили. И тем не менее они настолько сильно повлияли на Британию, что их культура остается с нами спустя более полутора тысяч лет, причем в самом фундаментальном смысле. Мы можем ничего не знать про религию саксов, однако по-прежнему отдаем дань уважения трем их главным богам — Тиву, Водану и Тору (их именами названы три средних дня недели — *tuesday*, *Wednesday* и *thursday*), а каждую пятницу (*friday*) неизменно вспоминаем Фригг, жену Бодана. Это уже можно назвать привязанностью.

Германцы просто-напросто стерли существовавшую до них культуру. Римляне провели в Британии 367 лет, кельты — по меньшей мере тысячу, однако сейчас кажется, будто их не было вовсе. Нигде в мире не наблюдалось ничего подобного. Когда римляне оставили варварам Галлию и Испанию, жизнь там почти не изменилась: люди по-прежнему говорили на местной версии латыни, которая со временем начала постепенно превращаться во французский и испанский языки; сохранилась устроенная по римским принципам администрация, процветала коммерция, в обращении по-прежнему ходили римские монеты, действовали различные общественные структуры. В Британии же римляне оставили после себя от силы пять слов, а кельты — не больше двадцати: в основном это географические термины, описывающие характерные признаки британского ландшафта. Например, слово *crag* («скала», «утес») — кельтского происхождения, так же как и слово *tor* («скалистая вершина»).

После ухода римлян некоторые бритты переселились на континент, основав поселения на полуострове, который получил название Бретань. Некоторые наверняка сражались с захватчиками и были убиты или взяты в плен и стали рабами. Но большинство британских кельтов, похоже, просто

смирилось с захватчиками как с неизбежным злом и начало жить в соответствии с новыми правилами.

— На самом деле не факт, что было много резни и кровопролития, — сказал мне однажды мой друг Брайан Эрз, бывший главный археолог графства Норфолк, когда мы с ним как-то стояли и глазели на поле за моим домом. — Допустим, в один прекрасный день ты выглядываешь из окна и видишь, что на твоём поле стали лагерем человек двадцать. Постепенно до тебя доходит, что они не собираются уходить, что они отнимают у тебя твою землю. Наверняка были локальные кровавые стычки, но в общем и целом, думаю, люди просто научились приспосабливаться к драматически изменившимся обстоятельствам.

Существует несколько описаний таких стычек. Во время одной из них, которая произошла в местности под названием Крэйфорд (где именно находится это место, неизвестно), погибло, как утверждается, четыре тысячи бриттов. Легенда донесла до нас историю мужественного сопротивления короля Артура и его войска, однако легенда есть легенда. Ни одна археологическая находка не указывает на массовую резню или паническое бегство населения, какое случается перед нашествием. Захватчики не только не были свирепыми воинами — судя по всему, они даже толком не умели охотиться. Археологические раскопки свидетельствуют, что с момента прихода в Британию германцы занимались животноводством и практически не занимались охотой. Земледельческие работы тоже не были прерваны завоеванием. Похоже, переход от одной власти к другой прошёл гладко, как суточная смена рабочих на фабрике. Разумеется, мы не можем утверждать этого с полной уверенностью, но как там было на самом деле, мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Наступил период истории, когда Британия уже не была окраиной известного человечеству мира — она оказалась за краем этого мира.

Археологические свидетельства этой эпохи зачастую ставят в тупик. Захватчики отказались жить в римских домах, которые были лучше и крепче строений, оставленных на родине, и которыми к тому же ничего не стоило завладеть. Вместо этого они возвели гораздо более примитивные здания, по большей части поставив их впритык к заброшенным римским виллам. Римские города тоже были им не нужны. Лондон триста лет стоял полупустым.

У себя на родине германцы жили в основном в так называемых «длинных домах» (*longhouses*) — классических крестьянских жилищах, в одном конце которых размещались люди, в другом — домашний скот; однако в Британии захватчики отказались от них, и никто не знает, почему.

Вместо этого они испещрили ландшафт странными маленькими сооружениями, которые в Германии называют *Grubenhauser* («дома-ямы»), хотя их вообще трудно назвать домами — по сути дела, это землянки. Эти жилища действительно представляли собой яму глубиной около полутора футов, над которой была воздвигнута деревянная или соломенная кровля. В течение первых двух веков англосаксонского владычества это были самые многочисленные сооружения в стране.

Большинство археологов считает, что в этих землянках были и полы, которые настилали поверх ямы, превращая ее в неглубокий подпол, но для каких целей — неясно. Согласно двум наиболее распространенным теориям, эти ямы использовались в качестве хранилищ, поскольку в холодном воздухе, циркулирующем под полом, лучше сохраняются скоропортящиеся продукты. Кроме того, циркуляция воздуха защищала бы половые доски от гниения. Однако труд, затраченный на рытье ям (а некоторые были прорублены прямо в коренной породе), несоизмерим с пользой, которую они могли бы принести.

Первая такая землянка была найдена в 1921 году — на удивление поздно, учитывая огромное количество этих древних сооружений, — во время раскопок в деревне Саттон-Кортеней (ныне в графстве Оксфордшир, тогда — в Беркшире). Первооткрывателем стал Эдвард Терлоу Лидс из музея Эшмола при Оксфордском университете. И ему совсем не понравилось то, что он увидел. Люди, жившие в этих домах, влачили «почти пещерное» существование — настолько убогое, что зрелище его «могло вселить неверие в душу современного человека», с отвращением писал профессор Лидс в своей монографии 1936 года. Германцы, продолжает он, жили «среди разбросанных обломков костей, объедков и разбитых горшков... в невообразимо жутких, почти первобытных условиях. Они совсем не заботились о чистоте, бросали объедки в дальний угол лачуги и там их оставляли». Похоже, Лидс счел «грубенхаусы» чуть ли не предательством цивилизации.

Такое мнение продержалось около тридцати лет, но постепенно специалисты задались вопросом: действительно ли люди жили в этих странных маленьких сооружениях? Прежде всего настораживал их размер: типичный «грубенхаус» был размером всего семь на десять футов; такая площадь (а надо учесть, что на ней должен был еще поместиться горящий очаг) показалась бы тесной даже самому бедному крестьянину. Площадь пола составляла девять квадратных футов, из которых очаг занимал чуть больше семи, так что места для жизни практически не оставалось. Так что, возможно, это были вовсе не жилые дома, а мастерские или кладовые. Но

зачем понадобилось устраивать в них подземные помещения, остается загадкой.

По счастью, новые обитатели Британии — англичане, как мы будем называть их впредь, — принесли с собой и второй тип зданий, не таких многочисленных, но в конечном счете куда более важных. Эти постройки были гораздо просторней землянок, но это практически все, что мы можем о них сказать. Это были большие дома, похожие на амбары, с открытым очагом в центре. Слово, которым их называли, уже было известно в 410 году, и сегодня оно считается одним из самых старых в английском языке — *hall*.

Практически вся жизнь человека — и днем, и ночью — проходила в этой единственной комнате дома — большой, по большей части не имевшей ни мебели, ни украшений и всегда задымленной. Слуги и члены семьи ели, одевались и спали вместе — «обычай, который не способствовал ни комфорту, ни соблюдению приличий», писал Джон Альфред Готч в своей классической работе «Эволюция английского дома» (1909). На протяжении всего Средневековья вплоть до XV века холл эффективно справлялся с ролью дома в целом, так что стало обычным делом называть этим словом все жилище — например Хардвик-холл или Тоуд-холл.

Все домочадцы, в том числе прислуга, старики, овдовевшие родители и прочие постоянные обитатели дома, считались членами одной семьи (*family*); они действительно были «близкими» (*familiar*) в самом буквальном и первоначальном смысле этого слова. В лучшем (и обычно самом теплом) месте холла устраивалось возвышение, которое называлось *dais* («кафедра») и на котором хозяин и его семья обедали. Высокие столы в некоторых современных колледжах и школах-пансионах напоминают об этом обычае и подчеркивают давние традиции заведения (или пытаются создать иллюзию этих традиций). Глава семьи звался *husband* — составное слово, буквально означающее «домохозяин» или «домовладелец». Его роль управляющего и кормильца была настолько важна, что само занятие сельским хозяйством получило название *husbandry*. Лишь намного позже слово *husband* стало обозначать брачного партнера и получило современное значение — «муж».

Даже самые большие дома имели не больше трех-четырёх помещений: сам холл, кухню и одну-две дополнительные комнаты, которые могли называться *bower*; *parlour* или *chamber* и в которых глава семьи мог уединиться и заняться личными делами. В IX и X веках в домах часто появляются еще и часовни, которые использовались не только для

богослужения, но и для других домашних дел.

Личные комнаты иногда строились в два этажа. На верхний, который назывался *solar*, поднимались по приставной или весьма примитивной встроенной лестнице. Слово *solar* звучит светло и радостно<sup>[17]</sup>, но на самом деле это всего лишь переделанное французское *solive* — «потолочная балка». Эти верхние комнаты действительно опирались на потолочные балки нижних, и долгое время это были единственные помещения второго этажа, которые могли себе позволить хозяева большинства домов. Как правило, их использовали в качестве кладовых. Людей так мало интересовал современный смысл комнаты как отдельного помещения с определенной функцией, что слово *room* («пространство») стало применяться в значении «комната» только во времена Тюдоров<sup>[18]</sup>.

Большую часть общества составляли лично свободные земледельцы, крепостные крестьяне (сервы) и рабы. После смерти серва помещик имел право взять себе небольшую часть его личного имущества, например какой-нибудь предмет одежды, в качестве налога на наследство. Часто у крестьянина был лишь один предмет одежды — свободное облачение с широкими рукавами, которое называлось *cotta* (от него произошло современное английское *coat* — «пальто»). Тот факт, что крестьянин не мог предложить помещику ничего лучшего, а помещик не брезговал крестьянским рубищем, вполне красноречиво говорит нам о качестве жизни в раннем Средневековье.

Крепостная присяга (серваж) означала, что серв на всю жизнь отдается во власть своему господину. Часто эта присяга освящалась церковью, и этот обычай наверняка приводил в ужас детей серва, поскольку серваж распространялся на всех его потомков. Главной особенностью положения серва было то, что он был лишен свободы передвижения: серв не имел права покинуть земли господина или жениться за пределами поместья. Тем не менее сервы вполне могли преуспевать. Каждый двадцатый серв владел пятьюдесятью акрами земли или более, что для того времени было довольно значительной площадью. И наоборот, многие свободные крестьяне, керлы (*ceorls*), были зачастую слишком бедны, чтобы иметь какие-то преимущества от этой свободы.

Рабы (часто это были пленники, захваченные во время войны) были в IX–XI веках довольно многочисленны: в одном из поместий, занесенных в Книгу судного дня<sup>[19]</sup>, их насчитывалось свыше семидесяти. Обращались с ними не так бесчеловечно, как с рабами более поздних эпох, например, на американском Юге. Хотя раб считался собственностью господина и его

можно было продать, причем довольно дорого (здорового раба-мужчину обменивали на восемь быков), сам он тоже имел право владеть недвижимым имуществом, вступать в брак и свободно перемещаться в пределах поместья. На староанглийском языке раб назывался *thrall*, вот почему, оказавшись в плену чувства, мы говорим о себе *enthralled*<sup>[20]</sup>.

Средневековые земельные владения часто состояли из множества отдельных участков. У одного лорда IX века по имени Вульфрик имелось семьдесят две усадьбы, разбросанные по всей Англии, и даже более мелкие поместья демонстрируют тенденцию к дроблению. Вследствие этого средневековые землевладельцы вместе с их обширными семьями и многочисленными домочадцами находились в постоянном движении. В королевских дворцах насчитывалось до пятисот слуг, а важные пэры и прелаты имели их не меньше сотни. Доставить еду такой куче народа было в те времена не проще, чем доставить сам этот народ к еде, поэтому перемещения и путешествия практически не прекращались, а все бытовые предметы старались делать мобильными, с учетом возможности их частой транспортировки в будущем (неслучайно во многих европейских языках слово, обозначающее предметы домашней обстановки, происходит от латинского *mobilis*, «передвижной», — *meubles, mobile, Mobel*, мебель). Предметы мебели были экономичными, переносными, практичными, и к ним относились «скорее как к оборудованию, нежели как к дорогому личному имуществу», пишет Витольд Рыбчинский<sup>[21]</sup>.

По этой же причине у старинных сундуков обычно делали выпуклые крышки: в дороге с них лучше стекала вода. Главный недостаток сундука состоит, конечно же, в том, что прежде чем доберешься до вещей, лежащих на дне, придется перевернуть все содержимое. Прошло на удивление много времени, прежде чем кто-то додумался встроить в сундук выдвижные ящики, и получился комод. Это случилось уже в начале XVII века.

Даже в лучших домах были, как правило, голые земляные полы, устеленные сверху болотным камышом, причем, пишет в 1524 году побывавший в Англии голландский гуманист Эразм Роттердамский,

*эту подстилку так редко обновляют, что нижний слой нередко лежит не менее двадцати лет. Он пропитан слюной, экскрементами, мочой людей и собак, пролитым пивом, смешан с объедками рыбы и другой дрянью. Когда меняется погода, от полов поднимается такой запах, какой, по моему мнению, никак не может быть полезен для здоровья.*

В результате пол служил настоящим рассадником насекомых и грызунов, а также был отличным инкубатором для чумы. Однако толстый слой соломы на полу считался символом престижа. Французы говорили про богачей, что они «по пояс в соломе».

Голые земляные полы вплоть до XX века были вполне обычны во многих сельских домах Британии и Ирландии. «Недаром первый этаж зовется *ground floor*»<sup>[22]</sup>, — замечает историк Джеймс Аэрз. Впоследствии в богатых домах вошли в обычай деревянные и плиточные полы, однако ковры даже во времена Уильяма Шекспира считались слишком дорогими, чтобы бросать их под ноги. Ковры висели на стенах или лежали на столах. Впрочем, нередко их хранили в комодах и доставали только затем, чтобы похвастаться перед особо почетными гостями.

Обеденный стол представлял собой доску, положенную на козлы, а кухонные шкафчики (*cupboards*) в точности соответствовали своему названию: чашки и другие сосуды расставлялись на простых дощатых полках<sup>[23]</sup>. Стеклянная посуда была редкостью, и соседи за столом часто пили по очереди из одного бокала. Со временем «доски для чашек» были вставлены в декоративные шкафчики (*dressers*), название которых не имеет никакого отношения к одежде и связано исключительно с приготовлением пищи<sup>[24]</sup>.

В более скромных жилищах дело обстояло еще проще. Обеденным столом служила простая доска, которую клали на колени обедающим, а потом снова вешали на стену. Подобный стол так и назывался — «доска» (*board*). Со временем слово *board* стало означать не только поверхность, на которой едят, но и саму еду, отсюда пошло выражение *room and board*<sup>[25]</sup>. По той же причине жильцов и постояльцев общежитий, пансионатов и отелей часто называют *boarders*, а про честного человека, которому нечего скрывать, говорят, что он *above board* — «[держит руки] над столом».

Люди в те времена сидели на простых лавках (*benches*), которые по-французски назывались *banes*, отсюда слово «банкет». До начала XVII века стул или кресло (*chair*) были редкостью (само это слово появилось поздно, лишь к началу XIV века) и предназначались не столько для удобства, сколько для того, чтобы подчеркнуть авторитет сидящего в кресле важного человека. Даже сейчас председатель совета директоров компании называется *chairman of the board*<sup>[26]</sup>, что лишний раз и не совсем кстати напоминает нам про обычаи Средневековья.

На эти простые столы подавались разные диковинные блюда, которые

в наше время уже не едят. В центре меню была птица: орлы, цапли, павлины, воробьи, жаворонки, зяблики, лебеди и многие другие пернатые широко употреблялись в пищу. И дело здесь вовсе не в том, что лебеди и еще более экзотические с нашей точки зрения птицы как-то особенно вкусны (отнюдь нет, иначе мы тоже не стали бы исключать их из рациона), просто особого выбора не было. В течение тысячи лет говядина и баранина почти не появлялись на обеденном столе, поскольку эти животные были слишком ценными, чтобы просто их съесть: они давали шерсть, молоко и навоз или использовались в качестве тягловой силы. На протяжении почти всего периода Средневековья основным источником животного белка для большинства населения служила копченая селедка.



*Рис. 3. Средневековый пир*

Но даже если бы мясо было общедоступным, есть его удавалось бы нечасто. Прибавьте к трем постным дням недели еще сорок дней Великого поста, а также множество церковных праздников, в дни (или накануне) которых вкушать плоть обитателей суши было запрещено. Общее число постных дней менялось, но в максимальном случае могло составить почти половину года.

Зато рыба и другие водные обитатели присутствовали на столе чуть ли не в полном своем многообразии. Если верить епископу Херефордскому, то его домохозяева вкушали селедку, треску, пикшу, лосося, щуку, леща, скумбрию, морскую щуку, хека, плотву, угря, миногу, мерлузу, линя, форель, голяна, пескаря, морского петуха — всего более двух десятков разных видов рыбы. Кроме того, широко употреблялись в пищу барбус, голавль и даже дельфин. До реформ Генриха VIII несоблюдение постов каралось смертной казнью — во всяком случае, теоретически. После разрыва с Римом Генрих отменил посты, однако королева Елизавета снова учредила их — на этот раз ради поддержки английских рыбаков.

После вечерней трапезы обитатели средневекового холла начинали там же готовиться ко сну — ведь отдельных спален у них не было. Современное выражение *to make a bed*<sup>[27]</sup> («постелить постель») в точности описывает действия, которые производил средневековый человек перед тем, как улечься спать: он раскатывал тряпичный тюфяк или насыпал кучу соломы, брал плащ или одеяло и устраивался настолько комфортно, насколько ему удавалось. Похоже, так обстояли дела на протяжении довольно долгого времени. В одном из «Кентерберийских рассказов» Чосера жена мельника в своем же собственном доме случайно укладывается в чужую постель; вряд ли она могла бы так ошибиться, если бы каждую ночь спала на одном и том же месте. До XVII века, а кое-где и позже слово *bed* («кровать») означало лишь матрас и его набивку, а вовсе не всю кровать вместе с рамой-каркасом. Для этого имелось другое обозначение — *bedstead* (сейчас это слово означает как раз кровать без матраса).

Судя по описям имущества, составленным в эпоху королевы Елизаветы, люди того времени уделяли довольно большое внимание кроватям и постельным принадлежностям, второе по значимости место занимала кухонная утварь. Все остальное имущество обычно описывалось весьма неопределенно — «и несколько столов и скамеек». Видимо, хозяева достаточно равнодушно относились к своей мебели — так же, как мы не

испытываем душевной привязанности к своей бытовой технике. Разумеется, нам не хотелось бы остаться без всех этих необходимых приборов, однако мы не считаем их фамильной ценностью.

Еще одна вещь, которую скрупулезно включали в описи, — это, как ни странно, оконные стекла. В XVII веке застекленные окна можно было увидеть только в церквях и в немногих богатых домах. Элеонора Годфри в своей книге «Развитие английской стекольной промышленности, 1560–1640» рассказывает, как в 1590 году некий олдермен из Донкастера завещал свой дом жене, а окна — сыну. В тот же период хозяева замка Алник, главной резиденции герцогов Нортумберлендских, отправляясь в путешествие, вынимали стекла из оконных рам и отправляли их в кладовую, чтобы они случайно не разбились.

Даже в самых богатых домах стеклили, как правило, только главные комнаты. Все остальные окна закрывались ставнями. Застекленные окна долго оставались редкостью. В 1564-м, в год рождения Уильяма Шекспира, их не было даже в домах самих стекольщиков. Полвека спустя, когда великий драматург умер, ситуация несколько изменилась. К тому времени в большинстве домов представителей среднего класса застекленные окна имелись примерно в половине комнат.

Одно известно точно: комфорта не было даже в лучших домах. Поразительно, как много времени понадобилось людям, чтобы достичь хотя бы самого элементарного уровня удобств. Впрочем, это вполне объяснимо: жизнь в то время была крайне суровой. Средневековый человек по большей части просто выживал. Голод был обычным явлением. Запасы продовольствия были недостаточными, поэтому, когда случался неурожай — а это происходило в среднем раз в четыре года, — людям приходилось голодать. Особенно катастрофическими в этом смысле для Англии стали 1272, 1277, 1283, 1292 и 1311 годы, а затем случился убийственно долгий недород — целых пять лет, 1315–1319. Разумеется, в такие годы сильнее обычного свирепствовали заразные болезни, уносящие множество жизней. Люди, которым суждена была недолгая жизнь, полная постоянных лишений, вряд ли сильно беспокоились об украшении своего быта. Но даже с учетом всех неблагоприятных обстоятельств удивляет медлительность прогресса в этой области. Например, дым открытого очага выводился наружу через отверстия в крыше. Но эти же отверстия пропускали внутрь дождь и сквозняки — до тех пор, пока кто-то в конце концов не изобрел особое устройство с решеткой, которая пропускала дым, но при этом защищала помещение от дождя, ветра и птиц. Что и говорить, изобретение замечательное, однако в XIV веке, когда до него додумались,

уже появились камины с дымовыми трубами, и потребность в подобных вытяжках отпала сама собой.

Нам почти ничего не известно об интерьерах частных домов вплоть до позднего Средневековья. По словам историка мебели Эдварда Люси-Смита, «мы больше знаем о том, на чем сидели и лежали древние греки и римляне, чем о предметах мебели, которыми пользовались англичане всего восемьсот лет назад». До нас почти не дошло мебели старше XIV века, а ее изображения на миниатюрах и картинах немногочисленны и противоречивы. Историки мебели в полном отчаянии изучают даже детские стишки и песенки тех лет. Часто пишут, что в Средние века пользовались некой скамеечкой для ног, которая называлась *tuffet*, — предположение, основанное исключительно на старинном стишке:

Little Miss Muffet  
Sat on a tuffet<sup>[28]</sup>...

На самом деле если такой предмет обстановки и существовал, то нигде, кроме как в этой детской песенке, он не упоминается.

Мы сейчас, конечно, говорим о домах относительно зажиточных людей, но, с другой стороны, не следует забывать, что богатые жилища необязательно были хорошо обставлены, а бедные не всегда были так уж плохи. К тому же большие дома в среднем не отличались какой-то особенной сложностью планировки — просто там обычно имелись более просторные холлы.

О самих домах зачастую известно еще меньше, так как практически ни одна постройка раннего Средневековья не сохранилась до наших дней. Англосаксы широко использовали в качестве строительного материала древесину (*timber*) и даже называли любое здание *timbran*, однако дерево, к сожалению, недолговечно, так что от этих домов почти ничего не осталось. Насколько мы сейчас знаем, от англосаксонских времен до нас дошла всего одна дверь — выдавшая виды дубовая створка в Вестминстерском аббатстве, которая привлекла к себе внимание лишь летом 2005 года, когда ученые поняли, что ей 950 лет и, значит, это самая старая дверь в стране.

Здесь стоит задаться вопросом: а каким образом вообще удалось определить возраст двери? Ответ дает наука дендрохронология: надо сосчитать годовые кольца на срезе дерева. Эти кольца — очень точный показатель, своего рода паспорт дерева, так как каждое кольцо соответствует одному году его жизни. Если у вас есть срез ствола дерева и

вы знаете его возраст, то, сравнив рисунок его колец с рисунком колец на стволе другого дерева того же периода, вы сможете узнать возраст последнего — надо лишь найти совпадающие рисунки. Например, для дерева, которое росло с 1850 до 1970 года, и для второго, росшего в 1890–1910 годах, одинаковые годовые кольца укажут период, когда эти деревья были одновременно живы. Составив каталог колец, вы сможете заглянуть в далекое прошлое.

По счастью, в Британии большинство домов было построено из дуба: это единственное британское дерево, возраст которого можно четко определить. Но даже когда имеешь дело с лучшими деревьями, все равно не обходится без проблем. Нет двух деревьев с совершенно одинаковыми рисунками колец. У одного дерева кольца могут быть более узкими, чем у другого, — например, потому, что оно росло в тени, испытывало большее давление со стороны деревьев-соперников или получало меньше воды. На практике вам понадобится огромный набор последовательностей колец, чтобы составить надежную базу данных, а для получения точных результатов вы должны будете произвести целый ряд сложных математических вычислений — и для этого вам понадобится волшебная теорема преподобного Томаса Байеса, о которой мы упоминали в первой главе.

Взяв образец древесины толщиной с карандаш и исследовав его вышеописанным способом, ученые определили, что дверь в Вестминстерском аббатстве сделана из дерева, срубленного в период между 1032 и 1064 годами, перед самым нормандским завоеванием, иными словами — в конце англосаксонского периода. И эта единственная дверь — практически все, что осталось нам от построек тех времен<sup>[29]</sup>.

Когда нет достоверных фактов, рождается множество дискуссий. В авторитетной книге Джейн Гренвилл «Средневековое жилище» есть две интересные иллюстрации, показывающие, как две группы археологов на основе одной и той же информации реконструировали «длинный дом» из Уоррэм-Перси, средневековой деревни в Йоркшире. На одной иллюстрации изображено незатейливое, примитивное сооружение, стены которого сделаны из смеси глины и навоза, а крыша — из соломы или дерна. На другом рисунке мы видим значительно более основательную и сложную каркасную постройку с умело и тщательно пригнанными массивными балками. Причина такого расхождения проста: археологические находки по большей части свидетельствуют о том, как разрушилось здание, а не о том, как оно выглядело.

Довольно долго считалось, что крестьянские дома представляли собой

жалкие лачуги с тонкими стенами, которые легко сдул бы волк из сказки про трех поросят. Эти хрупкие хижины были якобы не более долговечными, чем одно поколение их обитателей. Гренвилл цитирует некоего специалиста, который весьма самоуверенно заявляет, будто до эпохи Тюдоров дома простолюдинов были «одинаково плохого качества по всей Англии» — обобщение столь же огульное, сколь и неверное.

В настоящее время все больше фактов говорит в пользу того, что простые люди Средних веков и даже, весьма вероятно, более давних времен вполне могли жить в хороших домах. Одно из подтверждений этого — развитие ремесел, таких как кровельное, плотничное и штукатурное дело, в течение Средневековья. Двери все чаще стали оснащаться замками, а это значит, что хозяева дорожили своим домом и его содержимым. Появилось множество типов крестьянских домов: «с холлом в один этаж», «с холлом в два этажа», «с перекрестной галереей и коровником», «с перекрестной галереей без коровника» и т. д. Пусть эти различия были не очень значительными, но люди, жившие в этих зданиях, ценили их характерные особенности.

Давно было замечено, что в постройках раннего Средневековья пространство выше человеческого роста не использовалось, поскольку обычно оно все было наполнено дымом. Открытый очаг имеет ряд очевидных преимуществ: он распространяет тепло во всех направлениях, так что люди могут греться со всех четырех сторон от него. Однако это все равно что жечь костер посреди жилой комнаты: дым свободно распространяется по помещению, и когда многочисленные обитатели дома проходят по холлу, а в окнах при этом нет стекол, то каждый случайный порыв ветра обязательно снесет клубы дыма кому-нибудь в лицо. Если же воздух неподвижен, то дым поднимается к потолку и висит там густым облаком до тех пор, пока не уйдет через отверстие в крыше.

Казалось бы, решение напрашивается само собой: надо всего-навсего добавить к очагу практичную дымовую трубу. Труба, однако, появилась нескоро — не потому, что это никому не пришло в голову, а из-за технических трудностей. Огонь, пылающий в большом очаге, дает много жара, а значит, нужны прочный дымоход и хорошая заслонка. Эти приспособления научились делать только примерно к 1330 году, когда дымовая труба впервые упоминается в английских текстах. Каминные трубы к тому времени уже давно существовали (их принесли с собой еще норманны), однако не отличались высоким качеством. Для того чтобы устроить в камине тягу, в толстой внешней стене норманнского замка проделывали отверстие, через которое дым выходил наружу. Но тяга при такой

конструкции была плохой, огонь получался слабый и тепла он давал немного, поэтому такие каминь редко использовались где-либо еще, кроме замков. К тому же в деревянных домах, в которых жило большинство населения, они попросту были опасны.

В конце концов ситуацию изменило появление качественных кирпичей, которые по жаропрочности значительно превосходили почти любой камень. С другой стороны, дымовые трубы позволили перейти на другое топливо: теперь в камине можно было жечь уголь, что было весьма кстати, поскольку британские запасы древесины резко сократились. Едкий и ядовитый угольный дым приходилось удерживать в камине, не давая ему наполнить комнату, и направлять вверх по дымоходу. В результате в доме стало чище, а в окружающем мире гораздо грязней — и, как мы увидим далее, это существенно отразилось на внешнем виде и конструкции зданий.

Между тем отказ от открытого очага обрадовал далеко не всех. Многим не хватало плывущего по комнате дыма; им казалось, что они были здоровей, когда постоянно «коптились в древесном дыму», записывает один мемуарист. Даже в 1577 году некий Уильям Харрисон вспоминает, что во времена открытых очагов «у нас никогда не болела голова». Кроме того, дым не давал птицам гнездиться под стропилами; и к тому же, как полагали, он делал стропила более прочными.

Мало того, люди жаловались, что в домах стало гораздо холоднее, чем раньше (и это как раз было правдой). Чтобы увеличить эффективность каминов, их размер постоянно увеличивали. Некоторые были такими огромными, что в них встраивали скамейки: обитатели дома сидели прямо внутри камина — только там и можно было как следует согреться.

Однако, проиграв с точки зрения тепла и комфорта, британцы выиграли с точки зрения свободного пространства, и это оказалось самым веским аргументом в пользу каминов. Их появление стало одним из важнейших поворотных моментов в истории быта — наконец стало возможным освоить пространство выше человеческого роста: настелить доски поперек потолочных балок и создать на втором этаже целый новый мир.

## II

Когда дома начали расти в высоту, это изменило все. Число комнат стало увеличиваться: богатые домовладельцы поняли, какое это удовольствие — иметь личное пространство. Прежде всего на втором этаже

стали устраивать большое помещение, где помещик и его родные занимались всем тем же, что раньше делали в холле — ели, спали, отдыхали и развлекались, — только в отсутствие остальных (и весьма многочисленных) домочадцев. Они возвращались в холл только во время пиров и других особых мероприятий. Слуги перестали считаться частью семьи и стали... просто слугами.

Идея личного пространства, которая сейчас кажется нам совершенно естественной, была воспринята как откровение. Люди пытались выжать из этого нового удовольствия как можно больше. Вскоре состоятельным людям показалось уже недостаточно жить отдельно от своих слуг и захотелось проводить время в полном одиночестве — даже без тех, кто был равен им по социальному статусу.

По мере того как дома разрастались, а бытовые условия становились все более сложными, возникали и переименовывались слова, которые описывали разные виды новых комнат: кабинет, спальня, личные апартаменты, кладовая, молельня, гостиная, домашняя библиотека — все эти понятия появились в XIV веке или ненамного раньше. За ними вскоре последовали и другие: галерея, приемная, гардеробная, салон, апартаменты, гостиничный номер. «Как резко все это отличается от древнего обычая, согласно которому все домочадцы и днем и ночью жили вместе в большом холле!» — пишет Джон Альфред Готч с необычной для него многословностью. Правда, он не упоминает еще один новый тип комнаты — будуар, который с самого начала стал ассоциироваться с любовными играми.

Несмотря на то, что люди начали все чаще прибегать к относительному уединению, их жизнь все равно оставалась куда более общественной и открытой для окружающих, чем сегодня. В уборных обычно имелось несколько отверстий рядом — для удобства общения, а на изображениях того времени мы нередко видим, как парочки милуются в постели или в бане, а вокруг них суетятся слуги, тут же сидят друзья — играют в карты или разговаривают как ни в чем не бывало.

Функции этих новых комнат были определены не так строго, как сейчас. Все они отчасти были своего рода гостиными. На итальянских чертежах эпохи Ренессанса и более позднего времени комнаты вообще не подразделяются на какие-то конкретные виды, потому что они не использовались постоянно для одной и той же конкретной цели. Хозяин дома мог выбрать себе наиболее прохладное (или солнечное) место в доме, часто туда же переставляли и часть мебели. Поэтому если комната на плане и имеет название, то какое-нибудь вроде *mattina* («утренняя») или *sera*

(«вечерняя»).

Англичане в этом вопросе тоже не были слишком последовательны. В спальне не только спали, но и ели (отдельно от других домочадцев), а также принимали особенно дорогих гостей. Спальня прежде всего стала местом уединения, где можно было бы отдохнуть от бесчисленных домочадцев. (Слово *bedroom*<sup>[30]</sup> впервые употребляет Шекспир в пьесе «Сон в летнюю ночь», написанной примерно в 1590 году, однако он имел в виду всего лишь кровать. В значении «комната для сна» это слово начало широко использоваться только в следующем столетии.)

Маленькие комнатухи, примыкавшие к спальням, использовались для самых разных целей, от отправления естественных потребностей до тайных свиданий, поэтому дошедшие до нас названия таких помещений на удивление многообразны. Сначала появилось пространство под названием *closet*<sup>[31]</sup>, которое, по словам Марка Жируара, автора книги «Жизнь в английском загородном доме», «имело давнюю и славную историю, прежде чем было разжаловано до большого буфета или комнаты с раковиной и швабрами для горничной». Изначально же это помещение представляло собой скорее кабинет, чем кладовую. Что же касается слова *cabinet*<sup>[32]</sup> (сокращенное от *cabin*<sup>[33]</sup>), то в середине XVI века оно еще не получило современного значения и означало просто футляр для ценных вещей. Однако довольно скоро так стали называть и целую комнату. Французы, как обычно, усовершенствовали английскую идею, и к XVIII веку в большом французском шато можно было увидеть не только простой кабинет, но и «кабинет для компаний» (*cabinet de compagnie*), «кабинет для собраний» (*cabinet d'assemblée*), «кабинет для ценных вещей» (*cabinet de propriété*) и «туалетный кабинет» (*cabinet de toilette*).

В Англии кабинет сделался самой укромной комнатой в доме — это была святая святых, где, например, устраивались тайные свидания. Потом со словом произошла странная метаморфоза, и к 1605 году оно уже стало означать не только комнату, где король совещался со своими министрами, но и самих министров. В результате сейчас одним и тем же словом именуют и правительство, и шкафчик в ванной, где мы держим лекарства.

Часто при комнате-кабинете имелась маленькая каморка (или просто закуток), обычно именовавшаяся «укромным уголком» (*privy*). В каморке имелась скамья с дырой, стоявшая над выгребной ямой, заполненной водой, или просто над глубоким колодцем. Иногда приходится слышать, что от этого слова произошли названия атрибутов английской власти — Малой государственной печати (*Privy Seal*) и Тайного совета (*Privy*

*Council*). На самом же деле эти термины пришли в Англию вместе с норманнами примерно за два века до того, как слово *privy* приобрело значение «уборная». Впрочем, придворный, отвечавший за королевский сортир (он назывался *groom of the stool*, «чистильщик седалища»), со временем превратился в обер-камергера (*groom of the stole*), одного из самых приближенных к монарху вельмож.

Такие же превращения претерпели и многие другие слова. Например, слово «гардероб» (*wardrobe*) первоначально означало кладовую для хранения одежды. Потом так стали называть последовательно: гардеробную (комнату для одевания), спальню, туалет и, наконец, предмет мебели. Кроме того, это слово получило и еще одно значение: чей-либо набор одежды.

Для того чтобы вместить все новые и новые виды комнат, дома стали расти не только ввысь, но и вширь. Появился совершенно новый тип жилища — так называемые «чудо-дома» (*prodigy houses*), распространившиеся по всей сельской местности. Это были настоящие дворцы — обычно в три, а то и в четыре этажа, поражавшие своими размерами. Самым огромным из них был Ноул-хаус в графстве Кент, который все рос и рос — до тех пор, пока не занял около четырех акров земли. В нем имелось семь внутренних дворов (по одному на каждый день недели), пятьдесят две лестницы (по одной на каждую неделю года) и триста шестьдесят пять комнат (по одной на каждый день года). Во всяком случае, по слухам.

Глядя теперь на эти здания, иногда с удивлением замечаешь, как строители уже в процессе работы осваивали новые навыки. Пример — Хардвик-холл в Дербишире, построенный в 1591 году для графини Шрусбери — Бесс Хардвикской, как ее называли. Хардвик-Холл был чудом своего времени и прославился баснословной суммой, потраченной на его окна. Был даже популярный стишок:

Hardwick Hall,  
More glass than wall. [\[34\]](#)

Когда вы сегодня смотрите на Хардвик-холл, то количество и размер окон не кажутся чем-то необычным, но для 1591 года это было настолько неслыханное дело, что архитектор (предположительно это был Роберт Смитсон) не знал, как их все расположить. Одни окна получились

фактически глухими, потому что прямо за ними расположены дымоходы, другие оказались общими для комнат разных этажей. В некоторых больших помещениях окон явно недостаточно, а в некоторых маленьких — наоборот, слишком много. В общем, далеко не всегда окна соответствуют пространствам, которые они освещают.

Бесс наполнила свое жилище серебром, гобеленами, картинами и прочими предметами роскоши, лучше которых не было ни в одном частном доме Англии, но, несмотря на это, сегодня интерьеры Хардвик-холла удивляют своей пустотой и скромностью. Полы были покрыты простыми тростниковыми матами. В невероятно длинной галерее протяженностью в 166 футов стояло всего три стола, несколько стульев с прямыми спинками, скамейки и два зеркала (которые в елизаветинские времена являлись исключительной ценностью и стоили дороже любой картины).

Люди не только строили огромные дома, они строили их в большом количестве. Рядом с Хардвик-холлом имелся еще один дворец (после постройки новой резиденции его стали называть Старым Хардвик-холлом). Сегодня от него остались одни руины, но при жизни Бесс и в течение следующих ста пятидесяти лет владельцы пользовались обеими резиденциями.

Естественно, самые большие дома строили (и приобретали) монархи. На момент смерти Генриха VIII в его распоряжении было ни много ни мало, сорок два дворца. Впрочем, его дочь Елизавета здраво рассудила, что гораздо дешевле гостить в чужих домах, взвалив дорожные издержки на плечи гостеприимных хозяев. Таким образом, она возродила древнюю практику, когда король со свитой в течение года путешествовал по своей стране (такие путешествия назывались «странствия» [*progresses*]). На самом деле королеву Елизавету трудно назвать заядлой путешественницей: она никогда не бывала в других странах и даже в Англии старалась не слишком удаляться от собственных дворцов, но гостя из нее получилась отменная: ее ежегодные поездки длились по восемь-двенадцать недель, и за это время она гостила примерно в двух дюжинах домов.

Вельможа, к которому направлялся монарх, обычно встречал королевский кортеж со смешанным чувством восторга и ужаса. С одной стороны, визит монарха обещал беспрецедентную возможность продвинуться при дворе и повысить свой статус и престиж, а с другой — неизбежно влек за собой чудовищные расходы. Королевский двор насчитывал до полутора тысяч человек, из них примерно полторы сотни (в случае с Елизаветой I) сопровождали монарха во время ежегодных «странствий». Хозяевам домов, принимавших королеву, приходилось не

только сильно тратиться на еду, размещение и развлечения армии избалованных придворных, но и терпеть мелкие кражи, порчу имущества и другие малоприятные сюрпризы. Когда двор Карла II покинул Оксфорд (это было примерно в 1660 году), хозяева дома, где гостил его величество, были крайне шокированы тем, что высочайшие гости «оставили свои испражнения во всех углах, каминах, кабинетах, угольных подвалах и погребах».

Однако, поскольку королевский визит сулил неплохие дивиденды, большинство хозяев из кожи вон лезло, стараясь ублажить монарха. Устраивались тщательно продуманные маскарады и пышные зрелища, специально создавались озера для лодочных прогулок, к домам пристраивали дополнительные флигеля и даже переделывали весь окружающий ландшафт в надежде сорвать с королевских уст тихий возглас удовольствия.

Подарки сыпались как из рога изобилия. Лорд-хранитель главной печати сэр Джон Пакеринг подарил Елизавете шелковый веер, украшенный бриллиантами, несколько драгоценных камней россыпью, на редкость роскошное платье и пару исключительных клавесинов, а когда ее величество за обедом восхитилась серебряными столовыми приборами и солонкой, все это тут же было ей подарено.

Уважаемые министры из всех сил старались угодить прихотям королевы. Когда Елизавета посетовала лорду Берли, что его линкольнширский загородный дом находится слишком далеко, тот тут же купил и расширил другой, поближе. Кристофер Хаттон построил дворец Холденби-хаус специально для того, чтобы принять в нем королеву, но она так ни разу и не приехала, и на момент смерти у Хаттона был долг в 18 000 фунтов стерлингов (примерно девять миллионов на сегодняшний счет).

Иногда у строителей таких домов не было особого выбора. Яков I приказал сэру Фрэнсису Фейну, первому графу Уэстморленду, масштабнo перестроить Апеторп-холл в Нортхэмптоншире, чтобы король и его любовник герцог Бэкингем могли по пути в спальню прогуляться по роскошной анфиладе.

Хуже всего приходилось тем, кому монархи давали какие-либо долгосрочные и дорогостоящие поручения. Такова была участь мужа Бесс Хардвикской, шестого лорда Шрусбери. В течение шестнадцати лет он выполнял роль тюремщика при шотландской королеве Марии Стюарт, что фактически означало, что ему приходилось постоянно принимать у себя в гостях ее ближайших сподвижников — шайку крайне враждебных заговорщиков. Можно лишь представить, как оборвалось его сердце, когда

он увидел на своей подъездной аллее караван из восьмидесяти конных фургонов — кортеж растянулся на треть мили, — в котором прибыла «королева шотландцев», полсотни ее слуг и министров, а также все их пожитки. Шрусбери не только разместил и кормил всю эту ораву, но и вынужден был содержать личную армию, которая обеспечивала ему безопасность. Огромные денежные расходы и эмоциональное напряжение привели к тому, что его брак с Бесс так и не стал счастливым... Впрочем, этому браку в любом случае не суждено было стать таковым, поскольку Бесс морально подавляла мужчин; Шрусбери был ее четвертым мужем, и их супружество явилось скорее деловым союзом, чем единением сердец. В конце концов Бесс обвинила мужа в любовной связи с шотландской королевой (весьма опасное обвинение, даже если и ложное), и они расстались. Именно тогда Бесс начала строить одно из самых больших зданий своего времени.

Поскольку жилые дома постоянно увеличивались в размерах, холл утратил свое первоначальное назначение и стал просто парадным вестибюлем с лестницей, помещением, куда входили с улицы и через которое попадали в другие, более важные части дома. Так был устроен, несмотря на свое название, и Хардвик-холл — все главные его покои находились наверху. Холл больше никогда не станет по-настоящему важным местом в доме. Уже в 1663 году словом «холл» называли весьма скромное помещение — прихожую и примыкающий к ней коридор. Между тем, как ни странно, первоначальный престижный смысл этого слова сохранился и даже расширился; теперь «холлами» называют большие публичные аудитории и общественные учреждения: Карнеги-холл, Королевский Альберт-холл, *town hall* («ратуша») или даже *hall of fame* («зал славы»).

И все же в частном жилище холл (прихожая) по-прежнему считается не слишком почетным помещением. В старом доме приходского священника, как и в большинстве домов тех дней, он представляет собой тесный вестибюль, маленькое утилитарное пространство со шкафчиками и крючками, где мы снимаем сапоги и вешаем куртки, предвкушая, как войдем в сам дом. Многие из нас неосознанно признают этот факт, приветствуя гостей дважды: в первый раз — у дверей, когда они входят в холл с улицы, и еще раз — уже после того, как они разденутся в холле, — радушным и еще более энергичным двойным возгласом: «Входите! Входите!»

А теперь давайте тоже скинем верхнюю одежду и войдем наконец в комнату, с которой действительно начинается дом.

## Глава 4

### Кухня

#### I

Летом 1662 года Сэмюэл Пипс, в то время перспективный молодой чиновник морского ведомства, пригласил своего начальника, комиссара адмиралтейства Питера Петта, на обед к себе домой на Сизинг-лейн, рядом с лондонским Тауэром. Двадцатидевятилетний Пипс наверняка надеялся произвести впечатление на начальника, но, когда ему подали тарелку с осетриной, в ужасе обнаружил в ней «кучу копошащихся мелких червячков».

Пипс чуть не сгорел со стыда: даже в то время люди редко обнаруживали в своих тарелках столь бурные проявления жизни. Зато им приходилось довольно часто сталкиваться с тем, что пища была несвежей или подозрительной по составу. Плохие условия хранения приводили к тому, что продукты быстро портились или же их подкрашивали и разбавляли с помощью опасных и совершенно неаппетитных веществ.

Фальсификаторы продуктов питания прибегали к поистине дьявольским ухищрениям. В сахар и другие дорогостоящие приправы и специи частенько подсыпали гипс, алебастр, песок, пыль и прочие несъедобные вещи. В масло добавляли свечное или свиное сало. Любитель чая, согласно различным авторитетным источникам, запросто мог, сам того не подозревая, выпить настой чего угодно, от древесных опилок до размельченных в порошок овечьих экскрементов. В одной тщательно досмотренной партии чая, пишет Джудит Фландерс в своей книге «Викторианский дом», настоящего чая оказалось чуть больше половины, остальная часть груза состояла из песка и земли. В уксус подмешивали серную кислоту (для пущей остроты), в молоко — мел, в джин — скипидар. От арсенида меди овощи делались зеленее, а желе становилось блестящим. Хромат свинца придавал золотистый оттенок хлебу и булкам, а горчице — более яркий цвет. Ацетат свинца использовался для того, чтобы сделать напитки слаще, а свинцовый сурик улучшал внешний вид глостерского сыра (хотя, разумеется, не делал его более полезным).

Кажется, не было такого продукта, который ушлые лавочники не могли

«улучшить» и удешевить с помощью различных мошеннических манипуляций. Тобайас Смоллетт пишет в своем популярном романе «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771):

*Не дальше чем вчера я видел на улице грязную торговку, собственными своими слюнями смывавшую пыль с вишен, и, кто знает, какая-нибудь леди из Сент-Джемского прихода кладет в свой нежный ротик эти вишни, которые перебирала грязными, а быть может, и шелудивыми пальцами сент-джемская торговка. О каком-то грязном месиве, которое называется клубникой, и говорить нечего; ее перекладывают сальными руками из одной пыльной корзины в другую, а потом подают на стол с отвратительным, смешанным с мукой, молоком, которое именуется сливками<sup>[35]</sup>.*

Особенно доставалось хлебу. Снова дадим слово Смоллетту:

*Хлеб, который я ем в Лондоне, — неудобоваримое тесто, смешанное с мелом, квасцами и костяным пеплом, в равной мере безвкусный и вредный для здоровья.*

Подобные обвинения в то время были обычными и, вероятно, высказывались и гораздо раньше (вспомним строчку из сказки про Джека и бобовый стебель: «Я раскрошу его кости и сделаю себе хлеб»). Самое раннее упоминание о широко распространенных способах фальсификации хлеба обнаружено мной в анонимном памфлете под названием «Открывшийся яд, или Пугающая правда», написанном в 1757 году. В памфлете от лица некоего «доктора, нашего доброго друга» авторитетно заявлялось, что «мешки со старыми костями нередко используются некоторыми пекарями» и что «склепы с мертвецами подвергаются разграблению ради того, чтобы добавить нечистот в пищу живым». Почти в то же время вышел в свет и другой подобный памфлет — «Происхождение хлеба, честно и нечестно изготовленного», написанный врачом Джозефом Мэннингом, в котором утверждалось, что пекари обычно добавляют в тесто бобовую муку, мел, свинцовые белила, гашеную известь и костную золу.

Подобное представление о старинном хлебе бытует даже сейчас, хотя уже больше семидесяти лет назад Фредерик Филби в своей классической работе «Фальсификация пищевых продуктов» (1934) доказал, что эти обвинения несправедливы. Филби попробовал испечь хлеб, используя те

самые нежелательные примеси, те пропорции и технологию выпечки, которые описывались в разоблачительных памфлетах. Однако все батоны, кроме одного, либо получились твердыми как камень, либо вообще не пропеклись. Большинство из них имело отвратительные запах и вкус. На выпечку некоторых ушло больше времени по сравнению с «правильным» хлебом, а значит, фальсификация на деле оказалось бы экономически менее выгодной. Ни одна фальсифицированная буханка не была съедобной.

Дело в том, что хлеб — продукт деликатный, и если добавить в него неправильные ингредиенты, пусть даже в малых количествах, это сразу будет заметно. Впрочем, то же самое можно сказать чуть ли не про все пищевые продукты. Трудно представить себе человека, который выпьет чашку чая и не поймет, что заварка наполовину состояла из металлических опилок. Кое-какие фальсификации, несомненно, имели место, особенно когда речь шла об улучшении цвета или придании продукту более свежего вида, однако в основном описанные случаи или единичны, или вымышлены, и это наверняка относится ко всем хлебным примесам (за исключением жженных квасцов, о которых мы поговорим подробнее чуть позже).

Трудно переоценить значение хлеба в английском рационе XIX века. Для многих людей хлеб был не просто важным дополнением к обеду, но самим обедом. До 80 % бюджета семьи, по свидетельству историка хлеба Кристиана Петерсена, уходило на еду, и 80 % этой суммы забирал хлеб. Даже представители среднего класса две трети своего дохода тратили на еду (сегодня этот показатель составляет примерно одну четверть), по большей части — на хлеб. Ежедневный рацион бедной семьи, как свидетельствуют практически все источники тех времен, предположительно включал несколько унций чая и сахара, овощи, один-два ломтика сыра и иногда совсем немного мяса. Все остальное — это хлеб.

Поскольку хлеб был очень важным продуктом питания, существовали строгие законы, регламентирующие его состав и вес и грозящие суровыми наказаниями за их нарушение. Пекаря, обманувшего своих покупателей, могли оштрафовать на десять фунтов за каждую проданную буханку или приговорить к месяцу работного дома. Одно время недобросовестным пекарям грозила высылка в Австралию. Эти законы держали в постоянном напряжении хлебопеков, так как хлеб в процессе выпекания теряет вес из-за выпаривания влаги, и легко допустить случайную ошибку. Чтобы подстраховаться, пекари иногда добавляли по одной лишней буханке к каждой продаваемой дюжине, отсюда пошло выражение *baker's dozen* («чертова дюжина»)<sup>[36]</sup>.

Однако квасцы — дело другое. Это химическое соединение, представляющее собой двойной сульфат алюминия, использовалось в качестве закрепителя для красок, а также служило осветляющим средством во всех видах производственных процессов, в том числе и в обработке кожи. Квасцы отлично отбеливают муку и в данном случае совершенно безвредны. Дело в том, что для этого требуется совсем немного квасцов: всего три-четыре столовые ложки на 280-фунтовый мешок муки, а такое ничтожное количество никому не повредит. Вообще говоря, квасцы даже сейчас добавляются в пищевые продукты и лекарственные препараты. Это стандартный компонент кондитерского разрыхлителя и вакцин. Иногда квасцы из-за их очистительных свойств добавляются в питьевую воду. Они делают муку низших сортов — вполне качественную с точки зрения съедобности, но не слишком привлекательную внешне — вполне приемлемой для массового употребления, тем самым позволяя пекарям более эффективно использовать имеющуюся у них пшеницу. Кроме того, квасцы выполняли функцию реагента-осушителя».

Не всегда инородные компоненты добавлялись в продукты с целью увеличить объем последних. Иногда они оказывались там случайно. В 1862 году в ходе парламентской проверки пекарен обнаружилось, что во многих из них «полно паутины, которая стала тяжелой от налипшей муки и свисает вниз длинными клоками», готовыми упасть в первый попавшийся котел или поддон. По стенам и столешницам сновали насекомые. В мороженом, продававшемся в Лондоне в 1881 году, можно было встретить человеческие волосы, кошачью шерсть, насекомых, хлопковые волокна и тому подобные включения, но это было скорее следствием плохой санитарии, чем жульнической попыткой увеличить вес продукта. В те же времена одного лондонского кондитера оштрафовали «за то, что он придавал своим конфетам желтый оттенок, добавляя в них пигмент, оставшийся у него после покраски телеги». Однако сам факт, что подобные происшествия привлекали внимание газет, говорит об их исключительности.

«Путешествие Хамфри Клинкера» Смоллетта — это длинный роман, написанный в виде серии писем. Он рисует яркую картину английской жизни XVIII века, поэтому даже сейчас его часто цитируют и используют как источник. В одном из наиболее красочных эпизодов Смоллетт рассказывает, что молоко по лондонским улицам носят в открытых ведрах,

*куда попадают помои, что выплескиваются из дверей и окон, плевки и табачная жвачка пешеходов, брызги грязи из-под колес и всяческая дрянь, швыряемая негодными мальчишками*

*ради забавы; оловянные мерки, испачканные младенцами, снова погружают в молоко, продавая его следующему покупателю, а в довершение всего в сию драгоценную мешанину падают всяческие насекомые с лохмотьев пакостной замарахи, которую величают молочницей.*

То, что жанр этой книги — сатира, а вовсе не документальная проза, обычно не берется в расчет. Смоллетт писал свой роман, находясь за пределами Англии: он медленно умирал в Италии, где и скончался через три месяца после его публикации.

Впрочем, я отнюдь не хочу сказать, что в те времена в Англии не было плохих продуктов питания. Разумеется, были, и основную проблему представляло зараженное и гнилое мясо. Смитфилдский рынок, главный мясной рынок Лондона, славился своей грязью. Один очевидец парламентской проверки 1828 года рассказывал, что видел «насквозь протухшую коровью тушу, истекавшую желтым мутным жиром». Скот, который пригоняли в город издалека, часто оказывался измученным, больным, ни на что не годным. Иногда скотина была вся покрыта язвами. Овец подчас свеживали прямо живьем. На Смитфилдском рынке продавалось так много испорченного товара, что его даже окрестили *sadtag* — жаргонное выражение, которое означает «тухлятина».

Даже если помыслы производителей были чисты, сами продукты не всегда являлись к столу свежими. Доставить скоропортящиеся продукты на удаленные рынки в съедобном состоянии было не так-то просто. Состоятельные люди давно мечтали видеть у себя на столе заморские яства или фрукты не по сезону, и в январе 1859 года едва ли не вся Америка пристально следила за кораблем, который на всех парусах шел из Пуэрто-Рико в Новую Англию, имея на борту триста тысяч апельсинов. Когда судно прибыло в порт назначения, более двух третей груза сгнило, превратившись в ароматную кашу. Производители из еще более отдаленных районов не рассчитывали даже на такой результат. В бескрайних пампасах Аргентины паслись огромные стада крупного рогатого скота, однако аргентинцы не имели никакой возможности доставить мясо в Европу или Северную Америку, поэтому большинство животных перерабатывалось на костную муку и жир, а мясо просто выбрасывали. Пытаясь им помочь, немецкий химик Юстус фон Либих в середине XIX века предложил технологию изготовления мясного экстракта, своего рода бульонные кубики, впоследствии получившие название «Оксо», но это оказалось не слишком большим подспорьем.

Нужно было найти способ сохранения пищевых продуктов свежими на гораздо более долгий срок, чем предполагала природа. Еще конце XVIII столетия француз Николя Франсуа Аппер выпустил книгу под названием «Искусство сохранения в течение нескольких лет животной и растительной субстанции»; книга произвела настоящий фурор. Суть системы Аппера заключалась в том, что продукты укладывались в стеклянные банки, которые герметично закупоривались, а потом медленно нагревались. Этот метод, как правило, давал весьма неплохой результат, однако герметизация не всегда была надежной, иногда в банки попадали воздух или грязь, и в результате у покупателей случались желудочно-кишечные расстройства и отравления. Поскольку банки Аппера не гарантировали полной безопасности, к ним относились настороженно.

Короче говоря, прежде чем пища попадала на стол, с ней могло случиться множество неприятностей. Поэтому когда в начале 1840-х годов появился чудесный продукт, обещавший решить проблему свежести, его приняли с огромной радостью. Как ни странно, этим продуктом был хорошо всем знакомый лед.

## II

Летом 1844 года «Уэнхемская ледяная компания», названная так в честь озера в штате Массачусетс, приобрела здание с прилегающим участком на улице Стрэнд в Лондоне и каждый день выставляла в витрине свежую глыбу льда. Раньше в Англии никто не видывал такой огромной ледяной глыбы, тем более летом, да еще в самом центре столицы; вдобавок глыба удивляла своей гладкостью и прозрачностью: сквозь нее можно было читать газету, которую регулярно выставляли позади глыбы. Диковинная витрина стала сенсацией, перед ней все время толпились зеваки.

Теккерей упоминает уэнхемский лед в одном из своих романов. Королева Виктория и принц Альберт пожелали, чтобы этот лед использовался в Букингемском дворце, и выдали компании соответствующее разрешение. Многие в Лондоне думали, что озеро Уэнхем — это огромный массив воды, размером с одно из Великих озер (на самом деле его площадь составляет всего 224 акра<sup>[37]</sup>). Английский геолог Чарльз Лайель был настолько заинтригован, что посетил озеро во время своего путешествия по Соединенным Штатам. Поразившись тому, как медленно тает уэнхемский лед, Лайель предположил, что это как-то связано с его знаменитой чистотой. На самом деле уэнхемский лед таял с той же

скоростью, что и любой другой; и вообще, кроме того, что его первым стали возить на дальние расстояния, в нем не было ровным счетом ничего особенного.

Озерный лед был замечательным продуктом — чистым, с возобновляемыми, бесконечными запасами. К тому же сам по себе он ничего не стоил производителю. Единственный недостаток этого продукта состоял в отсутствии инфраструктуры для его производства и хранения, а также рынка сбыта. Чтобы наладить ледовую индустрию, требовалось сначала разработать методы резки и погрузки больших блоков льда, построить хранилища, организовать надежную цепочку поставщиков и посредников. Но прежде всего требовалось создать спрос на этот товар в тех местах, где лед видели редко или не видели никогда и уж тем более не собирались платить за него деньги. Все это удалось сделать упрямому бостонцу по имени Фредерик Тюдор. Превратить лед в ходовой товар стало его навязчивой идеей.

Идею перевозки льда из Новой Англии через океан сочли полным безумием — «причудой сумасшедшего», как выразился один из современников Тюдора. Первая партия льда, прибывшая в Британию, сильно озадачила таможенников; пока они решали, как классифицировать необычный товар, все 300 тонн льда растаяли прямо в порту. Судовладельцы крайне неохотно принимали странный груз. Во-первых, им казалось крайне унижительным возить полные трюмы «бесполезной воды», а во-вторых, они вполне справедливо опасались, что тонны подтаивающего льда и все большее количество талой воды в трюмах нарушат остойчивость их кораблей. Инстинкты мореплавателей учили моряков, что воду следует держать за *бортом* судна; у них не было ни малейшего желания рисковать, перевозя сомнительный товар, у которого даже не имелось внятного рынка сбыта.

Тюдор был странным и тяжелым человеком — властным, тщеславным, высокомерным со своими конкурентами и беспощадным с врагами, по словам американского историка Дэниела Бурстина. Он так старательно отдалял от себя всех друзей и обманывал доверие коллег, словно в этом и заключалась главная цель его жизни. Почти все технологические инновации, которые сделали возможной торговлю льдом, фактически были предложены его застенчивым, покладистым и терпеливым помощником Натаниелом Уайетом. Чтобы поставить на ноги ледовый бизнес, Тюдору пришлось потратить несколько лет и все свое семейное состояние, но после целого ряда безуспешных попыток дела постепенно пошли в гору, и в конце концов он, наряду со многими другими, чрезвычайно разбогател.

Лед стал вторым по объему продаж американским товаром из числа тех, что продаются на вес. При условии хорошей изоляции он сохранялся на удивление долго и даже выдерживал переход из Бостона в Бомбей протяженностью 16 000 миль и продолжительностью 130 дней (за это время сохранялось лишь две трети льда, но этого было достаточно, чтобы обеспечить прибыль). Лед поставлялся в самые дальние уголки Южной Америки, а также транспортировался из Новой Англии в Калифорнию через мыс Горн. Опилки — продукт, раньше не имевший никакой ценности, — оказались отличным изоляционным материалом, так что лесопилки штата Мэн неожиданно начали получать дополнительную прибыль.

На самом деле озеро Уэнхем не имело большого значения для ледового бизнеса Америки. Оно давало не больше десяти тысяч тонн льда в год, тогда как с одной лишь реки Кеннебек в штате Мэн поднимали около миллиона тонн. В Англии уэнхемский лед не столько использовали, сколько обсуждали. Несколько компаний оформили заказы на регулярные поставки льда, однако вряд ли подобное сделала хоть одна английская семья (если не считать королевской). В середине XIX века большая часть льда поступала в Британию вовсе не с озера Уэнхем и даже вообще не из Америки. Норвежцы — народ, который мы не привыкли подозревать в мошенничестве, — переименовали озеро Оппегаард рядом с Осло в озеро Уэнхем, чтобы пробиться на выгодный рынок. Так что в Британии в ту эпоху продавался в основном норвежский товар, однако стоит отметить, что лед в принципе так и не приобрел особой популярности у англичан. Настоящий рынок, оказывается, находился в самой Америке.

Как отмечает Гэвин Вейтман в своей книге «Торговля замерзшей водой», именно американцы первыми оценили лед. С его помощью они охлаждали пиво и вино, смешивали восхитительные коктейли, лечили лихорадку и готовили множество разных лакомств. Мороженое стало пользоваться большим спросом; его производители проявляли поразительную изобретательность. В «Дельмонико», знаменитом нью-йоркском ресторане, можно было заказать мороженое с ржаным хлебом, спаржей и подобными неожиданными добавками. В одном лишь Нью-Йорке потреблялось около миллиона тонн льда в год, в Бруклине — 334 000 тонн, Бостоне — 380 000, Филадельфии — 377 000. Американцы очень гордились тем, что нашли льду цивилизованное применение. «Если вы когда-нибудь услышите, что Америку бранят, — сказал некий американец английской писательнице Саре Мори, — просто вспомните про лед».

Где лед действительно пригодился, так это в железнодорожных вагонах-рефрижераторах, которые позволяли перевозить мясо и другие скоропортящиеся продукты через всю Америку. Город Чикаго стал главным железнодорожным узлом отчасти потому, что там имелась возможность вырабатывать и хранить огромное количество льда. В некоторых ледниках Чикаго содержалось до 250 000 тонн льда.

Раньше в жаркую погоду молоко хранилось всего час или два, а потом скисало. Курицу приходилось съесть в тот же день, когда ее ошпарили, а мясо оставалось свежим, как правило, не больше суток. Теперь пищевые продукты можно было не только дольше хранить на месте, но и продавать на удаленных рынках. В 1842 году в Чикаго привезли первого омара; он прибыл с Восточного побережья в вагоне-рефрижераторе. Жители города смотрели на этот деликатес, как на чудо с другой планеты. Впервые в истории люди получили возможность есть не только те продукты, что были произведены поблизости. Фермеры бескрайних равнин Среднего Запада теперь продавали свою продукцию — дешевую и обильную — практически повсюду.

Между тем другие разработки значительно повысили эффективность хранения пищевых продуктов. В 1859 году американец Джон Лэндис Мейсон решил задачу, которую так и не смог осилить Николя-Франсуа Аппер. Мейсон запатентовал стеклянную банку с винтовым горлышком и металлической закручивающейся крышкой. Она обеспечивала отличную герметичность и позволяла хранить все виды скоропортящихся продуктов. Банка Мейсона приобрела огромную популярность во всем мире, хоть сам Мейсон получил от этого лишь ничтожную выгоду. Он продал права на свое изобретение за весьма скромную сумму и переключился на другие разработки — раскладной спасательный плот, футляр для сохранения свежести сигар, первую в мире мыльницу со стоком для воды. Ему казалось, что все эти вещи сделают его богатым, однако новинки не имели успеха. После череды неудач Мейсон повредился в уме, впал в нищету и в 1902 году умер, одинокий и всеми забытый, в дешевой нью-йоркской ночлежке.

Еще раньше, в 1810–1820 годах, англичанин Брайан Донкин придумал альтернативный и более успешный метод сохранения продуктов питания — консервирование. Изобретение Донкина прекрасно работало, однако первые консервные банки, сделанные из кованого железа, были тяжелыми и их было очень трудно вскрывать. Один из торговцев консервами прилагал к товару инструкцию, рекомендовавшую использовать для открывания банки молоток и стамеску. Солдаты обычно протыкали консервные банки

штыками или простреливали пулями. Прорыв произошел после появления более легких материалов, которые позволили наладить массовое производство консервов. В первой половине XIX века один рабочий мог сделать ежедневно до шестидесяти консервных банок, а к 1880 году станки выдавали по полторы тысячи банок в день. Как ни странно, открывание их еще долго оставалось серьезной проблемой. Были запатентованы самые разнообразные приспособления, но все они либо были слишком сложны в использовании, либо слишком опасны — выскользнув из руки, они превращались в почти смертельное оружие. Современный безопасный консервный нож — с двумя вращающимися колесиками и поворотным ключом — появился лишь в 1925 году.

Разработки в области сохранения пищевых продуктов были частью более широкой продовольственной революции, повсеместно изменившей лицо сельского хозяйства. Жатвенная машина Маккормика позволила начать массовое производство зерна, что, в свою очередь, позволило Америке вывести скотоводство на промышленный уровень. В результате появились крупные мясокомбинаты и улучшенные методы заморозки, которые еще долго, даже в современную эпоху, использовали лед. В 1930 году в Америке имелась 181 000 железнодорожных вагонов-рефрижераторов, и все они охлаждались с помощью льда.

Внезапно открывшаяся возможность перевозить пищевые продукты на большие расстояния и сохранять их достаточно свежими для продажи на далеких рынках способствовала расцвету многих прежде глухих регионов. Канзасская пшеница, аргентинская говядина, новозеландская баранина и другие продукты со всех концов света появились на обеденном столе людей, живших в тысячах миль от этих мест. Последствия для традиционных фермерских регионов Британии и США были огромными. В любом лесу Новой Англии, даже не слишком углубляясь в чащу, вы обнаружите фундаменты брошенных домов и следы старых полевых ограждений — остатки фермы, заброшенной в XIX веке. Фермеры этих мест массово разорялись, бросали свои хозяйства и либо шли работать на фабрики, либо пробовали свои силы на лучших землях дальше к Западу. За время жизни всего одного поколения штат Вермонт потерял почти половину населения.

Европа пострадала не меньше. «В течение жизни последнего поколения XIX столетия британское сельское хозяйство практически рухнуло», — пишет Фелипе Фернандес-Арместо; а вместе с ним исчезло и все, что к нему прилагалось: работники ферм, сами деревни, сельские церкви, дома приходских священников, землевладельческая аристократия.

В результате наш пасторский дом и тысячи ему подобных сменили хозяев.

Осенью 2007 года, будучи в Новой Англии, я отправился на машине из Бостона в Уэнхем посмотреть на озеро, которое когда-то, совсем недолго, было самым известным в мире. Озеро раскинулось рядом с тихим шоссе, в красивой сельской местности, милях в пятнадцати от Бостона; у проезжающих по дороге Уэнхем — Ипсуич есть возможность полюбоваться живописной панорамой водоема. Сегодня озеро служит бостонским водохранилищем; оно обнесено высоким ограждением из проволочной сетки и закрыто для публики. На историческом придорожном указателе отмечено, что в 1935 году городок Уэнхем праздновал свое трехсотлетие, но ни слова не сказано про торговлю льдом, которая некогда прославила эти края.

### III

Мы немало удивились бы, вдруг заглянув в 1851 году на кухню дома приходского священника. Прежде всего в те времена в кухне не было раковины. В середине XIX века это помещение предназначалось только для приготовления пищи (во всяком случае, в домах представителей среднего класса); посуду мыли в отдельной комнате — буфетной (ее мы посетим следующей), а значит, каждую тарелку и каждую кастрюлю надо было перенести через коридор в комнату напротив, помыть, просушить и убрать, а в следующий раз, когда эти предметы опять понадобятся, притащить их обратно в кухню.

Прислуге Викторианской эпохи приходилось без конца курсировать между этими двумя помещениями, поскольку тогда много готовили и выставляли на стол пугающее количество блюд. Популярная книга той эпохи «Что у нас на обед?» (1851), написанная некоей миссис Мэри Клаттербак (которую на самом деле звали миссис Чарльз Диккенс), дает неплохое представление о кулинарных обычаях тех дней. К примеру, одно из предлагаемых меню для обеда на шесть персон включает «морковный суп, палтуса в креветочном соусе, пирожки с омарами, тушеные почки, жареное седло ягненка, отварную индейку, ветчину, картофельное пюре, тушеный лук, пудинг «Кабинет», бланманже, сливки, макароны». Согласно моим подсчетам, приготовив и съев такой обед, следовало перемыть затем примерно 450 предметов посуды. Двустворчатая дверь, что вела из кухни в буфетную, наверное, так и хлопала.



Рис. 4. Золотой век обжорства

Если бы мы заглянули в кухню в тот момент, когда экономка мисс Уорм и ее помощница, девятнадцатилетняя деревенская девушка по имени мисс Марта Сили, занимались готовкой, то могли застать их за невиданным раньше занятием — тщательным отмериванием ингредиентов. Почти до середины столетия инструкции в поваренных книгах были на удивление неточными; хозяйкам предписывалось просто «взять муки» или «вливать достаточное количество молока», а сколько именно — не указывалось. Ситуацию в корне изменила поистине революционная книга, написанная робкой и, по общему мнению всех, кто ее знал, милейшей поэтессой из Кента по имени Элайза Эктон. Поскольку сборники стихов мисс Эктон продавались очень плохо, издатель осторожно посоветовал ей попробовать написать что-нибудь более коммерческое. В 1845 году мисс Эктон выпустила «Современную семейную кулинарию». В этой книге впервые было приведено точное количество ингредиентов и указано время приготовления; авторы всех последующих поваренных книг, как правило, неосознанно, брали ее за образец.

Книга пользовалась большим успехом, но потом ее потеснила еще более дерзкая работа — «Книга о ведении домашнего хозяйства» Изабеллы Битон, которая по каким-то загадочным причинам оказалась значительно

более влиятельной и оставалась таковой очень долго. Книга мгновенно завоевала любовь публики, и эта любовь сохранялась даже в следующем столетии.

Миссис Битон с первой же строки ясно дает понять, что домашнее хозяйство — дело серьезное и безрадостное: «Хозяйку дома можно сравнить с командующим армией или директором предприятия», — заявляет она, перед этим мимоходом отметив собственный самоотверженный героизм. «Признаюсь честно: если б я знала заранее, что эта книга будет стоить мне таких трудов, мне бы никогда не хватило мужества за нее взяться», — жалуется автор, вселяя в читателя легкое чувство вины и некоторое уныние.

Вопреки своему названию, «Книга о ведении домашнего хозяйства» рассматривает заявленную тему на протяжении всего двадцати трех страниц, а следующие девятьсот посвящены вопросу приготовления пищи. Однако, несмотря на этот явный крен в сторону кулинарии, миссис Битон не любила стоять у плиты и старалась по возможности даже близко не подходить к собственной кухне. Чтобы об этом догадаться, достаточно бегло просмотреть ее рецепты. К примеру, миссис Битон советует варить макароны один час сорок пять минут.

Как и многие люди ее происхождения и поколения, она питала врожденное недоверие ко всему экзотическому. Плоды манго, пишет она, нравятся лишь «тем, у кого нет предубеждения против скипидара». Омары, по ее мнению, «весьма неудобоваримы» и «далеко не так питательны, как принято думать». Чеснок она считала «вызывающим», картофель — подозрительным, поскольку «немало корнеплодов обладает наркотическим действием и многие из них ядовиты». Сыр, утверждает миссис Битон, хорош только для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни (почему — не объясняется), да и то «в очень небольших количествах». Особенно следует избегать сыра с прожилками, ибо это не что иное, как грибковые разрастания. «Вообще говоря, — заключает автор, — разлагающиеся тела — пища нездоровая, и где-то следует положить предел». Но хуже всего томаты: «Все растение имеет неприятный запах, а его сок, подвергаемый воздействию огня, выделяет пар — настолько вредный, что он способен вызвать головокружение и рвоту».

Миссис Битон, похоже, не был известен лед в качестве пищевого консерванта, но можно легко предположить, что он ей не понравился бы, как не нравились ей все охлажденные продукты. «Старикам, ослабленным людям и детям следует воздерживаться от замороженных десертов и холодных напитков, — пишет она. — Также необходимо воздерживаться от

них, если вы перегрелись или сразу после серьезных физических нагрузок, так как в некоторых случаях они вызывают заболевания, которые могут закончиться летальным исходом». Вообще, с точки зрения миссис Битон, очень многие пищевые продукты и виды деятельности смертельно опасны.

При всей авторитетности ее хозяйственных мнений миссис Битон было лишь двадцать три года, когда она начала работу над этой книгой. Она написала ее для издательской фирмы своего мужа, которая выпустила книгу в качестве очередного тома серии из тридцати трех изданий, которые должны были выходить ежемесячно. Серия была запущена в 1859 году (в том же году была опубликована книга Чарльза Дарвина «О происхождении видов»), отдельным изданием книга вышла в 1861-м; Сэмюэл Битон к тому времени уже неплохо заработал на публикации «Хижина дяди Тома», которая стала такой же сенсацией в Британии, как и в Америке. Вдобавок он основал несколько популярных журналов, в том числе «Домашний журнал англичанки» (1852), в котором было много новшеств: страница вопросов-ответов, медицинская колонка, выкройки, которые и по сей день встречаются в женских журналах.

«Книга о ведении домашнего хозяйства» написана с явной небрежностью и поспешностью. Рецепты в основном присланы читателями, а почти все остальное — откровенный плагиат. Миссис Битон бессовестным образом заимствует из самых очевидных и легко отслеживаемых источников. Целые куски слово в слово передраны из автобиографии Флоренс Найтингейл, другие — из упоминавшейся выше книги Элайзы Эктон. Характерно, что в некоторых случаях миссис Битон даже не взяла на себя труд изменить пол автора, у которого списала: в паре мест книги, к полному замешательству читателя, рассказ вдруг ведется от лица мужчины.

Организована книга также весьма хаотично. Миссис Битон отводит больше места рецепту черепашьего супа, чем завтраку, ланчу и ужину вместе взятым, а про пятичасовое чаепитие не упоминает вообще. Несообразности поражают воображение. На той же странице, где она пространно описывает опасные свойства томатов («обнаружено, что в них содержатся особая кислота, эфирное масло, некое коричневое и очень пахучее смолистое вещество, растительно-минеральные вещества, слизистый сахарин, определенные соли и, по всей вероятности, некий алкалоид»), приводится рецепт тушеных помидоров, которые названы «отличным дополнением к основному блюду», далее следует комментарий: «Это полезный, легко усвояемый плод, одобренный почти повсеместно; его аромат повышает аппетит».

Несмотря на эти многочисленные странности, книга миссис Битон имела огромный и долгий успех. Два ее бесспорных достоинства — крайне уверенный тон и универсальность. Викторианская эпоха была эпохой страхов, а пухлый том миссис Битон обещал перевести напуганную домохозяйку через бурный жизненный поток, минуя все подводные камни. Страницы этого удивительного издания учили правильно складывать салфетки, увольнять прислугу, выводить веснушки, составлять меню, ставить пивавки, печь торт «Баттенберг» и реанимировать пострадавшего от удара молнии.

Миссис Битон точно и поэтапно разъясняла, как готовить горячие тосты с маслом, приводила средства для лечения заикания и молочницы, обсуждала историю жертвенных агнцев, приводила исчерпывающий список различных щеток, метелок и кисточек (одежной, ковровой, для чистки плиты, для чистки карнизов, для чистки перил, для крошек — всего около сорока видов), которые были необходимы в каждом уважающем себя доме. Она предостерегала от случайных знакомств и описывала меры предосторожности, которые следовало предпринять перед тем, как войти в комнату к больному. Это были подробные инструкции, предполагавшие точное их соблюдение, — именно то, чего не хватало людям. Миссис Битон, решительная и категоричная во всех вопросах, напоминала такого домашнего серванта-инструктора по строевой подготовке.

Она умерла, когда ей было всего двадцать восемь лет, от послеродового сепсиса, через восемь дней после появления на свет ее четвертого ребенка, но ее книга жила еще очень долго. Только за первые десять лет было продано свыше двух миллионов экземпляров; стабильные объемы продаж сохранялись и в XX веке.

Оглядываясь назад, почти невозможно представить себе образ жизни людей Викторианской эпохи и их рацион. Прежде всего поражает существовавшее тогда разнообразие продуктов питания. Похоже, люди ели практически все, что шевелилось на суше и ловилось в воде. Из птиц в рецептах миссис Битон фигурируют белая куропатка, жаворонок, вальдшнеп, ржанка, бекас и птенцы индюшки, а из рыб — осетр, барбус, корюшка, пескарь, плотва, угорь, линь, килька и также множество других, по большей части забытых съедобных видов.

Количество видов фруктов и овощей было поистине бесконечным. Одних только яблок насчитывалось свыше 2000 сортов: «пармен Уорчестер», «красавица Бата», «оранжевый пепин Кокса» и т. д. — долгий и очень поэтичный список.

Томас Джефферсон в своем имении Монтичелло выращивал двадцать три сорта гороха и более 250 видов фруктов и овощей (Джефферсон, что необычно для его эпохи, был почти полным вегетарианцем и ел мясо лишь маленькими порциями «в качестве приправы»).

Наряду с крыжовником, клубникой, сливой, инжиром и другими плодами, хорошо известными нам сегодня, Джефферсон и его современники с удовольствием вкушали пижму, портулак, японскую винную ягоду, тернослив, мушмулу германскую, панданус, поручейник (вид сладкого корня), артишок испанский, козелец, любисток и многое другое, что ныне считается редкостью или вообще отсутствует в рационе. Кстати, Джефферсон был великим экспериментатором в области продуктов питания. Помимо прочих достижений, он первым в Америке придумал нарезать картошку продольными ломтиками и поджарить. Таким образом, автора Декларации о независимости можно назвать еще и отцом американского картофеля-фри.

Люди так хорошо питались отчасти потому, что многие продукты, теперь ставшие деликатесами, тогда имелись в изобилии. В прибрежных водах Британии водилось столько омаров, что ими кормили заключенных в тюрьмах и сирот в приютах, а также измельчали на удобрение. Слуги требовали от своих хозяев письменных гарантий того, что их не будут кормить омарами чаще двух раз в неделю. Американцам в этом смысле повезло еще больше. В одной только гавани Нью-Йорка вылавливали половину мирового запаса устриц и множество осетров: черная икра подавалась в качестве закуски в пивных барах (идея заключалась в том, что соленая пицца заставит посетителей выпить больше пива).

Разнообразие предлагавшихся в те времена блюд и приправ поистине впечатляет. В 1867 году меню одного нью-йоркского отеля включало 145 блюд. Популярная американская поваренная книга «Домашняя кулинария» (1853) небрежно советует добавить в кастрюлю с супом гумбо<sup>[38]</sup> «сотню устриц — для улучшения вкуса». Миссис Битон приводит ни много ни мало — 135 рецептов только одних соусов.

При этом, что интересно, люди Викторианской эпохи отличались сравнительно сдержанным аппетитом. Золотой век обжорства пришелся на предыдущее, XVIII столетие. То была эпоха, породившая Джона Булля — самый красноречивый, толстомордый и явно предрасположенный к коронарному тромбозу национальный символ из всех, что одна нация когда-либо создавала, чтобы произвести впечатление на другие нации. Наверное, неслучайно два самых упитанных монарха в британской истории правили (и предавались чревоугодию) именно в XVIII столетии.

Первой из них была королева Анна. Художники тактично изображают ее лишь слегка полноватой, похожей на пышнотелых красавиц Рубенса, на самом же деле она была необъятных размеров, «чрезвычайно тучной и дородной», выражаясь беспристрастными словами ее бывшей лучшей подруги герцогини Мальборо. В конце жизни королева так разжирела, что уже не могла подниматься и спускаться по лестнице. Пришлось вырезать в полу ее покоев в Виндзорском замке люк, через который ее рывками опускали в парадные нижние комнаты с помощью лебедки. Когда Анна умерла, ее похоронили в «почти квадратном» гробу. Еще более упитанным был король Георг IV; его живот, высвобожденный из корсета, свисал до колен. К сорока годам обхват его талии превысил четыре фута.

Но даже люди более стройные поглощали в ту эпоху невероятное, почти губительное количество пищи. Завтрак, описанный герцогом Веллингтоном, состоял из «двух голубей и трех бифштексов, трети бутылки мозельского вина, бокала шампанского, двух рюмок портвейна и рюмки бренди», причем все это в день, когда рассказчику «немного нездоровилось». Преподобный Сидней Смит, хоть и лицо духовное, не отставал от духа времени; он отказывался читать молитвы перед трапезой, объясняя это следующим образом: «В предвкушении оргии чревоугодия благочестие кажется неуместным. Нелепо возносить хвалу Господу устами, истекающими слюной».

К середине XIX века эти раблезианские излишества стали общепринятой нормой. Миссис Битон приводит следующее меню для «небольшого званого обеда на шесть персон»:

*Суп из телячьей головы «под черепаху», филе из белокорого палтуса в сливках, жареный морской язык с соусом из анчоусов, кролики, телятина, тушеный говяжий крестец, жареная дичь, отварной окорок, жареные голуби или жаворонки, на десерт же тарталетки из ревеня, безе, фруктовое желе, сливки, торт-мороженое и суфле.*

Как ни странно, чем больше внимания викторианцы уделяли своему меню, тем менее уверенно они себя чувствовали за едой. Судя по всему, миссис Битон вообще не слишком любила есть и видела в принятии пищи, как и во многом другом, лишь досадную неизбежность, с которой надо расправляться быстро и решительно. Особую подозрительность она испытывала ко всем добавкам, придававшим блюдам пикантность. Чеснок вызывал у нее отвращение, жгучий перец заслужил лишь мимолетного

упоминания, и даже черный перец, по ее мнению, был уделом лишь безрассудных храбрецов. «Не следует забывать, — предупреждала она читательниц, — что даже в малых количествах он вреден людям, склонным к воспалительным заболеваниям». Подобные страшилки бесконечно повторялись в книгах и периодических изданиях на протяжении многих лет.

В конце концов большинство викторианских семей совсем отказалось от специй и сосредоточилось на том, чтобы донести еду до стола горячей. В солидных домах это могло быть серьезной проблемой, так как кухни часто находились на значительном удалении от столовых. Поместье Одли-Энд в Эссексе установило в этом смысле своеобразный рекорд: его кухня и столовая располагались в двухстах ярдах друг от друга. В поместье Таттон-парк в графстве Чешир даже проложили нечто вроде железнодорожной ветки, по которой тележки с едой доставлялись из кухни к весьма далеко расположенному кухонному лифту, а оттуда поспешно отправлялись наверх. Сэр Артур Миддлтон, владелец Белси-холла близ Ньюкасла, просто помешался на температуре пищи, подаваемой к его столу: он втыкал термометр в каждое блюдо и, если оно не отвечало его ожиданиям, отправлял обратно для дополнительного подогрева, иногда по несколько раз. В результате его обеда, как правило, затягивались допоздна, а еда частенько бывала обугленной. Огюст Эскофье, великий французский шеф-повар лондонского отеля «Савой», заслужил уважение посетителей-британцев не только вкусной едой, но и введенной в кухнях бригадной системой, при которой разные повара готовили разные продукты: один — мясо, другой — овощи и так далее; все выкладывалось на тарелку одновременно и подавалось к столу буквально «с пылу с жару», что было по тем временам непривычной роскошью.

Все это, разумеется, разительно контрастирует с утверждениями о скудости рациона среднестатистического жителя Британии или США XIX века. С другой стороны, факты настолько противоречивы, что практически невозможно понять, хорошо ли питались люди в те времена.

Если считать показателем *среднее* потребление продуктов, они ели довольно много здоровой пищи: в 1851 году на одного человека приходилось почти восемь фунтов груш (сейчас — всего три фунта); почти девять фунтов винограда и других мягких фруктов (примерно половина от сегодняшнего количества), сухофруктов — чуть меньше восемнадцати фунтов (против сегодняшних трех с половиной). Что касается овощей, то здесь цифры еще более впечатляют. В 1851 году средний лондонец съедал в

год 31,8 фунта лука (сейчас — 13,2); больше 40 фунтов репы и брюквы (сейчас — 2,3); почти 70 фунтов капусты (сейчас — 21). Среднедушевое потребление сахара — около 30 фунтов — было втрое меньше, чем сегодня. Так что в целом диету XIX века вполне можно назвать здоровой.

Однако большинство литературных произведений, написанных в то время, да и позже, рисует совершенно иную картину. Генри Мэйхью в своей классической работе «Труженики и бедняки Лондона», опубликованной как раз в год постройки нашего пасторского дома, утверждает, что типичный обед чернорабочего состоял из куска хлеба и одной луковицы, а Джудит Фландерс в гораздо более поздней (и по праву более прославленной) книге «Всепоглощающие страсти» заявляет, что «в середине XIX века основной рацион рабочего класса и большинства нижних слоев среднего класса составляли хлеб или картошка, маленький кусочек масла, сыр или бекон и чай с сахаром».

Люди, не имевшие возможности выбрать себе меню, зачастую и впрямь питались скверно. Из доклада мирового судьи о положении дел на одной фабрике в Северной Англии в 1810 году мы узнаем, что работников удерживали в цехах с шести утра до девяти (или даже до четверти десятого) вечера, предоставляя им лишь один короткий перерыв на обед. «На завтрак же и на ужин они едят овсяную кашу на воде (прямо за своими станками), а на обед — овсяную лепешку с патокой или овсяную лепешку с жидким бульоном», — пишет автор. Такой рацион наверняка был типичен для всех, кто работал на фабриках, сидел в тюрьмах, жил в сиротских приютах и других подобных учреждениях. В начале XIX века в Шотландии батраки на фермах получали в неделю 17,5 фунта овсянки, немного молока и почти ничего больше, но при этом считали себя счастливыми, ибо им не приходилось сидеть на одной картошке.

Первые сто пятьдесят лет после появления этого корнеплода в Европе к нему относились с презрением. Многие полагали, что картофель вреден для здоровья, поскольку его съедобные части «растут под землей, а не тянутся благородно к солнцу». Священники в своих проповедях призывали отказаться от картофеля, ссылаясь на то, что он вовсе не упоминается в Библии.

И лишь ирландцы не могли позволить себе подобную привередливость. Для них картофель был настоящей находкой из-за его очень высокой урожайности. Один акр каменистой почвы мог прокормить семью из шести человек — при условии, что все ее члены едят картошку. Надо сказать, что у ирландцев не было особого выбора. К 1780 году 90 % населения острова выживали исключительно или почти исключительно

благодаря этому корнеплоду. К сожалению, картофель — самый уязвимый из всех овощей; он подвержен более чем 260 видам болезней и вредителей. С момента распространения картофеля по Европе плохие урожаи случались в Ирландии регулярно. За 120 лет, предшествовавших Великому голоду (1845–1849), неурожаем картофеля случился двадцать четыре раза. И за один лишь 1739 год умерли от голода триста тысяч человек. Но даже такое всеобщее бедствие кажется незначительным по сравнению с масштабом смертности и горя в 1845–1846 годах.

Все произошло очень быстро. До августа 1854-го посеы выглядели вполне неплохо, а потом вдруг повяли и сморщились. Выкопанные из земли клубни оказались губчатыми и уже полусгнившими. В тот год пропала половина ирландского урожая. На следующий год не осталось практически ничего. Виновником был грибок под названием фитофтора, но тогда люди этого не знали. Они искали причину в различных новинках, которые недавно пришли в Ирландию. Они винили в беде пар от паровозов, электричество с телеграфных проводов, новое удобрение гуано, которое только начало завоевывать популярность. Неурожаем случился не в одной Ирландии, но и во всей Европе, однако ирландцы пострадали особенно сильно.

Соседи не спешили на помощь. Даже спустя несколько месяцев после начала голода британский премьер-министр сэр Роберт Пиль призывал к осторожности. «В ирландских отчетах прослеживается тенденция к преувеличениям и неточностям, поэтому не стоит торопиться с действиями», — писал он. В год самого страшного неурожая в Ирландии на лондонском Биллингсгейтском рыбном рынке было продано 500 миллионов устриц, миллиард штук свежей сельди, почти 100 миллионов морских языков, 498 миллионов креветок, 304 миллиона литорин (береговых улиток), 33 миллиона штук камбалы, 23 миллиона скумбрии и прочие продукты в столь же внушительных объемах, но ни одна даже самая маленькая партия товара не отправилась в Ирландию, чтобы облегчить участь голодающих там людей.

При этом сама Ирландия производила большое количество яиц, зерновых культур и мяса всех видов, собирала богатые морские уловы, но почти все это шло на экспорт, а тем временем полтора миллиона человек умирали от голода. Впервые после «черной смерти»<sup>[39]</sup> Европа потеряла столько жизней.

## Глава 5

### Буфетная и кладовая

Среди многочисленных маленьких загадок старого дома священника (в его изначальном виде) есть и такая: почему там не было предусмотрено никакого помещения для слуг, где они могли бы уединиться в свободное время? В тесной кухоньке едва умещались стол и два стула, а примыкавшие к ней буфетная и кладовая, куда я вас сейчас поведу, были и того меньше<sup>[40]</sup>.

Скорее всего, хозяин дома мистер Маршем с некоторой робостью заходил как в кухню, так и в эти две комнаты, если вообще заходил. Здесь было царство прислуги. По тогдашним меркам этот дом имел на удивление мало служебных помещений. В доме приходского священника в Барэме в графстве Кент, построенном примерно в то же время, архитектор выделил слугам не только кухню, буфетную и кладовую, но еще и чулан, общую кладовую, угольный склад, шкафчики для хранения разных хозяйственных мелочей и, самое главное, комнату для экономки, где та могла уединиться и отдохнуть.

Трудно сказать, почему у нас получилось по-другому, ведь готовый дом не полностью соответствует проекту Эдварда Талла. Очевидно, мистер Маршем посоветовал (может быть, весьма настойчиво) архитектору внести некоторые существенные изменения в проект, поскольку здание содержало целый ряд любопытных нелепостей. По одному ему известной причине Талл устроил парадный вход в боковой части дома, а уборную — на площадке главной лестницы (поистине странное и необычное место), при этом не предусмотрев на лестнице ни одного окна: даже в полдень там было бы темно, как в погребе. Он разумно расположил гардеробную рядом с хозяйской спальней, но почему-то не предусмотрел дверь, которая соединяла бы их. По столь же странной прихоти чердак остался без лестницы, зато с замечательной дверью, ведущей в никуда.

Самые нелогичные идеи в какой-то момент (либо до, либо во время строительства) были забракованы. В результате главный вход теперь традиционно располагается посреди переднего фасада, а не сбоку. Уборная на лестничной площадке также отсутствует, зато на лестнице теперь есть большое окно, благодаря которому ступеньки купаются в лучах солнца (когда оно светит) и из которого открывается чудесный вид на дальнюю

церковь. Кроме того, были добавлены еще две комнаты: кабинет на первом этаже и гостевая спальня или детская — на втором. В целом готовый дом сильно отличается от первоначального проекта Талла.

Из всех изменений одно особенно интересно. В оригинальных планах архитектора площадь, ныне занятая столовой, была гораздо меньше и включала пространство под названием «лакейский чулан» — по всей видимости, там должны были есть и отдыхать слуги. Эту комнату так и не построили, а размер столовой увеличили чуть ли не вдвое, чтобы занять все имевшееся пространство. Почему холостяк-священник лишил свою прислугу места для отдыха, зато устроил себе просторную столовую? Разумеется, по прошествии стольких лет на этот вопрос уже невозможно ответить. Но так или иначе, слугам негде было даже спокойно посидеть в перерывах между работой. Впрочем, возможно, им и посидеть-то было некогда.

У мистера Маршема служило трое слуг: экономка мисс Уорм, ее помощница — деревенская девушка по имени Марта Сили и конюх (он же садовник) Джеймс Бейкер. Как и у их хозяина, ни у кого из них не было собственной семьи. Три человека, обслуживающие одного холостяка, — сейчас такое может показаться чрезмерным, однако во времена Маршема подобное было в порядке вещей. Большинство приходских священников держали как минимум четырех слуг, а некоторые — десять и больше. Это был век прислуги. Она имелаась в каждом доме — как сейчас в каждом доме имеется бытовая техника. Слуги были даже у простых рабочих (а иногда и у самих слуг).

Прислуга не только помогала в быту, но и была необходимым показателем статуса. Гости на званых обедах иногда обнаруживали, что их рассадили за столом в соответствии с количеством имевшихся у каждого слуг. Люди Викторианской эпохи изо всех сил держались за свою прислугу.

Фрэнсис Троллоп, мать писателя-романиста Энтони Троллопа, даже находясь на американском Диком Западе и потеряв почти все состояние в результате неудачного делового предприятия, все же оплачивала ливрейного лакея. Карл Маркс, живя в лондонском Сохо по уши в долгах и зачастую чуть не впроголодь, все же имел экономку и личного секретаря. В квартире Маркса было так тесно, что секретарю (его звали Вильгельм Пипер) приходилось спать в одной постели с хозяином (при этом Маркс каким-то образом улучил момент, чтобы соблазнить экономку, которая как раз в год «Великой выставки» родила ему сына).

Служба в чужих домах для огромной части населения была естественным образом жизни. К 1851 году каждая третья жительница

Лондона в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет была служанкой (еще одну треть молодых женщин составляли проститутки). Для многих это было почти единственной возможностью заработать. Общая численность лондонской прислуги обоих полов превышала население шести крупнейших английских городов. В основном эта работа была уделом женщин: в 1851 году служанок, кухарок, горничных и экономок было в десять раз больше, чем прислуги мужского пола. Однако женщины редко оставались в услужении на всю жизнь: к двадцати пяти годам они обычно выходили замуж и бросали работу.

Очень немногие слуги оставались на одном месте больше года, что, как мы скоро увидим, вполне объяснимо. Быть прислугой — труд тяжелый и неблагодарный.

Число прислуги, конечно же, сильно варьировалось. Иногда цифры были весьма значительными. В большом сельском доме обычно работало человек сорок. Холостяк граф Лонсдейл жил один, но держал сорок пять слуг. У лорда Дерби одних только официантов было две дюжины. Первый герцог Чандос держал личный оркестр, который услаждал его слух музыкой во время трапез, однако он получил от некоторых музыкантов и дополнительную пользу, заставив их выполнять работу прислуги. К примеру, один из скрипачей ежедневно брил сына хозяина.

Штат прислуги еще более расширялся, если хозяева любили верховую езду и охоту. В Элвдене, родовом имении Гиннессов в Саффолке, служили шестнадцать егерей, девять младших егерей, двадцать восемь егерей, специализирующихся на мелкой дичи (для отстрела кроликов), и две дюжины разнорабочих — всего семьдесят семь человек — только ради того, чтобы у Гиннессов и у их гостей всегда было в распоряжении достаточно вспугнутых птиц, в которых можно пальнуть из ружья. Гости Элвдена ежегодно убивали свыше ста тысяч пернатых. Шестой барон Уолсингем в один день подстрелил 1070 шотландских куропаток — рекорд, который, можно надеяться, никогда не будет побит. У Уолсингема наверняка имелась целая команда заряжающих, благодаря которой он и смог сделать столько выстрелов. Куропаток, скорее всего, выпускали из клеток по несколько штук зараз. Впрочем, Уолсингем мог бы с тем же успехом палить прямо в клетки и сэкономить время для чаепития.

Гости привозили собственных слуг, и по выходным количество обитателей сельского дома нередко увеличивалось на полторы сотни человек. В такой толпе народа неизбежно возникала путаница. Однажды в 1890-е годы лорд Чарльз Бересфорд, известный повеса, вошел (как он

думал) в спальню своей любовницы, с похотливым криком «кукареку!» запрыгнул в постель и обнаружил там епископа Честерского с супругой. Чтобы избежать подобных казусов, гостям огромного роскошного поместья Вентворт-Вудхаус в графстве Йоркшир раздавали серебряные коробочки с конфетти определенного цвета, которое гости рассыпали в коридорах, чтобы потом найти дорогу к нужной комнате.

Во всем было видно стремление к масштабности. На кухне поместья Солтрэм-хаус в Девоне имелось 600 медных кастрюль и сковородок, и это вполне типичное количество. В среднем сельском доме, как правило, насчитывалось около 600 полотенец и такое же огромное количество простыней, скатертей и прочих текстильных изделий. Нашить на все это метки, переписать и разложить по шкафам уже представляло собой титаническую задачу.

Слуги всех уровней работали очень много, едва ли не на износ. В мемуарах, написанных в 1925 году, один вышедший в отставку слуга вспоминает, что в начале своей карьеры ему приходилось вставать раньше всех в доме и, пока остальные спят, растапливать камин, начищать двадцать пар сапог и снимать нагар с тридцати пяти свечей. Романист Джордж Мур отмечает в своей «Исповеди молодого человека», что многие слуги по семнадцать часов в сутки

*вкалывали на кухне, бегали вверх по лестнице с углем, завтраками и горячей водой, сидели на корточках перед жаровней... Иногда хозяева бросали тебе доброе слово, но никогда не общались с тобой как с себе подобным; в их отношении сквозила лишь жалость, похожая на ту, с которой смотрят на бездомного пса.*

До появления домашнего водопровода воду для умывания приходилось носить в каждую спальню, а потом уносить грязную. В каждую использующуюся спальню требовалось зайти, чтобы проверить, все ли там в порядке, и при необходимости освежить, как правило, пять раз в день. И каждый раз горничной требовался сложный набор сосудов и тряпок, чтобы, к примеру, свежая вода ни в коем случае не попала в ту емкость, куда сливали грязную. У горничной при себе всегда имелось три тряпки: одна — для протирки стеклянной посуды, вторая — для мебели и третья — для умывальных раковин. Ей следовало помнить назначение каждой, если она не хотела рассердить свою хозяйку.

Разумеется, это относится лишь к легкой уборке комнат. Если же гость

или член семьи желал принять ванну, объем работ возрастал в разы. Галлон воды весит восемь фунтов, а стандартная ванна вмещает 45 галлонов, которые предстояло нагреть в кухне, а потом принести наверх в специальных бидонах; причем за один вечер иногда приходилось наполнять две дюжины и больше ванн. Приготовление пищи тоже отнимало немало сил. Полный кухонный котел весил около шестидесяти фунтов.

Мебель, каминные решетки, шторы, зеркала, окна, мрамор, бронза, стекло и серебро — все это требовало регулярной чистки и полировки, зачастую с помощью самодельной пасты или мастики. Чтобы стальные ножи и вилки блестели, их следовало не только вымыть, но и энергично натереть о кусок кожи, смазанный пастой из наждачного порошка, мела, кирпичной пыли, красного крокуса (оксида железа) или оленьего рога, смешанных со свиным салом. Прежде чем убрать нож, его покрывали бараньим жиром (для предотвращения ржавчины) и заворачивали в оберточную бумагу, а перед новым использованием разворачивали, мыли и сушили. Чистка ножей была таким нудным трудоемким процессом, что именно машинка для чистки ножей — устройство с ручкой, проворачивающей жесткую щетку, — стала одним из первых берегающих труд бытовых устройств и продавалась под весьма уместным названием «Друг прислуги».

Зачастую от слуг требовалось не просто выполнить определенную работу, но выполнить ее в соответствии со строгими стандартами, изобретенными теми, кто сам никогда подобной работой не занимался. В шотландском поместье Мандерстоун бригада рабочих дважды в год разбирала, полировала, а потом опять собирала главную лестницу, посвящая этому целых три дня в году. Некоторые обязанности были так же унижительны, как и бессмысленны. Историк Элизабет Гарретт рассказывает, что в одном доме дворецкому и его персоналу вменялось выкладывать запасную ковровую дорожку вокруг обеденного стола в столовой, прежде чем его накрыть, чтобы зря не топтать хороший ковер. В Лондоне одна горничная жаловалась, что хозяйева заставляют ее снимать рабочую одежду и надевать «что-нибудь более приличное», прежде чем выйти на улицу и найти для них наемный экипаж.

Продовольственное снабжение большого дома было невероятно хлопотным делом. Бакалейные товары закупались всего два-три раза в год и хранились большими партиями: чай — в ящиках, мука — в бочках, сахар — в больших конусообразных емкостях. Прислуга должна была уметь правильно складировать продукты и долго сохранять их свежими.

Слугам приходилось самим готовить многие расходные материалы, с помощью которых они затем выполняли работу. Чтобы накрахмалить манишку или почистить туфли хозяина, требовалось сначала изготовить крем по собственной рецептуре. Готовые кремы для обуви появились в продаже только в 1890-х годах. До этого средства для чистки и полировки обуви варили в домашних условиях из смеси различных ингредиентов; разумеется, это зелье не только чистило сапоги, но и пачкало кастрюли, ложки, мешалки, руки, а также все остальное, что соприкасалось с ним в процессе изготовления. Крахмал получали из риса или картофеля, и это тоже был утомительный труд. Даже постельное белье и другие текстильные изделия не продавались в готовом виде. Люди покупали отрезки ткани и сами шили из них скатерти, простыни, рубашки и полотенца.

Во многих больших домах имелись чуланы, где стояли перегонные кубы для изготовления крепких напитков; здесь же изготавливалась масса других вещей: чернила, средства против вредителей, мыло, зубная паста, свечи, воск, уксусы и маринады, косметические кремы, косметика, крысиный яд, порошки от блох, шампуни, лекарства, растворы для удаления пятен с мрамора, лоска на брюках и даже веснушек (поговаривали, что последние выводятся с помощью буры, лимонного сока и сахара). В состав этих ценных средств входили самые разные, порой неожиданные компоненты: пчелиный воск, желчь молодых бычков, квасцы, уксус, скипидар и пр. Автор одного справочника середины XIX века советовал ежегодно чистить картины смесью «соли и отстоявшейся мочи», однако чьей именно мочи и как долго следовало ее отстаивать, оставлялось на усмотрение самого читателя.

В домах нередко было столько буфетных, кладовок, чуланов и других подсобных помещений, что большая часть дома практически принадлежала прислуге. В своей книге «Дом джентльмена» (1864) Роберт Керр пишет, что типичное жилище богача насчитывало двести комнат (с учетом всех кладовых и чуланов), из них почти ровно половина представляла собой подсобки и спальни для домашней прислуги. Если добавить сюда конюшни и другие надворные постройки, то получится, что практически все поместье находилось в распоряжении наемных работников.

Распределение труда иногда было весьма сложным. Керр разделил подсобные помещения на девять категорий: кухня, пекарня и пивоварня, холл «для прислуги высшего ранга», холл «для прислуги низшего ранга», погреб и надворные постройки, прачечная, уборные, «дополнительные комнаты» и коридоры. Впрочем, каждый дом был устроен по-своему. В ирландском Флоренс-корте имелось свыше шестидесяти подсобных

помещений, а в Итон-холле, чеширском имении герцога Вестминстерского, — всего шестнадцать; довольно скромная цифра, если учесть, что герцог держал больше трехсот слуг. Все зависело от бытовых предпочтений и привычек хозяина, хозяйки, дворецкого и экономки.

В большом сельском доме почти наверняка можно было найти ружейную, ламповую, кубовую комнаты, кладовую для хлеба, чулан дворецкого, рыбную кладовую, пекарню, угольный склад, кладовую для дичи, пивоварню, отдельные комнаты для хранения ножей, щеток, обуви и по меньшей мере еще дюжину других подсобных помещений. В Лангайдрок-хаусе в графстве Корнуолл имелась специальная комната, где хранились подкладные судна. А в одном валлийском доме, по словам историка Джульетт Гардинер, была даже специальная комната, предназначенная исключительно для глаженья газет (чтобы в руки хозяину они попадали сухими и теплыми). В самых больших (или наиболее старинных) жилых зданиях были предусмотрены отдельные чуланы для разных видов посуды, специй, домашней птицы и прочие, еще более экзотические, помещения, например кувшинная (*ewery*) — комната, где хранились кувшины для воды; старое английское слово *ewer* («кувшин») каким-то образом произошло от латинского *aquarius* («водный»).

Названия некоторых служебных помещений не так прямо описывают их назначение, как может показаться. Кладовая для продуктов (*buttery*) не имеет никакого отношения к маслу (*butter*), но связана с бочонками (*butts*): в кладовке стояли бочки с элем и другими напитками. По происхождению это слово — искаженное французское *boutellerie* («кладовая для бутылок»), от него же образовались английские слова *butler* («дворецкий») и *bottle* («бутылка»); первоначально дворецкий заведовал винным погребом.

Любопытно, что слово *dairy* («маслодельня», «молочная ферма») этимологически вообще не связано с продуктами, оно произошло от старофранцузского *deu*, «девушка». Иными словами, молочная ферма была не столько источником молочных продуктов, но прежде всего местом, где можно встретить хорошенькую девушку-молочницу.

Во всех домах, кроме самых бедных, хозяева редко заглядывали в кухню и вообще на территорию прислуги. По словам Джульетт Гардинер, хозяева «только в общих чертах представляли себе условия, в которых живут их работники». Нередко глава семьи вообще ничего не ведал о своих слугах, помимо их имен. Многие хозяева домов даже не ориентировались в полутемных служебных помещениях.

Каждый аспект жизни хозяев дома, а также их гостей и прислуги был строго регламентирован. Строгий протокол диктовал, в какую часть дома

можно заходить, какими коридорами и лестницами пользоваться, какие двери открывать: все зависело от того, кто ты — гость или близкий родственник, гувернантка или домашний учитель, ребенок или взрослый, аристократ или простолюдин, мужчина или женщина, прислуга высшего или низшего ранга. Регламент был настолько суров, рассказывает Марк Жируар в книге «Жизнь в английском загородном доме», что в одном роскошном поместье послеполуденный чай подавали в одиннадцати разных комнатах для одиннадцати разных рангов людей. В своей истории прислуги сельских домов Памела Сэмбрук рассказывает, как две сестры работали в одном и том же доме — одна горничной, другая няней, но им не разрешалось при встречах разговаривать друг с другом и даже показывать, что они знакомы, поскольку они принадлежали к «совершенно разным социальным слоям».

Слуги почти не имели времени ухаживать за собой, тем не менее их постоянно упрекали в неряшливости. Упрек крайне несправедливый, ведь трудовой день начинался в 6.30 утра и заканчивался в десять вечера, а то и позже, если вечером случались какие-то светские мероприятия. Создательница одного справочника по домоводству сетует, что ей бы очень хотелось предоставить своим слугам хорошие уютные комнаты, но у прислуги, к сожалению, вечный беспорядок. «Поэтому чем проще обставлена комната для прислуги, тем лучше», — делает вывод автор.

К началу Эдвардианской<sup>[41]</sup> эпохи прислуге было принято давать половину выходного дня в неделю и один полный выходной день в месяц — не слишком щедро, если учесть, что в течение этих драгоценных часов свободы им надо было успеть купить себе что-то нужное, постричься, навестить родных, сходить на свидание, как-то развлечься, да и просто отдохнуть.

Пожалуй, самым трудным для прислуги было постоянно находиться рядом с людьми, которые тебя в лучшем случае почти не замечают, и зависеть от них. В своих дневниках Вирджиния Вульф почти с ненавистью описывает домашних слуг и то, как ей сложно сохранять с ними терпение. Про одну служанку она говорит следующее: «Она пребывает в первобытном состоянии: неумелая, безграмотная... так и видишь, как шевелятся немногочисленные извилины ее мозга». Вообще слуги раздражали, как «кухонные мухи». Современница Вирджинии Вульф Эдна Сент-Винсент Миллей выражается еще резче: «Кого я действительно ненавижу, так это слуг, — пишет она. — Да их вообще нельзя назвать человеческими существами».

Безусловно, это был странный мир. Слуги представляли собой

социальный класс, чье существование почти целиком было посвящено другому классу: первые следили за тем, чтобы у вторых под рукой было все, чего они пожелают, причем по возможности сразу, в самый момент возникновения желания. В 1920-х годах десятый герцог Мальборо приехал в гости к дочери; ее дом был таким маленьким, что он не смог взять с собой слуг. Выйдя из ванной, он в горестном удивлении развел руками: на его зубной щетке почему-то совсем не было пасты. Оказывается, зубную пасту на его щетку обычно выдавливал камердинер, но герцог был уверен, что зубная щетка каким-то образом «подзаряжается» автоматически.

Наградой за все эти хлопоты слугам часто бывало ужасное обращение. Хозяйки имели обыкновение проверять прислугу на честность, оставляя на видном месте какую-либо приманку, например монету на полу. Если слуга ее прикарманывал, его наказывали. В результате слуги испытывали почти параноидальное чувство, что они находятся под неусыпным контролем некоего верховного всевидящего существа. Кроме того, прислугу часто подозревали в пособничестве квартирным ворам: якобы слуги снабжают преступников конфиденциальной информацией и нарочно оставляют двери незапертыми.

Все это были отличные рецепты взаимного недовольства. Прислуга, особенно в маленьких домах, как правило, считала своих хозяев неразумными и чересчур требовательными, а хозяева, в свою очередь, считали свою прислугу ленивой и ненадежной.

Унижение было постоянным спутником слуги. Иногда от него требовали сменить имя, потому что второго лакея в этом доме всегда звали, скажем, Джонсон и хозяева не хотели утруждать себя, запоминая новое имя всякий раз, когда лакей увольнялся или, например, попадал под колесо ломовой телеги.

Дворецкие — тема особая. Они должны были уметь держаться и вести себя как джентльмены — и одеваться соответствующим образом, но часто хозяева заставляли их носить нечто нарочито нелепое: к примеру, брюки и пиджак, совершенно не подходящие друг другу. Таким образом ясно демонстрировалось, что дворецкий все же слуга, а не джентльмен<sup>[42]</sup>.

В одной книге того времени приводятся инструкции (фактически подробно расписанный сценарий), описывающие, каким образом следует унижать прислугу в присутствии ребенка — для вящей пользы и ребенка, и прислуги. В этом образцовом сценарии мать призывает маленького сына в кабинет, где он застаёт ее стоящей перед тихо плачущей служанкой.

— Сейчас няня Мэри, — начинает мать, — скажет тебе, что нет никаких злодеев, которые прокрадываются по ночам в спальню к

непослушным мальчикам и забирают их с собой. Я хочу, чтобы ты это послушал, потому что няня Мэри сегодня уедет и ты, возможно, больше никогда ее не увидишь.

После этого няню заставляют припомнить все ее «глупые сказочки» и последовательно отречься от каждой.

Мальчик внимательно слушает, а затем протягивает руку уходящей няне.

— Спасибо, няня, — твердо говорит он. — Я не должен был бояться, но, знаешь, я тебе верил. — Тут он обращается к матери. — Теперь я не буду бояться, мама, — мужественно заверяет ребенок, и все возвращаются к привычной жизни — кроме, разумеется, няни, которой предстоит отправляться на поиски новой приличной работы. Возможно, она никогда не найдет ее.

Увольнение, особенно для прислуги женского пола, было самой страшной бедой, ибо оно означало потерю не только источника существования, но и крыши над головой, и перспектив — словом, потерю всего. Миссис Битон строго-настрого предупреждала своих читательниц, чтобы они не поддавались ложно понятому христианскому милосердию или состраданию и ни в коем случае не давали уволенной прислуге вводящих в заблуждение рекомендаций:

*Вряд ли следует говорить, что, давая характеристику, хозяйка дома должна руководствоваться чувством справедливости. Будет нечестно, если одна дама порекомендует другой прислугу, которую сама держать не хочет.*

В Викторианскую эпоху от слуг стали требовать, чтобы они были не только честными, чистыми, работающими, трезвыми, исполнительными и бдительными, но и как можно менее заметными. Дженни Аглоу в своей книге по истории садоводства упоминает одно поместье, в котором садовникам приходилось делать крюк длиной в милю, чтобы опорожнить тачку и при этом не попасться на глаза хозяевам. А в одном саффолкском доме слуги должны были поворачиваться лицом к стене и прижиматься к ней, когда господа проходили мимо.

Дома начали специально проектировать таким образом, чтобы прислуга оставалась за пределами видимости хозяев и существовала отдельно от них, за исключением случаев крайней необходимости. Архитектурным усовершенствованием, особенно способствовавшим классовой сегрегации, стала черная лестница. «Теперь джентльмен,

поднимаясь по лестнице, уже не сталкивался с прислугой, спускающейся вниз с его ночным горшком», — иронизирует Марк Жируар. «Подобное уединение высоко ценилось обеими сторонами», — уверяет Роберт Керр в книге «Дом джентльмена», хотя мы можем с уверенностью сказать, что самому мистеру Керру были явно лучше знакомы чувства тех, кто наполнял ночные горшки, чем тех, кто их мыл.

В домах высшего общества не только слугам, но также гостям и даже постоянным членам семьи полагалось по возможности меньше бросаться в глаза. Когда королева Виктория прогуливалась после полудня по своему поместью Осборн-хаус на острове Уайт, никому не разрешалось попадаться ей на глаза, к какому бы сословию ни относился человек. Говорили, что можно было легко определить местонахождение ее величества в любой части поместья, увидев людей, в панике спасающихся бегством при приближении монархини. Однажды канцлер казначейства сэра Уильям Харкорт был застигнут королевой на открытом пространстве, где негде было спрятаться, кроме как в низком кустарнике. При росте в шесть футов четыре дюйма и весьма тучной комплекции сэра Уильям вряд ли мог рассчитывать на то, что его маневр окажется удачным, — это был всего лишь символический жест. Впрочем, Виктория сделала вид, что не заметила канцлера: она, как никто другой, умела не замечать людей. Во дворце, где случайные встречи в коридорах были неизбежны, она сосредоточенно глядела вперед и испепеляла надменно-царственным взором любого, кто попадался ей на пути. Лишь самым доверенным слугам дозволялось смотреть прямо на нее.

«Разделение классов очень опасно и достойно порицания; оно не было задумано природой, и королева всегда старается его сгладить», — писала Виктория, совершенно игнорируя действительное положение дел.

Старшим слугой в доме являлся дворецкий. Аналогичную по значимости женскую должность занимала экономка. Далее по нисходящей следовали эконом, шеф-повар и целая армия горничных, официанток, камердинеров, мальчиков-слуг и лакеев. Лакей (*footman*) первоначально вполне соответствовал буквальному значению этого слова<sup>[43]</sup>: он бежал трусцой рядом с паланкином или экипажем, в котором сидел его господин, поддерживая его престиж, а заодно оказывая на бегу все необходимые услуги.

В XVIII веке лакеев выбирали как скаковых лошадей; иногда хозяева устраивали гонки своих лакеев и делали на них крупные ставки. В доме лакеи выполняли большую часть публичных работ — открывали входную дверь, прислуживали за столом, доставляли корреспонденцию, поэтому их

зачастую выбирали по росту, выправке и внешним данным, к великому неудовольствию миссис Битон. «Если светская дама при выборе лакея учитывает лишь его рост, фигуру и форму икр, то ей не стоит удивляться, обнаружив в нем полное безразличие к домашним», — презрительно замечает она.

В некоторых британских домах с не слишком строгими нравами случались романы лакея и госпожи. Хорошо известна история виконта Лигонье Клонмеллского, узнавшего, что его жена изменяет ему с итальянским аристократом, графом Витторио Амадео Альфиери. Лигонье вызвал графа на дуэль, как того требовала честь джентльмена, и двое соперников устроили поединок в лондонском Грин-парке. Несколько минут они скрещивали шпаги, взятые напрокат в ближайшем магазине, однако без особого азарта: видимо, оба понимали, что ветренная леди Лигонье не стоит того, чтобы проливать из-за нее кровь. Дама тем временем не преминула подтвердить свою репутацию, сбежав с лакеем. После этого по всей Англии долго гуляли непристойные шуточки и скабрзные стишки, из которых я могу предложить вашему вниманию следующий:

Ямщик красотке Лигонье  
Милей, чем знатный шевалье.

Так или иначе, существование прислуги не всегда было беспросветным. Господа обычно жили в больших сельских домах всего два-три месяца в году, и у прислуги в этих домах долгие периоды относительной праздности перемежались с неделями тяжкого, почти круглосуточного труда. У городских слуг, как правило, все было наоборот.

Они жили в тепле, хорошо питались, прилично одевались и имели место для сна — а в то время эти вещи значили очень много. Помимо комфорта, дворецкий получал жалованье, эквивалентное сегодняшним 50 000 фунтам стерлингов в год. Для самых изобретательных и смелых открывались и дополнительные возможности. К примеру, в Чатсуорте пиво поступало из пивоварни в дом по трубе, проходившей через большую оранжерею, построенную Джозефом Пакстоном. Однажды во время регулярного техосмотра обнаружилось, что некий предприимчивый слуга врезал в трубу кран и столь же регулярно выкачивал часть ее содержимого.

Слуги получали весьма неплохие чаевые. Удаляясь со званого обеда, гости обычно проходили через строй из пяти-шести лакеев, и каждому следовало дать шиллинг; таким образом, званый обед был чрезвычайно

дорогостоящим мероприятием для всех, кроме прислуги. Приезжавшие на выходные гости тоже давали щедрые чаевые. Кроме того, слуги зарабатывали тем, что показывали гостям окрестности. В XVIII веке появился обычай устраивать экскурсии для прилично одетых посетителей, и представители среднего класса часто специально ездили осматривать богатые дома — так же, как они это делают сейчас. В 1776 году одна дама, приехавшая в Уилтон-хаус, была занесена в книгу посетителей под номером 3025 (счет велся с начала года, а на дворе был еще только август).

Чтобы контролировать ситуацию, в некоторых поместьях пришлось даже ввести ограничения. Чатсуорт был открыт для посещений лишь два дня в неделю; Уоберн, Бленхейм, замок Хоуард, Хардвик-холл и Хэмптон-Корт также установили определенные часы для посещений. Писателю Горацию Уолполу так сильно досаждал бесконечный поток экскурсантов в его доме Строберри-хилл в Туикенеме, что он стал печатать билеты и выпустил длинный список строгих правил, в которых было в подробностях указано, что разрешается и что воспрещается. Скажем, если вы заказали четыре билета, а приехали впятером, то не впускали никого. Другие дома были более гостеприимными. В Рокби-холле (Йоркшир) даже открыли кафе-кондитерскую.

Зачастую прислуживать было трудней в маленьких домах, где один выполнял работу, которую в других местах делали двое-трое. Миссис Битон, разумеется, уделила много внимания вопросу численности слуг. Состоятельному джентльмену она предписывала иметь штат прислуги минимум в двадцать пять человек. Тому, кто имел доход в 1000 фунтов стерлингов в год, следовало держать пятерых: кухарку, двоих горничных, няню и лакея. Представитель среднего класса должен был иметь троих слуг: домоправительницу, горничную и кухарку. Даже человек с ежегодным доходом всего в 150 фунтов стерлингов считался достаточно богатым, чтобы нанять одну служанку «на все руки» (*maid-of-all-work*) — название говорит само за себя. У самой миссис Битон было четверо слуг. Да и большинство ее читательниц на практике обходились гораздо меньшим штатом прислуги, чем она советовала.

Типичным в этом смысле можно считать дом историка Томаса Карлейля и его жены Джейн, живших в Челси по адресу: Грейт-Чейн-Роу, 5. Карлейли держали всего одну служанку. Эта бедная женщина не только готовила, убирала, мыла посуду, растапливала камин, отвечала за запасы продуктов и все остальное хозяйство, но и каждый раз, когда Карлейли желали принять ванну (а это случалось часто), носила, грела и поднимала на три лестничных пролета восемь-десять галлонов горячей воды. А потом

выносила грязную воду.

За неимением собственной комнаты она жила на кухне. Удивительно, но так было заведено практически во всех маленьких жилищах, даже если хозяева были таких передовых взглядов, как Карлейль. Кухня на Грейт-Чейн-роу находилась в цокольном этаже, там было тепло и чисто, разве что чуть темновато, но даже этим нехитрым помещением служанка не могла распорядиться по своему усмотрению. Томасу Карлейлю самому нравилась уютная кухня, и он частенько устраивался там вечером почитать, а горничную выгонял в «заднюю кухню», каковым эвфемизмом обозначалась неотапливаемая кладовка. Служанка сидела там среди мешков с картошкой и ящиков с продуктами и ждала, пока хозяин скрипнет креслом, выбьет трубку о каминную решетку и уйдет спать. Но Карлейль часто засиживался допоздна, и бедная женщина укладывалась в свою спартанскую постель лишь глубокой ночью.

За тридцать два года в доме на Грейт-Чейн-роу сменилось тридцать четыре горничных, между тем служить у Карлейлей было сравнительно легко, поскольку оба они отличались спокойным добрым нравом и детей у них не было. Однако даже им не всегда удалось найти прислугу, в точности отвечающую их требованиям. Порой случались настоящие катастрофы. Так, однажды в 1843 году миссис Карлейль вернулась домой днем и застала свою домработницу мертвецки пьяной, спящей прямо на полу кухни, «рядом валялось перевернутое кресло, а вокруг царил совершеннейший хаос из черепков грязной посуды». В другой раз, к ужасу миссис Карлейль, горничная в ее отсутствие родила внебрачного ребенка прямо в гостиной первого этажа. Хозяйку особенно возмутило то, что несчастная перепортила все ее чудесные салфетки. Однако по большей части горничные уходили (сами или по просьбе хозяев), потому что не желали работать так усердно, как того требовали Карлейли.

Не следует забывать, что слуги были обычными людьми и крайне редко обладали той степенью исполнительности, мастерства, выносливости и терпения, которые требовались для удовлетворения бесконечных господских прихотей. А тот, кто мог похвастаться столь многочисленными талантами, какие требовались от отличного слуги, вряд ли хотел быть наемным работником.

Самым чувствительным обстоятельством в положении прислуги было ее полное бесправие. Горничных и лакеев могли обвинить в чем угодно; они были очень удобными козлами отпущения. Это доказывает известный случай с самими Карлейлями, произошедший вечером 6 марта 1835 года. Они только недавно переехали из родной Шотландии в Лондон в надежде,

что Томас сумеет сделать в столице карьеру писателя. Ему было тридцать восемь лет, и он уже приобрел репутацию — правда, весьма скромную — благодаря своему сложному философскому роману *Sartor Resartus* («Перекроенный портной»), но мечтал написать свой *magnum opus* — многотомную историю Французской революции. Зимой 1835 года, после долгого и изнурительного труда, он закончил первый том и дал почитать рукопись своему другу и наставнику Джону Стюарту Миллю, чтобы тот высказал свое мнение.

И вот шестого марта на крыльце Карлейлей появился мертвенно-бледный Милль. Позади, в карете, сидела его любовница миссис Гарриет Тейлор. Ее муж, мистер Тейлор, был предпринимателем и человеком настолько свободных взглядов, что открыто делил супругу с Миллем и даже предоставил любовникам коттедж к западу от Лондона, в городке Уолтон-на-Темзе, где они могли встречаться наедине. А теперь самое время передать слово Карлейлю:

*Милль постучался в дверь, вошел белый как полотно и не мог говорить. Задыхаясь, он предложил моей жене пойти поболтать с миссис Тейлор. Из долгих и сбивчивых объяснений моего друга я наконец понял, что мой первый том (чересчур беспечно оставленный им у камина после или во время прочтения), за исключением четырех-пяти обрывков страниц, навсегда УНИЧТОЖЕН! Из его слов мне было ясно лишь одно: все, что я с таким трудом написал, утеряно безвозвратно, и ни я, ни целый мир не смогут мне это вернуть; у меня пропало былое вдохновение... пропало навсегда.*

Служанка, объяснял Милль, увидела рукопись, лежавшую рядом с каминной решеткой, и растопила ею камин. Пожалуй, даже не надо слишком вникать в суть вопроса, чтобы заметить некоторые несуразности. Во-первых, рукописную книгу, где бы она ни лежала, трудно принять за ненужные бумажки, а горничная, работавшая в доме у Милля, наверняка была знакома с такого рода вещами и понимала их ценность. Во-вторых, чтобы растопить камин, не нужна целая рукопись — достаточно всего нескольких листов. А если вы терпеливо бросаете в огонь лист за листом и в итоге сжигаете всю объемистую стопку, значит, вы задались целью от нее избавиться. Короче говоря, невозможно представить обстоятельства, при которых горничная, пусть даже самая недалекая, могла бы случайно уничтожить такую работу.

Вполне возможно, Милль сам сжег рукопись в приступе зависти или гнева. Он был авторитетным специалистом по Французской революции и говорил Карлейлю, что планирует когда-нибудь написать книгу на эту тему, значит, профессиональная ревность вполне могла иметь место. Кроме того, Милль переживал серьезный личный кризис: миссис Тейлор только что сообщила ему, что никогда не уйдет от мужа, но при этом хочет сохранить их странный любовный треугольник. Возможно, от этих слов Милль слегка повредился в рассудке.

Однако столь бессмысленный и жестокий поступок никак не вяжется ни с хорошей репутацией Милля, ни с его вроде бы искренним ужасом от происшедшего. Остается одно последнее предположение: к случившемуся каким-то образом причастна миссис Тейлор, которую степенные Карлейли недолюбливали. Тем более что Милль рассказал Карлейлю, что в Уолтоне он зачитывал Гарриет большие куски из злополучной рукописи.

Правила приличия запрещали Карлейлям усомниться, даже риторически, в правдивости рассказанной Миллем истории. Поэтому Томас выслушал изложенные факты и не задал ни одного дополнительного вопроса о том, как случилась эта страшная, странная и непостижимая катастрофа. Безымянная служанка полностью уничтожила его рукопись, и точка.

Карлейлю ничего не оставалось, как только сесть и написать книгу заново — эта непростая задача еще больше осложнялась из-за того, что он не сохранил рабочие записи: у него была довольно глупая привычка... сжигать их по окончании каждой главы! Милль настоял на том, чтобы Карлейль принял от него компенсацию в 100 фунтов стерлингов: этих денег семье бы хватило на год, в течение которого Томас восстанавливал свою книгу, — но, конечно, бывшая дружба была утрачена безвозвратно. Три недели спустя в письме брату Карлейль жаловался, что Милль даже не дал им возможности предаться печали в одиночестве: «Он сидел чуть ли не до полуночи, и нам с моей бедной женушкой пришлось болтать о всякой ерунде, стараясь ничем не выказать свое горе».

Мы уже никогда не узнаем, насколько восстановленная версия отличается от первоначальной. Но так или иначе, дошедшая до нас книга — одно из самых скучных и нечитабельных литературных произведений своего времени.

Все повествование ведется исключительно в настоящем времени странным и практически бессвязным языком. Вот, к примеру, как Карлейль описывает изобретателя гильотины:

*А почтенный доктор Гильотен, которого мы надеялись узреть в другой раз? Доктор должен быть здесь, и мы видим его пророческими глазами, ибо все парижские депутаты, несомненно, чуть-чуть опоздали. Выдающийся Гильотен, уважаемый практик; обреченный злой судьбой на странную бессмертную славу, которая удерживает простого смертного от могильного упокоения, от лона забвения!.. Несчастный доктор! На протяжении двадцати двух лет, не будучи приговоренным, он слышал лишь звук падающей гильотины; затем, умирая, долгие века скитался печальным призраком не на том берегу Стикса и Леты; его имя, наверное, переживет имя Цезаря.*

Читатели никогда еще не встречали в книгах столь дерзкого в своей интимности тона, и книга Карлейля их увлекла. Диккенс утверждал, что прочел ее пятьсот раз и что именно она вдохновила его на «Повесть о двух городах». Оскар Уайльд преклонялся перед Карлейлем. «Он первым из пишущих по-английски превратил историю в песню, — писал Уайльд. — Он был нашим английским Тацитом». В течение полувека литературное сообщество боготворило Томаса Карлейля.

Он умер в 1881 году, и написанная им «История» едва смогла его пережить, однако история личной жизни Карлейля представляет интерес до сих пор, главным образом благодаря его невероятно объемной переписке с супругой — этих писем хватило бы на тридцать томов печати мелким шрифтом. Томас Карлейль наверняка пришел бы в ужас и смятение, узнав, что сегодня почти никто не читает его исторические труды, зато известны все перипетии его повседневной жизни, в том числе и длившееся десятилетиями ворчание по поводу нерадивой прислуги. Ирония судьбы заключается в том, что, если бы не череда «неблагодарных» и «негодных» горничных, у Карлейля и его супруги просто не оставалось бы времени, чтобы писать все эти письма.

Двумя столетиями раньше Сэмюэл Пипс и его жена Элизабет также никак не могли найти прислугу, которая бы удержалась у них надолго. Пожалуй, в этом нет ничего удивительного, ибо Пипс частенько приставал к служанкам и бил лакеев... впрочем, и горничных он тоже бил. Однажды он взял метлу и лупил ею служанку по имени Джейн, «пока та не начала громко рыдать». Провинность ее заключалась в недостаточной опрятности. У Пипса служил один паренек, который, кажется, только и делал, что подавал хозяину предметы для битья — «трость, розгу, хлыст, веревку или

даже соленого угря», рассказывает историк Лайза Пикар.

Пипс увольнял своих слуг за малейшую провинность: один, например, «надерзил», а другая «много сплетничала». Как-то новой горничной выдали новую одежду, но горничная в ту же ночь сбежала. Когда ее поймали, Пипс отобрал у беглянки одежду и велел жестоко выпороть несчастную. Другие слуги были изгнаны за пьянство или воровство еды. Некоторые уходили сами — скорее всего потому что не желали терпеть домогательств со стороны хозяина.

Однако покладистых было на удивление много. За восемь с половиной лет, описанных в его дневнике, Пипс переспал по меньшей мере с десятью женщинами, не считая жены, и еще с сорока имел разного рода сексуальные игры. Многие из них были служанками. Про одну из его горничных по имени Мэри Мерсер в «Национальном биографическом словаре» говорится, что «Сэмюэл завел привычку ласкать грудь Мерсер, пока она одевала его по утрам» (любопытно, что наш распутный герой назван просто по имени, а его служанка — по фамилии). Горничные не только одевали Пипса, ублажали его в постели и получали от него тумачи; они его причесывали и даже мыли ему уши — и это помимо рутинных ежедневных обязанностей (приготовить, вымыть, подать, унести). Понятно, что Пипсам было отнюдь не просто найти и удержать прислугу.

Пипс также может служить примером того, как слуги предавали своих хозяев. В 1679 году он уволил дворецкого за то, что тот переспал с экономкой (которая, впрочем, осталась в доме). В отместку дворецкий сообщил политическим противникам Пипса, что тот — папист. Это были времена религиозной истерии, и Пипса посадили в Тауэр. Правда, потом дворецкого замучила совесть, он признался в оговоре, и его бывшего хозяина выпустили на свободу. Однако это яркое свидетельство того, что господа порой точно так же бывали во власти прислуги, как прислуга — во власти господ.

Что касается самих слуг, то их голоса мы слышим редко. Интересным исключением является Ханна Каллвик, которая в течение почти сорока лет вела необычно подробный дневник. Каллвик родилась в 1833 году в графстве Шропшир и с восьми лет пошла работать кухонной прислугой на полный день. За свою долгую карьеру она побывала младшей горничной, судомойкой, кухаркой, помощницей повара и главной экономкой. Работа была трудной и отнимала много времени. Ханна начала дневник в 1859-м в возрасте двадцати пяти лет и вела его почти до дня своего шестидесятипятилетия. Благодаря столь значительному временному охвату

дневник довольно полно описывает жизнь прислуги низшего ранга. Как и большинство слуг, Ханна начинала свой рабочий день в седьмом часу утра и заканчивала в девять-десять вечера, а иногда и позже. Дневник — по большей части бесконечный перечень выполненных ею работ. Вот типичная запись, от 14 июля 1860 года:

*Открыла ставни и разожгла кухонный очаг. Вытрясла свою закопченную одежду над мусорной ямой и высыпала туда же золу. Подмела полы и вытерла пыль в комнатах и в холле. Подбросила дрова в топку и приготовила завтрак. Почистила две пары сапог. Застелила постели и вылила помои. Убрала после завтрака. Вымыла посуду, начистила ножи и приготовила обед. Убрала. Навела порядок на кухне; распаковала корзину с продуктами. Отнесла двух цыплят миссис Бруэр и принесла от нее записку. Испекла фруктовый пирог, оцупала и выпотрошила двух уток, поджарила их. Вымыла лестницы и плитку — стоя на коленях. Покрыла графитом железную сетку у входа в дом; вымыла уличную плитку — тоже на коленях. Постирала белье в буфетной. Убрала в кладовке — на коленях — и отскоблила столы. Надраила плитку вокруг дома и протерла подоконники. Принесла чай хозяину и миссис Уорик... Вымыла уборную, коридор и пол в буфетной — на коленях. Вымыла собаку и почистила раковины. Приготовила ужин и оставила в кухне, чтобы Энн его отнесла: я сама была слишком грязной и усталой, чтобы подниматься наверх. Приняла ванну и легла спать.*

Поразительно, но это самый обычный день служанки... за исключением одной детали: Ханна приняла ванну. Большинство записей заканчиваются усталым и безысходным: «легла спать грязной».



*Рис. 5. Ханна Каллвик за работой. Фотографии сделаны ее мужем. Внизу справа: Ханна в образе трубочиста. Обратите внимание на цепь у нее на шее*

Помимо того, что Ханна Каллвик ежедневно описывала на бумаге свои обязанности, в ее жизни была еще одна, даже более удивительная особенность: тридцать шесть лет, с 1873 года и до самой смерти в 1909-м, она состояла в тайном браке со своим господином, государственным служащим и малоизвестным поэтом Артуром Манби, который скрывал этот факт от родных и друзей. Наедине они вели себя как обычные муж и жена, но когда приходили гости, Ханна снова возвращалась к роли горничной. Если гости оставались на ночь, она вместо супружеской постели спала в кухне.

Среди друзей Манби были Джон Рескин, Данте Габриэль Россетти и Роберт Браунинг; они часто бывали у него в доме, но никто из них даже не догадывался о том, что женщина, которая обращается к их другу «сэр», на самом деле — его жена.

Впрочем, даже оставаясь наедине, Ханна и Артур вели себя, мягко говоря, несколько необычно. По его просьбе она называла мужа «масса»<sup>[44]</sup> и покрывала тело черной краской, чтобы походить на чернокожую рабыню. Дневник, очевидно, и велся в основном для того, чтобы муж мог прочесть, как она это делает.

Только в 1910 году, когда Манби умер и было оглашено его завещание, пикантные обстоятельства этого странного брака стали достоянием общественности и вызвали небольшую сенсацию. Именно странный брак, а не ее обстоятельный дневник, прославил Ханну Каллвик.

Самое низкое положение в иерархии слуг занимали прачки. Хозяйева настолько не дорожили ими, что старались держать подальше, и даже белье для стирки им предпочитали доставлять таким образом, чтобы прачка лишней раз не попала на глаза. К их работе относились с презрением; в больших домах прислугу иногда ссылали в прачечную в качестве наказания. Труд прачек был изнурительным. В солидном сельском доме они каждую неделю перелопачивали по шестьсот-семьсот отдельных предметов одежды, постельного белья и полотенец. Моющие средства появились только в 1850-х годах, а до этого белье на несколько часов замачивали в мыльной воде или щелоке, потом колотили и энергично терли, кипятили в течение часа или дольше, несколько раз полоскали, отжимали руками или (уже во второй половине XIX века) крутили в сушилке-барабане, а потом выносили на улицу и развешивали на изгороди или расстилали на лужайке. Одним из самых распространенных преступлений в сельской местности была кража сохнувшего белья, поэтому нередко выстиранное белье караулили — то есть в буквальном смысле стояли рядом и ждали, пока оно высохнет.

Как пишет Джудит Фландерс в книге «Викторианский дом», чтобы обработать одну стандартную партию белья — включавшую, скажем, простыни, скатерти и прочие вещи, — требовалось выполнить по меньшей мере восемь различных операций. Задача еще более усложнялась, если попадались деликатные ткани, с ними следовало обращаться крайне бережно. Одежду, сделанную из разных видов ткани — например, из бархата и кружев, — приходилось аккуратно распаривать, стирать детали порознь, а потом опять сшивать.

Краски в большинстве своем были нестойкими и «капризными», поэтому при каждой стирке в воду добавляли определенную дозу химикатов, чтобы сохранить (или восстановить) цвет: квасцы и уксус — для зеленых вещей, пищевую соду — для фиолетовых, серную кислоту — для красных. У каждой уважающей себя прачки имелся каталог рецептов выведения различных видов пятен. Лен обычно замачивали в отстоянной моче или разбавленном растворе куриного помета: эти жидкости обладали отбеливающим эффектом, но, по понятным причинам, требовали дополнительного полоскания в каком-нибудь травяном экстракте, который отбивал неприятный запах.

Крахмаление представляло собой столь трудоемкий процесс, что его часто переносили на следующий день стирки. Глажка была еще одной пугающе трудной задачей. Утюги быстро остывали, поэтому ими орудовали с бешеной скоростью, а затем меняли на свеженагретые. Обычно одним гладили, а два других нагревали. Утюг сам по себе был тяжелым, и, чтобы получить желаемый результат, следовало приложить немало усилий. При этом не стоило забывать про осторожность, ведь температура утюга не регулировалась и можно было легко сжечь ткань. При нагревании над огнем утюг покрывался копотью; приходилось постоянно его протирать. Если белье было крахмаленным, крахмал прилипал к подошве утюга, и потом его отскабливали наждачной бумагой или пилочкой для ногтей.

В день стирки прачки обычно вставали в три часа утра, чтобы согреть воду. Если в доме имелась только одна прислуга, хозяин нанимал в этот день прачку со стороны. Некоторые смелые люди отправляли белье в чужие прачечные; однако до изобретения карболовой кислоты и других сильнодействующих дезинфицирующих средств большинство людей боялось, что их вещи вернутся к ним зараженными какой-нибудь ужасной болезнью, например скарлатиной. К тому же мало кто хотел, чтобы его одежду стирали вместе с чьей-то еще. Крупный лондонский универсальный магазин «Уайтлиз» предлагал услуги прачечной еще с 1892 года, но они не пользовались спросом до тех пор, пока директор магазина не додумался вывесить большое объявление, гласившее, что белье слуг и джентльменов стирается отдельно. Даже в XX веке многие богатые лондонцы каждую неделю отправляли грязное белье поездом в свои загородные поместья, чтобы его выстирали люди, которым они могли доверять.

В Америке ситуация с прислугой почти во всех отношениях складывалась совсем иначе. Считалось, что у американцев было гораздо меньше слуг, чем у британцев, но это верно лишь до определенной степени,

ведь у американцев были рабы. У Томаса Джефферсона имелось больше двухсот рабов, в том числе двадцать пять выполняли обязанности домашней прислуги. Один его биограф заметил:

*Если Джефферсон пишет, что «посадил оливковые и гранатовые деревья», не следует думать, будто он сам орудовал лопатой: он всего лишь командовал своими рабами.*

Рабство не было чем-то само собой разумеющимся. Иногда раб мог работать по контракту, а когда срок службы заканчивался, его отпускали. В XVII веке один раб из штата Виргиния по имени Энтони Джонсон выкупил табачную плантацию площадью в 250 акров, стал вполне процветающим фермером и даже обзавелся собственными рабами. Кроме того, рабство не было атрибутом исключительно Юга: до 1827 года рабовладение было вполне законным в Нью-Йорке. В Пенсильвании Уильям Пенн тоже держал рабов, а когда в 1757 году Бенджамин Франклин приехал в Лондон, он привез с собой двух невольников, Кинга и Питера.

В то же время вольнонаемных слуг у американцев и впрямь было немного. Даже в эпоху расцвета наемного труда меньше половины американских домохозяйств имели хотя бы одного слугу, причем многие из этих слуг вовсе не считали себя таковыми. Большинство слуг отказывалось носить ливрею, а некоторые обедали за одним столом вместе с членами семьи, требуя, чтобы к ним относились почти как к ровне.

Как сказал один историк, «легче изменить быт, чем пытаться изменить слуг». Поэтому Америка очень рано стала проявлять интерес и любовь к удобствам и приспособлениям, облегчающим ведение хозяйства. Правда, многие предметы бытовой техники XIX века зачастую не экономили силы, а лишь прибавляли хлопот. В 1899 году Бостонская школа домоводства подсчитала, что новейшая угольная печка требует пятьдесят четыре минуты сложного обслуживания в день: надо убрать золу, наполнить топку углем, начистить и отполировать поверхность и так далее, прежде чем хозяйка сможет вскипятить на ней хотя бы кастрюлю воды. С появлением светильного газа проблема только усугубилась. Как утверждает книга «Цена чистоты», в типичном доме из восьми комнат с газовым оборудованием приходилось тратить тысячу четыреста часов в год на основательную уборку, связанную с газовой копотью, в том числе десять часов в месяц — на мытье окон.

Как бы то ни было, бытовые новшества в основном облегчали труд мужчинам — например, теперь им не приходилось колоть дрова — и

приносили мало пользы женщинам. Фактически повышение уровня жизни и усовершенствование технологий, как правило, только еще больше нагружали работой служанок в больших домах: блюда становились все более сложными, стирки прибавлялось, а требования к чистоте неуклонно росли.

Однако вскоре мощная, невидимая и таинственная сила повсеместно изменила такое положение вещей. Чтобы ознакомиться с этой историей, давайте проследуем... нет, не в другую комнату, а вот к этому маленькому ящичку, висящему на стене.



*Рис. 6. Чтение при свечах*

## Глава 6

# Распределительный щит

Осенью 1939 года, в дни истерии, сопровождавшей начало войны, Великобритания ввела строгие правила, касающиеся светомаскировки, с целью помешать смертоносным планам люфтваффе. В течение трех месяцев запрещалось по ночам зажигать любые огни, даже самые тусклые. Нарушители подвергались аресту, даже если они прикурили сигарету, стоя в дверях собственного дома, или чиркнули спичкой, чтобы прочесть, что написано на дорожном указателе. Одного человека оштрафовали за то, что он не прикрыл свет от нагревателя воды в аквариуме с тропическими рыбками. Гостиницы и конторы тратили по несколько часов в день, устанавливая и убирая специальные светозащитные экраны. Водители ездили почти вслепую — им не разрешалось включать даже подсветку приборной панели, поэтому они не только ехали наугад, но и не знали, с какой скоростью движутся.

Со времен Средневековья Британия не погружалась в такую кромешную тьму. Чтобы не налететь на тротуар или припаркованный рядом с ним автомобиль, водители предпочитали ехать посреди дороги, прямо по разделительной полосе. И все бы ничего, если бы не встречные автомобили, делавшие то же самое. Пешеходы находились в постоянной опасности, так как каждый тротуар представлял собой полосу препятствий из невидимых фонарных столбов, деревьев и скамеек. Особенно раздражали трамваи, прозванные «тихой угрозой». За первые три месяца войны, рассказывает Джульетт Гардинер в книге «Военное время», на британских дорогах погибло 4133 человека, что вдвое превысило соответствующий показатель за весь предыдущий год. Почти три четверти жертв составляли пешеходы. «Не сбросив ни одной бомбы, немецкие летчики уже убивают по шестьсот человек в месяц», — сухо отмечал *British Medical Journal*.

По счастью, вскоре паника первых дней войны поутихла и было вновь разрешено пользоваться освещением — пусть и самым минимальным, только чтобы предотвратить смертельно опасные инциденты. Однако вся эта история стала эффектным напоминанием о том, как привык наш мир к обилию света.

Да, сейчас мы забыли, что до появления электричества наша планета

была темной и мрачной. Свеча — хорошая свеча — дает в сто раз меньше света, чем 100-ваттная лампочка. Откройте-ка дверцу своего холодильника. Не слишком яркая иллюминация, правда? А вот в XVIII веке большинство семей было бы несказанно рады такому обилию света. На протяжении многих веков по ночам Земля была поистине сумрачным местом.

Однако время от времени мрак слегка рассеивался. Путешественник, посетивший виргинскую плантацию Номини-холл, восхищался в своем дневнике «блистательной и сверкающей» столовой: ужин освещали целых семь свечей — четыре на столе и еще три, расставленные по комнате. По тем временам это было просто море огней.

Примерно в то же время по другую сторону океана, в Англии, талантливый художник-любитель Джон Харден оставил прелестную серию рисунков, посвященную семейной жизни в его доме Братей-холл в графстве Уэстморленд.

Поразительно, как мало света требовалось его домочадцам. На типичном рисунке изображены четверо; они мирно сидят за столом — шьют, читают, беседуют — при свете единственной свечи. Судя по их расслабленным позам, никто не испытывает неудобства, не пытается устроиться поближе к источнику света, чтобы лучше рассмотреть текст на странице или узор вышивки. В этом смысле рисунок Рембрандта «Ученый у стола со свечой» гораздо ближе к реальности. Здесь сидящий за столом человек совершенно скрыт в густой тени, которую не в силах рассеять единственная свеча в подсвечнике, укрепленном на стене. Однако же он читает. Люди мирились с темными вечерами просто потому, что не знали других.

Широко распространенное мнение о том, что люди в мире, не знавшем электричества, ложились спать сразу после заката, на самом деле неверно. Большинство укладывалось в постель в девять-десять вечера, а некоторые, особенно в больших городах, даже позже. У тех, кто сам устанавливал себе часы работы, время отхода ко сну и подъема варьировалось так же, как и сейчас, и не имело почти никакого отношения к освещению. Судя по его дневнику, Сэмюэл Пипс, случалось, вставал в четыре утра, а в иные дни только ложился в это время. Сэмюэл Джонсон, когда мог это себе позволить, валялся в постели до полудня — а мог он это почти всегда. Писатель Джозеф Аддисон летом обычно поднимался в три часа утра (а иногда и раньше), зато зимой выбирался из кровати только после одиннадцати.

С наступлением темноты жизнь отнюдь не заканчивалась. В XVIII веке приезжавшие в Лондон часто отмечали, что магазины там работают до

десяти вечера. А раз были магазины, значит, были и покупатели. Званный ужин обычно накрывали в десять, и гости сидели до полуночи. Перед застольем собравшиеся беседовали, после — слушали музыку и танцевали, так что все собрание продолжалось часов семь или больше. Балы часто заканчивались в два-три ночи, потом подавали ужин. Ничто не могло помешать людям развлекаться. В 1785 году некая Луиза Стюарт писала своей сестре, что французского посла «вчера разбил паралич», но в тот же вечер гости все равно пришли в его дом — «как ни в чем не бывало играли в фараона и т. д., пока он умирал в соседней комнате. Странные мы все-таки люди!»

Впрочем, передвигаться по вечерним улицам пешком было непросто: темными ночами зазевавшийся пешеход мог врезаться головой в столб или испытать еще какой-нибудь неприятный сюрприз. Зачастую люди попросту блуждали в потемках. В 1763 году уличное освещение в Лондоне было таким плохим, что Джеймс Босуэлл, не привлекая ничьего внимания, мог заниматься сексом с проституткой на Вестминстерском мосту — казалось бы, далеко не самом укромном месте для свиданий.

Темнота шла рука об руку с опасностью. Грабителей хватало повсюду. Как заметил в 1718 году один из городских чиновников, горожане не хотели выходить из дома по ночам, боясь, что «их могут ослепить, оглушить, зарезать или заколоть». Чтобы избежать всех этих неприятностей, лондонцы часто пользовались услугами наемных мальчишек-факельщиков (*linkboys*), которые, держа в руках факелы, сделанные из кусков крепких веревок, пропитанных смолой или каким-либо еще горючим материалом, провожали припозднившихся пешеходов до дома.

К сожалению, доверять самим факельщикам можно было не всегда: порой они заводили клиентов в глухие переулки и там (сами или их сообщники) отбирали у несчастного деньги и дорогие вещи.

Даже во второй половине XIX века, когда получили широкое распространение газовые фонари, улицы все равно оставались по нынешним меркам абсолютно темными. Самый яркий газовый фонарь давал меньше света, чем современная 25-ваттная лампочка. Кроме того, газовые фонари размещались на значительном удалении друг от друга: обычно их разделяло не меньше тридцати ярдов тьмы, а на некоторых улицах — например, на Кингс-роуд в Челси — и все семьдесят ярдов; так что они не столько освещали путь, сколько служили далекими огоньками-ориентирами. Между тем в некоторых кварталах газовые фонари продержались на удивление долго. Даже в 1930-е годы почти половина лондонских улиц по-прежнему освещалась газом.

Если что и заставляло людей в не знавшем электрического света мире рано ложиться спать, то вовсе не скука, а усталость. Многие проводили на работе очень много времени. Елизаветинский Устав ремесленников 1563 года предписывал всем мастерам и рабочим начинать работу в пять утра или раньше и заканчивать в семь-восемь вечера; в течение этого времени они не имели права покидать свои рабочие места. Таким образом, устанавливалась 84-часовая рабочая неделя. В то же время не стоит забывать, что типичный лондонский театр, такой как шекспировский «Глобус», вмещал до двух тысяч человек — около 1 % населения Лондона, и большинство зрителей были работающими людьми. В некоторых театрах спектакли шли не только вечером, но и днем. То же относится и к другим увеселениям — например, травле медведя и петушиным боям. Значит, ежедневно тысячи трудящихся лондонцев пренебрегали правилами и отправлялись развлекаться.

Промышленная революция и расцвет фабричного производства, несомненно, укрепили рабочую дисциплину. Рабочие должны были находиться на фабриках с семи утра до семи вечера по будням и с семи утра до двух дня по субботам. Однако иногда их могли удерживать за станками с трех ночи до десяти вечера — получался девятнадцатичасовой рабочий день. До введения фабричного закона 1833 года дети начиная с семи лет работали столько же, сколько и взрослые. Неудивительно, что в таких обстоятельствах люди ели и засыпали, как только у них появлялась такая возможность.

У богатых день был не таким тяжелым. В 1768 году Фанни Берни описывает распорядок жизни в загородном доме:

*Мы завтракаем всегда в десять часов, встаем настолько раньше, насколько хотим; обедаем ровно в два, пьем чай около шести и ужинаем ровно в девять.*

Так же описываются будни господствующего класса и в других дневниках и письмах того времени. «Я расскажу вам про один свой день, и вы поймете, как я живу», — писала одна молодая корреспондентка Эдварда Гиббона примерно в 1780 году. По ее словам, она вставала в девять утра, завтракала в десять:

*Потом, часов с одиннадцати, я играю на клавесине или рисую; в час сажусь за письменные переводы, в два иду на прогулку; в три я обычно читаю, в четыре мы идем обедать,*

*после обеда играем в триктрак, в семь пьем чай, я работаю или играю на пианино до десяти, затем у нас легкий ужин, а в одиннадцать мы ложимся спать.*

Способы освещения были различными, но все не могли даже приблизиться к современным стандартам. Самое примитивное осветительное устройство — камышовую лучину — изготавливали так: камыш нарежали на полосы длиной около полутора футов, покрывали каждую полосу слоем животного жира, обычно бараньего, а потом помещали в металлическую подставку и зажигали. Такая лучина горела всего пятнадцать-двадцать минут, и для долгого вечернего бдения требовались приличный запас свеч и ангельское терпение. Ситник собирали раз в году, весной, поэтому нужно было по возможности точно рассчитать, сколько света понадобится в следующие двенадцать месяцев.

Более состоятельные семьи, как правило, пользовались сальными и восковыми свечами. Сальные свечи, сделанные из топленого животного жира, имели огромное преимущество — их можно было изготовить в домашних условиях из жира забитой домашней скотины, поэтому они были дешевыми, во всяком случае до 1709 года, когда парламент под давлением лобби свечных фабрикантов, запретил домашнее производство свечей. Это вызвало бурю негодования в сельской местности, и многие там наверняка пренебрегли официальным запретом, хотя ради этого и пришлось пойти на некоторый риск. Делать лучины из тростника по-прежнему разрешалось, но такая свобода порой оказывалась простой формальностью. В тяжелые годы у крестьян не было скота, а значит, не было и животного жира, и им приходилось коротать вечера не только голодными, но и в потемках.

Сало было совершенно отвратительным материалом. Оно быстро таяло, и свеча постоянно гасла, приходилось постоянно, иногда по сорок раз в час, снимать нагар. К тому же сальные свечи горели неровным светом и очень плохо пали, ибо представляли собой всего лишь стержни из подверженного разложению органического вещества: чем дольше они хранились, тем гаже пахли. Свечи из пчелиного воска были куда лучше. Они давали более ровный свет, и с них не надо было так часто снимать нагар. Однако они стоили в четыре раза дороже, поэтому выставлялись лишь по особенно торжественным поводам. Количество света в доме красноречиво говорило о статусе хозяина жилища. Героиня одного из романов Элизабет Гаскелл по имени мисс Дженкинс держала в доме две свечи, но в отсутствие гостей зажигала их попеременно, постоянно следя за тем, чтобы обе оставались одинаковой длины: если придут гости и увидят,

что две одновременно зажженные свечи не совпадают по длине, они догадаются о позорной бережливости хозяйки!

Жители тех районов, где традиционные виды топлива были редкостью, жгли все, что хоть как-то горело: дрок, папоротник, морские водоросли, сухой навоз. На Шетландских островах обитали такие жирные буревестники, что, если верить Джеймсу Босуэллу, местные жители просто вставляли фитиль в горло подстреленной птице и зажигали его (скорее всего, конечно, легковверный Босуэлл принял за чистую монету шуточный розыгрыш). В других уголках Шотландии в качестве источника света и тепла использовали собранный и высушенный навоз. Это имело и обратную сторону: поля лишались удобрения, и земля оскудевала. Некоторые ученые считают даже, что это спровоцировало упадок сельского хозяйства в данном регионе.

Одним везло больше, другим меньше. В Дорсете, на берегах залива Киммеридж, можно было бесплатно собирать нефтеносный сланец, который горел, как уголь, и служил неплохим источником света. Самыми эффективными были масляные лампы — правда, не все могли их себе позволить: они дорого стоили и требовали тщательной ежедневной чистки. За один вечер такая лампа теряла до 40 % своей яркости, так как стекло покрывалось копотью.

Элизабет Гарретт приводит в своей книге «У себя дома: американская семья, 1750–1870» запись из дневника одной молодой особы из Новой Англии, побывавшей на званом вечере в доме, освещенном масляными лампами: «У всех нас почернели носы, а одежда стала серой и... была безнадежно испорчена». Поэтому многие люди не отказывались от свечей даже когда появились другие средства освещения. Кэтрин Бичер и ее сестра Гарриет Бичер-Стоу еще в 1869 году публиковали в журнале «Дом американки» — своего рода американском ответе на книгу миссис Битон — инструкции по изготовлению свечей в домашних условиях.

С глубокой древности до конца XVIII века, то есть в течение трех тысяч лет, качество освещения оставалось практически неизменным. И вот в 1783 году швейцарский физик Ами Арган изобрел лампу, которая светила значительно ярче, потому что к пламени поступало больше кислорода. Кроме того, у лампы Аргана имелась ручка, позволявшая регулировать силу пламени. Пользователи пришли в неописуемый восторг. Томас Джефферсон одним из первых приобрел новинку и с искренним восхищением писал, что «одна лампа Аргана способна заменить полдюжины свечей». В 1790 году он привез из Парижа в Америку несколько ламп Аргана.

Но сам изобретатель так и не получил заслуженной награды. Во Франции его патенты не снискали уважения, поэтому он переехал в Англию, но и там — как, впрочем, и везде — его лампы были встречены прохладно. Арган почти ничего не заработал на своем оригинальном изобретении.

Лучше всего светил китовый жир, а лучшим видом китового жира был спермацет, добываемый из головы кашалота, загадочного и почти неуловимого животного, даже сейчас малоизученного. Кашалот производит огромное количество (до трех тонн) спермацета, который хранит в полостях своего черепа. Несмотря на свое название, спермацет не является спермой и не выполняет никакой репродуктивной функции, однако при соприкосновении с воздухом превращается из прозрачной водянистой жидкости в густую беловатую массу, так что вполне понятно, почему моряки называли этот вид китов *sperm whale*.

Никто не знает, для чего кашалоту нужен спермацет. Возможно, он как-то связан с плавучестью или помогает перерабатывать азот в крови. Кашалоты ныряют с огромной скоростью и на огромную глубину (до мили) и при этом при подъеме на поверхность не выказывают никаких признаков недомогания. Считается, что именно спермацет каким-то непостижимым образом защищает их от кессонной болезни. Согласно другой теории, спермацет смягчает удары, когда самцы дерутся за самку. Это объяснило бы печально известную привычку кашалотов бодать китобойные суда; если кашалот сильно разозлен, такие столкновения могут закончиться гибелью судна и экипажа. Но на самом деле неизвестно, бодают ли кашалоты друг друга.

На протяжении веков не менее загадочным оставался и другой очень ценный продукт, который производят кашалоты, — серая амбра (несмотря на название, это вещество может быть как серым, так и черным). Серая амбра образуется в пищеварительной системе кашалотов — только недавно ученые выяснили, что она получается из клювов кальмаров (единственной части этих животных, которую кашалоты не могут переварить) и выводится из организма с нерегулярными интервалами. Столетиями люди находили это вещество плавающим на поверхности моря или вынесенным волнами на берег, однако никто не знал, откуда оно взялось. Серая амбра — это превосходный закрепитель ароматов при производстве духов, и это придавало ей большую ценность. Некоторые богачи включали ее в свой рацион: Карл II считал серую амбру с яйцом лучшей едой на свете и уверял, что по вкусу она напоминает ваниль. Во всяком случае, наличие у кашалотов не только дорогого спермацета, но и дорогой серой амбры

сделало их очень привлекательной добычей.

Кроме того, жир кашалота (и других видов китов) широко применялся при производстве мыла и красок, а также в качестве смазки для машин и механизмов. Помимо всего этого, из верхней челюсти китов добывали большое количество китового уса — прочного, но гибкого материала, который использовался при изготовлении корсетов, хлыстов и других упругих предметов.

Главными производителями и потребителями китового жира были американцы. Именно благодаря китобойному промыслу в порты Новой Англии, такие как Нантакет и Сейлем, рекой текли деньги. В 1846 году в Америке было свыше 650 китобойных судов — втрое больше, чем во всем остальном мире. В Европе китовый жир облагался большими налогами, поэтому здесь чаще использовали масло из семян рапса или камфен — вещество, получаемое из скипидара, которое отлично горело, но было крайне взрывоопасным.

Никто не знает, сколько китов было убито за всю историю китобойного промысла, но, согласно одному источнику, с 1830 по 1870 год человек истребил около 300 000 этих редких животных. Численность китов уменьшалась, и рейсы китобойных судов становились все более длительными — китобои теперь уходили в плавание на четыре, а то и на пять лет. Все это приводило к сильному удорожанию продукции. К середине XIX века галлон китового жира стоил два с половиной доллара, что составляло половину среднего еженедельного жалования рабочего, однако беспощадное истребление китов продолжалось. Многие виды (а может быть, даже все) исчезли бы навсегда, если бы в 1846 году Авраам Геснер из канадской провинции Новая Шотландия не изобрел вещество, на некоторое время ставшее самым ценным на земле.

Геснер был врачом по профессии, но питал странное пристрастие к геологии угля. Экспериментируя с каменноугольной смолой — вязким осадком, получающимся в процессе превращения угля в металлургический кокс, — он изобрел способ перегонки этого считавшегося бесполезным вещества в горючую жидкость, которую по неизвестным причинам назвал «керосин». Керосин прекрасно горел и давал такой же яркий и ровный свет, как и свет от китового жира, однако был гораздо дешевле. Проблема, однако, заключалась в том, что наладить производство в больших объемах казалось делом совершенно неосуществимым. Керосина, полученного Геснером, хватило, однако, чтобы осветить улицы Галифакса, столицы провинции, и в конце концов канадец открыл фабрику в Нью-Йорке, которая обеспечила ему процветание. Тем не менее керосин, полученный

из каменного угля, по большому счету так и остался побочным продуктом. К концу 1850-х Америка производила всего шестьсот баррелей керосина в день (а между тем сам каменноугольный деготь вскоре нашел себе применение в изготовлении целого ряда различных продуктов — красок, пестицидов, лекарств — и стал основой современной химической промышленности).

В этот трудный момент в дело вмешался еще один неожиданный герой — одаренный молодой человек, которого звали Джордж Бисселл. В ходе едва начавшейся, но безупречной карьеры в народном образовании он только что заступил на должность старшего инспектора школ Нового Орлеана. В 1853 году, приехав в родной городок ГанOVER в штате Нью-Гэмпшир, Бисселл навестил одного из профессоров Дартмутского колледжа, своей альма-матер, и заметил у него на полке бутылку с минеральным маслом. Профессор сказал ему, что это минеральное масло (сейчас мы бы назвали его нефтью) просачивается на поверхность земли в западной Пенсильвании. Если смочить в нем тряпочку, а потом поджечь, то тряпочка будет гореть, однако пока никто не нашел маслу никакого применения, если не считать того, что оно входит в состав некоторых патентованных лекарств. Бисселл провел ряд экспериментов с минеральным маслом и обнаружил, что из него может получиться прекрасный источник света, особенно если наладить его добычу в промышленных масштабах.

Бисселл учредил «Пенсильванскую компанию минерального масла» и взял в аренду несколько нефтеносных участков, расположенных вдоль ленивой реки Ойл-Крик, рядом с городком Титусвилл в западной Пенсильвании. Новаторская идея Бисселла заключалась в том, что он пробурил первую нефтяную скважину (до этого скважины бурили только на воду, а для добычи нефти копали ямы). Прежде всего Бисселл послал в Титусвилл некоего Эдвина Дрейка (в некоторых книгах его величают полковником), чтобы тот начал бурение. Но Дрейк не имел опыта буровых работ (и не был полковником): он служил билетным контролером на железной дороге и недавно вышел в отставку по болезни. Единственным преимуществом Дрейка с точки зрения бизнеса была льгота, которой он пользовался: он имел право бесплатно ездить на поезде в пределах штата Пенсильвания. Чтобы укрепить его авторитет, Бисселл с помощниками подписывали адресованную ему корреспонденцию «для полковника Э. Л. Дрейка».

Прибыв на место с небольшой суммой взятых в займы денег, Дрейк поручил буровой бригаде начать поиск нефти. Буровики считали Дрейка

милым недотепой, однако бодро принялись за работу, выполняя его указания. Проект почти сразу столкнулся с техническими трудностями, но, ко всеобщему удивлению, Дрейк неожиданно продемонстрировал навыки в области механики и сумел удержать дело на плаву. Бурение продолжалось полтора года, но нефти так и не нашли. К лету 1859 года у Бисселла и его партнеров закончились деньги, и они скрепя сердце отправили Дрейку указание свернуть работы. Однако прежде чем письмо дошло по адресата, 27 августа 1859 года на глубине чуть больше семидесяти футов Дрейк и его люди нашли нефть. Она не была ввысь мощным фонтаном, с которым у нас обычно ассоциируется нефтяной промысел; густую сине-зеленую жидкость приходилось выкачивать на поверхность, однако она шла ровным неоскудевающим потоком.

В то время никто не придавал этому событию большого значения, однако оно полностью и бесповоротно изменило мир.

Прежде всего перед компанией встал вопрос, где хранить нефть, которую она добывала? Бочек, закупленных на месте, не хватило, и в первые недели нефть хранили в ваннах, умывальных раковинах, ведрах и прочих емкостях, которые имелись под рукой. В конце концов было налажено производство специальных бочонков (*barrels*) вместимостью в сорок два галлона, и с тех пор «баррель» остается стандартной мерой для нефти. Затем возник еще более насущный вопрос ее коммерческого использования. В натуральном виде нефть представляла собой жутковатую грязную жидкость. Бисселл организовал ее перегонку в более чистое вещество. В процессе он обнаружил, что очищенная нефть — прекрасный смазочный материал; мало того, она дает большое количество таких побочных продуктов, как бензин и керосин. Бензин в то время вообще никак не использовался — он слишком быстро испарялся, поэтому его просто выливали, но из керосина, как и надеялся Бисселл, получилось отличное горючее для ламп, к тому же стоившее гораздо дешевле геснеровского керосина, получаемого из каменного угля. Наконец-то у человечества появился доступный источник света, не уступавший по качеству китовому жиру!

Как только другие предприниматели увидели, как легко можно добыть нефть и превратить ее в керосин, началась ажиотажная скупка нефтеносных участков. Вскоре ландшафт вокруг Ойл-Крик испещрили сотни буровых вышек. «За три месяца, — пишет Джон Макфи в своей книге «На подозрительной территории», — население городка, любовно названного Питхоул-сити<sup>[45]</sup>, выросло с нуля до 15 000 человек; в регионе

появились и другие городки с названиями вроде Ойл-сити или Петролеум-Сентер. Именно в этих краях Джон Уилкс Бут<sup>[46]</sup> потерял все свои сбережения, после чего поехал убивать президента».

В первый год после открытия нефти в Пенсильвании Америка произвела две тысячи баррелей; через десять лет этот объем перевалил за четыре миллиона в год, а через сорок лет составил шестьдесят миллионов. Однако Бисселл, Дрейк и другие инвесторы из его компании (теперь переименованной в «Сенекскую нефтяную компанию») разбогатели не в той мере, на которую рассчитывали. Скважины конкурентов давали гораздо больше нефти — из одной выкачивали по три тысячи баррелей в день, — а все скважины вместе взятые так перенасытили рынок, что цена на нефть катастрофически упала: с 10 долларов за баррель в январе 1861-го до 10 центов к концу этого же года. Это была хорошая новость для потребителей и китов, однако нефтепромышленникам пришлось несладко. Резкое снижение стоимости нефти привело к обвалу цен на нефтеносные участки. В 1878 году один участок земли в Питхоул-сити был продан за 4,37 доллара, а тринадцатью годами раньше за него отдали бы 2 миллиона.

Пока другие нефтедобытчики прогорали и отчаянно пытались выйти из нефтяного бизнеса, одна маленькая фирма в Кливленде под названием «Кларки Рокфеллер», до этого занимавшаяся торговлей свининой и прочей сельхозпродукцией, решила в него войти и начала скупать не оправдавшие себя нефтеносные участки. К 1877 году, меньше чем через двадцать лет после обнаружения нефти в Пенсильвании, Кларк исчез со сцены, а Джон Д. Рокфеллер контролировал около 90 % всего нефтяного бизнеса Америки.

Нефть не только давала сырье для производства крайне выгодного светильного горючего, но и решала острый вопрос нехватки смазочных материалов для всех видов двигателей и машин новой промышленной эры. Став фактически монополистом, Рокфеллер сумел стабилизировать цены на нефть и фантастически разбогател. К концу века его личное состояние ежегодно увеличивалось примерно на миллиард долларов в пересчете на сегодняшние деньги — причем в то время еще не существовало подоходного налога. В мире до сих пор еще не было человека более богатого.

Состояния Бисселла и его партнеров значительно уступали рокфеллеровскому. «Сенекская нефтяная компания» еще какое-то время приносила доход, но уже в 1864 году, всего через пять лет после сенсационного открытия Дрейка, не смогла соперничать с конкурентами и вышла из бизнеса. Дрейк промотал все заработанные деньги и вскоре умер, нищий и разбитый параличом. У Бисселла дела сложились гораздо лучше.

Он удачно вкладывал деньги в банки и другие коммерческие предприятия и в итоге заработал довольно кругленькую сумму — во всяком случае, ее хватило, чтобы построить в Дартмуте неплохую гимназию, которая стоит и по сей день.

Керосин как источник освещения надолго поселился в миллионах домов, особенно в маленьких городках, в деревнях и на фермах, но во многих больших городах его потеснило другое чудо того времени — светильный газ. Газ эпизодически использовался уже примерно с 1820 года, однако в основном на фабриках и в магазинах, а также для освещения улиц; в жилых домах его начали массово применять ближе к середине века.

У газового освещения было множество недостатков. Те, кто работал в помещениях с газовыми лампами, часто жаловались на головные боли и тошноту. Чтобы свести к минимуму эту проблему, газовые лампы иногда вывешивали с внешней стороны фабричных окон, тем более что внутри от них чернели потолки, выцветали ткани, ржавело железо, а на всех горизонтальных поверхностях оставался сальный слой копоти. В помещениях, освещенных газом, быстро вяли цветы, а большинство комнатных растений желтело. Лишь аспидистра оказалась невосприимчивой к вредному воздействию газа, вот почему именно это растение можно увидеть почти на всех фотографиях викторианских гостиных.

Кроме того, газ требовал осторожного обращения. Днем, когда спрос был низким, многие компании-поставщики уменьшали подачу газа. Давление в трубах падало, и поэтому, зажигая газовый рожок днем, люди сильнее открывали вентиль, чтобы лампа хорошо светила. Но ближе к вечеру напор повышался, и, если вы забыли вовремя уменьшить подачу в рожке, пламя могло опалить потолок или даже вызвать пожар. Так что газ отнюдь не был безопасным и простым продуктом.

Однако у него имелось одно неоспоримое преимущество: он ярко светил — во всяком случае, по сравнению со всеми остальными источниками освещения, известными миру до появления электричества. Газовые лампы освещали комнату средних размеров в двадцать раз лучше, чем свечи. Их нельзя было, как настольные, придвинуть поближе к книге или шитью, но они давали прекрасный общий свет, делавший более приятным и чтение, и карточную игру, и даже беседу. Теперь обедавшие четко видели, что именно они едят, ловко выбирали из рыбы мелкие косточки и уже не вслепую сыпали соль из солонки. Если кто-то ронял иголку, то ее можно было сразу найти. Стали различимы названия книг,

стоявших на полках. Люди начали больше читать и позже ложиться спать. Неслучайно именно в середине XIX столетия внезапно и резко возрос спрос на газеты, журналы, книги и ноты. Если в начале века в Британии было меньше 150 наименований газет и других периодических изданий, то к концу столетия их число возросло почти до пяти тысяч.

Газ был особенно популярен в Америке и Британии. К середине XIX века газовое освещение имелось в большинстве крупных городов обеих стран. Однако его по-прежнему использовали в основном представители среднего класса. Беднякам газ был не по карману, а богачи, как правило, относились к нему с презрением: во-первых, установка газового оборудования дорого стоила и требовала значительных перестроек; во-вторых, газ портил картины и ценные ткани; а в-третьих, если в доме есть прислуга, выполняющая за вас всю работу, нет необходимости вкладывать деньги в дальнейшие усовершенствования. Это привело к неожиданным результатам: в какой-то момент времени не только дома среднего класса, но и такие учреждения, как психиатрические клиники и даже тюрьмы, гораздо лучше освещались (и отапливались), чем самые роскошные английские поместья.

Проблема отопления так и не была разрешена окончательно на протяжении всего XIX века. В доме приходского священника мистера Маршема камин имелся практически в каждой комнате, даже в гардеробной, и это не считая огромной плиты на кухне. Чтобы все их почистить и растопить, надо было приложить немало усилий, однако несколько месяцев в году дом почти наверняка оставался холодным (он и сейчас остается таким). Дело в том, что камины — недостаточно эффективные обогреватели; они способны прогреть лишь очень маленькие помещения. Это обстоятельство не слишком волновало жителей такой относительно теплой страны, как Англия. Но на большей части территории Северной Америки в морозные зимы дело обстоит иначе: Томас Джефферсон жаловался, что однажды вечером он не смог писать, потому что в чернильнице замерзли чернила. Мемуарист Джордж Темплтон Стронг записал в своем дневнике зимой 1866 года, что даже при двух жаровнях и ярко пылающих каминах температура в его бостонском доме не поднималась выше тридцати восьми градусов<sup>[47]</sup>.

На эту проблему обратил внимание Бенджамин Франклин, который изобрел так называемую «печь Франклина» (или «пенсильванскую печь»). Печь Франклина была несомненным усовершенствованием — но больше в теории, чем на практике. По сути дела это была металлическая печь, встроенная в камин, но с дополнительными дымоходом и

вентиляционными отверстиями, которые могли менять направление воздушного потока и гнать в комнату больше тепла. Однако эта печь имела слишком сложную конструкцию и дорого стоила; к тому же ее установка требовала огромных — и часто неосуществимых — переделок в доме. Главным элементом системы служил второй, задний, дымоход, чистить который, как оказалось, было невозможно (для этой цели его следовало бы полностью разобрать). Кроме того, пенсильванская печь нуждалась в поддувале, которое следовало устраивать в подполе, чтобы в печь поступал холодный воздух, а значит, она не годилась для верхних этажей и домов с подвальными этажами, а таких было множество.

Проект Франклина был усовершенствован: в Америке этим занялся Дэвид Риттенхаус, в Британии — Бенджамин Томпсон, граф Румфорд; но настоящий комфорт пришел в дома, когда люди махнули рукой на свои камины и выставили печь прямо в комнате. Такая печь, известная как голландская, пахла горячим железом и сушила воздух, но хотя бы обогревала жильцов.

Американцы продвигались на запад, осваивая прерии Среднего Запада. Вместо дров им приходилось использовать стержни кукурузных початков и сухие коровьи лепешки, которые они остроумно и довольно забавно именовали «наземным углем». В этих диких местах в печку летел также жир всех видов — свиной, олений, медвежий, рыбий и даже жир странствующих голубей, хотя такое топливо сильно дымило и воняло.

Печи стали навязчивой идеей Америки. К началу XX века патентное ведомство США зарегистрировало свыше семи тысяч заявок на различные их виды. Но у всех печей имелось одно неприятное свойство: на их растопку и содержание уходила масса усилий. Согласно одному бостонскому исследованию, типичный камин 1899 года в неделю сжигал три тысячи фунтов каменного угля и вырабатывал двадцать семь фунтов золы, а уход за ним отнимал три часа одиннадцать минут. Если в доме, помимо каминов, были еще и печи — например, в кухне и гостиной, — это сильно прибавляло работы. Еще один существенный недостаток печей заключался в том, что они здорово затемняли помещение.

Постоянное присутствие горючих материалов и открытого огня в доме привносило элемент опасности и тревоги в повседневную жизнь человека. Сэмюэл Пипс однажды записал в своем дневнике такую историю: работая за столом, он склонился над свечой и вдруг почувствовал отвратительный едкий запах, похожий на запах паленой шерсти. Только тогда он заметил, что его новый (и весьма дорогой) парик объят пламенем! Такие мелкие пожары были нередкими. Практически во всех комнатах имелся источник

открытого огня, а дома на удивление легко воспламенялись: почти все, от соломенного матраса до тростниковой крыши, только и ждало малейшей искры. Чтобы снизить риск ночного пожара, тлеющие угли накрывали особыми выпуклыми крышками, которые назывались *couvre-feu*<sup>[48]</sup> (отсюда произошел термин *curfew*, «комендантский час»), но это были всего лишь полумеры.

Технологические усовершенствования иногда повышали качество освещения, но наряду с этим усиливали пожароопасность. Лампы Аргана были неустойчивы и легко опрокидывались: чтобы направить поток топлива к фитилю, приходилось поднимать топливный резервуар. Если переворачивалась керосинка и пролившийся керосин вспыхивал, потушить огонь было почти невозможно. В 1870-е годы в Америке ежегодно от таких «керосиновых» пожаров погибало шесть тысяч человек.

В общественных зданиях дела обстояли не лучше, особенно после того, как была изобретена ныне забытая, но весьма эффективная технология освещения, известная как «драммондов свет». Свое название эта система получила в честь военного инженера Томаса Драммонда, который повсеместно, но незаслуженно прославился в начале 1820-х благодаря этому изобретению. На самом деле «драммондов свет» придумал сэр Голдсуорси Герни, коллега Драммонда и очень талантливый изобретатель. Сам же Драммонд просто популяризировал эту систему освещения. Он никогда не приписывал себе авторство, тем не менее до сих пор почему-то считается, что именно он сыграл здесь главную роль.

Технология «драммондова света», или «известкового света» (*limelight*), как ее еще называют, основывалась на давно известном явлении: если взять кусок гашеной извести и нагреть до белого каления на сильном огне, она будет излучать очень яркий белый свет. Герни нагревал кусок извести в насыщенной смеси кислорода и спирта, и полученный им свет был виден за много миль.

Приспособление Герни успешно применялось на маяках и в театрах. Яркий, идеально ровный свет можно было собрать в пучок и в нужный момент направить на нужного артиста — вот откуда появилось выражение *in the limelight* («в свете рампы», «в фокусе»)<sup>[49]</sup>. Однако у «драммондова света» была и обратная сторона: известковый блок сильно нагревался и нередко вызывал пожары. За одно лишь десятилетие в Америке сгорело больше четырехсот театров. В XIX веке в пожарах британских театров погибло около десяти тысяч человек, как явствует из отчета, опубликованного в 1899 году Уильямом Полом Герхардом, ведущим

специалистом того времени в области пожарной безопасности.

Пожар легко мог начаться и на транспорте, и в этом случае пострадавших часто было очень много, поскольку пути эвакуации либо были ограничены, либо отсутствовали вовсе. В 1858 году в море загорелось судно «Австрия», перевозившее эмигрантов в США; огонь полностью уничтожил корабль, и все находившиеся на борту — почти пятьсот человек — приняли страшную смерть. Поезда тоже были опасным видом транспорта. Примерно с 1840 года пассажирские вагоны отапливались дровяными или угольными печами и оснащались масляными лампами для чтения. Можно легко представить потенциал катастрофы в постоянно покачивающемся поезде. Уже в XX веке, в 1921 году, во время пожара в поезде недалеко от Филадельфии сгорели двадцать семь человек, причиной пожара стала вагонная печка.

В городах больше всего боялись, что пожар не удастся локализовать и что распространившийся огонь уничтожит целые районы. Самый известный городской пожар в истории — это, пожалуй, Великий пожар 1666 года в Лондоне, который начался со случайного возгорания в пекарне возле Лондонского моста, но быстро перекинулся на соседние кварталы, и в конце концов огонь охватил территорию в полмили в поперечнике. Даже в Оксфорде был виден дым и слышен зловеющий треск пламени. Всего в эту ночь сгорело 13 200 жилых домов и 140 церквей.

Однако на самом деле пожар 1666 года был вторым «великим пожаром». Бедствие 1212 года нанесло Лондону гораздо больший урон. В тот раз огонь охватил не столь обширную территорию, как в 1666-м, зато распространялся гораздо быстрее. Языки пламени слизывали улицу за улицей с чудовищной скоростью, настигая бегущих жителей или отрезая им пути к отступлению. Этот пожар унес 12 000 жизней (насколько известно, в пожаре 1666 года погибло всего пять человек). На протяжении следующих 454 лет именно катастрофу 1212 года называли Великим лондонским пожаром.

Многие города время от времени переживали опустошительные пожары, некоторые — неоднократно. Бостон горел в 1653, 1676, 1679, 1711 и 1761 годах. Потом наступило затишье до зимы 1834-го, когда ночной пожар спалил 700 зданий — по большей части в деловой части города; бушующее пламя перекинулось даже на суда, стоявшие в гавани.

Но все городские пожары меркнут в сравнении с пожаром, случившимся в Чикаго ветреной октябрьской ночью 1871 года, после того, как в коровнике на Дековен-стрит корова некоей миссис Патрик О'Лири опрокинула керосиновую лампу. Пожар уничтожил 18 000 домов и оставил

без крова 150 000 человек. Ущерб составил больше 200 миллионов долларов и привел к разорению пятидесяти одной страховой компании. В следующем году в Бостоне снова разразился пожар, уничтоживший 800 домов и оставивший после себя 60 акров тлеющего пепелища.

Там, где дома стояли вплотную один к другому, как в крупных европейских городах, было почти невозможно противостоять огню, но строители предложили эффективное средство безопасности. Балки второго этажа в английских таунхаусах традиционно укладывались параллельно фасаду и опирались на общую стену между двумя смежными частными домами. В результате получалась непрерывная линия сухих деревянных балок вдоль улицы, и это, конечно, повышало опасность распространения пожара от дома к дому. Поэтому начиная с эпохи Регентства (1811–1820) балки стали укладывать перпендикулярно улице, от переднего фасада к заднему, а стены между отдельными домами превращались в брандмауэры — глухие противопожарные стены. Однако поперечные балки, протянутые от фасада к фасаду, нуждались в промежуточных опорах, а значит, диктовали размеры комнат. От этого, в свою очередь, зависело, как будут использоваться получившиеся помещения.

Исключить риск пожара и прочие недостатки керосинового и масляного освещения обещало одно чрезвычайно любопытное природное явление — электричество. Правда, поначалу никак не удавалось найти ему какое-либо практическое применение. Экспериментируя с лягушачьими лапками и электрическими батареями, итальянец Луиджи Гальвани продемонстрировал, что электричество вызывает конвульсивное сокращение мышц. Его племянник Джованни Альдини сообразил, что на дядюшкином открытии можно заработать, и придумал театрализованное представление, в ходе которого использовал электрический ток для «оживления» трупов недавно казненных убийц и их голов, отрубленных гильотиной. Он заставлял их открывать глаза и беззвучно шевелить губами.

Здравый смысл подсказывал, что сила, способная расшевелить даже мертвецов, может быть полезна и живым. В малых дозах (во всяком случае, хочется верить, что они были малыми) электрошок стали применять в самых разных медицинских целях — от лечения запора до предотвращения эрекции у мальчиков (или хотя бы для того, чтобы они не получали от нее удовольствия). Чарльз Дарвин, доведенный до отчаяния загадочной болезнью, которой страдал всю жизнь и которая привела к хронической депрессии, регулярно обматывал тело цинковыми цепями, по которым проходил электрический ток, смачивал кожу уксусом и часами терпел бессмысленное покалывание разрядов, надеясь, что это принесет ему

облегчение. Не принесло.

Президент Джеймс Гарфилд, умиравший от выстрела террориста, все же нашел в себе силы выразить некоторую тревогу, когда Александр Белл обмотал его электрическим проводом, пытаясь определить местонахождение пули.

В чем действительно нуждалось человечество, так это в способе практического применения электрического света. И в 1846 году некий Фредерик Хейл Холмс запатентовал дуговую лампу. Она светила за счет сильного электрического разряда, проскакивавшего между двумя угольными электродами, — этот трюк более сорока лет назад демонстрировал Гемфри Дэви, однако он не смог использовать его в коммерческих целях.

Дуговая лампа Холмса давала ослепительно яркий свет. Про самого Холмса почти ничего неизвестно — ни откуда он взялся, ни где учился, ни как постиг законы электричества. Мы знаем лишь, что он преподавал в Брюссельской военной академии, где вместе с профессором Флорисом Нолле разработал идею лампы, а потом вернулся в Англию и рассказал о своем изобретении великому Майклу Фарадею, который тут же разглядел в новом устройстве идеальный фонарь для маяков.

Первую дуговую лампу установили на маяке Саут-Форлэнд близ Дувра и включили 8 декабря 1858 года. Она проработала тринадцать лет. Были и другие лампы, установленные в других местах, однако из-за своей дороговизны и капризности они не получили широкого распространения. Для их бесперебойной работы требовались электромотор и паровая машина, которые вместе весили две тонны и нуждались в постоянном обслуживании.

Впрочем, надо признать, что дуговые лампы были поразительно яркими. Железнодорожный вокзал Сейнт-Инок в Глазго освещали шесть кромптоновских ламп (названных в честь их изобретателя Рукса Ивлина Кромптона); сила света каждой равнялась 6000 свечей! В Париже русский изобретатель Павел Яблочков разработал дуговые лампы особого типа, известные как «свечи Яблочкова»; они стали настоящей сенсацией и в 1870-х годах применялись для освещения многих парижских улиц и памятников. К сожалению, система Яблочкова дорого стоила и не очень хорошо работала: лампы соединялись последовательно, и если одна перегорала, гасли сразу все, как в рождественской гирлянде. А перегорали они часто. Всего через пять лет компания Яблочкова обанкротилась.

Дуговые лампы не годились для домашнего использования: они были слишком яркими. Для жилого дома требовалась практичная лампочка с

нитью накаливания, которая светила бы ровно и долго. Этот принцип был давно известен. Еще в 1840 году, за семь лет до рождения Томаса Эдисона, сэр Уильям Гроув, адвокат, судья, а также блестящий ученый-любитель, особенно увлекавшийся электричеством, продемонстрировал лампу накаливания, горевшую несколько часов. Но никто не хотел вкладывать деньги в столь недолговечную лампочку, и Гроув забросил эту разработку.

Молодой фармацевт и одаренный изобретатель из Ньюкасла по имени Джозеф Суон присутствовал на одной из демонстраций лампочки Гроува и провел удачную серию собственных экспериментов, однако в то время не существовало технологии, позволяющей обеспечить внутри лампы нужную степень вакуума, поэтому любая нить накаливания слишком быстро перегорала, превращая лампочку в дорогое и мимолетное удовольствие.

Кроме того, Суона интересовали и другие области науки и технологий, в частности фотография, где он сделал немало важных открытий. Он изобрел бромосеребряную фотобумагу, благодаря которой появились первые качественные отпечатки, усовершенствовал коллодионный процесс и внес ряд улучшений в состав фотореактивов. К тому же его фармацевтический бизнес, включавший как производство, так и розничную продажу, процветал.

В 1867 году деловой партнер и зять Суона по имени Джон Моусон погиб в результате нелепого несчастного случая, когда, намереваясь избавиться от ненужного ему нитроглицерина, он попытался вылить его в болото за городом. Для Суона наступил сложный и весьма беспорядочный период жизни, и он на целых тридцать лет отвлекся от проблемы освещения.

Зато уже в начале 1870-х годов Герман Шпренгель, немецкий химик, работавший в Лондоне, изобрел прибор, сделавший возможным домашнее электрическое освещение, — вакуумный насос Шпренгеля. К сожалению, лишь один человек в мире считал Германа Шпренгеля достойным славы — сам Герман Шпренгель. Ртутный насос снижал давление воздуха в стеклянном сосуде в миллион раз, и это позволяло нити накаливания гореть в течение сотен часов. Осталось только найти для нее подходящий материал.

Самое тщательное (и лучше всего разрекламированное) исследование провел Томас Эдисон, главный изобретатель Америки. К 1877 году, когда он начал свои попытки создать коммерчески успешный осветительный прибор, его уже называли «Чародеем из Менло-парка<sup>[50]</sup>». Эдисон был не самым приятным человеком. Он не брезговал жульничеством и обманом, мог запросто украсть чужой патент или подкупить журналистов, чтобы они

написали о нем хвалебную статью. По словам одного из современников, «у него вместо совести был вакуум». В то же время Эдисона отличали предприимчивость, трудолюбие и отличные организаторские способности.

Эдисон разослал своих помощников во все концы света на поиски подходящих материалов для нити накаливания. Несколько групп исследователей одновременно изучали около 250 различных материалов, надеясь найти тот, который отвечает всем требованиям долговечности и сопротивляемости. Они перепробовали все, даже волос из густой рыжей бороды одного из членов команды.

В 1879 году, перед самым Днем благодарения, работники Эдисона подожгли скрученный в нить кусочек обугленного картона; он ярко тлел целых тринадцать часов, но для практически применимой лампочки этого все равно было недостаточно. В последний день года Эдисон пригласил избранную публику на демонстрацию своих новых ламп накаливания. Прибыв в Менло-парк, гости так и ахнули от удивления, когда увидели два здания, озаренных ярким теплым светом. Они не знали, что эта иллюминация по большей части не имеет отношения к электричеству. Стеклодувы, работавшие на Эдисона сверхурочно, сумели изготовить только тридцать четыре лампочки, поэтому оба дома освещались главным образом аккуратно замаскированными масляными лампами.

Суон вернулся к электрическим осветительным приборам только в 1877 году, но, работая независимо, придумал почти идентичную систему. В январе или феврале 1879 года Суон продемонстрировал в Ньюкасле свою электрическую лампу накаливания. Неопределенность приведенной даты объясняется тем, что мы не знаем, показал ли он свое изобретение на январской публичной лекции или только рассказал о нем; зато в следующем месяце он точно зажег лампу на глазах у изумленных зрителей. В любом случае его показ состоялся по меньшей мере на восемь месяцев раньше эдисоновского. В том же году Суон установил электрические лампы в собственном доме, а к 1881 году электрифицировал дом великого ученого лорда Кельвина в Глазго — опять-таки намного раньше каких-либо серьезных успехов Эдисона.

Зато первое практическое применение лампочек Эдисона было куда как заметней: Эдисон электрифицировал целые кварталы Нижнего Манхэттена в окрестностях Уолл-стрит; электростанцию разместили в двух заброшенных зданиях на Перл-стрит. За зиму, весну и лето 1881–1882 годов Эдисон проложил пятнадцать миль кабеля и испытал всю систему, причем дважды. Не все шло гладко. Вблизи электрических проводов лошади почему-то взбрыкивали; потом стало ясно, что их подковы реагируют на

утечки электричества, вызывавшие неприятные покалывания в копытах. Несколько рабочих в мастерских Эдисона лишились зубов в результате отравления ртутью, поскольку слишком долго работали с насосом Шпренгеля.

Но так или иначе, днем 4 сентября 1882 года Эдисон, стоя в кабинете банкира Джей-Пи Моргана, одним щелчком выключателя зажег восемьсот электрических лампочек, которые осветили офисы восьмидесяти пяти компаний, подписавших с ним договор.

Эдисон превосходно умел организовывать большие технологические системы. Изобретение электрической лампочки было удивительным событием, однако какая вам от нее польза, если в вашем доме нет розетки? Эдисону и его неутомимым работникам пришлось спроектировать и создать всю систему с нуля — от электростанции до дешевой и надежной проводки, патронов и выключателей. За несколько месяцев Эдисон построил ни много ни мало — 334 небольшие электростанции по всему миру; в течение года они обеспечивали током 13 000 лампочек. Эти лампочки Эдисон дальновидно разместил в самых престижных зданиях: на Нью-йоркской фондовой бирже, в чикагской гостинице «Палмер-хаус», в миланском оперном театре «Ла-Скала», в столовой Палаты общин в Лондоне. Тем временем Суон по-прежнему изготавливал большую часть своих лампочек в собственном доме. Он явно не отличался дальновидностью и даже не зарегистрировал заявку на патент. Эдисон же регистрировал патенты повсюду, в том числе и в Британии в ноябре 1879 года, тем самым обеспечив себе первенство.

По сегодняшним меркам, эти первые лампочки были довольно слабыми, но в то время они казались каким-то сверкающим чудом. «Маленькое солнышко, настоящая лампа Аладдина», — умилялась газета *The New York Herald*. Когда в сентябре 1882 года зажглись электрические фонари на Фултон-стрит, репортер «Геральд» с благоговейным восторгом рассказывал читателям, как «обычное тусклое мерцание газа» вдруг сменилось «замечательным ровным светом... постоянным и немигающим». Это впечатляло, но к этому еще надо было привыкнуть.

Конечно, электричество применялось не только для освещения. Уже в 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго была представлена «образцовая электрическая кухня» — тоже впечатляющее изобретение, однако не слишком практичное. Начнем с того, что электричество в ту пору подавалось далеко не во все дома, и многим домовладельцам пришлось бы построить собственную электростанцию, чтобы обеспечить себя необходимой электроэнергией. Даже если кому-то повезло и его дом был

уже электрифицирован, электрические сети того времени не обеспечивали мощности, которая требуется для хорошей работы бытовой техники. На разогрев электрической плиты уходил целый час, но и после этого она выдавала жалких шестьсот ватт; нельзя было одновременно пользоваться конфорками и духовкой. Имелись и некоторые проблемы с конструкцией и дизайном: ручки для регулировки уровня нагрева находились почти на уровне пола; плиты были сделаны из дерева, в основном из дуба, и облицованы цинком или другим защитным материалом. Белые эмалированные модели появились только в 1920-х годах и в то время считались нелепыми. Полагали, что им место в больницах или на фабриках, но никак не в частных домах.

По мере того как электричество становилось все более доступным, многих людей стала пугать зависимость от некоей невидимой силы, способной на мгновенное и тихое убийство. Большинство электриков обучались наспех, им неоткуда было взять опыта, и эта профессия быстро стала уделом безрассудных храбрецов. Газеты в красочных подробностях рассказывали обо всех (все более частых) случаях поражения током. Английский писатель и поэт Хилэр Беллок сочинил строчки, которые хорошо передают тогдашние настроения в обществе:

Рука неловко соскользнула,  
Вдруг вспышка по глазам стрельнула,  
Запахло жареным... Конец —  
Электрик больше не жилец!

В 1896 году бывшего партнера Эдисона Франклина Поупа убило током, когда он делал проводку в собственном доме. Скептики с удовлетворением отметили, что электричество слишком опасно даже для специалистов. Нередко из-за короткого замыкания возникали пожары. Лампочки порой взрывались; это всегда пугало, а в иных случаях заканчивалось катастрофой. В 1911 году пожар, вызванный взорвавшейся электрической лампочкой, уничтожил новый парк развлечений на острове Кони-Айленд. Искры от плохо изолированных контактов нередко приводили к взрывам газовых коллекторов, а значит, опасность грозила не только тем, чьи дома были подключены к электросети.

Господствовавшее в обществе двойственное отношение к электричеству продемонстрировала миссис Корнелиус Вандербилт, которая пришла на бал-маскарад в платье, украшенном электрическими

лампочками, чтобы отметить электрификацию своего нью-йоркского особняка на Пятой авеню, однако вскоре велела демонтировать всю систему: заподозрили, что именно электричество стало причиной мелкого возгорания в доме. Другие приписывали электричеству более скрытые опасности. Авторитетный специалист в области домоводства по имени Ширли Форстер Мерфи в своей книге «Наши дома и как сделать их «здоровыми»» перечисляла недомогания, якобы вызываемые электричеством: быструю утомляемость глаз, головные боли, общую слабость и, возможно, даже «преждевременное истощение жизненных сил». Многие верили, что от электрического света появляются веснушки.

В первые годы электрификации, когда еще не были придуманы штепсельные вилки и розетки, все бытовые электроприборы напрямую подключались к сети. На исходе века, когда розетки наконец появились, их монтировали в потолок (считая частью верхнего освещения), поэтому, чтобы включить в сеть какую-либо техническую новинку, надо было встать на стул или влезть на стремянку. Вскоре появились стенные розетки, но они не всегда были надежными — потрескивали, часто дымили, а порой и искрили. Джульетт Гардинер рассказывает, что в начале XX века у обитателей роскошного шотландского поместья Мандерстоун было заведено швыряться подушками в особенно надоедливые розетки.

Рост числа потребителей сдерживало еще и то обстоятельство, что 1890-е годы — это время экономического спада. Однако люди уже не могли отказаться от электрического освещения — чистого, ровного, легкого в обращении и мгновенно доступного в любом объеме: стоило лишь щелкнуть выключателем, и мрак тут же рассеивался. Газовые лампы приживались в домах целых столетия, электрические завоевали популярность гораздо быстрее. К 1900 году они уже стали нормой, по крайней мере, в больших городах. Разумеется, следом появились и электроприборы: вентилятор — в 1891 году, пылесос — в 1901-м, стиральная машина и утюг — в 1909-м, тостер — годом позже, холодильник и посудомоечная машина — в 1918-м. К началу 1920-х потребители в Америке освоили около пятидесяти видов бытовой техники. Электрические новинки вошли в моду. Производители выпускали все более изощренные штуковины — от щипцов для завивки волос до электрической картофелечистки. Среднедушевое потребление электроэнергии в США быстро и неуклонно росло: если в 1902 году оно составляло 79 кВт, то в 1929-м — уже 960 кВт (сегодня — свыше 13 000).

Надо отдать должное Томасу Эдисону — это во многом его заслуга. Пусть не он изобрел электрическое освещение, но он сумел наладить

массовое производство ламп и оборудования, а также организовал электроснабжение в больших коммерческих масштабах, а это была куда более масштабная и трудная задача. Но, с другой стороны, и значительно более прибыльная. Как мы скоро увидим, электрическое освещение стало одним из крайне немногочисленных изобретений Эдисона, которые полностью оправдали его ожидания.

А Джозеф Суон так и остался в тени безвестности: за пределами Англии о нем почти никто не слышал, да и на родине он тоже был не слишком знаменит. Британский «Национальный биографический словарь» уделяет ему всего три страницы — меньше, чем куртизанке Кити Фишер или какому-нибудь ничем не примечательному аристократу. Впрочем, Фредерик Хейл Холмс вообще не удостоился упоминания в этой книге. История часто бывает несправедлива.

## Глава 7

### Гостиная

#### I

История быта — это история обретения удобств. До XVIII века люди не особенно задумывались о комфорте; не существовало даже самого понятия «комфорт» в современном понимании этого слова. Слово *comfortable* означало нечто вроде «тот, кого можно успокоить или утешить», а под словом *comfort* прежде всего имели в виду «покой» или «удобства» — словом, то, что вы стремитесь предоставить раненому, больному или сильно расстроенному человеку. Первым, кто употребил это слово в его современном значении, был писатель Гораций Уолпол, который в 1770 году заметил в письме к другу, что некая миссис Уайт хорошо за ним ухаживает и благодаря ей он чувствует себя «очень комфортно». В начале XIX века все только и говорили о «комфортабельных домах» и «комфортной жизни», но во времена Уолпола о таком и не слышали.

Сейчас мы с вами находимся в гостиной (*drawing room*) — комнате, в которой больше всего чувствуется (хоть и не всегда выражается в чем-то конкретном) дух комфорта. Ее странное название<sup>[51]</sup> — просто сокращение от более старого *withdrawing room*<sup>[52]</sup>, то есть это было место, куда мог удалиться тот или иной член семьи, чтобы побыть в одиночестве, без остальных домочадцев. Название, впрочем, не имело широкого распространения. В XVII и XVIII веках в высшем свете гостиную именовали по-французски — *salon*, иногда на английский манер — *saloon*.

Однако оба этих слова постепенно перестали относиться к домашним помещениям: словом *saloon* стали называть ресторан при гостинице, кают-компанию на корабле, потом — питейное заведение и, наконец, как ни странно, тип кузова легкового автомобиля. А слово *salon* навсегда связалось с выставкой произведений искусства; позже (примерно в 1910 году) этот термин присвоили себе парикмахеры и те, кто оказывал косметические услуги.

Американцы привыкли называть главную комнату в доме *parlour*. Это слово ассоциируется с американским фронтиром XVIII века, но на самом деле оно куда более древнее: впервые оно встречается в тексте 1225 года и

относится к комнате, куда приходили беседовать монахи (от французского *parler* — говорить); к последней четверти следующего столетия его смысл расширился и вошел в мирской обиход.

На поэтажном плане нашего пасторского дома архитектор Эдвард Галл использовал термин *drawing room*. Мистер Маршем, скорее всего, называл свою гостиную так же, хотя, вероятно, был в меньшинстве. К середине столетия этот термин вытеснило словосочетание *sitting room*<sup>[53]</sup>, впервые появившееся в Англии в 1806 году. Позже вошло в обиход слово *lounge*, которое сначала означало вид кресла или дивана, затем — домашний уют и, наконец, начиная с 1881 года — гостиную.

Думаю, мистер Маршем был человеком, уважающим традиции, поэтому он старался сделать гостиную самой комфортабельной комнатой в доме, обставив ее самой мягкой и качественной мебелью. На деле же большую часть года там вряд ли царил хоть какой-то уют: единственный камин способен обогреть лишь центральную часть комнаты. Зимой, даже если огонь в камине полыхает вовсю, стоит отойти от него — и у вас изо рта пойдет пар.

Несмотря на то, что гостиная стала средоточием уюта в доме, история комфорта начинается в другом месте, вообще за пределами дома, и примерно за сто лет до рождения мистера Маршема. И начинается она с простого открытия, которое сделало семьи землевладельцев очень богатыми. Именно благодаря этому открытию приходской священник мистер Маршем смог построить себе прекрасный дом. Земледельцы вдруг поняли следующее: земле вовсе не нужно регулярно давать отдыхать, чтобы сохранить ее плодородие. Возможно, не самое блестящее озарение в истории, однако оно изменило мир.

Традиционно большая часть английских фермерских земель была поделена на длинные полосы, так называемые фурлонги (*furlongs*)<sup>[54]</sup>; каждый фурлонг оставляли под паром раз в два-три года, дабы восстановить его плодородие. Это означало, что ежегодно треть пахотных земель простаивала. В результате не хватало кормов для скота, и фермерам волей-неволей приходилось по осени забивать большую часть стада и поститься до самой весны.

Потом английские фермеры обнаружили то, что голландским фермерам было давно известно: если вместо того, чтобы оставлять землю под паром, посеять на ней репу, клевер или еще несколько культур, то они чудесным образом обновляют почву и вдобавок дают массу зимнего фуража. Причина кроется в том, что эти культуры насыщают землю азотом,

но до этого научного объяснения пройдет еще двести лет. Зато фермеры сразу поняли, как сильно этот факт может повысить их благосостояние. Имелся и еще один плюс: поскольку теперь больше домашних животных могли пережить зиму, появились горы дополнительного навоза; эти замечательные бесплатные лепешки еще лучше удобряли почву.

Значение этого открытия трудно переоценить. До XVIII века сельское хозяйство Великобритании сотрясали постоянные кризисы. В 1964 году академик В. Дж. Хоскинс подсчитал, что в период с 1480 по 1700 год неурожай случался каждые четыре года, а катастрофический неурожай — раз в пять лет. Теперь же, благодаря простому принципу севооборота, сельское хозяйство пошло в гору. Наступил золотой век фермерства; многие сельские районы стали процветающими и потому привлекательными, а люди вроде мистера Маршема получили наконец возможность наслаждаться комфортом.

На пользу фермерам пошла и еще одна новинка — хитроумная штуковина на колесах, которую изобрел примерно в 1700 году фермер и агроном из Беркшира по имени Джетро Талл. Его детище, рядовая сеялка, позволяла аккуратно и равномерно сеять семена прямо в почву, а не разбрасывать их вручную. Семена стоили дорого, и новая сеялка Талла снизила их необходимое количество с трех-четырех бушелей<sup>[55]</sup> на акр до одного бушеля и менее. Семена сеялись на одинаковую глубину ровными рядами, поэтому лучше прорастали. В итоге урожаи существенно повысились: если раньше с акра собирали двадцать-сорок бушелей зерна, то теперь — все восемьдесят.

Животноводство также получило новый толчок. Чуть ли не все основные породы крупного рогатого скота: джерсейская, гернзейская, герефордская, абердин-ангусская, айрширская — были выведены в XVIII веке. Не менее успешно шли дела у овцеводов: именно тогда появились породы, которые и сегодня ценятся за качество и количество руна. Если со средневековой овцы настригали не больше полутора фунтов шерсти, то овца восемнадцатого столетия давала до девяти фунтов. Овцы стали не только более шерстистыми, но и более крупными: в период с 1700 по 1800 год средний вес бараньих туш, продававшихся на лондонском Смитфилдском рынке, увеличился более чем вдвое — с тридцати восьми до восьмидесяти фунтов. То же самое произошло и с говядиной, а на молочных фермах повысились удои.

Однако все это имело свою цену. Для того чтобы новая система производства заработала, надо было объединить маленькие наделы в один большой и куда-то девать владельцев мелких участков. В результате

огораживания общинных земель мелкие участки, ранее кормившие многих хозяев и их семьи, преобразовывались в гораздо более крупные огороженные хозяйства, которые обогащали лишь их владельцев. В результате сельское хозяйство стало настолько прибыльным для крупных землевладельцев, что этот вид землевладения вскоре стал почти единственным во многих районах.

Огораживание общинных земель шло медленными темпами в течение нескольких столетий, но набрало скорость в период с 1750 по 1830 год, когда было огорожено примерно шесть миллионов акров британских фермерских земель. Фермерам, согнанным с насиженных мест, пришлось нелегко, однако благодаря огораживанию они и их потомки переехали в города и стали трудиться на ниве новой промышленной революции, которая только началась и финансировалась в основном за счет сверхприбылей неуклонно богатевших землевладельцев.

Вдобавок многие помещики обнаружили, что буквально сидят на огромных угольных пластах — как раз в то время, когда промышленность внезапно стала нуждаться в угле. Это не всегда выглядело эстетически привлекательно: в XVIII веке из окон Чатсуорт-хауса можно было увидеть восемьдесят пять угольных карьеров (во всяком случае, так писали), однако угледобыча давала неплохие барыши. Другие землевладельцы зарабатывали, сдавая землю в аренду железнодорожникам, или строили каналы, контролируя, таким образом, право проезда по собственной территории. К примеру, 40 % доходов герцога Бриджуотера поступало от монополии на каналы в юго-западных графствах.

В те времена государство не взимало с предпринимателей ни подоходного налога, ни налогов на прибыль, налогами не облагались ни проценты с капитала, ни дивиденды; почти ничто не мешало устойчивому притоку денег в банки. Многим людям уже с рождения была обеспечена праздная безбедная жизнь, оставалось лишь копить свое богатство. К примеру, третий граф Берлингтон владел обширными поместьями в Ирландии, общей площадью около 42 000 акров, и при этом ни разу не был в этой стране. В конце концов он стал главным казначеем Ирландии, но так и не приехал туда.

Эти богачи и их отпрыски на радостях застроили всю сельскую Британию. Согласно одному источнику, с 1710 года до конца столетия в Англии было построено по меньшей мере 840 больших сельских домов, «рассеянных, точно крупные сливы в огромном пудинге страны», как с некоторой витиеватостью выразился Гораций Уолпол.

Необычные дома требовали необычных проектировщиков и

застройщиков. Пожалуй, самым необычным или, по крайней мере, самым неожиданным из них был сэр Джон Ванбру (1664–1726). Он родился в большой семье и был одним из девятнадцати детей; его зажиточные родители имели голландское происхождение, но к моменту рождения Ванбру уже около полувека жили в Англии. «Весьма доброжелательный и приятный джентльмен», как сказал о нем поэт Николас Роу, Ванбру пользовался большой симпатией всех своих знакомых (за исключением герцогини Мальборо, о чем мы подробнее поговорим чуть позже). В лондонской Национальной портретной галерее висит его портрет кисти сэра Годфри Неллера, написанный, когда Ванбру было около сорока лет. На картине изображен симпатичный мужчина с розовым, упитанным, довольно заурядным лицом, по моде тех лет обрамленном чересчур пышным париком.

В первые тридцать лет своей жизни Ванбру не выказывал никаких особых талантов. Он работал в семейном виноторговом предприятии, ездил в Индию в качестве представителя Ост-Индской компании — тогда еще нового и малоизвестного предприятия — и в конце концов пошел на военную службу, но не отличился и там. Ванбру был командирован во Францию, но не успел он сойти с корабля на берег, как его арестовали за шпионаж. Почти пять лет он провел в тюрьме, правда, содержался в относительно комфортных условиях.

Тюрьма, похоже, оказала на него живительное воздействие: вернувшись в Англию, он поразительно скоро сделался знаменитым драматургом, написавшим одну за другой две весьма популярные комедии тех лет, «Неисправимый» и «Оскорбленная жена». Главные действующие лица этих пьес носят имена вроде Фондлвайв (Ласковая Жена), лорд Фоппингтон (от *for* — хлыщ), сэр Танбелли Кламси (Неуклюжий Толстопуз) и сэр Джон Брют (Храбрец). Этот юмор может показаться нам несколько тяжеловесным, но в эпоху, когда ценилось все нарочитое, они являли собой вершину остроумия. Более того, это были довольно рискованные шутки. Один скандализованный член Общества реформирования манер заявил, что «Ванбру, как никто другой, развратил театральные подмостки». Однако другим критикам его пьесы нравились — по этой же самой причине. Поэт Сэмюэл Роджерс считал Ванбру «одним из величайших гениев всех времен».

Всего Ванбру написал и поставил десять пьес, а затем довольно внезапно решил заняться архитектурой. Откуда взялся этот порыв, до сих пор остается загадкой. Известно лишь, что в 1701 году, в возрасте тридцати пяти лет, Ванбру начал работать над проектом дома, который должен был

стать одним из самых роскошных дворцов Англии, — замка Говардов (*Castle Howard*) в Йоркшире. Как ему удалось уговорить своего друга Чарльза Говарда, третьего графа Карлайла (один историк архитектуры описал его как человека «ничем не выдающегося, зато неимоверно богатого»), подписаться под этой, на первый взгляд, безумной затеей, тоже покрыто мраком.

Это был не просто большой дом, это было потрясающее, великолепное здание, выстроенное «с таким размахом, который раньше считался исключительной привилегией королевских особ», пишет биограф Ванбру Керри Даунс. Очевидно, Карлайл усмотрел нечто стоящее в черновых эскизах Ванбру. Впрочем, следует отметить, что Ванбру заручился поддержкой известного и, несомненно, одаренного архитектора Николаса Хоксмурра. Трудно сказать, почему специалист с двадцатилетним опытом практической работы согласился ассистировать новичку, который к тому же работал бесплатно (во всяком случае, не найдено никаких финансовых документов по этому проекту, хотя оба участника сделки тщательно следили за своими денежными делами). Как бы то ни было, Карлайл распрощался с известным архитектором Уильямом Толменом, услугами которого собирался воспользоваться, и предоставил свободу действий новичку Ванбру.

И Ванбру, и Карлайл состояли в тайном обществе, известном как «Клуб Кит-Кэт». Целью общества было обеспечить возведение на английский престол и укрепление на нем Ганноверской династии, то есть того, чтобы Англией правили лишь протестанты. Члены клуба добились своей цели, и это было большим достижением, ибо их кандидат, Георг I, не говорил по-английски, не обладал почти никакими выдающимися качествами и был, по словам одного из современников, «ничуть не лучше, чем пятьдесят восьмой по очереди претендент на престол». Если не считать политических интриг, клуб действовал настолько скрытно, что о нем почти ничего неизвестно. Одним из его учредителей был пирожник по имени Кристофер «Кит» Кэт. Его знаменитые пирожки с бараниной тоже назывались «кит-кэты». Спор о том, в честь кого (или чего) был назван клуб, не утихает уже три столетия. Одни говорят, что в честь пирожника, другие — что в честь пирожков.

Клуб просуществовал совсем недолго: примерно с 1696 по 1720 год, всего в нем за это время состояло около пятидесяти человек, из них две трети были пэрами Англии. Пятеро членов клуба — лорды Карлайл, Галифакс и Скарборо, а также герцоги Манчестер и Мальборо — были заказчиками Ванбру. Кроме того, в клубе числились премьер-министр

Роберт Уолпол (отец писателя Горация Уолпола), знаменитые публицисты Джозеф Аддисон и Ричард Стил и драматург Уильям Конгрив.

В замке Говардов Ванбру не просто пренебрег классическими правилами, он буквально похоронил их под массой барочных украшений. Постройки Ванбру и впоследствии отличались оригинальностью, но Касл-Хоуард стал самым необычным. В нем было очень много парадных комнат (на одном этаже — целых тринадцать) и непривычно мало спален. Зачастую комнаты имели странную форму или были плохо освещены. Декор фасадов здания тоже поражал своей эксцентричностью. С одной стороны дома стоят простые дорические колонны, а с другой — сильно орнаментированные коринфские. Ванбру не без оснований утверждал, что никто не сможет увидеть сразу оба фасада.

Особенно поражало зрителей (во всяком случае, в первые двадцать пять лет) отсутствие западного крыла, хоть это и не было оплошностью архитектора: заказчик по рассеянности забыл про западное крыло, в результате дом оказался асимметричным. Четверть века спустя другой хозяин и другой архитектор достроили западное крыло, однако совсем в другом вкусе. Сегодня посетители лицезреют барочное восточное крыло, спроектированное Ванбру, и резко контрастирующее с ним западное, которое оформлено в палладианском духе и вряд ли нравилось кому-то, кроме заказчика.

Самая знаменитая деталь замка Говардов — купол над центральной частью — также была добавлена позже; чересчур высокий и тонкий барабан кажется совершенно несоразмерным самому дому. Создается впечатление, будто купол был предназначен совсем для другого здания, в общую композицию замка он, как не слишком дипломатично выразился один архитектурный критик, «совершенно не вписывается». Так или иначе, купол был абсолютным новшеством в английской архитектуре: в то время в Англии имелась лишь одна постройка с куполом — новый собор Святого Павла работы Кристофера Рена. Ни в одном жилом доме ничего подобного не было.

Если коротко охарактеризовать Касл-Хоуард, то это весьма роскошное жилище, но роскошное на свой, совершенно особый, манер. Без купола дом теряет свою неповторимость. Мы можем утверждать это с полной уверенностью, так как в течение двадцати лет замок Говардов и впрямь был лишен купола.

Поздно ночью 9 ноября 1940 года в восточном крыле замка случился пожар. В ту пору в доме был всего один телефонный аппарат, который к тому же расплавился раньше, чем до него успели добраться. Пришлось

бежать в сторожку, находившуюся в миле от дома, и уже оттуда вызывать пожарную бригаду. Пожарные прибыли из Мальтона, что в шести милях от замка Говардов, только через два часа. За это время большая часть дома сгорела. От огня купол сложился, точно карточный домик, и рухнул внутрь здания. Следующие двадцать лет замок Говардов стоял без купола и, надо сказать, все равно прекрасно смотрелся: это было все такое же величественное, грандиозное сооружение, пусть и утратившее свою «изюминку». Лишь в начале 1960-х годов купол наконец восстановили.

После замка Говардов архитектору Ванбру, несмотря на его все еще небольшой опыт, поручили проект одного из самых важных зданий Великобритании — Бленэмского дворца, настоящего фейерверка роскоши в Вудстоке, графство Оксфордшир. Бленэм был задуман как подарок от государства герцогу Мальборо в знак признательности за его победу над французами в битве близ баварского местечка Блиндхайм (который англичане умудрились превратить в Бленэм) в 1704 году. К дому прилагалось поместье в 22 000 акров превосходной земли, дававшей ежегодный доход 6000 фунтов стерлингов — в то время это была довольно солидная сумма, но, к сожалению, даже ее не хватало, чтобы содержать дом такого размаха, как Бленэм.

Дворец состоял из трехсот комнат<sup>[56]</sup> и занимал целых семь акров земли. В то время даже фасад протяженностью в 250 футов считался гигантским; фасад же Бленэма растянулся аж на 856 футов. Это был величайший памятник тщеславию, когда-либо воздвигнутый в Британии. Богатый декор украшал каждый дюйм здания. По степени роскоши Бленэм переплюнул все королевские дворцы и поэтому, естественно, очень дорого стоил. Герцог Мальборо, также член «Клуба Кит-Кэт», похоже, был хорошим приятелем Ванбру, однако, обсудив с архитектором основные вопросы, герцог уехал воевать дальше, передав все домашние дела в руки своей супруги Сары, герцогини Мальборо. Именно она следила за ходом работ, и отношения между ней и Ванбру с самого начала не заладились.

Строительство началось летом 1705 года и с самого начала было сопряжено с трудностями. В процессе работы приходилось вносить множество корректив, которые дорого обходились. Владелец коттеджа, оказавшегося на территории поместья, отказался переезжать, так что парадный вход пришлось перенести: главные ворота расположили на задворках Вудстока; посетители проходили по главной улице, сворачивали за угол и только потом попадали на территорию поместья через ворота, которые даже сегодня, несмотря на свой масштаб, странным образом напоминают черный ход.

На строительство Бленэма было ассигновано 40 000 фунтов стерлингов из государственного бюджета, но в конечном счете проект обошелся в 300 000. Возникла большая проблема, поскольку супруги Мальборо отличались исключительной скупостью. Герцог был настолько скареным, что, когда писал письма, не ставил точки над «і», дабы сэкономить чернила. Встал вопрос: кто будет платить за работу — королева Анна, казначейство или сами супруги Мальборо? Между герцогиней Сарой и королевой Анной существовали тайные, весьма странные и, возможно, интимные отношения. Наедине они называли друг друга ласковыми именами — «миссис Морли» и «миссис Фриман», пытаясь избежать натянутости в общении, ведь одна из них была королевской особой, а другая — нет.

К несчастью, строительство Бленэма совпало с охлаждением их взаимной симпатии, и неопределенность по поводу того, кто должен понести расходы по строительству, усугубилась. Все осложнилось еще больше, когда в 1714 году королева Анна умерла, на престол взошел король, не питавший особой привязанности к супругам Мальборо и не желавший брать на себя перед ними никаких обязательств. Споры тянулись годами, а строители сидели без денег и в конце концов получили лишь часть того, что им должны были заплатить. На четыре года, с 1712 по 1716-й, строительство вообще остановилось, и многие рабочие, по понятным причинам, не захотели возвращаться, когда стройка возобновилась. Сам Ванбру получил гонорар только в 1725 году, почти через двадцать лет после начала работы.

Архитектор без конца ссорился с герцогиней. Она считала дворец «слишком большим, слишком темным и слишком похожим на казарму», обвиняла Ванбру в расточительстве и непослушании и в конце концов пришла к выводу, что архитектор решительно ни на что не годен. В 1716 году герцогиня и вовсе отказалась от его услуг, однако велела рабочим придерживаться планов архитектора. Когда в 1725 году Ванбру вместе с женой приехал взглянуть на законченное здание, на которое он потратил две трети своей профессиональной жизни (и треть жизни вообще), привратник сказал ему, что герцогиня распорядилась не пускать зодчего на территорию. Он смог увидеть собственную законченную работу лишь издали, а восемь месяцев спустя скончался.

Бленэм, как и Касл-Хоуард, выстроен в стиле барокко, причем содержит еще больше характерных элементов этого стиля — скульптуры, шаров, урн и других излишеств. Многим не понравились монументальный размах и нарочитая роскошь замка. Граф Эйлсбери назвал его «безвкусной

грудой камней». Александр Поуп, с исчерпывающей полнотой перечислив все недостатки здания, заключил: «Одним словом, это очень дорогая нелепица». Герцог Шрусбери назвал Бленэм «огромной наземной каменоломней», а известный остро слов Абель Эванс сочинил для Ванбру насмешливую эпитафию:

Лежи на нем всей тяжестью, земля,  
Он возложил немало груза на тебя.

Бленэм, безусловно, перегружен деталями, но тем не менее производит ошеломляющее впечатление. Человек, который впервые видит это грандиозное сооружение, поневоле испытывает благоговейный трепет. Трудно поверить, что кому-то хотелось жить в столь гнетущей машине. Впрочем, супруги Мальборо фактически там и не жили: они переехали туда только в 1719 году, а уже через два года герцог умер.

Но что бы ни говорили о Ванбру и его творениях, именно с него началась эра прославленных английских зодчих<sup>[57]</sup>. До Ванбру архитекторы не были в большом почете. Обычно слава доставалась тому, кто платил за архитектуру, а не тому, кто ее проектировал. Хардвик-холл, о котором рассказывали в главе, посвященной холлам, был одним из самых известных зданий своего времени, однако его автором лишь предположительно можно назвать Роберта Смитсона. Судя по всему, это предположение верно, однако решающие доказательства отсутствуют. Смитсон был фактически первым человеком, которого признали профессиональным зодчим, — на его надгробном памятнике, воздвигнутом примерно в 1588 году, написано: «архитектор и землемер». Но, как и в случае со многими другими его современниками, нам почти ничего неизвестно о раннем этапе жизни Смитсона, в том числе где он родился и когда. Впервые о нем упоминается в документах замка Лонглит-хаус, графство Уилтшир, в 1568 году, когда Смитсон уже разменял четвертый десяток и работал мастером-каменщиком. Где он был раньше — тайна за семью печатями.

Даже после того, как профессия архитектора стала общепризнанной и уважаемой, многие архитекторы-практики пришли в нее из других областей. Иниго Джонс сначала рисовал театральные декорации, Кристофер Рен был астрономом, Роберт Гук — ученым, Ванбру — солдатом и драматургом, Уильям Кент — художником и декоратором. То есть как отдельная дисциплина архитектура возникла очень поздно. В Британии обязательные экзамены для архитекторов ввели только в 1882

году, и лишь в 1895 году этот предмет в учебных заведениях получил статус академического.

Однако к середине XVIII века британская архитектура уже завоевала уважение и интерес общества, и самым прославленным на тот момент архитектором был Роберт Адам. Если Ванбру — первый известный зодчий, то Адам — величайший из всех. Он родился в 1728 году в Шотландии в семье архитектора; трое его братьев выбрали то же поприще и весьма преуспели, но Роберт проявил наибольшие дарования, и история запомнила его одного. Период 1755–1785 годов иногда называют эпохой Адама.

В лондонской Национальной портретной галерее висит портрет Адама, написанный примерно в 1770 году, когда зодчему было тридцать с небольшим. На картине изображен достойный муж в седом напудренном парике, но в жизни Адам был не слишком приятным человеком. Надменный и эгоистичный, он плохо обращался со своими подчиненными, платил им гроши и держал в черном теле. Застав их за другой работой (не той, которую он велел им делать), даже за рисованием эскизов забавы ради, Адам назначал сотрудникам большие штрафы.

Однако клиенты высоко ценили способности зодчего и в течение тридцати лет заваливали его заказами. «Братья Адам» стали своего рода архитектурным предприятием. Они владели каменоломнями, деревообрабатывающим бизнесом, фабрикой по производству штукатурки, брали подряды на возведение стен и занимались многим другим. Было время, когда на них работало две тысячи человек. Братья проектировали не только дома, но и все детали интерьера: мебель, камин, ковры, кровати, светильники и прочее — вплоть до мелочей, таких как дверные ручки, шнурки для колокольчиков и чернильницы.

Но проекты Адама часто были слишком эксцентричными, порой даже пугающими, и он постепенно утратил расположение богатых заказчиков. Он питал неумную слабость к излишествам декора. Попадая в комнату, спроектированную Адамом, человек чувствовал себя мухой, завязшей в сладком торте, обильно залитым шоколадной глазурью. Один из критиков — современников Адама — даже назвал его «кондитером». В 1780-х Адама обвиняли в «приторности и женоподобности»; архитектор окончательно вышел из моды и вернулся к себе на родину, в Шотландию, где и умер в 1792 году. К 1831-му его окончательно забыли: влиятельный сборник «Жизнеописания наиболее знаменитых британских зодчих» не упоминает о нем вообще. Впрочем, забвение было недолгим. К 1860-м слава Адама вновь возродилась и дожила до наших дней, хотя сегодня больше помнят его богатые интерьеры, чем его здания.

Во времена Адама все большие дома имели один общий признак — они были строго симметричными. Вообще говоря, Ванбру не добился полной симметрии в замке Говардов, но это было случайностью. Зато при проектировании остальных сооружений архитекторы придерживались правила симметрии как непреложного закона. Каждому крылу соответствовало другое такое же крыло, даже если в нем не было практической необходимости, а каждое окно и фронтон с одной стороны, как в зеркале, отражались с другой, независимо от того, какие помещения располагались за ними. В результате дома часто имели никому не нужные крылья. Этому абсурду был положен конец лишь в XIX веке, когда в Уилтшире построили один удивительный дом.

Этот дом назывался Аббатство Фонтхилл и был творением двух странных и очень занятных персонажей — заказчика Уильяма Бекфорда и архитектора Джеймса Уайетта.

Бекфорд был сказочно богат. Его семья владела плантациями на Ямайке и в течение ста лет играла ведущую роль в торговле вест-индским сахаром. Мать Бекфорда, безумно любившая своего сына, дала ему все, что только можно пожелать. Сам Моцарт давал ему уроки игры на фортепьяно. Сэр Уильям Чемберс, королевский архитектор, учил его рисованию. Состояние Бекфорда было неистощимо. В день, когда ему исполнился двадцать один год и пришло время вступить в права наследства, он потратил на вечеринку по этому поводу неприлично огромную сумму — 40 000 фунтов. Байрон в одной из поэм назвал Бекфорда «богачейшим сыном Англии», и это, пожалуй, было вполне справедливо.

В 1784 году Бекфорд оказался в центре самого громкого и пикантного скандала того периода, когда выяснились подробности сразу двух его бурных и опасных романов. Один — с Луизой Бекфорд, женой его двоюродного брата, и второй, одновременно, — со стройным изящным юношей по имени Уильям Кортни, будущим девятым графом Девонским, которого называли «самым красивым мальчиком Англии». На протяжении нескольких лет Бекфорд встречался с обоими, нередко под одной и той же крышей.

Однако осенью 1784 года произошел внезапный скандал. Бекфорду передали (или он нашел) записку, написанную рукой Кортни, и он взбесился от ревности. Нет никаких точных сведений о том, что именно было в той записке, но она толкнула Бекфорда на необдуманый поступок. Он зашел в комнату Кортни и, как слегка смятенно описывает один из гостей дома, присутствовавших при этом, «отхлестал его, вызвав шум; дверь была открыта, и мы увидели Кортни в одной рубашке, а рядом

Бекфорда в какой-то необъяснимой позе... весьма странная история».

Да уж...

Самым неприятным для Бекфорда было то, что родители обожали Кортни, единственного мальчика из четырнадцати своих детей, причем совсем еще юного. На момент скандала ему было пятнадцать лет, а когда он подпал под нездоровое влияние Бекфорда, возможно, всего десять. Разумеется, семья Кортни не намерена была спускать все это распутнику, да и обманутый кузен вряд ли пришел в восторг, узнав шокирующую правду о своей супруге. Опозоренный Бекфорд бежал на континент, много путешествовал по Европе и написал на французском языке готический роман под названием «Батек, или Арабская сказка», который сейчас совершенно невозможно читать, но в то время он имел большой успех.

В 1796 году (несмотря на прошедшие годы, шумиха вокруг его имени даже не думала стихать) Бекфорд совершил неожиданный поступок: он вернулся в Англию и объявил, что намерен снести Фонтхилл-Сплендерс — свой особняк в Уилтшире, построенный всего около сорока лет назад, а на его месте выстроить новый дом, да не простой, а самый большой в Англии со времен Бленэма. Довольно странная идея, ведь Бекфорду, от которого отвернулись все друзья, некого было принимать в столь огромном жилище. Архитектором для своего полубезумного проекта он выбрал Джеймса Уайетта.

Уайетт — незаслуженно забытая фигура. Его единственная подробная биография, написанная Энтони Дейлом, была опубликована больше полувека назад. Возможно, он стал бы более известным, если бы сохранилось больше его зданий. Сегодня Уайетта помнят скорее за то, что он разрушил, чем за то, что он построил.

Джеймс Уайетт родился в Стаффордшире, в семье фермера. В молодости, увлекшись архитектурой, он провел шесть лет в Италии, изучая архитектуру и рисунок. В 1770 году, когда ему было всего двадцать четыре, он создал проект Пантеона — общественного сооружения с выставочным залом, взяв за образец одноименный древнеримский памятник. В течение ста шестидесяти лет Пантеон был самым заметным сооружением на лондонской Оксфорд-стрит. Гораций Уолпол назвал его «самым красивым зданием в Англии». К сожалению, владельцы компании «Маркс энд Спенсер» не разделяли его мнения и в 1931 году разрушили Пантеон, чтобы расчистить место для нового универмага.

Уайетт был талантливым зодчим со своей индивидуальной манерой. При Георге III он был назначен топографом Управления общественных работ, что означало, что он является официальным государственным

архитектором, однако его личные качества оставляли желать лучшего. Неорганизованный, забывчивый, беспорядочный, он сильно пил и то и дело уходил в запой. Был год, когда он пропустил подряд пятьдесят еженедельных совещаний в Управлении.

Уайетт так плохо контролировал своих подчиненных, что один из них, как выяснилось задним числом, был в отпуске целых три года. Однако, когда Уайетт бывал трезв, все его любили и ценили за добрый нрав и наметанный глаз архитектора. Его бюст, стоящий в лондонской Национальной портретной галерее, изображает свежесбритого (весьма необычно для Уайетта) мужчину с пышной шевелюрой и скорбным выражением на лице, которое, возможно, объясняется похмельем.

Несмотря на все свои недостатки, он стал самым востребованным архитектором своего времени, однако брал больше заказов, чем мог выполнить, и, к неудовольствию своих клиентов, редко уделял им достаточно внимания. «Его ничто не волнует, кроме выпивки. Была бы только бутылка!» — раздраженно писал один из его многочисленных неудовлетворенных заказчиков.

«Буквально все сходятся во мнении, — замечает Энтони Дейл, — что у Уайетта было три вопиющих недостатка: полное отсутствие предпринимательской жилки, совершенное неумение эффективно применять свои знания... и крайняя непредусмотрительность». И это слова вполне сочувствующего комментатора! Если коротко, Уайетт был нерадив и труден в общении. Один его клиент, Уильям Уиндем, целых одиннадцать лет ждал окончания работы, на которую требовалось гораздо меньше времени. Уиндем устало писал непутевому архитектору: «Думаю, мое раздражение вполне оправданно. Жить в моем доме практически невозможно. Я не мог добиться от вас выполнения работы, которую легко можно сделать за пару часов». Несчастливым клиентам Уайетта требовалось прямо-таки ангельское терпение.

И несмотря на все это, его карьера была успешной и очень продуктивной. За сорок лет он построил или перестроил сотню загородных домов, реконструировал или достроил пять соборов и в целом сильно поспособствовал изменению облика британской архитектуры — правда, по мнению некоторых, не всегда в лучшую сторону. Особенно лихо он расправлялся с соборами. Критика Джона Картера так пугало пристрастие Уайетта к уничтожению старинных интерьеров, что он прозвал зодчего Разрушителем и посвятил 212 колонок в *Gentleman s Magazine* — по сути дела, всю свою журналистскую карьеру — нападкам на Уайетта.

Уайетт собирался увенчать массивным шпилем и Даремский собор.

Идея не встретила одобрения, и слава богу, тем более что башня, которую Уайетт вскоре построил в Фонтхилле, оказалась весьма опасным сооружением. Он также собирался снести древнюю Галилейскую часовню, место последнего упокоения Беды Достопочтенного<sup>[58]</sup> и одно из величайших произведений англо-норманнской архитектуры. По счастью, и этот план был отвергнут.

Бекфорд был восхищен несомненным дарованием Уайетта, но его приводили в смятение беспутство и крайняя ненадежность архитектора. Все же ему каким-то образом удалось добиться от Уайетта, чтобы тот составил проект, и работа началась.

Все в Фонтхилле было спроектировано с фантастическим размахом. Окна высотой в пятьдесят футов; лестницы, ширина которых была равна их длине; сорокафутовая парадная дверь, казавшаяся еще выше на фоне швейцаров-карликов, которые служили у Бекфорда; восьмидесятифутовые гардины свисали с четырех арок восьмиугольной центральной гостиной, которая так и называлась — Октагон и от которой в четыре стороны расходились четыре длинные галереи; главный коридор представлял собой перспективу более чем в триста футов. В столовой стоял пятидесятифутовый стол, за которым в гордом одиночестве вкушал пищу сам Бекфорд. Помещение было перекрыто кровлей с открытыми стропилами, которая терялась в далеких тенях бесчисленных балок.

Пожалуй, никогда ни до, ни после Фонтхилла не было построено такого чудовищно огромного жилого дома; причем все это — ради одного-единственного человека и к тому же изгоя общества, к которому совершенно точно ни разу не зайдут в гости соседи. Более того, чтобы сохранить свое уединение, Бекфорд обнес поместье гигантской стеной, которую назвал Барьером; двенадцати футов в высоту и двенадцати миль в длину, она была увенчана железными пиками.

В числе прочих построек поместья имелся и огромный склеп длиной в сто двадцать пять футов, в который следовало со временем поместить гроб хозяина. Гроб должен был быть воздвигнут на платформу, возвышающуюся над полом склепа на целых двадцать пять футов; Бекфорд полагал, что так до него никогда не доберется ни один червь.

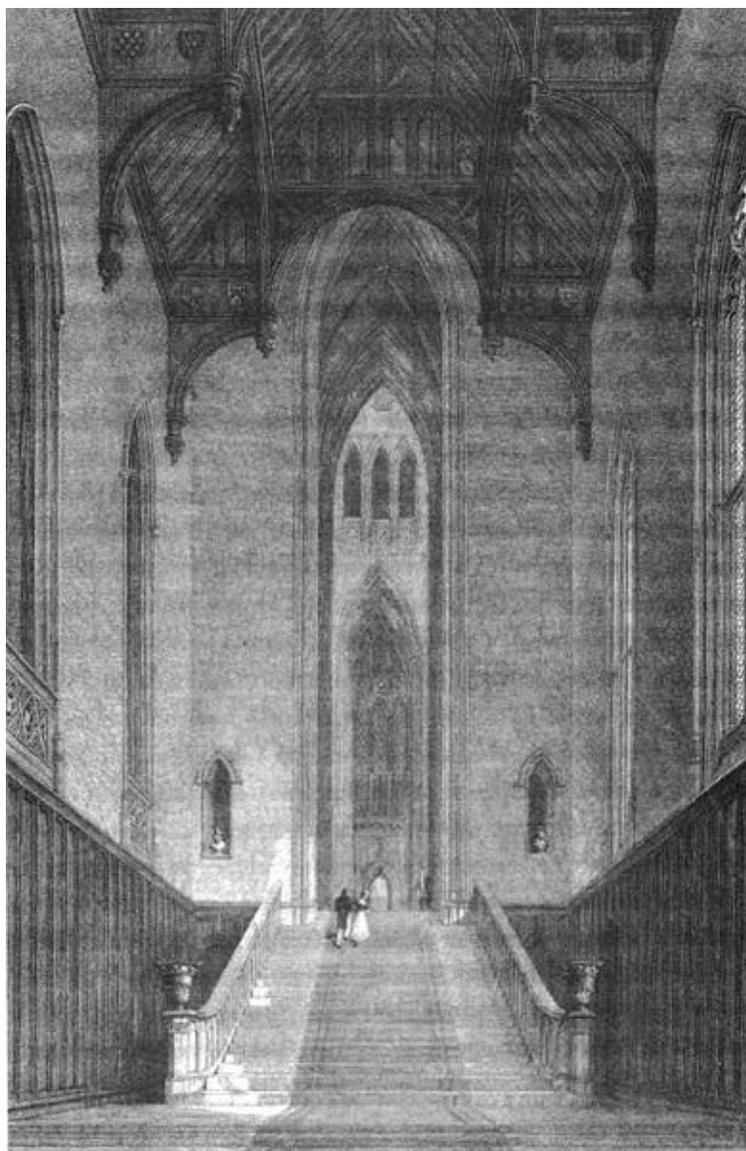


Рис. 7. Большой западный холл, ведущий в главную гостиную («Октагон») в аббатстве Фонтхилл

Фонтхилл был намеренно выстроен с вызывающей асимметрией (историк Саймон Терли назвал эту композицию «архитектурной анархией») и выполнен в вычурном неоготическом стиле, из-за чего походил на гибрид средневекового собора и замка Дракулы. Уайетт не был изобретателем неоготики. Эта честь принадлежит Горацию Уолполу и его дому Стробрерри-хилл в пригороде Лондона. Изначально словом *gothick* в Англии называли не архитектурный стиль, а особый жанр литературных произведений — мрачные, перегруженные деталями «готические» романы, родоначальником которых тоже стал Уолпол, написавший в 1764 году «Замок Отранто».

Впрочем, Строберри-хилл отличался сравнительной сдержанностью; это было достаточно традиционное здание с элементами готической ажурной каменной работы и прочими украшениями. Готические сооружения Уайетта были куда более тяжеловесными — с огромными башнями, романтическими шпилями и беспорядочным нагромождением асимметричных высоких кровель: создавалась иллюзия, будто дом рос и расширялся на протяжении столетий, — своего рода голливудская фантазия на тему прошлого, возникшая задолго до появления Голливуда. Чтобы выразить дух готики, Уолпол придумал термин *gloomth* («мрачность»). Дома Уайетта прямо-таки ее источали.<sup>[59]</sup>

Одержимый желанием как можно быстрее завершить проект, Бекфорд нещадно подгонял строителей: пятьсот человек работали круглыми сутками, но дела все время не ладились. 280-футовая башня Фонтхилла — самая высокая из всех башен, когда-либо украшавших частный дом, — стала настоящим кошмаром для строителей, Уайетт опрометчиво использовал новое вяжущее вещество — так называемый романцемент, только что изобретенный преподобным Джеймсом Паркером из Грейвзенда, еще одним из той плеяды пытливых священнослужителей, с которой мы познакомились в начале книги.

Каким ветром преподобного мистера Паркера занесло в мир строительных материалов, неизвестно, но он предложил новый способ изготавливать быстро застывающий раствор, утверждая, что это давно забытый рецепт древних римлян (отсюда и название). К сожалению, его цемент имел малую прочность и, если при смешивании не соблюдались точные пропорции, рассыпался на куски — что как раз и случилось в Фонтхилле. Башня Уайетта дважды обрушивалась в ходе строительства и даже после окончания работ угрожающе поскрипывала и потрескивала.

К крайнему неудовольствию Бекфорда, Уайетт часто отсутствовал — пьянствовал или работал над другими проектами. Как раз в тот момент, когда в Фонтхилле разразилась очередная катастрофа и пятьсот рабочих либо спасались бегством, либо бездельничали в ожидании указаний сверху, Уайетт был поглощен большим проектом: строил королю Георгу III новый дворец в Кью, на западе Лондона. Трудно сказать, почему Георгу III взбрела в голову эта идея, ведь у него уже был один отличный дворец в Кью, но так или иначе Уайетт спроектировал для короля весьма внушительное сооружение (за свой пугающий вид прозванное Бастилией) — одно из первых зданий мира, при возведении которого в качестве стройматериала использовался чугун.

Мы не знаем точно, как выглядел этот дворец — он не сохранился и не

осталось ни одного рисунка с его изображением, — но, скорее всего, это было весьма впечатляющее здание, почти целиком выполненное из чугуна, за исключением дверей и половиц. Наверное, не слишком уютно жить в огромном кухонном котле. К несчастью, пока на берегу Темзы шла стройка, король начал терять зрение, а заодно и интерес к тем вещам, которые не мог разглядеть. Мало того, он никогда не испытывал особенной симпатии к Уайетту. Поэтому, когда здание было уже наполовину возведено (и поглотило более 100 000 фунтов стерлингов), работу резко прервали. Лет двадцать дом стоял недостроенным, а потом новый король Георг IV велел его снести.

Бекфорд забрасывал Уайетта возмущенными письмами. «В каком вонючем трактире, мерзкой таверне или сифилитическом борделе вы прячете свою грязную дряблую задницу?» — вопрошал он, заодно обзывая Уайетта сутенером. Каждое письмо представляло собой длинный перечень гневных и изобретательных оскорблений. Уайетт, естественно, был взбешен. Однажды он в очередной раз бросил стройку в Фонтхилле и уехал в Лондон, якобы по срочному делу, но через три мили заехал в другое поместье Бекфорда, где случайно встретился с одним из своих приятелей-выпивох. Там их неделю спустя и обнаружил взбешенный Бекфорд — напившихся до беспамятства, в окружении множества пустых бутылок.

Окончательная строительная смета Аббатства Фонтхилл неизвестна, но в 1801 году, согласно одному осведомленному источнику, Бекфорд уже потратил 242 000 фунтов стерлингов (этих денег хватило бы на постройку двух Хрустальных дворцов), а на тот момент было сделано меньше половины работы. Бекфорд переехал в еще не законченное аббатство летом 1807 года и стал жить там, несмотря на полное отсутствие удобств. «Приходилось все время жечь шестьдесят каминов — как зимой, так и летом, — чтобы дом не отсырел и не выстудился окончательно», — пишет Саймон Терли в книге «Утраченные дома Британии». Почти все спальни были аскетичными, как монашеские кельи; в тринадцати из них не хватало окон, а в спальне самого Бекфорда был единственный предмет мебели — узкая кровать.

Уайетт по-прежнему бывал на стройке лишь периодически, а Бекфорд постоянно пребывал по этому поводу в бешенстве. В начале сентября 1813 года, сразу после своего шестьдесят седьмого дня рождения, Уайетт возвращался в Лондон из Глостершира вместе с клиентом; карета перевернулась, и он сильно ударился головой. Удар оказался смертельным. Архитектор скончался почти мгновенно, оставив свою жену без единого пенни.

Как раз в это время цены на сахар упали, и Бекфорд столкнулся с неприглядной оборотной стороной капитализма. К 1823 году он так обеднел, что вынужден был продать Фонтхилл. Поместье купил за 300 000 фунтов некий чудак по имени Джон Форквар, который родился в сельской Шотландии, но молодым человеком поехал в Индию и там сколотил состояние на производстве ружейного пороха. В 1814-м Форквар вернулся в Англию и обосновался в Лондоне, в отличном доме на Портман-сквер, однако сильно запустил свое жилище — впрочем, как и себя самого: когда он гулял по соседним кварталам, его иногда останавливала полиция, принимая за подозрительного бродягу.

Форквар купил Фонтхилл, но почти не жил там. Однако самый драматичный эпизод в истории аббатства он застал.

Трагедия разыгралась перед самым Рождеством 1825 года; башня издала очередной протяжный скрип и рухнула. Один из слуг, подгоняемый ударной волной от падения, пролетел целых тридцать футов по коридору, но чудесным образом не пострадал — так же, как и все остальные.

Почти треть дома оказалась похоронена под грудой обломков башни, и здание стало непригодным для жизни. Форквар отнесся к своему несчастью с философским спокойствием, заметив, что теперь его жизнь существенно упростилась, ибо отпала необходимость ухаживать за огромным жилищем. В следующем году он скончался, не оставив завещания, но никто из его родственников не захотел принимать во владение Фонтхилл. Вскоре то, что осталось от дома, снесли.

Между тем Бекфорд, получив свои 300 000 фунтов, уехал в Бат, где построил 154-футовую башню в сдержанном классическом стиле. Эта башня, названная Лэнсдаун-тауэр, была возведена с применением хороших материалов и со всеми необходимыми предосторожностями, поэтому стоит до сих пор.

## II

Фонтхилл был наглядным примером извращенного несоответствия между объемом усилий и денежных средств, вкладываемых в здание, и числом его обитателей. По части элегантности и пышности архитектуре этой эпохи не было равных, но она ничуть не улучшила повседневный быт людей.

Все изменилось с появлением нового социального слоя — среднего класса. Разумеется, люди среднего социального положения (не богачи-

аристократы, но и не бедняки-простолюдины) были всегда, но лишь в XVIII веке они превратились в силу, с которой необходимо считаться.

Термин «средний класс» появился лишь в 1745 году (в книге про торговлю ирландской шерстью, как ни странно), однако с тех пор улицы и кофейни Британии наводнили уверенные, говорливые, состоятельные люди, подходившие под это определение, — банкиры, юристы, художники, издатели, коммерсанты, застройщики и прочие в общей массе творческие и амбициозные работники. Представители этого нового и постоянно растущего среднего класса работали не только на аристократов, но и друг на друга, что было для них даже более выгодно. Так постепенно формировался современный мир.

Запросы общества вышли на принципиально иной уровень. Внезапно появилось множество людей с роскошными особняками, каждый из которых надо было соответствующим образом обставить, и мир так же внезапно наполнился желанными предметами. Ковры, зеркала, шторы, украшенная вышивкой мягкая мебель и еще сотни вещей, до 1750 года редко встречавшихся в домах, теперь стали обычным явлением.

Расширение Британской империи и оживление внешнеторговых связей тоже внесли свою лепту. Возьмем, к примеру, древесину. Когда Британия была изолированным островным государством, у нее по сути имелся всего один вид древесины для производства мебели: дуб. Дуб — материал благородный: прочный, долговечный, по твердости практически не уступает железу, но он пригоден лишь для тяжелой, массивной мебели — комодов, кроватей, больших столов и т. п. Однако с развитием британского мореплавания и расширением английских коммерческих интересов в страну начала поступать древесина самых разных сортов — орех из Виргинии, розовое дерево из Каролины, тик из Азии, и это полностью изменило быт: теперь люди по-другому сидели, по-другому беседовали и по-другому развлекались.

Больше всего ценилось красное дерево с Карибских островов, глянцевитое, прочное и обладающее прекрасными производственными качествами. Достаточно вязкое для того, чтобы его можно было покрывать тонкой резьбой в витиеватом стиле рококо, оно в то же время оказалось достаточно прочным, чтобы использовать его в качестве материала для повседневной домашней мебели. До него ни один вид древесины не обладал подобным сочетанием характеристик, и мебель вдруг приобрела поистине скульптурную красоту.

Однако своим почетным местом среди всех прочих видов древесины красное дерево во многом обязано еще одному новому волшебному

материалу, который прибыл с другого конца земли. Это был шеллак — смолистый секрет, выделяемый лаковым червецом. Полчища этих насекомых появляются в некоторых частях Индии в определенное время года, и из их выделений делают лак — без запаха, нетоксичный, очень блестящий и крайне устойчивый к царапинам и выцветанию; в жидком состоянии он не притягивает пыль и высыхает за считанные минуты. Даже сейчас шеллак находит множество применений, и с ним не могут соперничать многие синтетические продукты. К примеру, когда вы приходите в боулинг и видите там безупречно сияющие дорожки, то это сияние — заслуга шеллака.

За счет новых видов древесины и лаков мебель преобразилась, однако для того, чтобы выпускать качественную продукцию, требовалась еще и новая система производства, способная удовлетворить непрерывно растущий спрос. Если традиционно декораторы, подобные Роберту Адаму, для каждого нового дома создавали новую мебель, то теперь мебельщики поняли, что гораздо выгоднее изготавливать много предметов мебели по единому эскизу. Они начали выпускать в больших количествах вырезанные по шаблонам детали, которые затем собирали и отделывали другие люди, — наступила эра массового производства.

Забавно, что людей, внесших большой вклад в развитие и внедрение новых методов массового производства, мы сейчас глубоко чтим за их мастерство. И самый достойный почитания — мебельщик из северной Англии по имени Томас Чиппендейл. Его влияние было огромным. Он стал первым простолудином, в честь которого назвали мебельный стиль. До него в названиях стилей преданно поминали монархов: Тюдора, Елизавету, Людовика XIV или королеву Анну.

Об этом человеке сохранилось крайне мало сведений. Например, мы понятия не имеем, как он выглядел. За исключением того, что Чиппендейл родился и вырос в рыночном городке Отли, на краю Йоркшир-Дейлс, нам совсем ничего не известно о ранних годах его жизни. Впервые о нем упоминается в 1748 году, когда он, будучи уже тридцатилетним, приехал в Лондон и занялся обивкой мебели.

Это была смелая затея, ибо обивочное ремесло, технологически сложное само по себе, требует больших трудовых ресурсов. Один из самых успешных обивщиков, Джордж Седдон, руководил четырьмя сотнями рабочих — резчиками, позолотчиками, столярами, мастерами по изготовлению зеркал и медных украшений и т. д. У Чиппендейла был размах поменьше: в его подчинении находились сорок-пятьдесят человек, а его владения представляли собой два участка земли, расположенных по

адресу: Сент-Мартинс-лейн, 60 и 62, сразу за углом от Трафальгарской площади (правда, она появится только через 80 лет).

Кроме того, Чиппендейл делал и продавал стулья, журнальные и туалетные столики, письменные и карточные столы, книжные шкафы, бюро, зеркала, корпуса часов, канделябры, пюпитры, подсвечники, комоды и новый экзотический предмет, который он назвал «софа». В то время диваны казались дерзкими, даже возбуждающими предметами мебели: они напоминали кровати и как бы намекали на постельные развлечения. Ко всему этому фирма торговала обоями и коврами, брала заказы на ремонтные работы, расстановку новой мебели и даже похороны.

Безусловно, Томас Чиппендейл выпускал отличную мебель, но он был далеко не единственным. В XVIII веке только на одной Сент-Мартинс-лейн работало тридцать мебельщиков и еще сотня — в стране в целом. Почему сегодня всем нам известно имя Чиппендейла? Потому что в 1754 году он совершил крайне дерзкий поступок: выпустил книгу по дизайну «Руководство для джентльмена и краснодеревщика», содержащую 160 иллюстраций.

Архитекторы уже лет двести делали подобные вещи, но для мебельщиков это было в диковинку. Эскизы соблазняли своей красотой. Образцы изображались не в обычной двумерной проекции, а в перспективе, с тенями и оттенками. Потенциальный заказчик мог тут же представить себе, как эти симпатичные предметы будут смотреться в его доме. Книгу Чиппендейла нельзя назвать сенсацией: было продано всего 308 экземпляров, однако в числе покупателей были сорок девять представителей аристократии, так что книга стала непропорционально известной и авторитетной.

Книгу также покупали другие мебельщики, в связи с чем возникла странная ситуация: Чиппендейл открыто приглашал своих конкурентов пользоваться его эскизами для собственных коммерческих целей. Это обеспечило распространение стиля, но не способствовало немедленному обогащению самого Чиппендейла: теперь клиенты могли заказать «чиппендейловскую» мебель любому мало-мальски искусному мастеру, при этом по более низкой цене.

А бедные историки мебели с тех пор ломают голову, пытаясь понять, какие предметы являются подлинной работой Чиппендейла, а какие — репликами, сделанными по эскизам из его книги. Но даже если стол или шкаф — «подлинный чиппендейл», это еще не значит, что рука самого мастера Томаса хоть раз его коснулась: «подлинным чиппендейлом» считается то, что вышло из его мастерской — не больше.

Тем не менее репутация Чиппендейла была такова, что в ее тени грелись многие. В 1756 году бостонский мебельщик Джон Уэлч, взяв за основу эскизы Чиппендейла, сделал письменный стол из красного дерева и продал его некоему Дюблуа. Стол простоял в семье Дюблуа 250 лет, а в 2007 году был выставлен на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке. И хотя сам Томас Чиппендейл не имел прямого отношения к этому столу, он был куплен почти за 3,3 миллиона долларов.

Вдохновленные успехом Чиппендейла, другие английские производители мебели тоже выпустили книги с собственными эскизами: Джордж Хепплуайт — «Справочник столяра-краснодеревщика и обивщика» (1788), а вслед за ним Томас Шератон — «Альбом эскизов столяра-краснодеревщика и обивщика» (отдельные выпуски увидели свет в 1791–1794 гг.). Книгу Шератона прочитало в два раза больше людей, чем книгу Чиппендейла, и, кроме того, она была переведена на немецкий язык. Хепплуайт и Шератон стали особенно популярными в Америке.

Сегодня любой предмет мебели, непосредственно связанный с кем-то из этой троицы, стоит целое состояние, но при жизни вышеозначенные мастера не всегда пользовались успехом, а их творения не всегда вызывали восторг. Чиппендейл разорился первым. Выдающийся мебельщик был никудышным предпринимателем; этот недостаток особенно проявился в 1766 году, поле смерти его партнера по бизнесу Джеймса Ранни. Ранни был деловым мозгом компании, и, оставшись без него, Чиппендейл до конца своих дней кое-как перебивался от кризиса к кризису.

Какая злая ирония судьбы! Чиппендейл отчаянно изыскивал средства для того, чтобы заплатить своим работникам, а самому не попасть в долговую яму, и при этом выпускал продукцию высочайшего качества для богатейших домовладельцев, тесно сотрудничал с ведущими архитекторами и дизайнерами — Робертом Адамом, Джеймсом Уайеттом, сэром Уильямом Чемберсом и другими, но его личное благополучие неуклонно катилось вниз.

Это был непростой век для предпринимательства. Заказчики, как правило, не спешили с оплатой. Чиппендейлу пришлось пригрозить судом Дэвиду Гаррику, актеру и импресарию, за хроническую неуплату по счетам и приостановить работы в одном величественном здании в Йоркшире, когда долг владельцев достиг серьезной суммы в 6838 фунтов. «У меня нет ни гинеи, чтобы завтра заплатить своим людям», — в отчаянии написал он однажды. Чиппендейл наверняка провел большую часть жизни в тревогах и волнениях, ни на минуту не испытав приятного чувства уверенности в завтрашнем дне. На момент смерти, в 1779 году, у него за душой было

всего-навсего 28 фунтов 2 шиллинга и 9 центов — этих денег не хватило бы, чтобы купить даже самый скромный предмет мебели из его собственного демонстрационного зала.

Когда Чиппендейл скончался, никто этого и не заметил. Ни одна газета не напечатала некролога. Через четырнадцать лет после его смерти мебельщик Томас Шератон заявил, что работы Чиппендейла «полностью устарели и перестали быть интересными». К концу 1800-х имя Чиппендейла стало настолько малоизвестным, что первое издание «Национального биографического словаря» уделило ему всего один параграф — намного меньше, чем самому Шератону или его коллеге Джорджу Хепплуайту, — причем информация была в основном критической и по большей части неверной. Автор безбожно переврал факты: так, согласно его версии, Чиппендейл приехал в Лондон из Вустершира, а вовсе не из Йоркшира.

Мебельщики Томас Шератон (1751–1806) и Джордж Хепплуайт (ок. 1727–1786) едва ли могли похвастаться большими успехами. Магазин Хепплуайта находился в захолустном районе Криплгейт, а его фигура была окутана мраком: современники обращались к нему то Кепплуайт, то Хебблгэйт. О его личной жизни практически ничего не известно. К моменту публикации словаря он уже два года как был мертв.

Судьба Шератона еще более любопытна. Судя по всему, у него вообще не было своего магазина, и никто никогда не видел ни одного предмета мебели, сделанного в его мастерской. Вполне вероятно, что он и вовсе не занимался изготовлением продукции, а просто работал конструктором-дизайнером. Его книга хорошо продавалась, однако он явно нуждался в деньгах и, чтобы свести концы с концами, преподавал рисование и черчение. В какой-то момент Шератон бросил конструировать мебель, стал миссионером нонконформистской секты «строгих баптистов» (*Narrow Baptists*) и, в сущности, уличным проповедником, а в 1806 году умер в Лондоне — в полной нищете, «среди грязи и клопов», оставив жену и двоих детей.

Чиппендейл и его современники, несомненно, были мастерами мебельного дела, однако им было доступно одно преимущество, которое позже оказалось безвозвратно утраченным, — применение лучшей мебельной древесины из всех когда-либо существовавших, а именно разновидности красного дерева под названием свитения махагони (она же вест-индское махагони). Этот сорт произрастал лишь в некоторых районах островов Куба и Эспаньола (на последнем сегодня располагаются Гаити и Доминиканская Республика).

Свитения обладала непревзойденными качествами: красотой, изяществом и практичностью. Из-за огромного спроса всего за пятьдесят лет с момента открытия дерево было полностью истреблено. Всего в мире есть около двухсот разновидностей красного дерева; в большинстве своем это очень хороший материал, но по элегантности, гладкости и технологичности ни один не идет ни в какое сравнение со свитенией. Возможно, в один прекрасный день в мире и появится мебельщик более талантливый, чем Чиппендейл и его коллеги, но без свитении ему уже никогда не изготовить более качественных стульев.

Как ни странно, довольно долгое время этого никто не ценил. На протяжении целого столетия или больше стулья и другие предметы мебели Чиппендейла небрежно пинали ногами в лакейских, и лишь в Эдвардианскую эпоху их снова стали ценить и вернули в хозяйские гостиные. Сейчас подтверждена подлинность примерно шестисот предметов мебели Чиппендейла. Остальные либо передаются из поколения в поколение, либо проданы по дешевке и, возможно, неприметно стоят себе в каком-нибудь загородном коттедже, хотя стоят больше, чем сам этот дом.

Если бы мы вернулись во времена Чиппендейла и зашли в любой дом, нас тут же поразило бы одно обстоятельство: кресла и другие предметы мебели, как правило, выставлялись вдоль стен, отчего комнаты делались похожими на залы ожидания. Столы и стулья в центре гостиной для людей Георгианской эпохи были такой же странностью, как для нас — гардероб, стоящий посреди комнаты. Мебель придвигали к стенам, чтобы не наткнуться на нее, проходя по комнате в темноте. Поскольку мягкие кресла и диванчики всегда стояли у стен, тыльная сторона их спинок зачастую не отделялась — точно так же, как мы сейчас не отделяем задние стенки у комодов и шкафов.

Когда в дом приходили гости, необходимое количество стульев обычно выдвигалось вперед и ставилось кругом или полукругом, как на уроке в начальной школе. Поэтому почти все разговоры проходили в напряженной и натянутой обстановке. Гораций Уолпол, просидев четыре с половиной часа за мучительно-бессмысленной беседой, заявил: «Мы уже обсудили погоду, новые оперные и театральные постановки... и все остальные темы, которые годятся для официальной встречи». Однако, если смелая хозяйка дома пыталась сгруппировать стулья по три-четыре, это было еще хуже: люди вокруг галдели на все голоса, а привыкнуть к тому, что у тебя за спиной непрерывно говорят, удается далеко не каждому.

И потом, старинные стулья были жутко неудобны. На первый взгляд, проблема решалась просто: надо было всего-навсего подбить стулья

мягким материалом. Однако далеко не все ремесленники умели делать хорошие мягкие стулья. Производители из всех сил старались добиться ровного края в местах, где ткань соединялась с деревом, — сначала для этого применялась отделка кантом или бордюром — и не всегда могли изготовить мягкое сиденье, которое надолго сохраняло бы свою выпуклую форму.

Требуемой долговечности умели добиваться лишь седельники, вот почему так много старинной мягкой мебели имеет кожаную обивку. У фабричных обивщиков была еще одна проблема: большинство тканей в те времена имело ширину всего двадцать дюймов, из-за чего приходилось делать швы в самых неудобных местах. Только когда в 1733 году Джон Кей изобрел челнок для ручного ткацкого станка, появилась возможность производить ткани шириной в три фута.

Усовершенствования в текстильной и печатной технологиях значительно повысили качество декора: ковры, обои и яркие ткани стали очень популярны, а палитра доступных красок пополнилась насыщенными цветами. В результате к концу XVIII века дома наводнили такие предметы, которые столетие назад считались безумной роскошью. Так постепенно жилище начало приобретать знакомый нам современный облик. Наконец-то, всего через каких-то тысячу четыреста лет после ухода римлян (у которых уже были ванны с горячей водой, мягкие диваны и центральное отопление), британцы заново познали истинный вкус бытовых удобств. Они еще не обрели полный комфорт, однако уже четко поняли, к чему хотят стремиться. Прежний образ жизни безвозвратно ушел в прошлое.

Впрочем, у мягкой мебели был один минус: нерадивые хозяева часто портили свои диваны и кресла — прожигали или оставляли на них трудновыводимые пятна. Чтобы спасти самую ценную мебель от опасности, люди создали новый тип комнаты; как раз туда мы с вами сейчас и отправимся.

## Глава 8

### Столовая

#### I

К тому времени, когда приходский священник мистер Маршем начал строить свой дом, для человека его положения было немыслимо не иметь парадной столовой, в которой можно принимать и развлекать гостей, но насколько парадной и насколько просторной должна быть такая столовая и где ее разместить — в передней или задней части дома — эти вопросы требовали размышления, ибо столовые были еще достаточно новым явлением и их размеры и положение следовало согласовать с общепринятыми нормами.

В конце концов, как мы уже видели, мистер Маршем решил убрать предполагаемый холл для прислуги, заменив его столовой длиной в тридцать футов — достаточно большой, чтобы вместить восемнадцать-двадцать человек (весьма значительное число гостей для сельского приходского священника). Даже если он часто устраивал у себя званые обеды и ужины, а, похоже, именно так и было, ужинать в одиночестве там было тоскливо. Но хотя бы вид из окна на церковный двор был приятным.

Мы почти ничего не знаем о том, как мистер Маршем использовал это помещение, — не только потому, что мы мало знаем о мистере Маршеме, но и потому, что о столовых нам известно не больше. Скорее всего, в центре стола стоял дорогой и изящный предмет сервировки, известный как «горка» (*epergne*): ваза — как правило, многоярусная, состоявшая из основного сосуда, к которому крепились несколько емкостей поменьше, и в каждом лежали разные фрукты и орехи. На протяжении около ста лет ни один приличный обеденный стол не обходился без горки, но почему ее называли *epergne* — совершеннейшая загадка. Во французском языке такого слова нет. Видимо, англичане его просто придумали.

Вокруг горки на столе мистера Маршема, наверное, стояли элегантные маленькие наборы, обычно серебряные, с приправами и специями — и здесь тоже есть загадка. Традиционно эти наборы состояли из двух стеклянных бутылочек — для растительного масла и уксуса — и трех похожих по стилю баночек с дырчатыми крышками. В двух баночках были

соль и перец, но что содержалось в третьей, точно неизвестно — по мнению большинства историков, сухой порошок горчицы, однако это всего лишь наиболее вероятное предположение. Как выразился историк еды Джерард Бретт, «лучшего варианта пока еще не предложили».

В сущности, нет никаких доказательств того, что люди какой-либо исторической эпохи использовали горчицу в столь неудобном виде. Возможно, именно поэтому во времена мистера Маршема третья баночка довольно быстро исчезла с обеденных столов — как и сами эти наборы для специй. Теперь приправ стало значительно больше, и они сменялись в зависимости от вида пищи: мятный соус подавали к жареной баранине, горчицу — к ветчине, хрен — к говядине и так далее. В кулинарии теперь применялось множество приправ, однако только две из них считались настолько незаменимыми, что вообще никогда не сходили с обеденного стола. Я имею в виду, конечно же, соль и перец.

Почему, имея в распоряжении сотни разнообразных специй и приправ, человек давно и неизменно предпочитает именно эти две — вот один из вопросов, с которого мы начали книгу. Ответ на него достаточно сложен и драматичен. Скажу сразу, что из всех окружающих вас вещей безобидные солонка и перечница тянут за собой самую кровавую и страшную историю.

Начнем с соли. Соль является неотъемлемой частью нашего рациона по очень веской причине: она нам жизненно необходима, без нее мы бы просто умерли. Это одна из крошечных частичек почти сорока различных жизненно необходимых нам химических веществ. Их общее название — витамины и минералы, и мы крайне мало о них знаем. К примеру, нам до сих пор неизвестно точно, в каком количестве их следует употреблять и какое действие они оказывают.

То, что они нужны в принципе, человечество узнало на удивление поздно. Уже прошла значительная часть XIX века, а мысль о хорошо сбалансированном рационе еще никому не приходила в голову. Считалось, что все продукты питания содержат одно универсальное полезное вещество, что фунт говядины так же ценен для организма, как фунт яблок, пастернака или чего-то другого, и человеку нужно лишь съесть достаточное количество пищи — не так уж важно, какой.

Люди не знали, что каждый продукт имеет свой набор важных для здоровья элементов. И это вполне объяснимо, ведь симптомы дефицита питательных веществ: вялость, боли в суставах, снижение иммунитета, затуманенное зрение — редко связывают с несбалансированным питанием. Даже сегодня, если у вас вдруг начнут выпадать волосы или сильно распухнут лодыжки, вряд ли вы первым делом задумаетесь над тем, что вы

ели в последнее время... и уж тем более о том, чего вы *не* ели. Так было и с нашими предками, которые в течение долгих веков умирали очень рано, зачастую массово, и никто не понимал, в чем дело.

В период с 1500 по 1850 год одна лишь цинга выкосила целых два миллиона моряков. В каждом долгом плавании от нее погибало, как правило, около половины экипажа. Чем только ни пытались лечиться отчаявшиеся матросы и капитаны! Васко да Гама во время путешествия в Индию и обратно рекомендовал своим людям полоскать рот мочой; это ничуть не облегчало состояние больных цингой и, конечно же, мало способствовало поднятию их духа. Иногда потери были огромными. В 1740-х годах британская экспедиция под командованием коммодора Джорджа Ансона за три года плавания потеряла 1400 человек из двух тысяч. Лишь четверо были убиты в бою, а все остальные умерли от цинги.

Со временем люди заметили, что моряки, страдающие цингой, быстро выздоравливают, когда сходят на берег и начинают есть свежие продукты, но никто не мог догадаться, какие именно продукты им помогают. Некоторые думали, что дело вовсе не в еде, а в смене воздуха. В любом случае люди не умели сохранять продукты свежими в течение многомесячных морских путешествий, поэтому надеяться на полезные овощи и другие виды пищи было в общем-то бессмысленно.

Требовалось найти некую эссенцию — какое-то противоцинготное средство, эффективное и вместе с тем транспортабельное. В 1760-х шотландский врач Уильям Старк, поощряемый Бенджаминем Франклином, провел серию рискованных и довольно странных экспериментов.

Старк неделями ел лишь самые базовые продукты, практически жил на хлебе и воде — хотел посмотреть, что получится. Уже через шесть месяцев он умер от цинги, так и не придя ни к каким полезным выводам.

Примерно в то же время военно-морской хирург Джеймс Линд проводил более строгий с научной точки зрения (и менее опасный для его здоровья) эксперимент — он нашел двенадцать моряков, уже заболевших цингой, поделил их на пары и давал каждой паре различную пищу и приправы, в которых подозревал целительные свойства: одним — уксус, другим — чеснок и горчицу, третьим — апельсины и лимоны и так далее. В пяти группах не наблюдалось никаких улучшений, однако двое моряков, которые ели апельсины и лимоны, быстро пошли на поправку и вскорости окончательно выздоровели. Но Линд почему-то пренебрег важностью этого результата и продолжал упрямо твердить, что цингу вызывает плохо переваренная пища, из-за которой в организме образуются некие яды.

Человеком, решившим эту загадку, стал великий капитан Джеймс Кук.

Он взял в свое кругосветное плавание 1768–1771 годов ряд противцинготных средств, в том числе тридцать галлонов морковного повидла и сто фунтов квашеной капусты на каждого члена экипажа. За время этой легендарной экспедиции, в ходе которой было обследовано побережье Австралии (помимо прочих замечательных достижений), ни один матрос Кука не умер от цинги; это было настоящее чудо, которое, вкупе со всеми остальными заслугами капитана, сделало его национальным героем.

На Королевское общество, главную научную организацию Британии, это произвело такое впечатление, что оно наградило Кука медалью Копли, своим высочайшим знаком отличия. К несчастью, военно-морское ведомство никак не отреагировало: хотя неопровержимые доказательства пользы определенных продуктов были налицо, обычай давать морякам в дальнем плавании сок из цитрусовых был введен лишь много лет спустя<sup>[60]</sup>.

Человечество на удивление долго не понимало, что неправильный рацион вызывает не только цингу, но и целый ряд других распространенных заболеваний. В 1897 году нидерландский врач Христиан Эйкман, работавший на острове Ява, заметил, что люди, употреблявшие в пищу нешлифованный рис, не болели бери-бери — серьезным нервным расстройством, которым часто страдали те, кто ел шлифованный рис. Вывод напрашивался сам собой: в каких-то продуктах содержатся крайне важные для здоровья элементы, а в каких-то они отсутствуют. Так родился термин «авитаминоз», а Эйкман получил за свое открытие Нобелевскую премию по медицине, хотя понятия не имел, что же собой представляют эти активные вещества.

Настоящий прорыв случился в 1912 году, когда Казимир Функ, польский биохимик, работавший в Листерском институте профилактической медицины в Лондоне, выделил тиамин, или витамин В<sub>р</sub>, как его сейчас называют. Объединив слова *vital* («жизненно важный», от лат. *vita* — «жизнь») и *amines* («амины», особая группа азотосодержащих веществ), он получил новый термин — *vitamines* («витамины»). Что касается первой части слова, то тут Функ был прав — эти вещества и впрямь жизненно важны. Оказалось, однако, что далеко не все витамины являются аминами (то есть содержат азот), поэтому английское название скорректировали до *vitamins*, чтобы сделать его «менее неточным», по удачному выражению Энтони Смита.

Функ также обнаружил прямую связь между дефицитом определенных

витаминов и развитием некоторых заболеваний — цинги, пеллагры и особенно рахита. Это было открытие, способное спасти миллионы жизней, но, к сожалению, к Функу не прислушались. Главный учебник по медицине тех лет по-прежнему твердил, что цингу вызывает множество различных факторов: «плохие санитарные условия, переутомление, депрессия, переохлаждение и долгое пребывание в сырых помещениях»; неполноценное питание учебник относил к малозначительным факторам. Хуже того, в 1917 году ведущий американский диетолог Элмер Макколлум из Висконсинского университета — человек, который фактически ввел в обиход термины «витамины А и В», — заявил, что на самом деле причина цинги — вовсе не плохое питание, а несварение желудка.

В конце концов в 1939 году Джон Крэндон, хирург из Гарвардской медицинской школы, раз и навсегда разрешил загадку цинги: он исключил витамин С из своего рациона и стал дожидаться последствий. Их долго не было. В первые восемнадцать недель единственным неприятным симптомом была постоянная и чрезвычайно сильная усталость. Стоит отметить, что при этом Крэндон продолжал оперировать больных. Однако на девятнадцатой неделе произошел резкий поворот — врач мог бы умереть, если бы не находился под пристальным медицинским наблюдением. Ему ввели внутривенно 1000 миллиграммов витамина С, и он почти тут же вернулся к жизни. Что интересно, симптоматики, которую принято связывать с цингой — выпадение зубов и кровоточивость десен, — у Крэндона не было вообще.

Между тем выяснилось, что витамины Функа, вопреки общепринятому мнению, отнюдь не являются логически последовательной группой, а витамин В вовсе не единственный: существуют также витамины В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и так далее. Мало того, витамин К, например, не имеет никакого отношения к алфавиту: датчанин Хенрик Дам, открывший этот элемент, окрестил его «витамином коагуляции» за ту роль, которую он играет в свертывании крови. Позже к этой группе добавили фолиевую кислоту (иногда ее называют витамином В<sub>9</sub>). Два других витамина — пантотеновая кислота и биотин — не имеют номеров и вообще не слишком подробно исследованы, поскольку не доставляют нам хлопот. Еще ни у одного человека не было обнаружено недостатка какого-либо из этих двух витаминов.

Если коротко, то витаминам почти невозможно дать всеобъемлющую характеристику. Согласно стандартному определению учебника, витамин — это «органическая молекула, не вырабатываемая человеческим

организмом, которая необходима в малых количествах для поддержания нормального обмена веществ», однако на самом деле витамин К производится в теле человека благодаря кишечным бактериям. Витамин D, один из самых важных, по сути — гормон, в основном поступающий к нам не с пищей, а благодаря волшебному воздействию солнечных лучей на кожу.

Вообще витамины — любопытная штука. Прежде всего странно, что мы, так сильно в них нуждаясь, не способны вырабатывать их самостоятельно. Если картофель вырабатывает витамин С, почему же этого не можем мы? Из всех представителей животного мира только люди и морские свинки не в состоянии синтезировать витамин С в собственном организме. Почему? Вопрос риторический.

И вот еще что примечательно: витамины нам очень нужны, но мы не должны употреблять их в большом количестве. Если за всю свою жизнь вы примете три унции<sup>[61]</sup> витамина А, распределив его ничтожными дозами, но равномерно, то этого вполне хватит для хорошего самочувствия. А потребность в витамине В<sub>1</sub> и того меньше: на семьдесят-восемьдесят лет достаточно всего одной унции. Но попробуйте обойтись без этой энергетической подпитки, и очень скоро вы начнете серьезно хворать.

То же самое касается и минералов. Главное отличие между витаминами и минералами состоит в том, что первые мы получаем из мира живой природы (растений, бактерий и так далее), а вторые — из неорганического мира. В контексте диеты «минералы» — это всего-навсего химические элементы: кальций, железо, йод, калий и т. п., которые поддерживают наше здоровье.

Девяносто два элемента встречаются на нашей планете в природной среде, правда, некоторые — в очень малых количествах. К примеру, франций настолько редок, что, согласно предположениям ученых, в каждый конкретный момент времени на всей Земле имеется не больше двадцати его атомов. Почти все остальные минералы время от времени, иногда весьма регулярно, оказываются в нашем теле, но степень их важности для нас по-прежнему не всегда известна.

В наших тканях много брома; он ведет себя так, как будто находится там неслучайно, однако никто до сих пор не понял, зачем именно он нам нужен. Исключите из своего рациона цинк, и вам грозит гипогевзия: ваши вкусовые рецепторы перестанут работать, у вас пропадут вкусовые ощущения, а возможно, даже появится отвращение к еде. Однако до недавнего времени — до 1977 года — считалось, что цинк не играет

никакой роли в питании.

Несколько элементов, таких как ртуть, таллий и свинец, судя по всему, не приносят никакой пользы, а в избыточном количестве и вовсе вредят нашему организму<sup>[62]</sup>. Другие более или менее безопасны, и самый примечательный из них — золото. Вот почему его можно использовать для пломбирования зубов: оно не наносит нам никакого вреда. Что касается остальных, то, согласно «Основам медицинской геологии», двадцать два элемента имеют большое значение для нашего здоровья. Шестнадцать из них важны наверняка, остальные шесть — предположительно.

Диетология — крайне неточная наука. Возьмем, к примеру, магний, который необходим для успешного управления белками в клетках. Магния много в бобах, зерновых культурах и листовых овощах, но современные методы обработки этих продуктов снижают содержание магния до 90 %. Поэтому большинство из нас сильно недобирает до рекомендованного суточного количества магния — впрочем, никто достоверно не знает, каким должно быть это количество и каковы последствия дефицита магния: если мы не будем употреблять его в пищу вообще, может быть, наша жизнь укоротится на несколько лет? А может, резко снизится наш IQ? Или ухудшится память? Мы попросту не знаем.

С мышьяком тоже не все ясно. Разумеется, если вы примете большую дозу, то очень скоро об этом пожалеете.

Однако *малое количество* мышьяка присутствует в нашем рационе, и некоторые авторитетные специалисты абсолютно убеждены, что в этих микроскопических дозах он жизненно важен для нашего здоровья. Впрочем, у других авторитетных специалистов такой уверенности нет.

И вот наконец мы подходим, весьма окольным путем, к соли. Из всех минералов самый важный, с точки зрения питания, — это натрий, который мы потребляем в основном в форме хлорида натрия, т. е. поваренной соли. В день нам нужно всего 200 мг соли — примерно столько вы получите, если шесть-восемь раз хорошенько тряхнете солонку, — однако в среднем мы поглощаем примерно в шестьдесят раз большее количество.

При нашей обычной диете добиться соблюдения обозначенной выше нормы практически невозможно — и вовсе не потому, что мы солим пищу, чтобы она стала вкусной. Просто соли полно и в таких продуктах, которые кажутся нам не слишком солеными или вообще несолеными, например в сухих завтраках, готовых супах и мороженом. Кто бы мог подумать, что одна унция кукурузных хлопьев содержит больше соли, чем одна унция соленого арахиса? Или что в банке с практически любым консервированным супом количество соли значительно превышает

суточную норму, рекомендованную для взрослого человека?

Археологические находки показывают: как только люди перестали вести кочевой образ жизни и основали оседлые сельскохозяйственные общины, они начали испытывать дефицит соли — впервые за все время своего существования; вот почему им пришлось приложить немало усилий для поиска соли и введения ее в собственный рацион.

Однако (вот вам еще одна загадка истории) как они *догадались*, что им надо это сделать? Ведь отсутствие соли в диете не вызывает никакой мучительной тяги к ней.

Человек просто заболевает и в конце концов может даже погибнуть: без хлорида натрия, который представляет собой соль, клетки просто прекращают работать, как мотор без топлива. Но разве могла у кого-то зародиться мысль: «Эх, черт возьми, мне срочно нужно поесть соли!»

Каким образом люди поняли, что им следует отправиться на поиски соли? Тем более что в некоторых регионах для этих поисков требовалась недюжинная смекалка. Бритты, например, сильно нагревали деревянные щепки, окунали их в море и затем соскребали оставшуюся от вскипевшей морской воды соль. Ацтеки же, наоборот, получали соль, выпаривая собственную мочу. И это, мягко говоря, отнюдь не самые интуитивно понятные действия. Тем не менее наличие соли в рационе — одна из основных наших потребностей. В любом обществе, где соль находится в свободном доступе, среднее ее потребление в сорок раз превышает норму, необходимую для поддержания жизни. Мы просто не можем остановиться и солим все подряд!

Сегодня соль можно найти везде — и она стоит сущие гроши. Мы уже забыли, как сильно человек стремился ее добыть. Соль была нужна для консервации мяса и других продуктов питания, поэтому часто требовалась в огромных количествах: во время одной военной кампании 1513 года Генрих VIII приказал забить и засолить 25 000 бычков. Так что соль являлась крайне важным стратегическим припасом. В Средние века сорокатысячные караваны верблюдов (из которых можно было бы выстроить колонну длиной в семьдесят миль) везли соль через пустыню Сахара из Тимбукту к оживленным рынкам Средиземноморья.

Из-за соли люди развязывали войны и продавались в рабство: в свое время она была причиной раздоров и гибели. Однако это еще цветочки по сравнению с жертвами, кровопролитием и убийственной алчностью, которую возбуждал ряд редких пищевых продуктов, вообще не нужных для нашего здоровья. Я имею в виду «младших братьев» соли в мире приправ — специи. Ни один человек не умер от отсутствия специй, однако в борьбе

за них полегли многие.

Довольно значительная часть истории нашей цивилизации — это история специй, начинающаяся с дикого растения, родина которого — Малабарское побережье Восточной Индии. По-латыни это растение называется *Piper nigrum*, что значит «черный перец», однако оно служит источником всех трех основных видов столового перца: черного, белого и зеленого. «Почему же из одного растения получается три разных перца?» — спросите вы. Правильный ответ — из-за разных сроков сбора и разных методов обработки.

В естественном ареале произрастания перец ценился с незапамятных времен, но на средиземноморский рынок его вывели римляне. Они любили перец и перчили даже свои десерты. Из-за этой их любви цены на перец долгое время были заоблачными. Торговцы специями с далекого Востока не верили собственному счастью. «Они (европейцы) приходят с золотом, а уходят с перцем», — с удивлением писал один тамильский купец. Когда король вестготов Аларих в 408 году впервые грозился разграбить Рим, римляне откупились от него данью, которая, помимо прочего, включала три тысячи фунтов перца. В 1468 году Карл, герцог Бургундский, заказал для своего свадебного стола 380 фунтов черного перца — такое огромное количество не могла бы употребить даже самая многочисленная компания пирующих — и выставил его на видное место, чтобы люди видели: он фантастически богат!

Кстати, бытующее мнение о том, что перец в старину использовался для «маскировки» тухлой еды, не выдерживает никакой критики. Человек, который мог позволить себе купить много специй (то есть уже по определению — человек весьма и весьма состоятельный), вряд ли стал бы есть несвежие продукты; во всяком случае, перец слишком дорого стоил, чтобы использовать его в качестве «маскировочного средства». Если у кого-то в закромах имелись ароматические приправы, то они расходовались весьма аккуратно и экономно; никому и в голову не могло прийти сыпать драгоценный перец в блюда, дабы отбить неприятный запах.

С древности перец формировал примерно семьдесят процентов всей торговли специями, однако в Европе потихоньку появлялись и другие редкости Востока — мускатный орех и корица, имбирь, гвоздика и куркума, а также некоторые еще более экзотические приправы, сейчас по большей части забытые: аир, асафетида, аджаван, калган и цитварный корень; они ценились еще дороже.

На протяжении столетий специи были самым престижным товаром в международной торговле. «Острова пряностей» (так назывались

Молуккские острова в Восточной Индонезии), затерянные в далеких южных морях, считались настолько притягательными и ценными, что Яков I, получив во владение два маленьких островка, одно время с гордостью именовал себя «Королем Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Пуловая и Пулуруна».

Дороже всего ценились мускатный орех и мацис — из-за их исключительной редкости<sup>[63]</sup>. Обе специи получали из плода мускатного дерева (*Myristica fragrans*), которое росло всего на девяти маленьких вулканических островках, чьи отвесные обрывы вздымаются из моря Банда между Борнео и Новой Гвинеей (кругом имеется множество других островов, однако их почвы и микроклимат не подходят для мускатного дерева). Гвоздику собирали на шести других островах архипелага, примерно в двухстах милях северней.

Все эти специи поступали в Европу через сложную цепочку торговцев, каждый из которых, естественно, забирал себе свою часть прибыли. К моменту, когда мускатный орех и мацис попадали на европейские рынки, они стоили уже в шестьдесят тысяч раз дороже, чем на родине. Понятно, что со временем те, кто стоял в самом конце этой цепочки поставок, смекнули: было бы куда более выгодно отсечь промежуточные звенья и получать всю прибыль самим.

Так началась великая эра освоения новых территорий. Христофор Колумб — самый знаменитый из путешественников эры Великих географических открытий, однако не первый. В 1487 году, за пять лет до него, Фернан Дулму и Жоао Эстрейто отправились из Португалии на запад, прямо в неизученную Атлантику; они обещали вернуться через сорок дней, если ничего не найдут. Неизвестно, нашли ли они что-нибудь: больше их никто не видел. Поймать нужный ветер, чтобы приплыть назад в Европу, оказалось не так-то просто. Колумб первым успешно пересек океан в обоих направлениях. Впрочем, это его единственное настоящее достижение. Да, он был достаточно искусным мореплавателем, однако плохо разбирался в других важных для первооткрывателя вещах, особенно в географии.

Из двенадцати лет своих легендарных плаваний он большую часть времени провел у островов Карибского моря и побережья Центральной и Южной Америки, уверенный, что находится в сердце Востока и что чуть дальше на западе лежат Япония и Китай. Колумб так и не понял, что Куба — остров, и даже не догадывался о существовании к северу от нее огромного массива суши, жители которого сегодня считают, что именно Колумб открыл их родину.

Колумб набил трюмы своих кораблей бесполезным железным

колчеданом (приняв его за золото), какой-то растительной трухой (он не сомневался, что это корица) и острым перцем чили, который ошибочно принял за настоящий перец с Островов пряностей. Конечно, чили тоже весьма неплох в качестве приправы, но если его надкусит человек непривычный, то в лучшем случае из глаз его брызнут слезы.

Все, кроме Колумба, понимали, что это не решение проблемы импорта специй, и в 1497 году португалец Васко да Гама, направляясь на поиски Островов пряностей, избрал другой курс в страны Востока — вокруг южной оконечности Африки. Этот путь был гораздо сложнее, чем может показаться, глядя на карту. Постоянные встречные ветра и течения не позволили бы ни одному судну, идущему на юг, пройти вдоль береговой линии Африки. Васко да Гаме пришлось отклониться на запад в Атлантику, дойти чуть ли не до Бразилии (хотя сам он этого не знал) — чтобы поймать легкий северо-западный ветер, который принес его флот к мысу Доброй Надежды. Это было воистину эпическое плавание. До сих пор европейские суда еще не заплывали так далеко. Корабли Васко да Гамы три месяца бороздили водную гладь, не видя суши на горизонте. Как раз во время этого рейса и обнаружилась цинга: до сих пор морские путешествия не были столь длительными, и симптомы болезни не проявлялись.

Плавание Васко да Гамы продемонстрировало миру еще две вещи. Во-первых, в Азии уже был распространен сифилис — всего через пять лет после того, как люди Колумба привезли его в Европу из Нового Света, — таким образом, эта болезнь стала поистине международной. А во-вторых, жестокость по отношению к местному населению экзотических стран стала нормой. Васко да Гама был нечеловечески жесток: однажды он захватил в плен мусульманский корабль, на борту которого находились несколько сот человек, включая женщин и детей, запер пассажиров и экипаж в трюме, вынес все ценное, а затем — безо всякой причины — поджег судно. Почти повсюду, куда бы он ни приходил, он обижал и убивал людей, с которыми сталкивался.

До Островов пряностей португальцы в тот раз так и не добрались. Оказалось, что эти острова расположены далеко за пределами Индии — настолько далеко, что когда европейцы все-таки прибыли туда, они спрашивали себя: не обошли ли они уже вокруг света? Не приблизились ли снова к Америке, но только с запада? Если так, то, с коммерческой точки зрения, плавание в Ост-Индию за специями было бы куда более эффективным, если не огибать Африку и не пересекать Индийский океан, а плыть из Европы на запад, продвигаясь мимо новых земель, недавно открытых Колумбом.

И в 1519 году Фернан Магеллан отправился на пяти безнадежно протекающих судах в смелую, но крайне скудно профинансированную экспедицию, чтобы разведать западный путь к Островам пряностей. В результате он обнаружил, что между Америкой и Азией лежит огромный Тихий океан, — люди до сих пор даже не предполагали, что на нашей планете столько свободного и пустого места. Еще никогда никто в мире не принял столько страданий в своем стремлении разбогатеть, как Фернан Магеллан и его экипаж: они плыли по Тихому океану, чувствуя все нарастающую растерянность и не веря собственным глазам. У них кончился провиант, и они отведали, пожалуй, самое неаппетитное блюдо из всех известных — крысиные экскременты с опилками.

«Мы ели галеты, которые уже были не галетами, а порошком из галет, кишевшим червями, — записал один из членов экипажа. — От них сильно воняло крысиной мочой. Мы пили желтую, давно протухшую воду, жевали воловью шкуру, которой была обтянута грот-рея... и часто грызли опилки с палубных досок». Три месяца и двадцать дней они плыли без свежей пищи и воды, пока не пристали к берегам острова Гуам — и все для того, чтобы набить корабельные трюмы сухими цветочными бутонами, кусочками древесной коры и другими ароматическими штучками, которые можно было использовать в качестве кухонных приправ или благовоний.

Из двухсот шестидесяти человек, отправившихся в это плавание, вернулись домой только восемнадцать. Сам Магеллан был убит аборигенами в стычке на Филиппинах. Однако выжившие восемнадцать моряков весьма преуспели благодаря этому плаванью. На Островах пряностей они под завязку забили трюмы своих судов, доставив в Европу 53 000 фунтов гвоздики. Когда она была продана, прибыль составила 2500 процентов; при этом они как бы ненароком стали первыми человеческими существами, совершившими кругосветное путешествие.

Однако истинное значение плавания Магеллана состоит не в том, что он впервые успешно обошел всю планету по кругу, а в том, что благодаря этому люди осознали, насколько велика наша планета.

Что же касается Колумба, то он, хотя и почти не осознавая этого, совершил несколько подлинно великих дел. 5 ноября 1492 года на Кубе двое членов его экипажа вернулись на корабль с берега и принесли с собой нечто доселе невиданное в их мире: «какой-то вид зерна (аборигены называют его маисом) — вкусный, прокаленный в печи, высушенный и измельченный в муку». На той же неделе моряки увидели людей из племени тайно, которые совали себе в рот скрученные в трубку тлеющие

листья какого-то растения, глубоко втягивали в легкие дым и утверждали, что это весьма приятное занятие. Колумб прихватил с собой в Европу и эти странные листья.

Так начался процесс, известный антропологам как «Колумбов обмен», — перемещение растений, животных и других вещей из Нового Света в Старый и наоборот. К тому времени, когда в Новый Свет прибыли первые европейцы, местные жители уже выращивали более ста разных видов съедобных растений: картофель, томаты, подсолнечник, кабачки, баклажаны, авокадо, множество разнообразных бобовых и тыквенных, батат, арахис, кешью, ананас, папайю, гуаву, ямс, маниоку, ваниль, четыре разновидности острого перца чили, какао и много всего остального — весьма неплохие трофеи!

Подсчитано, что 60 % всех сельхозкультур, выращиваемых сегодня в мире, первоначально произрастало в Западном полушарии. Эти продукты не просто были добавлены в различные европейские кухни, они стали неотъемлемой частью этих кухонь. Представьте себе итальянские блюда без томатов, греческие — без баклажанов, тайские и индонезийские — без арахисового соуса, индийское карри — без острого перца, гамбургеры — без картофеля-фри и кетчупа, африканскую кухню — без маниоки. Вряд ли в какой-то стране мира, будь то запад или восток, найдется обеденный стол, не усовершенствованный американскими продуктами.

Однако в то время предвидеть этого никто не мог. По иронии судьбы, европейцы нашли вовсе не те продукты, которые искали. Они плыли за специями, а их в Новом Свете оказалось на удивление мало, если не считать перца чили — такого жгучего, что он удостоился признания не сразу. Многие потенциально выгодные продукты вообще не привлекли внимания. Коренные жители Перу выращивали 150 разных сортов картофеля и ценили их все. Инки пятьсот лет назад умели определять по вкусу сорт картошки гораздо лучше, чем современные снобы определяют по глотку вина тот сорт винограда, из которого оно сделано. В перуанском языке кечуа до сих пор сохранилось около тысячи слов, обозначающих различные виды и заболевания картофеля. К примеру, словом *hantha* описывают картофель, который перезрел, но все еще съедобен. Однако конкистадоры привезли на родину только несколько видов картошки, и были люди, которым ее вкус совсем не понравился.

Ацтеки, в свою очередь, обожали амарант (щирицу) — злаковое растение, дающее вкусное и питательное зерно. В Мексике щирица была так же популярна, как и маис, но испанцев покоробил тот способ, которым его употребляли ацтеки (во время обрядов жертвоприношения щирицу

смешивали с человеческой кровью), и они отказывались даже прикасаться к ней.

Надо сказать, что взамен американцы получили немало продуктов из Европы. До прихода европейцев у жителей Центральной Америки было всего пять видов домашних животных: индейка, утка, собака, пчелы и кошенильный червец (насекомое, из которого получают краситель кармин), а молочных продуктов они вовсе не ведали. Насколько мы знаем, современная мексиканская кухня просто не могла бы существовать без европейского мяса и европейского сыра. Канзасская пшеница, бразильский кофе, аргентинская говядина и многое-многое другое, что приходит к нам сегодня из Америки, появилось там в результате «Колумбова обмена».

К несчастью, этот обмен включал еще и болезни. Не имея иммунитета ко многим европейским хворям, аборигены легко заражались и массово умирали. По имеющимся данным, одна эпидемия — скорее всего, вирусный гепатит — уничтожила 90 % коренного населения прибрежной части Массачусетса. Численность некогда могущественного племени каддо, жившего в районе современных Техаса и Арканзаса, снизилась с 200 000 до 1400 человек — примерно на 96%! Случись подобное бедствие в современном Нью-Йорке, там осталось бы всего 56 000 населения — этого не хватило бы даже, чтобы заполнить бейсбольный стадион «Янкиз». Согласно оценкам, в течение первого столетия контакта с европейцами болезни и войны сократили коренное население Центральной Америки на 90 процентов. А американцы, в свою очередь, наградили людей Колумба сифилисом<sup>[64]</sup>.

Когда эра исследования новых земель уже шла полным ходом, звездный час специй закончился. В 1545 году, всего через двадцать лет после эпического путешествия Магеллана, у берегов Англии, близ Портсмута, при загадочных обстоятельствах затонул английский военный корабль «Мэри Роуз». Погибло свыше четырехсот человек. Когда в конце XX века корабль подняли на поверхность, морские археологи с удивлением обнаружили на поясе почти у каждого члена экипажа маленький мешочек с черным перцем. Если в 1545 году даже простой матрос мог позволить себе пусть скромный, но запас перца, значит, в то время данная специя уже перестала считаться невероятной редкостью и предметом особого вожделения, а вскоре заняла свое место рядом с солью и превратилась в обычную, относительно скромную приправу.

В течение следующего столетия люди продолжали бороться за более экзотические специи. В 1599 году восемьдесят британских торговцев,

встревоженных растущими ценами на перец, создали Британскую Ост-Индскую компанию, чтобы захватить как можно большую часть рынка. Именно эта инициатива позволила королю Якову получить во владение драгоценные острова Ай и Рун. Но Британия больше никогда не смогла повторить подобный успех в Ост-Индии и в 1667 году передала все права на этот регион голландцам — в обмен на маленький клочок земли в Северной Америке, не имевший решительно никакого значения. Этот клочок земли назывался Манхэттен.

Вскоре появились и совсем новые товары, привлекавшие людей даже больше, чем специи, и поиск их самым неожиданным способом изменил мир.

## II

За два года до несчастливого приключения «со множеством ползающих червяков», 25 сентября 1660 года, Сэмюэл Пипс сделал в своем дневнике запись о куда более прозаическом событии в своей жизни: «А потом я заказал себе чашку чая (китайского напитка), который никогда не пил раньше». Жаль, что Пипс не поделился с нами своими впечатлениями от нового вкуса, ибо это первое упоминание на английском языке о чаепитии.

Полтора века спустя, в 1812 году, шотландский историк Дэвид Макферсон в своем сухом очерке под названием «История европейско-индийских коммерческих отношений» процитировал реплику из дневника Пипса. Это было довольно странно, ведь в 1812 году дневники Пипса предположительно еще не были известны широкой публике. Хоть они и хранились в Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета и находились в свободном доступе, в них никто никогда не заглядывал, так как текст был зашифрован с помощью особого кода, который для начала требовалось расшифровать. Каким образом Макферсону удалось найти и перевести шесть томов убористой тайнописи — не говоря уже о том, зачем ему это понадобилось, — до сих пор остается загадкой.

Оксфордский ученый, глава колледжа Магдалины, преподобный Джордж Невилл случайно увидел беглое упоминание Макферсона о дневниках Пипса и заинтересовался их содержанием. Кроме прочего, Пипс был свидетелем таких знаковых событий, как реставрация монархии, последняя эпидемия чумы, Великий лондонский пожар 1666 года, — значит, в его дневниках могло быть много полезной информации. Невилл

предложил умному, но бедному студенту Джону Смиту попытаться расшифровать записи и перевести дневник. На эту работу у Смита ушло три года. Результатом стали едва ли не самые известные дневники на английском языке. Не выпей Пипс ту чашку чая, не напиши Макферсон свою скучную историю, окажись Невилл менее любопытен, а юный Смит — менее смекалист и старателен, имя морского чиновника Сэмюэла Пипса было бы известно лишь историкам мореплавания; а мы ничего не узнали бы о жизни второй половины XVII века.

Пипс, как и большинство людей его времени и его социального положения, частенько пил кофе, хотя этот напиток в 1660 году тоже считался еще совершенной диковинкой. Британцы весьма смутно были знакомы с кофе, но в основном слышали о странной темной жидкости, которая в ходу за рубежом. Один английский путешественник, Джордж Сандис, в 1610 году весьма мрачно описал кофе как «напиток черный, как сажа, и почти такой же на вкус». В разных языках его называли самыми невообразимыми именами: «кова», «кафе», «кауфе», «коффа», «кафе», пока, наконец, примерно в 1650 году не пришли к единому звучанию: «кофе».

Кофе снискал популярность в Англии благодаря человеку по имени Паскуа Роси — сицилийцу по происхождению и греку по месту жительства, который прислуживал Дэниелю Эдвардсу, британскому торговцу в Смирне (ныне Измир, Турция). Приезжая в Англию с Эдвардсом, Роси подавал кофе гостям Эдвардса, и эти посиделки стали так популярны, что в 1652 году Роси отважился открыть кофейню (первую в Лондоне) во дворе приходской церкви Святого Мартина «что в Полях», в самом центре города.

Роси заявлял, что кофе крайне полезен для здоровья: якобы он излечивает головные боли и ревматизм, предупреждает метеоризм, подагру, цингу, выкидыши, резь в глазах и многое другое.

Роси неплохо преуспел в своем деле, хотя быть хозяином кофейни ему пришлось недолго. Спустя некоторое время после 1656 года его выдворили из страны за некое «мелкое правонарушение», о котором, к сожалению, ничего не известно. Известно лишь, что он весьма поспешно уехал, и больше о нем не слышали. Многочисленные желающие занять его место медлить не стали. Ко времени Великого пожара в столице Англии работало свыше восьмидесяти кофейен; они стали неотъемлемой частью центра Лондона.

Кофе, который подавали в кофейнях, не всегда отличался хорошим качеством. Этот напиток в Британии облагался налогами (из расчета за галлон), поэтому его обычно варили большими порциями, хранили

холодным в бочках и слегка подогревали перед подачей на стол. Притягательность кофе заключалась отнюдь не в его вкусе, а в его общественной значимости.

Люди заходили в кофейни, чтобы встретиться там с людьми схожих интересов, посплетничать, почитать последние выпуски журналов и газет и обменяться новостями. Если кому-то хотелось узнать, что происходит в мире, он заглядывал в кофейню. Люди привыкли использовать кофейни в качестве своих рабочих кабинетов, и самый яркий пример этому — кофейня Ллойда на Ломбард-стрит, со временем превратившаяся в офис страхового рынка Ллойда. Отцу художника Уильяма Хогарта пришла в голову идея открыть кофейню, в которой говорили бы только по латыни. Затея с треском провалилась (*toto bene*<sup>[65]</sup> сказал бы тут, возможно, мистер Хогарт-старший), и владельцу пришлось даже несколько лет отсидеть в долговой тюрьме.

Хотя Ост-Индская компания была основана ради перца и прочих специй, ее сердцем на самом деле был чай. В 1696 году государство сильно уменьшило налог на чай, заменив его весьма обременительным налогом на оконные стекла (по логике вещей, спрятать окна на морском судне было гораздо трудней, чем провезти контрабандой чай); эффект не заставил себя ждать. В период с 1699 по 1721 год импорт чая возрос почти в сто раз, с 13 000 фунтов до почти 1,2 млн фунтов, а за последующие тридцать лет вырос еще вчетверо. Чай с шумом хлебали рабочие и элегантно смаковали дамы. Его подавали на завтрак, обед и ужин. Это был первый напиток в истории, который не принадлежал какому-то особому классу и к тому же имел собственное ритуальное время приема, называемое чаепитием. Приготовить чай в домашних условиях было легче, чем кофе, и особенно хорошо он сочетался с другим приятным компонентом, который вдруг стал доступен горожанам средней руки, — сахаром. Британцы, как никакая другая нация, пристрастились к сладкому чаю с молоком. На протяжении полутора веков чай был сердцем Ост-Индской компании, а Ост-Индская компания была сердцем Британской империи.

Чай не всем и не сразу пришелся по душе. Поэт Роберт Саути рассказывал про некую сельскую даму, которая получила в подарок от своей городской подруги фунт чая, когда этот напиток был еще новинкой. Не зная, что с ним делать, она вскипятила его в кастрюльке, положила листья на бутерброды с маслом и солью и подала гостям. Те храбро жевали необычное угощение, заявляя, что вкус у него интересный, хотя и несколько странный. Впрочем, в местах, где пили чай с сахаром, все были довольны.

Британцы всегда питали пристрастие к сахару — настолько, что, впервые получив к нему доступ (это было примерно во времена Генриха VIII), добавляли его почти во все блюда: и в яйца, и в мясо, а также в вино. Они горстями сыпали его в картошку, на зелень, ели прямо с ложки, если могли себе это позволить. Несмотря на дороговизну продукта, люди поедали сахар в таких количествах, что у них чернели зубы, а если этого не происходило естественным образом, нарочно чернили зубы, дабы продемонстрировать свое богатство. Благодаря новым плантациям в Вест-Индии сахар стремительно подешевел, и люди поняли, что он особенно хорош с чаем.

Сладкий чай стал национальным лакомством. К 1770 году потребление сахара в Лондоне выросло на 20 фунтов на человека, и большая его часть, похоже, сыпалась в чайные чашки. Цифра кажется слишком огромной? Тем не менее сегодня средний британец ежегодно съедает 80 фунтов сахара, а средний американец потребляет по 126 фунтов этого продукта.

Как и кофе, чай считался важным средством поддержания здоровья; помимо прочего, утверждали, что он устраняет боли в кишечнике. Голландский врач Корнелиус Бонтеко рекомендовал выпивать по пятьдесят чашек чая в сутки — а в крайних случаях даже двести, — чтобы сохранить себя в надлежащей форме.

Сахар сыграл значительную роль и в гораздо менее умильной области — в работорговле. Почти весь сахар, потребляемый британцами, производился из сахарного тростника с вест-индских плантаций, где повсюду использовался рабский труд. Мы привыкли ассоциировать рабство исключительно с плантационной экономикой южных штатов США, но на самом деле множество британцев составили на работорговле ничуть не меньшие состояния, в том числе и те, кто перевез через океан 3,1 миллиона африканцев, пока в 1807 году торговля людьми не была запрещена в Британии.

Чай был воспринят с восторгом и уважением не только в Великобритании, но и в ее заокеанских владениях. В Америке чай облагался налогом как часть ненавистных британских пошлин. В 1770 году эти пошлины были отменены на все товары, кроме чая, что оказалось роковой ошибкой. У британских властей здесь было две цели — не только напомнить колонистам о том, что они остаются подданными короны, но и помочь Ост-Индской компании выбраться из очередного кризиса.

Эта компания была слишком огромной для того, чтобы процветать. Она собирала 17 миллионов фунтов чая в год — явно избыточное количество, особенно для скоропортящегося продукта, — и к тому же

пыталась создать видимость процветания, выплачивая пайщикам большие дивиденды, чем на самом деле могла себе позволить. Над компанией, которая была не в состоянии уменьшить свои складские запасы, нависла угроза банкротства. Надеясь отвести эту угрозу, британское правительство предоставило компании монополию на торговлю чаем в Америке. Каждый американец знает, что за этим последовало.

16 декабря 1773 года примерно восемьдесят колонистов, переодетых индейцами племени мохоков, напали на британские корабли в Бостонской гавани, разбили 342 ящика с чаем и выбросили их содержимое за борт. В результате фактически был уничтожен годовой запас чая для Бостона стоимостью 18 000 фунтов стерлингов. Между прочим, в то время никто не называл этот акт «Бостонским чаепитием»; это выражение впервые появилось в 1834 году.

Вопреки нашим, американским, представлениям об этом событии, в то время никто ему особенно не обрадовался и тем более никто не ликовал. Настроение было убийственно мрачным. Самой несчастной фигурой во всем этом спектакле стал британский таможенник Джон Малкольм. Его уже однажды выводили из его дома в штате Мэн, мазали дегтем и облепляли перьями — наказание не только унижительное, но и болезненное, поскольку деготь наносили горячим на голое тело. Кроме того, обычно для этого использовали очень жесткие щетки, что было еще более мучительно, и известен по крайней мере один случай, когда жертву просто держали за ноги и макали головой в бочку с дегтем. Сверху деготь обсыпали перьями, и в таком виде несчастного волокли по улицам, по дороге обычно били, а в некоторых случаях после издевательств даже вешали. Так что мы можем лишь представить себе ужас Малкольма, когда его, упирающегося, снова вытащили из дома и в очередной раз обрядили в так называемый «камзол янки».

Застывшую массу дегтя и перьев приходится несколько дней аккуратно соскабливать и счищать с воспаленной кожи. Малкольм отправил в Англию посылку с куском собственной обугленной и почерневшей кожи и попросил, чтобы его вернули домой. Его желание было удовлетворено. Америка и Британия стояли уже на грани войны. Через пятнадцать месяцев прогремели первые выстрелы. Как заметил один из рифмоплетов тех дней:

Какие такие лихие события  
Стали поводом для бурного кровопролитья?  
Ну, подумаешь — сбросили в море чай,

И теперь за это головой отвечаешь?

Пока Британия стремительно теряла свои американские колонии, она столкнулась с серьезной проблемой, также связанной с чаем. К 1800 году чай считался британским национальным напитком, и его импорт составлял 23 миллиона фунтов в год. Практически весь этот чай поступал из Китая, что привело к серьезному торговому дисбалансу. Британия отчасти решила эту проблему, начав выращивать в Индии опиум для Китая. В XIX веке опиум был очень популярным товаром, и не только в Китае. Британцы и американцы (особенно женщины) тоже принимали много опиума — в основном в виде лауданума (опийной настойки, обладающей болеутоляющим и снотворным действием). Импорт опиума в Соединенные Штаты вырос с 24 000 фунтов в 1840 году до 400 000 фунтов в 1872-м; довольно много этого вещества давали и детям — например, при лечении крупы. Дед президента Франклина Делано Рузвельта, Уоррен Делано, сколотил немалое состояние на торговле опиумом, и нельзя сказать, чтобы об этом факте семья трубила на каждом углу.

К раздражению китайских властей, Британия мастерски «подсаживала» китайцев на опиум, университетские курсы по истории маркетинга на самом деле следовало бы начинать с этого кейса. К 1838 году Британия ежегодно поставляла в Китай около 5 миллионов фунтов опиума. К сожалению, этого все еще не хватало, чтобы компенсировать огромные выплаты за покупаемый в Китае чай. Напрашивалась идея выращивать чай в каком-нибудь другом тропическом регионе расширяющейся Британской империи, но беда была в том, что Китай всегда держал в строгом секрете процессы культивации и обработки чая. Тут и возникла фигура шотландца по имени Роберт Форчун.

Три года (дело было в 1840-х) Форчун путешествовал по Китаю, изображая из себя китайца и тайно собирая информацию по выращиванию и обработке чая. Это было делом рискованным: попадись он, его бы обязательно уперли в тюрьму и вполне могли бы казнить. Форчун не говорил ни на одном из китайских диалектов и делал вид, что приехал из некоей дальней провинции, где говорят исключительно на местном наречии. Из своих шпионских экспедиций он привез не только секреты производства чая, но и многие ценные растения, в том числе веерную пальму, кумкват, несколько видов азалий и хризантем.

Под его руководством в Индии в 1851 году было высажено около 20 000 саженцев и черенков чая. Производство индийского чая росло

стремительно и скоро составило до 140 миллионов фунтов в год.

Что же касается Ост-Индской компании, то ее звезда внезапно закатилась, и к этому оказалась причастна новая винтовка «Энфилд», изобретение которой как раз совпало с началом культивации чая в Индии.

Винтовка была дульнозарядного типа; ее заряжали, проталкивая в дуло патрон, сделанный из толстой бумаги и содержащий порох и пулю. Бумага была обильно пропитана животным жиром, чтобы предохранить порох от сырости и облегчить зарядку. Перед зарядкой патрон следовало надкусить, чтобы при выстреле огонь запала смог проникнуть к пороку. Среди сипаев — индийских наемных солдат, набранных из местных жителей, — прошел слух, что британские офицеры нарочно используют для смазки патронов смесь свиного и говяжьего сала, чтобы оскорбить и унижить как солдат-мусульман, так и солдат-индусов. Офицеры Ост-Индской компании решили уладить этот вопрос со свойственной им жестокостью. Они отдали под трибунал несколько солдат-индусов, которые отказывались пользоваться новыми патронами, и пригрозили расстрелом каждому, кто осмелится не подчиниться дисциплине.

Многие сипаи были убеждены, что все это часть заговора, цель которого — обратить их в другую веру. По несчастливому совпадению, именно в это время миссионеры-христиане стали проявлять особенную активность в Индии, что еще больше подкрепило подозрения местных воинов. В 1857 году началось восстание сипаев: солдаты из местных взбунтовались против британских хозяев, которых значительно превосходили числом, и устроили массовую резню. Возмездие было страшным и безжалостным. Индийцев, включая женщин и детей, рубили на куски, участников восстания убивали самыми изощренными методами: нескольких из них привязали к дулам пушек и выстрелили сквозь их тела. Тысячи сипаев подверглись массовым расстрелам и повешению. Все это глубоко потрясло Британию. По всеобщему мнению, Индия была слишком большой и важной колонией, чтобы можно было оставить ее в руках коммерсантов. Отныне Индией стала править корона, а Ост-Индская компания была упразднена.

### III

Все эти открытия, свершения, трагедии и войны проложили новым продуктам и рецептам путь в Англию, на обеденные столы англичан, стоявшие в комнатах нового типа — столовых. Столовая приобрела какое-

то значение лишь в конце XVII века, а главной комнатой в доме стала значительно позже. Во всяком случае, в дневнике Сэмюэла Джонсона она упоминается только в 1755 году. Когда Томас Джефферсон устроил в своем поместье Монтичелло столовую, это было дерзким поступком. До этого обед сервировали на маленьких столиках в любой более или менее подходящей комнате.

Отвести отдельную комнату для приема пищи люди захотели не вдруг и не повсеместно. Однако, принимая гостей постоянно в одном и том же помещении, специально предназначенном для этой цели, хозяйка могла уже не тревожиться за свою новую красивую мягкую (и такую дорогую) мебель, о которую невоспитанный гость мог бы тайком вытереть жирные пальцы.

Появление столовой изменило не только сам процесс поглощения пищи, но и способ ее сервировки и режим ее потребления. Прежде всего в кухонный обиход вдруг массово вошла вилка. Большие вилы с древности использовались в фермерских работах, а вилами поменьше придерживали птицу или мясо при разделывании, но лишь с середины XV века уменьшенная копия этих предметов заняла свое место на обеденном столе. Человека, который осчастливил Англию знакомством с вилкой, звали Томас Кориат, это был публицист и путешественник времен Шекспира, знаменитый тем, что значительную часть своих путешествий проделывал пешком, в том числе и таких дальних, как экспедиция в Индию.

В 1611 году Кориат выпустил первый том описаний своих странствий, где в числе прочего воспекает хвалу вилке, которую впервые увидел в Италии. Благодаря этой же книге английский читатель узнал про швейцарского национального героя Вильгельма Телля, а также про еще одно великое изобретение человечества, которым итальянцы пользуются для защиты от солнечных лучей и которое называется *umbrella* («зонт»).

Кухонные вилки считались немного комичными и слишком дамскими приспособлениями, не слишком подходящими для мужчин, да и к тому же довольно опасными: у них имелось только два зубца, причем весьма острых, и обедающий, особенно если он был слегка навеселе, вполне мог проколоть себе губу или язык. Производители экспериментировали с числом зубцов — иногда их было целых шесть, — пока в конце XIX века не остановились на четырех, такое количество оказалось наиболее удобным.

В XIX веке изменился и сам способ сервировки стола. До 1850-х почти все блюда подавались одновременно. Вошедшие в обеденную комнату гости находили еду уже на столах. Они сами брали то, что лежало или стояло рядом с ними, просили соседей передать им блюда, которые

находились чуть дальше, или звали официанта, чтобы тот подал то или другое. Этот способ подачи назывался французской сервировкой (*service a la française*). Теперь же в моду вошла новая практика — русская сервировка (*service a la russe*), когда еду подавали к столу блюдо за блюдом.

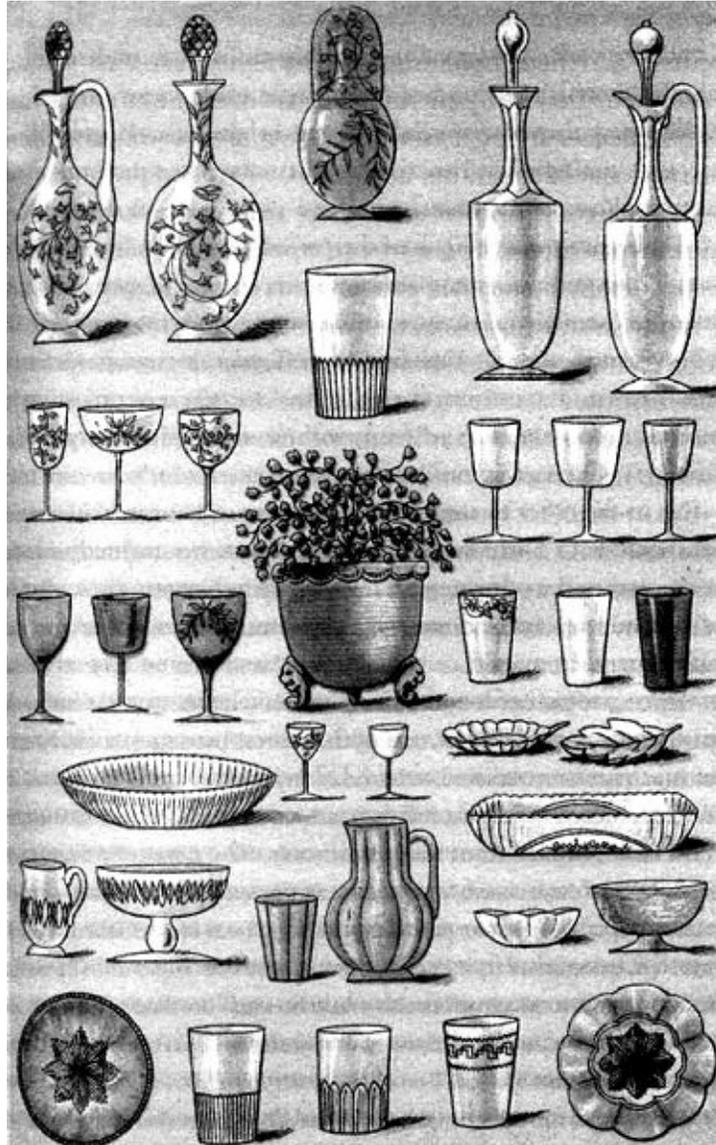


Рис. 8. Избыточно сервированный обеденный стол: бокалы, кувшины с вином и графины из «Книги домашнего хозяйства» миссис Битон

Многим не нравился такой метод подачи, когда все едят одни и те же блюда в одном и том же порядке и к тому же всегда в одном и том же месте — в столовой. Если кто-то из гостей задерживался с предыдущей переменной, то следующую переменную — естественно, уже остывшую — приносили позже и всем остальным. Кому-то хотелось еще выпить, а кому-

то не терпелось перейти к десерту.

Девятнадцатое столетие стало также веком избыточной сервировки. Перед каждым гостем самого обычного ужина обычно стояло девять (!) винных бокалов, и это только для сопровождения главного блюда; еще больше посуды приносили для десертов. Кроме того, к десерту выкладывали ослепительный комплект столового серебра, с помощью которого надо было есть все эти многочисленные яства. Специализированных кухонных приборов, которыми резали, на которые нанизывали, которыми прокалывали, выжимали и другими способами доставляли еду себе на тарелку, а оттуда в рот, было не сосчитать.

Гость за столом обязан был знать назначение не только каждого предмета из солидного комплекта ножей, вилок и ложек более или менее традиционного вида. Он также должен был уверенно манипулировать особой лопаточкой для сыра, ложечкой для маслин, вилкой для черепахи, вилочкой для устриц, палочкой для помешивания шоколада, ножом для желе, ножом для разрезания помидора на ломтики — словом, целым арсеналом умеренно полезных вещей разных форм и размеров, сделанных из разных материалов. В одном наборе столовых приборов того времени имеется ни много ни мало — 146 предметов. Один из немногих инструментов, сохранившихся из всего этого изобилия до наших дней, — это нож для рыбы, и он не слишком упрощает дело: странная форма лезвия в виде раковины оказалась ничуть не удобнее обычного ножа.

Немало книг по этикету характеризовали обед как «настоящую пытку» со столь многочисленными правилами, что их нелегко было выучить наизусть. Причем вы не могли нарушить эти правила так, чтобы этого никто не заметил. Протокол прописывал каждую мелочь. Если вы хотели выпить вина, вам требовалось найти человека, который выпьет с вами за компанию. Один иностранный гость писал своим домашним:

*Часто от одного конца стола к другому посылают курьера, который объявляет, что мистер А желал бы выпить вина с мистером Б. После этого, а зачастую это непросто, следует поймать взгляд того, кто это предложил, а потом, не отрывая глаз от своего «собутельника», поднять бокал и с самым серьезным видом выпить.*

Кое-кому следовало бы лучше знать правила поведения за столом. Джон Джейкоб Астор, один из первых американских миллионеров и явно не слишком воспитанный человек, на одном из званых ужинов ошеломил

своих соседей по столу тем, что без тени смущения вытер руки о платье сидевшей рядом дамы. Популярная американская книга «Законы этикета, или Краткие правила поведения в обществе» сообщает читателям, что они могут «промокнуть губы скатертью, но не сморкаться в нее». Другая книга серьезнейшим образом напоминает нам о том, что в высших кругах считается невежливым «нюхать кусок еды, уже подцепленный на вилку». Там же говорится: «Обычай благовоспитанных людей таков: суп надо есть ложкой».

Время приема пищи тоже сдвигалось — до тех пор, пока не наступал самый неудобный для трапезы час суток. Обед затягивался за счет обременительных и порой бессмысленных светских визитов вежливости, которые полагалось правильно наносить ежедневно с двенадцати до трех. Если кто-то заглядывал к вам, но не заставлял вас дома и оставлял вам свою визитку, то, согласно этикету, вы должны были нанести ответный визит завтра же, дабы не обидеть знакомого. На практике это означало, что большинство светских людей весь день металось по городу, пытаясь встретиться с другими светскими людьми, которые тем временем искали случая встретиться с вами и засвидетельствовать вам свое почтение.

Отчасти поэтому час обеда сдвигался все дальше и дальше — с полудня до второй половины дня и, наконец, до раннего вечера, — хотя новые традиции следовало выполнять неукоснительно, что бы ни случилось. В 1773 году один приезжий в Лондоне заметил, что был приглашен на обеды, которые начинались то в час дня, то в пять часов, то в три и, наконец, «в половине седьмого, причем блюда были на столе только в семь». Восемьдесят лет спустя, когда Джон Рескин предложил своим родителям назначить обед на шесть вечера, они восприняли это как вопиющую глупость. Есть так поздно, сказала миссис Рескин, очень вредно для здоровья.

Еще один фактор, ощутимо влиявший на время обеда, — это расписание театральных представлений. Во времена Шекспира спектакли начинались примерно в два, и зрителям приходилось сдвигать на более позднее время полуденную трапезу, но для этого имелось вполне логичное объяснение: спектакли того времени игрались под открытым небом (шекспировский «Глобус» и другие театры не имели крыши), так что их нельзя было перенести на темное время суток.

Как только театры переехали в закрытые помещения, время начала спектаклей стало смещаться на все более позднее, и театрам пришлось из-за этого переносить часы своих застолий, правда, они делали это без особого энтузиазма и даже с возмущением. В конце концов, не имея

возможности или не желая и дальше менять свои привычки, светские люди перестали спешить в театр к первому акту: вместо этого великосветские дамы и господа посылали своих слуг, чтобы те придержали для них место, пока они сами не отобедают.

Они приходили на представление шумные, пьяные и совсем не вникали в действия последних актов. В течение нескольких поколений в театре обычно играли первую часть пьесы для зала, полного дремлющих слуг и совсем не следивших за происходящим на сцене, а вторую часть — для толпы дурно воспитанных пьяниц, также совсем не вникавших в театральные коллизии.

В 1850-х по инициативе королевы Виктории обед окончательно стал вечерней трапезой. Интервал между завтраком и обедом расширился, и возникла необходимость легкого перекуса где-нибудь около полудня. Тут-то и появился ланчeon (*luncheon*). Первоначально этим словом называли кусок или небольшую порцию какой-либо еды (например, кусочек сыра — *luncheon of cheese*). В этом значении слово использовалось в Англии уже в 1580 году. В 1755-м лексикограф Сэмюэл Джонсон определял им «такое количество еды, которое можно унести в горсти», а в следующем столетии в светских кругах слово «ланчeon» (быстро сократившееся до «ланч») стало означать промежуточную дневную трапезу.

Плохо во всем этом было то, что произошло неправильное перераспределение калорий в течение суток. Раньше человек обычно получал основную часть дневных калорий за завтраком и в полдень, а вечером довольствовался чисто символическим перекусом, но теперь все кардинальным образом изменилось: большинство из нас потребляет большую часть еды именно вечером, а кое-кто даже ужинает в постели — увы, миссис Рескин была права.

## Глава 9

### Подвал

#### I

Если бы в 1783 году, в конце Войны за независимость США, вы сказали кому-нибудь, что в один прекрасный день Нью-Йорк станет величайшим городом мира, вас наверняка сочли бы круглым идиотом. В 1783-м перспективы Нью-Йорка были, откровенно говоря, жалкими. После войны город остался в составе новой республики. В 1790 году его население составляло всего 10 000 человек. Филадельфия, Бостон и даже Чарльстон были куда более оживленными портовыми городами.

Географическое положение Нью-Йорка имело лишь одно важное преимущество: от него открывался путь на запад через Аппалачский хребет — горную цепь, приблизительно параллельную побережью Атлантического океана. Трудно поверить, что эти невысокие округлые горы, часто напоминающие большие холмы, когда-то представляли собой грозное препятствие для путешественников. На самом деле на протяжении всей своей длины — 2500 миль — цепь не имела ни одного удобного перевала, что сильно затрудняло торговлю и коммуникацию. Иным казалось, что первопроходцы, забравшиеся по ту сторону гор, случайно или по каким-то практическим соображениям сформировали отдельную нацию.

Фермерам было дешевле сплавать свою продукцию в Новый Орлеан — вниз по рекам Огайо и Миссисипи, — а затем везти ее морем, огибая Флориду, в Чарльстон или какой-нибудь другой атлантический порт. Длина этого водного пути — три тысячи миль и больше, но это все равно обходилось дешевле, чем тащить товар всего триста миль, но через горы.

И вот в 1810 году Девиитт Клинтон, тогдашний мэр города Нью-Йорк, вскоре ставший губернатором одноименного штата, выдвинул идею, которую сначала сочли безумной и определенно несбыточной. Он предложил построить канал через штат до озера Эри, который соединил бы город Нью-Йорк с Великими озерами и богатыми землями, лежавшими дальше на восток. Люди называли проект «Глупость Клинтона», и поделом: предстояло кирками и лопатами прорыть канал шириной в 40 футов через 363 мили девственной глуши. Предстояло построить 83 шлюза, каждый

длиной 90 футов, чтобы регулировать уровень воды, — ведь на некоторых участках уклон ложа канала не должен был превышать дюйм. До этого никто в Америке ни разу не брался за сопоставимую по масштабу работу.

А тут вдруг такой размах! В Америке не было ни одного инженера, когда-либо строившего каналы. Томас Джефферсон, который обычно с уважением относился к разного рода авантюрным проектам, считал всю эту затею совершенно бредовой. «Это блестящий проект, и он вполне может быть реализован лет через сто, — объявил он, просмотрев планы, и добавил: — Однако думать об этом сегодня — просто безумие».

Президент Джеймс Мэдисон отказал Нью-Йорку в федеральной поддержке, по крайней мере отчасти руководствуясь желанием развивать большой коммерческий центр где-нибудь южнее, подальше от старой цитадели лоялистов.

Поэтому у Нью-Йорка было два варианта: либо продолжить строительство самостоятельно, либо обойтись без канала. Несмотря на огромную стоимость, риски и почти полное отсутствие необходимых навыков, проект было решено продолжать. Работу поручили четверым: Чарльзу Бродхеду, Джеймсу Геддесу, Натану Робертсу и Бенджамину Райту. Трое из них были судьями, четвертый — школьным учителем. Никто из них ни разу даже *не видел* ни одного канала, не говоря уже о том, чтобы его построить.

У всех четверых было только одно общее — кое-какой землемерный опыт. Однако каким-то невероятным образом, изучая справочники, консультируясь у других специалистов и вдохновенно экспериментируя, они все же реализовали величайший инженерный проект, когда-либо предпринятый к тому времени в Нью-Йорке. Бродхед, Геддес, Робертс и Райт стали, вероятно, первыми в истории людьми, узнавшими, как строят каналы, непосредственно в процессе постройки одного из них.

Сразу стало очевидно, что главная угроза для всего проекта — отсутствие гидравлического цемента. Чтобы ложе канала не пропускало воду, требовалась изоляция — полмиллиона бушелей такого цемента. Это очень много. Если вода начнет где-то уходить, это станет катастрофой для всего канала, так что задачу изоляции необходимо было решить. К сожалению, никто не знал, как именно.

Молодой строитель по имени Канвасс Уайт вызвался съездить в Англию за собственный счет и посмотреть, чему там можно научиться. Почти за год Уайт исколесил Британию вдоль и поперек, преодолев в общей сложности две тысячи миль; он изучал каналы и секреты их строительства, уделяя особое внимание вопросу герметизации. Случайно

выяснилось, что романцемент Паркера, сыгравший, как мы видели, роковую роль в разрушении Аббатства Фонтхилл, неожиданно хорошо подходит в качестве гидроизоляции, где от материала требуется в первую очередь вязкость, водостойкость. Изобретатель романцемента, преподобный мистер Паркер из Грейвзенда, к сожалению, не сумел разбогатеть на своем изобретении, так как к тому времени продал свой патент, а потом, по иронии судьбы, эмигрировал в Америку, где вскоре и умер.

Но его изобретение ждала гораздо более счастливая судьба: им пользовались до 1820-х годов, и лишь затем его заменили более современные строительные материалы. У Канвасса Уайта появилась надежда изготовить нечто похожее из американского сырья.

Вернувшись домой, Уайт начал экспериментировать с различным местным сырьем и быстро создал вещество, которое даже превосходило по качеству романцемент Паркера. Это был великий момент в истории американских технологий — фактически это и было началом американских технологий, — и Уайт заслуживал денег и славы. Однако ему не досталось ни того ни другого. Патенты Уайта давали ему право на четыре цента за каждый проданный бушель — что и говорить, цифра весьма скромная, — но производители категорически отказались делиться своими доходами. Уайт попытался отстоять свои права в суде, но ни один суд не принял решения в его пользу. В итоге Уайт потерпел полный финансовый крах и закончил свою жизнь в нищете.

Производители же богатели, изготавливая гидравлический цемент, который и по сей день является лучшим в мире. Благодаря главным образом изобретению Уайта канал открыли раньше срока, в 1825 году: строительство продолжалось всего восемь лет. Это был триумф. По каналу с самого начала ходило множество судов — в первый же год их число достигло 13 000, — по ночам их бегущие огоньки «казались светлячками на воде», по словам одного очарованного очевидца. Стоимость перевозки муки из Буффало в Нью-Йорк упала со 120 до 6 долларов за тонну, а время перевозки сократилось с трех недель до недели. Влияние канала на финансовое благополучие Нью-Йорка было потрясающим. Доля города в национальном экспорте подскочила с менее чем 10 % в 1800 году до 60 % и выше к середине века. Еще более показательным то, что в тот же период население Нью-Йорка выросло с 10 000 до полумиллиона.

Гидравлический цемент Канвасса Уайта — пожалуй, единственный продукт в истории, появление которого (причем тихое, неприметное появление) так круто изменило судьбу какого-либо города. Канал Эри не

только обеспечил экономическое первенство Нью-Йорка в Соединенных Штатах, но по сути дела открыл Соединенным Штатам дорогу в их великое будущее. Без канала Эри экономическим центром континента, скорее всего, стала бы более удачно расположенная Канада: река Святого Лаврентия служила естественным путем к Великим озерам и богатым северным территориям.

Таким образом, незаслуженно забытый Канвасс Уайт не просто сделал Нью-Йорк богатым городом, он продвинул вперед всю Америку. В 1834 году, утомленный судебными тяжбами и страдая какой-то серьезной, но так и не диагностированной болезнью — возможно, чахоткой, Уайт уехал в Сент-Огастин, Флорида, в надежде подлечиться, но умер вскоре после прибытия. Он был всеми забыт и так беден, что его жена едва наскребла денег на похороны. Вероятно, теперь вы нескоро в следующий раз услышите его имя.

Я рассказал все это, потому что мы спускаемся в подвал — в нашем доме приходского священника, как и в большинстве английских домов того периода, это неотделанное и самое что ни на есть простое помещение. Сначала подвал служил главным образом в качестве угольного склада. Сегодня там стоит бойлер, сложены ненужные чемоданы, спортивное снаряжение не по сезону и множество запечатанных картонных коробок, которые почти никогда не открываются, но с каждым переездом заботливо перевозятся из дома в дом, в надежде, что когда-нибудь кому-нибудь понадобится детская одежда, которая хранится в одной из коробок уже двадцать пять лет.

Я неспроста предварил рассказ о подвалах историей разработки канала Эри: я хотел показать, что строительные материалы важнее и, не побоюсь этого слова, интереснее, чем вы думаете. Они определенно вносят важный вклад в историю, хотя редко упоминаются в исторических книгах.

История молодой Америки — это также и история борьбы с нехваткой строительных материалов. Для страны, прославившейся своими богатыми природными ресурсами, Америка, особенно восточное побережье, оказалась довольно бедной с точки зрения стройматериалов, необходимых для каждой самодостаточной цивилизации. Одним из дефицитных материалов, к неприятному удивлению колонистов, был известняк.

В Англии вы можете построить вполне надежный дом из прутьев и глины — по существу мазанку, — если потом как следует покроете его известкой. Но в Америке не было известняка (или, по крайней мере, он не был обнаружен до 1690 года), поэтому колонисты использовали для

обмазки глину, а она была крайне непрочной. В течение первого века колонизации редкий дом стоял дольше десяти лет. К тому же на дворе была самая холодная фаза малого ледникового периода, и в течение XVII столетия в умеренном поясе стояли лютые зимы и бушевали ураганы. Ураган 1634 года снес (в самом буквальном смысле: поднял с земли и унес) половину домов в Массачусетсе.

Едва люди отстраивали новые жилища, как налетал очередной шторм такой же силы, «переворачивал, сносил крыши и сокрушал постройки», по словам одного современника. При этом во многих районах не было приличного строительного камня. Когда Джордж Вашингтон захотел вымостить пол лоджии в его поместье Маунт-Вернон обычным плитняком, ему пришлось посылать за ним в Англию.

Единственное, чего у Америки было много, так это древесины. Когда европейцы прибыли в Новый Свет, они оказались на континенте, 950 миллионов акров которого было покрыто лесом. Но на самом деле леса, встретившие пионеров, были отнюдь не так обильны, как могло показаться на первый взгляд. Особенно это касалось удаленных от побережья территорий: позади гор Восточного побережья индейцы уже расчистили большие пространства и сожгли весь подлесок, чтобы было легче охотиться. Первые поселенцы Огайо были изумлены тем, что лес в этих краях походил скорее на английский парк, чем на первозданные кущи; в лесу было достаточно пространства для проезда фургонов и повозок. Индейцы создавали такие «парки» ради охоты на бизонов, которой весьма успешно занимались.

Колонисты использовали древесину для постройки домов, сараев, фургонов, заборов, мебели и всевозможной бытовой утвари, от бочек до ложек. Они сжигали деревья ради тепла и приготовления пищи. По словам историка Карла Бриденбау, средний колониальный дом поглощал от пятнадцати до двадцати кордов<sup>[66]</sup> дров в год. Это штабель в восемьдесят футов высотой, такой же ширины и в сто шестьдесят футов длиной. Кажется неправдоподобно много, однако древесина и в самом деле быстро расходовалась. Бриденбау упоминает одну деревню на Лонг-Айленде, где любой кустик в окрестностях был выкорчеван всего за четырнадцать лет, и таких деревень наверняка было много.

Огромные дополнительные площади были расчищены под поля и пастбища, прокладка больших дорог тоже способствовала образованию обширных вырубок. Большие дороги в колониальной Америке были необычно широкими — 165 футов; всем должно было хватить места, в том числе и фермерам, перегоняющим скот на ярмарки.

К 1810 году в Коннектикуте осталась едва лишь четверть от первоначальных лесов. Мичиганский запас белой сосны, который казался неиссякаемым — к приходу первых колонистов имелось примерно 170 миллиардов погонных метров, — всего за одно столетие уменьшился на 95 %! Большая часть американской древесины уже в XVII веке экспортировалась в Европу, в частности в виде кровельной дранки и обшивочных досок, и, как заметила Джейн Джекобс в книге «Экономика больших городов», американское дерево послужило отличным топливом для Большого лондонского пожара.

Вполне естественно было бы предположить, что ранние поселенцы строили бревенчатые дома. Но это не так. Они просто-напросто не умели их строить. Бревенчатые дома появились в Америке благодаря иммигрантам из Скандинавии лишь в конце XVIII века, но быстро вошли в обиход. Несмотря на то, что бревенчатые срубы — относительно простые сооружения (чем, конечно, они и привлекали), у этой строительной технологии тоже есть свои нюансы. Когда кладут сруб, строители скрепляют бревна на углах при помощи пазов различной формы — треугольных, ромбовидных, «в седло», квадратных, «ласточкиных хвостов» и так далее; как оказалось, эти территории, на которых применялись пазы какого-то определенного типа, имеют на удивление четкие географические границы, до сих пор не всегда объяснимые.

К примеру, «в седло» рубили дома на «глубоком Юге» (в Алабаме, Джорджии, Луизиане и других юго-восточных штатах), в центральном Висконсине и южном Мичигане, но практически нигде больше. Тем временем жители штата Нью-Йорк облюбовали метод, который назывался «фальшивая угловая обшивка», но те из них, кто затем двинулся дальше на запад, забросили этот способ. Историки могут изучать заселение и миграции Америки (и действительно изучали их) по времени создания и типам пазов на бревенчатых срубах; целые научные карьеры были посвящены тому, чтобы понять систему распределения по стране различных видов зарубок в дереве.

Зная теперь, как быстро американские колонисты проложили себе дорогу через могучие леса, вы почти не удивитесь тому, что в маленькой и гораздо более густонаселенной Англии нехватка древесины была вечной проблемой. Возможно, легенды и сказки оставили у нас неискоренимый образ средневековой Англии как земли темных дремучих лесов, однако на самом деле деревьев, за которыми могли бы прятаться Робин Гуд и его веселая шайка, было не так уж много. Согласно «Книге Страшного суда»

(1086), уже в то время леса покрывали всего 15 % территории страны.

Британцы всегда очень нуждались в больших количествах древесины. На типичный фермерский дом уходило в среднем 330 дубовых стволов, на корабль еще больше. Флагман Нельсона, линейный корабль «Победа», был построен из трех тысяч взрослых дубов, что, в общем, представляет собой довольно обширную дубраву. Кроме того, дуб в больших объемах потреблялся в промышленности. Дубовая кора, смешанная с собачьими фекалиями, использовалась для дубления кожи. Чернила делали из дубовых галлов — наростов, образующихся на дереве в результате деятельности паразитирующих ос. Но больше всего деревьев пожирало производство древесного угля. К концу XVIII века ежегодно сжигалось до 540 квадратных миль, то есть около одной седьмой всех лесов страны. Большинство лесистых территорий выживало за счет молодой поросли, которую выращивали ради периодической вырубки.

Фактически угольная промышленность отнюдь не виновна в интенсивном использовании лесов; она как могла сохраняла леса, но чахлые деревца не сравнятся с густым девственным лесом. Даже при аккуратном обращении потребности в древесине были так бесконечно высоки, что к началу XVI века Британия использовала лес быстрее, чем могла его вырастить, и к началу XVII века строительная древесина стала дефицитом. Деревянно-кирпичные дома, которые мы ассоциируем с тем периодом, демонстрируют в Англии вовсе не обилие, а нехватку строевого леса: владелец дома показывает, что может позволить себе столь редкий ресурс.

Только необходимость наконец заставила людей обратиться к камню. Почти тысячу лет, начиная с краха Римской империи и до эпохи Чосера, древесина была в Англии почти единственным строительным материалом. Лишь самые значительные сооружения — соборы, дворцы, замки и церкви — строили из камня. Когда норманны пришли в Англию, на всей территории страны не было ни единого каменного дома.

Это было немного странно, потому что прямо под ногами лежал отличный строительный камень: большой массив практичного оолитового известняка (то есть включающего множество твердых и прочных зерен — оолитов) тянулся широкой дугой через всю страну, от Дорсета на южном побережье до Кливленд-Хиллс в Йоркшире на севере. Этот массив называют юрским поясом, и все самые знаменитые виды строительного камня Англии, от пурбекского мрамора до портлендского камня, найдены в его пределах. Эти чрезвычайно древние камни придают британскому ландшафту мягкость и особый аромат вечности. На самом же деле вечность

английских зданий — явная иллюзия.

Камень использовался в малых количествах по причине своей дороговизны — его было дорого добывать (прикладывалось слишком много труда) и дорого транспортировать из-за его огромного веса. Протащить телегу, груженную камнем, на десять-двенадцать миль означало практически удвоить его стоимость, поэтому средневековый камень далеко не возили: вот чем объясняются столь отчетливые региональные различия в способах использования камня и соответствующих архитектурных стилей на территории Британии. Для постройки каменного здания больших размеров — к примеру, цистерцианского монастыря — требовалось 40 000 возов с камнем. Зато каменное сооружение внушало окружающим должный трепет — не столько своей массивностью, сколько самим обилием камня, который воспринимался как символ власти, богатства и роскоши.

В жилых домах до XVIII века камень практически не использовался, но потом его быстро ввели в дело, даже при строительстве коттеджей. К сожалению, большие территории за пределами известнякового пояса не имели местного камня, в числе таких территорий оказался самый важный и более всего нуждающийся в новом строительстве город — Лондон. Однако в окрестностях Лондона содержались огромные запасы богатой железом глины, и город заново открыл для себя древний материал — кирпич. Кирпич был известен человеку около шести тысяч лет, но в Британии появился только во времена римлян, а римские кирпичи были не слишком хорошего качества. При всех строительных навыках римляне не умели обжигать кирпич так, чтобы глиняный блок большой толщины как следует пропекся изнутри, поэтому изготавливали тонкий кирпич, больше похожий на квадратные плитки. После ухода римлян кирпич в Англии вышел из обращения на добрую тысячу лет.

Кирпичи начали снова появляться в некоторых английских зданиях примерно к 1300 году, но в течение следующих двухсот лет местных мастеров было так мало, что, как и раньше, приходилось обращаться за помощью к голландским кирпичникам и плиточникам. В качестве строительного материала для производства дома кирпич завоевал должное место в эпоху правления Тюдоров. Многие знаменитые кирпичные здания, такие как дворец Хэмптон-Корт, были построены именно в тот период. У кирпича было одно большое преимущество: его часто можно было сделать прямо на стройплощадке. Крепостные рвы и пруды, которые мы обычно ассоциируем с поместными домами эпохи Тюдоров, часто находятся на тех самых местах, откуда бралась глина для кирпичей.

Но кирпич имел и свои недостатки. Для того чтобы изготовить приличные кирпичи, мастер должен был в точности соблюсти все технологические этапы: сначала осторожно смешать как минимум два вида глины, добиться нужной консистенции, чтобы предотвратить коробление и усадку во время обжига; затем подготовленную глину сформовать в форме кирпича (для этого использовались специальные формы) и дать просохнуть две недели. В конце концов кирпичи складывались рядами и обжигались в печи. Если хотя бы один этап работы выполнялся с ошибками — например, содержание влаги в камне оставалось слишком высоким или печь была недостаточно жаркой, — кирпич получался некачественный. Сделать качественный кирпич мог только отменный мастер. Вот почему в средневековой Британии и позже кирпич высоко ценился как престижный строительный материал.

Возможно, самой грандиозной демонстрацией того, насколько трудно изготовить хороший кирпич (а заодно и грандиозной демонстрацией упрямства), стала история Сидни Смита, известного своим острословием священника, который в 1810-х годах решил сам сделать кирпичи для своего приходского дома в Фостоне, Йоркшир. Только после того, как он обжег 150 000 штук, он все-таки признал, что из такого плохого материала у него ничего не получится.

Золотым веком английского кирпича стало столетие с 1660 по 1760 год. «Нигде в мире не увидишь такой красивой кирпичной работы, как в лучших английских зданиях того века», — пишут Рональд Бранскилл и Алек Клифтон-Тейлор в своей выдающейся работе «Английская кирпичная кладка». Большая часть красоты кирпичей того периода заключалась в их многообразии. Так как создать действительно однородный строительный материал было невозможно, у кирпича были разные, но равно прекрасные оттенки — от розовато-красного до темно-фиолетового. Минералы, содержащиеся в глине, придавали кирпичам их цвет, а преобладание железа в большинстве типов почв объясняет преобладание красного. Классический лондонский желтый кирпич, как его называют, обязан своим цветом мелу, который содержался в почве. В белых кирпичах (которые на самом деле едва заметно бежевые) — избыток известки.

Кирпичи необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы вертикальные швы не образовывали протяженных непрерывных линий, которые ослабляют прочность стены. Так появился целый ряд декоративных видов кладки, которые прежде всего исходят из соображений прочности, но также и из желания внести приятное разнообразие и красоту. При английской системе перевязки кирпичи в одном ряду укладываются

только длинной стороной, а в следующем — в основном торцом. Во фламандской перевязке кирпичи каждый раз чередуются: тычок — ложок. Такая перевязка гораздо популярней — и не потому, что крепче, а потому, что экономней: каждый фасад имеет больше длинных поверхностей, чем коротких, и, значит, требует меньше кирпичей.

Но были и другие стили перевязки: китайская, фигурная, английская для садовых стен, крестовая, «в один кирпич на ребро» (разновидность фламандской кладки — после двух ложков один тычок) и т. д. Эти базовые узоры можно было дополнительно совершенствовать: например, поставить несколько кирпичей так, чтобы они выдавались вперед из плоскости фасада (такая кладка известна как консольная), или использовать кирпичи разных цветов, чтобы получился ромбовидный орнамент, известный как «пеленка». Взаимосвязь между характером кирпичной кладки и первым одеянием младенца усматривали в том, что пеленки раньше ткали из льняных ниток, переплетая их так, что получался рисунок в виде ромба.

Кирпич считался престижным материалом и употреблялся для строительства самых шикарных домов вплоть до эпохи Регентства, но потом к нему вдруг охладели. «Есть что-то грубое в предпочтении кирпича камню», — задумчиво писал Исаак Уэйр в своей ценной работе «Вся архитектура» (1756). Красный кирпич, продолжает он, «слишком ярок, неприятен глазу... и совершенно неуместен в этой стране».

Внезапно кирпич сделался материалом, приемлемым только для отделки поверхности зданий. В Георгианский период природный камень был настолько моден, что владельцы домов, построенных из других материалов, шли на любые расходы, лишь бы замаскировать этот факт. Апсли-хаус возле Гайд-парка в Лондоне был выстроен из кирпича, но потом, когда кирпич вышел из моды, облицован мягким известняком кремового цвета.

Америка сыграла косвенную (и довольно неожиданную) роль в «закате карьеры» английского кирпича. Потеря налоговых поступлений из американских колоний после объявления ими независимости и цена, которую Британия заплатила за войну с ними, окончившуюся поражением, означали, что британское правительство отчаянно нуждалось в денежных средствах; в 1784 году оно ввело жесткий налог на кирпич. Производители стали делать кирпичи крупнее, чтобы снизить бремя налога, но работать с таким кирпичом было крайне неудобно, и в результате цены на него еще больше упали. Чтобы удержать эту статью доходов, государство дважды поднимало налог на кирпич в 1794 и в 1803 годах. Кирпич поспешно отступал. Мало того, что он вышел из моды, так теперь никто еще не мог

его себе позволить.

Беда состояла в том, что большинство домов уже были выстроены из кирпича, и этого никак нельзя было исправить. В Британии пользовались простой уловкой: придавали дому вид каменного, накладывая на стену тонкий слой штукатурки. Пока она высыхала, можно было аккуратно расчертить ее линиями, ложным швами, чтобы дом казался построенным из каменных блоков. Английский архитектор Джон Нэш, яркий представитель стиля регентства, особенно прославился своей привязанностью к штукатурке. Про него даже сочинили стишок:

Наш драгоценный Нэш — талант недюжий  
И мастер очень юркий.  
Нашел нам всем кирпич и тут же  
Всех нас обмазал штукатуркой.

Нэш — еще один персонаж нашей книги, который появился из ниоткуда, и вряд ли кто-то мог предвидеть его стремительное продвижение по карьерной лестнице. Джон Нэш родился в нищете на юге Лондона и никогда не вращался в высших слоях общества. У него было «обезьянье лицо», как с поразительной жесткостью высказался один из его современников, а отсутствие светского воспитания грозило оставить его в неизвестности. Однако каким-то образом ему удалось завершить хорошую ученическую практику в кабинете сэра Роберта Тейлора, одного из ведущих архитекторов тех дней.

После завершения стажировки он начал карьеру, которая состояла из множества отнюдь не триумфальных проектов — во всяком случае, в первое время. Для начала он в 1778 году спроектировал и построил две группы домов в Блумсбери, которые одни из первых в Лондоне были покрыты штукатуркой.

К сожалению, Лондон еще не был готов к оштукатуренным стенам, и Джону Нэшу не удалось продать свои дома (один из них простоял пустым целых двенадцать лет!). Такая неудача могла кого угодно выбить из колеи и при более благоприятных обстоятельствах, но у Нэша одновременно почти так же катастрофически рушилась личная жизнь.

Его молодая жена отнюдь не оправдывала его надежд. Он ежедневно получал невозможно громадные счета от портних и шляпников всего Лондона, его дважды арестовывали за долги. Хуже того, Нэш обнаружил, что, пока он выпутывался из этих юридических неурядиц, его супруга

заводила романы, в том числе с одним из ближайших друзей Нэша, и что сам архитектор, скорее всего, вовсе не отец своих двоих детей.

Разоренный и вне себя от гнева, Нэш бросил жену и детей — что с ними стало, неизвестно — и переехал в Уэльс, где решил начать новую, менее амбициозную карьеру и стал строить заурядные провинциальные мэрии и прочие муниципальные здания.

Так текла его жизнь в течение нескольких лет. Но в 1797 году, уже в возрасте сорока шести лет, он вернулся в Лондон, женился на юной девушке, стал близким другом принца Уэльского — будущего короля Георга IV — и построил одну из самых значительных и влиятельных карьер архитектора, какие только знал мир. Благодаря чему с Нэшем произошли столь резкие перемены, навсегда осталось тайной.

Ходили упорные слухи, что новая жена была любовницей принца-регента и что Нэш был просто удобным прикрытием. Это предположение не так уж и беспочвенно, ибо она была редкой красоткой, а время не сделало Нэша сколько-нибудь привлекательней. Он был, по его же собственным словам, «толстым, приземистым типом с круглой башкой, вздернутым носом и пороссячьими глазками». Но как архитектор он был просто волшебник и почти сразу начал работу над серией исключительно смелых и необычных зданий. В Брайтоне он переделал величественный Морской павильон в пестрый фейерверк зданий, известный ныне как Брайтонский павильон. Но самые большие преобразования ждали Лондон.

Никто (пожалуй, даже люфтваффе) не смог так сильно изменить вид Лондона, как это сделал Джон Нэш за тридцать лет. Он разбил Риджентс-парк, проложил Риджент-стрит и еще очень много улиц с роскошными «террасными» домами вокруг, что придало столице поистине царственный вид, которым она не могла похвастаться раньше. Он построил площади Оксфорд-серкус и Пикадилли-серкус, а также Букингемский дворец. У него были планы по преобразованию Трафальгарской площади, но смерть помешала ему претворить их в жизнь. И почти все, что он построил, он покрыл штукатуркой.

## II

Кирпич как строительный материал для жилых домов можно было критиковать за многое, но с одним он справлялся прекрасно: с загрязнением воздуха. Это была крайне важная проблема. В раннюю Викторианскую эпоху уголь сжигался в Англии в неслыханных

количествах. Типичная семья среднего класса могла сжечь тонну в месяц, а в Британии XIX века было множество семей среднего класса. К 1842 году Британия потребляла две трети всего угля, добываемого в западном мире. В результате круглый год Лондон был погружен в копоть и туман. В одном рассказе про Шерлока Холмса великому детективу пришлось чиркать спичкой — и это днем! — чтобы прочесть что-то, написанное на стене лондонского дома.

Пешеходы с трудом различали дорогу, нередко натыкались на стены и спотыкались о невидимые препятствия.

Известен случай, когда семь человек подряд свалились в Темзу, один за другим. В 1854 году Джозеф Пакстон предложил соорудить Большую окружную железную дорогу, чтобы соединить все основные железнодорожные станции в Лондоне; причем дорога должна была проходить в стеклянном туннеле, чтобы пассажиров не беспокоил нездоровый лондонский воздух. Очевидно, казалось куда привлекательнее вдыхать густой дым паровозов внутри туннеля, чем забивать себе легкие ядовитым смогом снаружи.

Уголь оседал слоями практически на всем — на одежде, картинах, посуде, мебели, книгах, домах и в дыхательной системе человека. В течение нескольких недель по-настоящему сильного тумана смертность в Лондоне сильно возрастала. Даже домашние животные, даже птица и скот на мясном Смитфилдском рынке часто умирали.

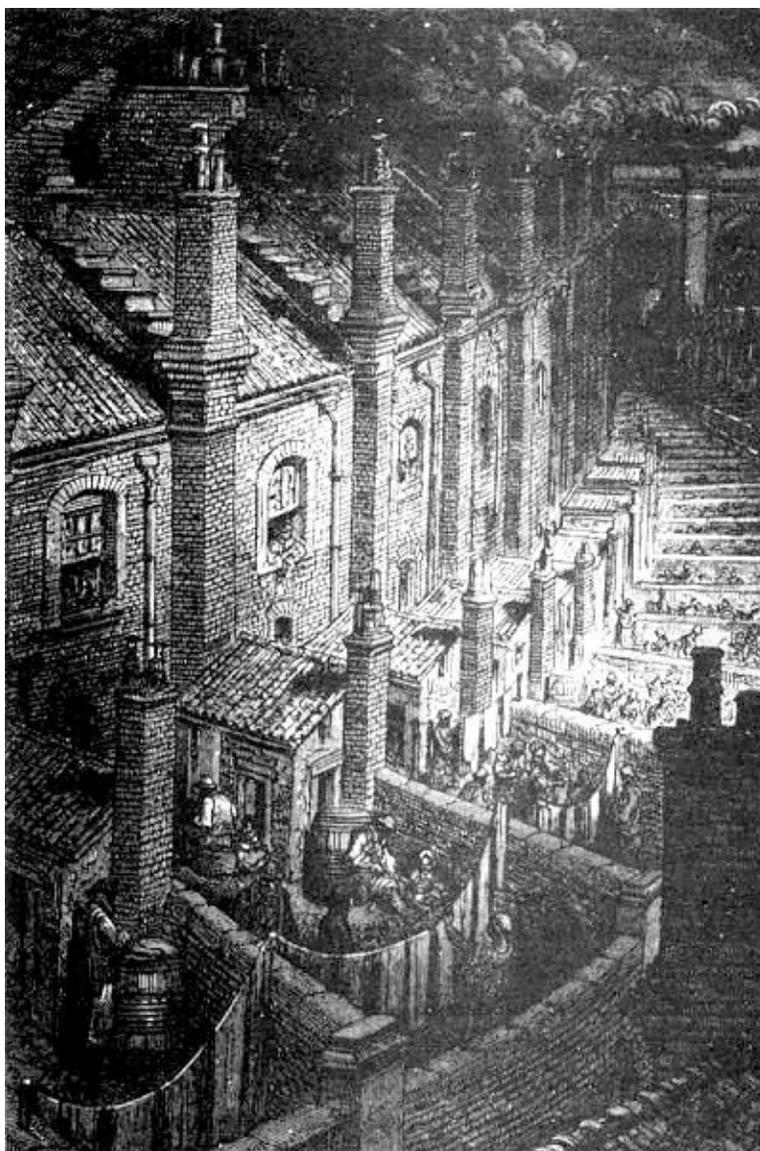
Угольная копоть садилась и на стены каменных домов. Строения, которые новыми выглядели великолепно, портились с пугающей быстротой. Белый строительный известняк хорошо выглядел только там, где грязь могло сдуть ветром или смыть дождем, в других местах он становился попросту черным. В Букингемском дворце Нэш использовал мягкий известняк кремового цвета из Бата, полагая, что он лучше сохранится, но ошибся: «батский камень» скоро начал крошиться.

Для ремонта здания пригласили нового архитектора, Эдварда Блора. Он сделал новый фасад, выходящий во внутренний двор Нэша, из канского камня (известняка, добывавшегося близ французского города Кан в Нормандии), который тоже почти сразу начал осыпаться. Наибольшие опасения внушало здание Парламента, где камень почернел и покрылся страшными щербинами и трещинами, словно по нему стреляли из ружей, хотя само сооружение держалось крепко. Чтобы сдержать разрушение, предпринимались отчаянные восстановительные работы: поверхность смазывали различными сочетаниями клея, смолы, льняного масла и пчелиного воска, однако это не давало ничего, кроме новых жутких пятен.

Как выяснилось, всего два материала не боялись коррозии. Один — это замечательный искусственный «камень Коуд», названный в честь его изобретательницы, миссис Элино́р Коуд, которая владела также производившей его фабрикой. Камень Коуд был очень популярен и использовался всеми ведущими архитекторами примерно с 1760 по 1830 год. Он практически не трескался, и из него можно было легко формовать любые элементы архитектурного орнамента — бордюры, арабески, капители колонн и прочие виды декора, которые из обычного камня пришлось бы вырезать. Самый знаменитый объект из камня Коуд — скульптурный лев, стоящий на берегу Темзы напротив здания Парламента. Впрочем, встретить изделия из этого камня можно повсюду — в Букингемском дворце, Виндзорском замке, лондонском Тауэре и так далее.

Все они выглядят так и на ощупь кажутся точно такими, как если бы были сделаны из настоящего камня. Однако на самом деле это керамика сложного состава, то есть обожженная глина с добавками других материалов, особо прочная и долговечная. По большей части камень Коуд настолько устойчив к погоде и загрязнению, что выглядит практически новым даже через два с половиной века и после всех выпавших на его долю проявлений стихии.

Несмотря на его повсеместность, мы на удивление мало знаем про камень Коуд и про женщину, именем которой он назван. Когда и где он был изобретен, как к этому причастна Элино́р Коуд, почему фирма внезапно прекратила свое существование в конце 1830-х — все эти вопросы не вызывают большого интереса в ученом мире. Миссис Коуд отведено всего полдюжины абзацев в «Национальном биографическом словаре».



*Рис. 9. Закоулки викторианского Лондона, гравюра Гюстава Доре*

Мы знаем наверняка только одно: Элино́р Коуд была дочерью неудачливого бизнесмена из Эксетера, который приехал в Лондон примерно в 1760 году и открыл торговлю льняным постельным и столовым бельем. Ближе к концу десятилетия он встретил некоего Дэниела Пинкота, который уже занимался производством искусственного камня. Они открыли фабрику на южном берегу Темзы — примерно там, где сегодня находится вокзал Ватерлоо, и стали выпускать необычайно качественный строительный материал. Миссис Коуд часто приписывают изобретение этого материала, но кажется более вероятным, что у Пинкота была технология, а у нее — деньги.

В любом случае Пинкот ушел из фирмы уже через два года, и после о

нем никто не слышал. Элино́р Коуд весьма успешно вела бизнес в течение полувека, до самой своей смерти в 1821 году в возрасте восьмидесяти восьми лет. Это само по себе достижение для женщины восемнадцатого столетия. Она никогда не была замужем. Мы ничего не знаем про ее характер — была ли она милейшей леди, любезной пожилой дамой или ворчливой старой каргой? Все, что можно сказать, так это то, что без нее продажи стали сокращаться, и в конце концов фирма закрылась, так что сейчас никто не знает, когда именно она перестала производить продукцию.

Существует стойкий миф о том, что секрет камня Коуд умер вместе с миссис Элино́р. На самом деле технология его производства была воссоздана экспериментально по меньшей мере дважды, так что ничто не мешало снова поставить дело на коммерческую основу. Но никто этим не заинтересовался — и это единственная причина того, что камень Коуд вышел из употребления.

Так или иначе, камень Коуд можно было использовать лишь для декоративных элементов, из него нельзя было класть стены. По счастью, был один достойный строительный материал, который также прекрасно выстаивал против загрязнения, — кирпич. Строительство каналов дало возможность перевозить кирпичи на баржах на значительные расстояния. Изобретение особой кольцевой печи (названной в честь изобретателя-немца печью Гофмана) позволяло сделать процесс изготовления и обжига кирпича непрерывным, а значит, удешевило материал. Отмена налога на кирпич в 1850 году еще больше снизила цены.

Но самым главным стимулом был феноменальный экономический рост Британии в XIX веке — рост городов, промышленности, а также числа людей, нуждавшихся в жилье. За годы царствования королевы Виктории (1837–1901) население Лондона выросло с одного до почти семи миллионов человек, а в новых индустриальных городах, таких как Манчестер, Лидс и Брэдфорд, население росло еще быстрее. Всего за столетие количество жилых домов в Британии выросло вчетверо, и все новые дома были в основном построены из кирпича — так же, как и большинство мельниц, дымоходов, железнодорожных вокзалов, канализационных систем, школ, церквей, муниципальных зданий, а также объектов инфраструктуры, которая стремительно развивалась в этот сумасшедший деловой век. Кирпич был слишком универсален и экономичен, чтобы от него отказываться. Он стал главным строительным материалом промышленной революции.

Согласно одной оценке, в Британии в Викторианскую эпоху было уложено больше кирпичей, чем за всю ее предыдущую историю. Рост

Лондона означал распространение предместий, которые состояли из более или менее одинаковых домов — миля за милей тянулась «мрачная, без конца повторяющаяся бездарность», язвил Дизраэли. В этом однообразии в основном была виновата печь Гофмана: она производила кирпичи абсолютно одинаковые по форме, цвету и внешнему виду. Здания, построенные из кирпича нового стиля, имели гораздо меньше изысканности и своеобразия, чем здания ранних эпох, зато были гораздо дешевле, а в человеческой истории едва ли был момент, когда дешевизна не предпочиталась бы всем остальным качествам.

С кирпичом была лишь одна проблема, которая становилась все более насущной по мере того, как столетие набирало обороты: высота кирпичного здания всегда ограничена. Кирпич тяжел, и из него нельзя построить по-настоящему высокий дом (а попытки были). Самое высокое кирпичное сооружение из когда-либо существовавших — это шестнадцатизэтажный Монаднок-билдинг, универсальное офисное здание, возведенное в Чикаго в 1893 году; его спроектировал незадолго до своей смерти архитектор Джон Рут.

Монаднок-билдинг стоит до сих пор и поражает глаз своей необычностью. Здание чрезвычайно массивно: стены первого этажа имеют толщину шесть футов, из-за чего нижняя часть постройки напоминает мрачный неприветливый склеп.

Монаднок-билдинг мог быть построен где угодно, но он особенно интересно смотрится в Чикаго, где земля по существу представляет собой огромную губку. Чикаго стоит на илистых почвах, а в иле, как известно, все вязнет — увязали и дома. Некоторые архитекторы намеренно закладывали в проект до трех футов на усадку дома. Тротуары укладывались под небольшим уклоном — от бордюрного камня чуть вверх до подножия здания, с расчетом, что, если здание просядет, тротуар опустится вместе с ним и станет безупречно горизонтальным. На деле же такое случалось редко.

Чтобы решить проблему оседания, архитекторы XIX века придумали особые фундаменты из плит, на которые ставили здание, и оно уже не было похоже на серфингиста, балансирующего на своей доске. Фундамент Монаднок-билдинг на одиннадцать футов выходит за пределы здания во всех направлениях, но даже с такой подстраховкой шестнадцатизэтажное сооружение осело примерно на два фута со времени строительства. Лишь благодаря мастерству архитектора Джона Рута оно до сих пор сохранилось. Многим другим домам повезло не так сильно.

Большое административное здание Федерал-билдинг, построенное за

баснословную цену в пять миллионов долларов в 1880 году, так быстро и опасно накренилось, что его снесли уже через два десятилетия. Та же печальная участь часто постигала и другие здания, размером поменьше.

Архитекторам требовался более легкий и гибкий строительный материал. Долгое время казалось, что им станет железо, которое снискало себе славу благодаря Джозефу Пакстону и его Хрустальному дворцу.

В качестве строительного материала использовались два вида железа: чугун и сварочное железо. Литой чугун прекрасно противостоит сжатию и может выдерживать огромное давление, однако значительно хуже ведет себя при растяжении. При значительной нагрузке чугунная балка может просто переломиться, словно карандаш. Поэтому из чугуна получались отличные колонны, но не перекрытия.

Сварочное железо, напротив, было достаточно пластичным и хорошо работало на растяжение, но оно стоило дороже, так как его производство было гораздо более сложным и занимало намного больше времени: чтобы добиться однородности материала, его приходилось многократно проковывать и прокатывать. В результате получался материал, которому можно было придать практически любую форму. Вот почему декоративные объекты, например ограды, делают из сварочного железа. Так или иначе, оба вида железа использовались в крупномасштабных конструкциях и инженерных проектах по всему миру.

Как ни странно, железо никогда не применялось, разве что эпизодически, в строительстве жилых домов (за исключением уже упоминавшейся здесь «Бастилии», построенной Джеймсом Уайеттом для Георга III). Однако во всех других областях строительства оно последовательно укрепляло свою репутацию самого прочного материала до тех пор, пока люди не поняли, что его прочность не всегда можно рассчитывать. Одно свойство железа вызывало особую тревогу у строителей: в результате неправильной обработки в нем могли образоваться скрытые трещины и раковины, которые было невозможно обнаружить при внешнем осмотре. Эта опасность трагически проявилась зимой 1860 года на ткацкой фабрике в Лоуренсе, штат Массачусетс. Одним холодным утром девятьсот женщин, в основном иммигрантки из Ирландии, стояли у своих грохочущих станков, когда одна из чугунных колонн, поддерживавших крышу, вдруг упала.

После мгновенной паузы начали падать остальные колонны в ряду — одна за другой, словно пуговицы, отлетающие от рвущейся рубашки. Напуганные работницы бросились к выходам, но выскочить за двери успели немногие: здание рухнуло с таким диким грохотом, который

никогда не забыть тем, кто его слышал. Погибло двести ткачих, но, на удивление, этот инцидент никого не встревожил: ни тогда, ни после он не разбирался в суде. Еще несколько сотен женщин получили травмы. Многие из попавших в ловушку сильно обгорели: из разбитых ламп вытекло масло, и начался пожар.

В следующем десятилетии подвело и сварочное железо: рухнул мост через реку Аштабула в штате Огайо, причем в тот момент, когда по нему проезжал пассажирский поезд. Погибло семьдесят шесть человек. Этот случай с жестокой точностью повторился через три года, почти в тот же день, на мосту через реку Тей в Шотландии. Была плохая погода, и часть моста не выдержала как раз в тот момент, когда по нему шел поезд; вагоны рухнули в воду, мерцавшую далеко внизу; погибло почти столько же человек, что и в случае на Аштабуле. Это были два самых известных случая подобного рода, но сколько еще было мелких происшествий!

Паровозные котлы, сделанные из кованого железа, иногда взрывались, а рельсы частенько отрывались от шпал, а то и вставали дыбом под гнетом тяжелых грузов или налетевшей вдруг непогоды, что приводило к крушениям. Фактически из-за несовершенства рельсов того времени канал Эри так долго оставался прибыльным. Когда наступил железнодорожный век, этот канал продолжал процветать, что было довольно странным, ведь на несколько месяцев в году он замерзал и не использовался. Поезда же могли ходить по стране круглый год и, благодаря постоянным улучшениям паровой машины, теоретически способны были перевезти больше грузов. На практике, однако, железные рельсы оказывались вовсе не такими прочными, чтобы выдерживать по-настоящему серьезную нагрузку.

Требовалось нечто более прочное, например, сталь — всего лишь еще один вид железа, но с другой пропорцией углерода. Сталь — материал во всех отношениях превосходный, вот только изготавливать ее в промышленных масштабах пока еще не умели: для этого нужно было слишком много очень горячего огня. Из стали выделялись прекрасные мечи и ножи, но для тяжелой промышленной продукции, такой как балки и рельсы, ее не хватало.

В 1856 году эту проблему неожиданно решил английский бизнесмен, который совсем не знал толка в металлургии, но любил ремесленничать и экспериментировать. Его звали Генри Бессемер, и он уже добился чрезвычайного успеха за счет изобретения другого продукта — бронзового порошка. Этот порошок применялся для нанесения на различные материалы фальшивой позолоты. Люди Викторианской эпохи любили золоченые покрытия, и порошок Бессемера сделал его богатым; у него

появилось свободное время, чтобы предаваться любимым экспериментам.

Во время Крымской войны он решил сконструировать тяжелые орудия, но он понимал, что ни чугун, ни сварочное железо здесь не подойдут, и начал изобретать новые методы производства. Смутно представляя себе, что именно у него должно получиться, Бессемер вдувал воздух в печь с расплавленным передельным чугуном. Согласно представлениям того времени, должен был произойти сильный взрыв; вот почему ни один квалифицированный специалист даже не пытался провести такой эксперимент раньше. Однако никакого взрыва не произошло, зато удалось резко повысить температуру расплава. Все шлаки и ненужные включения выгорели, и в результате получилась чрезвычайно прочная сталь. Вдруг стало возможным поставить производство стали на поток.

Сталь была тем самым материалом, которого так ждала промышленная революция. Все, от рельсов до океанских лайнеров и мостов, теперь строилось быстрее, было прочнее, стоило дешевле. Стало возможным строительство небоскребов, и городские пейзажи начали преобразовываться. Паровозы на огромной скорости везли грузы гигантского веса через континенты. Бессемер чрезвычайно разбогател и прославился; не меньше тридцати маленьких городков в Америке называются Бессемер или Бессемер-сити.

Меньше чем через десять лет после «Великой выставки» железо в качестве строительного материала вышло из игры, поэтому несколько странно, что самая знаменитая конструкция прошлого века, возвышающаяся над Парижем, была сделана именно из этого материала. Я имею в виду, конечно, чудо техники девятнадцатого столетия, Эйфелеву башню. Еще ни разу в истории не строилось столь технологически передового и в то же время столь фантастически бессмысленного сооружения. Чтобы начать эту замечательную историю, нам придется вернуться на верхнюю площадку лестницы и войти в очередное помещение.

## Глава 10

### Коридор

#### I

Его полное имя — Александр Гюстав Беникхаузен Эйфель. Он вел замкнутую респектабельную жизнь, работал на вкусной фабрике своего дяди в Дижоне, а когда фабрика прогорела, он занялся инженерным делом.

Эйфель был великолепным специалистом. Он строил мосты и виадуки через невероятные ущелья, поразительно изощренные железнодорожные развязки и другие впечатляюще сложные конструкции. В 1884 году он реализовал один из самых хитроумных своих проектов — опорный каркас для статуи Свободы.

Считается, что статуя Свободы — творение скульптора Фредерика Бартольди, и отчасти это, конечно, верно: Бартольди придумал статую и нарисовал ее. Но без хорошо продуманной системы внутренней поддержки колоссальная статуя не могла бы стоять, ведь это всего лишь полая структура из выколотой меди толщиной примерно в одну десятую дюйма. Таковую же толщину имеет пасхальный кролик из шоколада. Но перед нами — пасхальный кролик высотой 151 фут, который противостоит ветру, снегу, проливным дождям, соленым брызгам, расширению и сжатию металла на солнце и в мороз и тысяче других испытаний.

Раньше перед инженерами никогда не вставало таких проблем, и Эйфель решил их самым оригинальным из всех возможных способом, соорудив «скелет» из стропильных ферм, на который надели, как костюм, медную «кожу». Эйфель совершенно не думал о том, что такая техника может использоваться и в более традиционных архитектурных проектах, однако его решение ознаменовало изобретение каркасной конструкции — самой важной строительной новации XIX века, которая сделала возможным возведение небоскребов. Строители первых чикагских высоток независимо от Эйфеля изобрели каркасную конструкцию, но все же Эйфель был первым. Способность металлической «кожи» скручиваться под давлением — предтеча идеи крыльев самолета, появившаяся задолго до того, как человечество всерьез задумалось о полетах. Статуя Свободы — настоящий шедевр инженерии, но об этом почти никто не задумывается, ибо все

хитроумные инженерные механизмы прячутся под одеждами статуи.



*Рис. 10. Эйфелева башня в процессе строительства. Париж, 1888 г.*

Эйфель не был человеком тщеславным, но в своем следующем большом проекте позаботился о том, чтобы публика убедилась в его ключевой роли в изобретении нового подхода к архитектуре — каркасного строительства. Путевку в жизнь этому сооружению дала Парижская выставка 1889 года. Как обычно бывает, организаторы искали какой-нибудь «гвоздь программы» и принимали предложения и проекты. Около сотни было отклонено, в том числе и проект гильотины высотой 900 футов, который должен был отметить непревзойденный вклад Франции в дело смертной казни. Проект Эйфеля казался многим парижанам почти столь же

нелепым. Они не видели смысла в установке огромной, никому не нужной железной башни в центре города.

Эйфелева башня была не просто самой высокой из всех когда-либо возведенных построек, это была и самая высокая из всех бессмысленных построек. Не дворец, не гробница и не храм, она даже не имела целью почтить какого-либо павшего героя. Эйфель отважно настаивал на том, что у его башни будет много практических применений — из нее получится отличный военный наблюдательный пункт, а на верхних площадках можно проводить полезные эксперименты по аэронавтике и метеорологии — но в конце концов даже он признал, что двигало им просто странное желание соорудить нечто по-настоящему высокое.

Многие художники и писатели не приняли проект. Группа видных деятелей культуры, включавшая Александра Дюма, Эмиля Золя, Поля Верлена и Ги де Мопассана, составила длинное возмущенное письмо, протестуя против «дефлорации Парижа». По их словам, «когда иностранцы придут смотреть нашу выставку, они удивленно воскликнут: «Ничего себе! Франция создала этот кошмар словно в насмешку над своим хваленым вкусом!»» «Эйфелева башня, — продолжали они, — это гротеск, заказное изобретение станкостроителя». Эйфель воспринимал эти оскорбления с веселой невозмутимостью, замечая при случае, что один из недовольных — это архитектор Шарль Гарнье, член комиссии, которая сначала одобрила башню.

В законченном виде Эйфелева башня кажется такой единой и цельной, такой идеальной, что трудно представить себе, насколько это сложный ансамбль, насколько чудовищно сложной была подгонка 18 000 отдельных деталей, соединившихся вместе только благодаря инженерному гению Эйфеля. Представьте себе: одна первая платформа уже имеет высоту 15-этажного дома. Опоры башни устремляются к этой опоре, наклоняясь внутрь под углом 54 градуса. Ясно, что они рухнули бы, если бы не удерживающая их платформа, которая, в свою очередь, и сама не устояла бы, не опираясь она на четыре опоры.

В единстве все части работают безупречно, а по отдельности они не смогли бы работать вообще. Таким образом, первая задача Эйфеля состояла в том, чтобы каким-то образом удержать четыре огромные, высокие и тяжелые опоры башни в наклонном положении, под правильным углом, не дав им упасть, а затем, в нужный момент, водрузить на них тяжелую платформу.

Отклонение всего на одну десятую градуса привело бы к тому, что верхняя часть опоры сместилась бы на целых полтора фута, и исправить

это было бы уже нельзя: пришлось бы разбирать и заново собирать всю конструкцию. Эйфель придумал следующую хитроумную уловку: поставил каждую опору в гигантский контейнер, наполненный песком. Потом, когда работа над опорами была почти завершена, песок стали очень аккуратно спускать из контейнеров, одновременно следя за тем, чтобы опоры встали под нужным углом. Эта система сработала идеально.

Однако это было только начало. Над первой платформой нависла другая, основу которой составляли восемь квадратных футов железа, сделанных из пятнадцати тысяч деталей; каждую из них надо было укрепить на еще большей высоте. Допуски в некоторых местах равнялись всего одной десятой миллиметра. Наблюдатели были убеждены, что башня не выдержит собственного веса. Один профессор математики испещрил лихорадочными вычислениями толстую стопку бумаги и объявил, что, когда башня станет на две трети выше, опоры разъедутся и вся конструкция с яростным скрежетом рухнет на землю, уничтожив все здания в округе. Но фактически Эйфелева башня оказалась довольно легкой — всего 9500 тонн: как-никак, ее ажурный силуэт наполнен в основном воздухом. Чтобы поддерживать ее вес, потребовался фундамент всего семи футов глубиной.

Больше времени было потрачено на проектирование Эйфелевой башни, чем на ее строительство, которое заняло около двух лет и вполне уложилось в рамки бюджета. На строительной площадке присутствовало одновременно всего 130 рабочих, и во время ее возведения никто не погиб, что было в то время огромным достижением для такого большого проекта. До постройки небоскреба Крайслер-билдинг в Нью-Йорке в 1930 году башня будет оставаться самым высоким зданием в мире. Несмотря на то, что к 1889-му железо повсюду заменяли сталью, Эйфель отверг этот материал: он всегда работал с железом и со сталью чувствовал себя неуверенно. По иронии судьбы, самое грандиозное здание, когда-либо воздвигнутое из железа, оказалось и последним.

В XIX веке Эйфелева башня была, возможно, самым грандиозным, однако не самым дорогим строением. Одновременно с Эйфелевой башней за две тысячи миль от Парижа, у предгорий Аппалачского хребта в Северной Каролине, строился еще более дорогостоящий проект — огромный частный дом. На его возведение уйдет вдвое больше времени, чем на постройку Эйфелевой башни, потребуется вчетверо больше рабочих, и вся стройка обойдется втрое дороже, хотя жить в нем будут всего двое — хозяин и его мать. Дом под названием Билтмор был (и остается) самым крупным частным домом, когда-либо построенным в

Северной Америке. Ни один другой факт не говорит лучше о тенденциях в экономике конца XIX века, чем появление в Новом Свете домов, превосходивших размерами самые большие дворцы Старого Света.

В Америке 1889 года был в самом разгаре период сибаритства, известного как «позолоченный век». С 1850 по 1900 год в Америке резко взлетели вверх все показатели богатства, производительности и процветания. За этот период население страны утроилось, а бюджет увеличился в тринадцать раз. Объем промышленного производства поднялся с 13 000 тонн в год до 11,3 миллиона. Экспорт металлической продукции всех видов: пушек, рельсов, труб, котлов, станков всех назначений — вырос с 6 до 120 миллионов долларов. Число миллионеров, которых в 1850 году было меньше двадцати человек, к концу века достигло 40 000.

Европейцы следили за американскими промышленными успехами с изумлением, затем с оторопью и наконец с неприкрытой тревогой. В Британии развернулось Национальное движение по повышению эффективности, идея состояла в том, чтобы вернуть Британии тот бойцовский дух, который некогда сделал ее великой державой. Книги с названиями вроде «Американские оккупанты» и «Американская коммерческая оккупация Европы» продавались нарасхват. И это было только начало.

К началу XX века Америка производила больше стали, чем Германия и Британия вместе взятые, — обстоятельство, которое еще полвека назад показалось бы немислимым. Европейцев особенно раздражало то, что почти все технологические открытия в производстве стали были сделаны в Европе, а выпускала сталь Америка. В 1901 году Джей Пи Морган поглотил и слил множество более мелких компаний в могущественную *US Steel Corporation* — самую мощную из всех когда-либо виденных светом бизнес-империй. Ее стоимость — 1,4 миллиарда американских долларов — превышала стоимость всей земли в Соединенных Штатах к западу от Миссисипи и была вдвое больше, чем американский федеральный бюджет, если судить по ежегодным отчетам.

Промышленный успех Америки произвел на свет плеяду финансовых магнатов: Рокфеллеры, Морганы, Асторы, Меллоны, Фрики, Карнеги, Гульды, Дюпоны, Бельмонты, Гарриманы, Хантингтоны, Вандербильты и многие другие купались в неистощимом богатстве. Джон Рокфеллер зарабатывал в год 1 миллиард долларов в пересчете на наши деньги и при этом не платил подоходного налога. Да и никто не платил, потому что в Америке его еще не существовало. В 1894 году Конгресс пытался ввести

двухпроцентный подоходный налог на доход свыше 4000 долларов, но Верховный суд объявил это антиконституционным; подоходный налог появился в жизни американцев только в 1914 году. Люди еще никогда не были так богаты.

Потратить свои деньги стало для многих богатых людей не такой уж легкой задачей. Почти все, что делали миллионеры, отдавало отчаянным безрассудством и вульгарностью. На одном нью-йоркском званом обеде гости обнаружили стол, засыпанный горой песка, и у каждого прибора — маленькую золотую лопаточку. После определенного сигнала следовало начать рыться в песке в поисках бриллиантов и прочих драгоценных камней. На другой вечеринке — пожалуй, самой нелепой на свете — в бальный зал огромного и респектабельного ресторана «Шеррис» ввели и привязали к столикам несколько дюжин лошадей с копытами, подбитыми мягкой тканью, чтобы гости, одетые ковбоями, смогли предаться совершенно бессмысленному удовольствию — пообедать в нью-йоркском ресторане, сидя верхом на лошади.

Многие вечеринки стоили десятки тысяч долларов. 26 марта 1883 года миссис Вандербильт побила все рекорды, закатив вечеринку за 250 000 долларов, но, рассудительно заметила *The New York Times*, таким шикарным образом было отмечено окончание поста. В те дни газету было легко ослепить блеском роскоши, и *Times* отвела 10 000 слов на безудержно восторженный и подробный рассказ об этом событии. На эту вечеринку миссис Корнелиус Вандербильт нарядилась в костюм с электрическими лампочками, и, наверное, это был единственный случай в жизни этой миллионерши, когда про нее можно было сказать: «так и сияет».

Американские нувориши часто ездили в Европу и скупали там предметы искусства, мебель и вообще все, что можно было упаковать в ящики и отвезти на корабле домой. Генри Клэй Фолджер, президент нефтяной компании *Standard Oil* (и дальний родственник династии кофейных магнатов Фолджеров) начал собирать первые издания Уильяма Шекспира, скупая их, как правило, у бедствующих аристократов, и в конце концов собрал примерно треть имеющихся в мире изданий рукописей, которые сегодня являют основу Шекспировской библиотеки Фолджера в Вашингтоне, округ Колумбия.

Другие, например Генри Клэй Фрик и Эндрю Меллон, собрали великие коллекции произведений искусства, причем подчас покупали все, что попадало под руку, без разбора. Так, газетный магнат Уильям Рэндольф Херст, коллекционировавший драгоценности, собрал их так много, что ему пришлось арендовать для их хранения два склада в Бруклине. Очевидно,

Херст и его супруга были не самыми разборчивыми покупателями: когда он сказал ей, что только что приобретенный им валлийский замок раньше принадлежал норманнам, она, по свидетельству очевидцев, спросила: «Это из каких Норманов?»

Новоиспеченные миллионеры начали коллекционировать не только предметы европейского искусства, но и... самих европейцев. В последней четверти XIX века стало модным знакомиться с аристократами и выдавать за них замуж своих дочерей. Ни много ни мало пятьсот богатых молодых американок вступили в такие союзы. Почти в каждом случае это был не столько брак, сколько сделка.

За Мэй Джоэле, наследницей 12,5 миллиона долларов, ухаживал капитан Джордж Холфорд, который тоже был весьма богат и имел три огромных дома. «К сожалению, — грустно писала она домой, — у моего любимого нет титула». Мэй вышла замуж за герцога Роксбурга и всю жизнь была несчастлива, зато имела впечатляющий титул.

Лорд Керзон женился на двух американках (разумеется, поочередно). Восьмой герцог Мальборо женился на Лили Хаммерсли, американской вдове, которая была не слишком привлекательна внешне (одна газета описала ее как «плохо одетую усатую даму»), но зато сказочно богата, а девятый герцог пошел под венец с Консуэло Вандербильт, вполне симпатичной владелицей железнодорожных акций на сумму в 4,2 миллиона долларов. Между тем его дядя, лорд Рэндольф Черчилль, взял себе в жены американку Дженни Джером, которая принесла семье не так много денег, зато произвела на свет Уинстона Черчилля. К началу XX века 10 % всех британских аристократических браков заключались с американцами — необычно большая цифра.

У себя на родине новые американские богачи строились с большим размахом. Самыми грандиозными были жилища Вандербильтов. В одном лишь Нью-Йорке у них имелось десять особняков на Пятой авеню. Один такой особняк насчитывал 137 комнат, что делало его одним из крупнейших городских домов всех времен. Однако за городом у Вандербильтов имелось еще больше роскошных, практически дворцовых построек, в частности в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Хозяева называли свои ньюпортские дома «коттеджами» — и это, пожалуй, единственный пример остроумия этого семейства миллиардеров.

Это были такие большие здания, что даже прислуге требовалась прислуга. Акры мрамора, огромные сверкающие люстры, гобелены размером с теннисный корт, мелочи, щедро украшенные серебром и золотом. Было подсчитано, что сегодня постройка «Брейкерс» — одного из

особняков Вандербильтов в Ньюпорте — обошлась бы в полмиллиарда долларов: весьма круглая сумма для «летнего домика». Показная роскошь и стремление пустить окружающим пыль в глаза вызвали столь широкое неодобрение, что сенатский комитет одно время всерьез рассматривал вопрос о принятии закона, лимитирующего стоимость частного дома.

Архитектор, разработавший большинство этих построек, Ричард Моррис Хант, вырос в Вермонте, был сыном конгрессмена, но в девятнадцать лет уехал в Париж изучать архитектуру в Школе изящных искусств и в итоге стал первым дипломированным американским архитектором. Он был симпатичным человеком, «самым красивым американцем в Париже», как замечает один мемуарист, но до 1881 года, когда ему было уже далеко за пятьдесят, его карьера, успешная и респектабельная, была все же несколько скучноватой. Типичный проект Ханта — эскизы для постамента статуи Свободы, дело вполне прибыльное, но прославиться им нельзя. Потом Хант обнаружил, что в Америке существуют миллионеры, в частности Вандербильты.

Вандербильты были богатейшей семьей страны. Их империю, основанную на железных дорогах и судостроении, возглавлял Корнелиус Вандербильт, «грубый мужлан, тупица, жующий табак», по отзыву одного из современников. Корнелиус Вандербильт требовал, чтобы его величали Коммодор, хотя не имел никакого морского звания. Он мало разбирался в искусстве и науках, зато у него был просто сверхъестественный дар делать деньги. Одно время он лично контролировал около 10 % всех денег, обращающихся в Соединенных Штатах. Вандербильты владели примерно двадцатью тысячами миль железнодорожных линий и большинством идущих по ним поездов. Это приносило столько денег, что семья не знала, куда их девать.

Ричард Моррис Хант стал тем человеком, который помог им потратить свое состояние и сделал это лучше и элегантней всех. Он построил для Вандербильтов шикарные дома на Пятой авеню в Нью-Йорке, в Бар-Харбор, штат Мэн, на Лонг-Айленде и в Ньюпорте. Даже семейный мавзолей на Статен-Айленде стоил 300 000 долларов — столько же, сколько хороший большой особняк. Какие бы архитектурные идеи ни приходили в их головы, Хант был тут как тут и уже воплощал мечты своих клиентов в жизнь.

Оливер Бельмонт, муж Альвы Вандербильт, безумно любил лошадей. Он попросил Ханта спроектировать для него особняк с пятьюдесятью двумя комнатами, замок Белькорт, в котором весь первый этаж был занят конюшней: Бельмонт проезжал в своей карете через массивные парадные

двери прямо в дом. Лошадиные стойла были облицованы тиком и отделаны серебром. Жилые комнаты располагались наверху.

В одном из многочисленных особняков Вандербильта уголок для завтрака украшала картина Рембрандта. В особняке «Брейкере» детский игровой домик был больше размером и лучше обставлен, чем обычные дома обычных людей; там имелись шнуры для вызова прислуги, соединенные с главным зданием: вдруг дитяти захочется попить, перекусить или у него развяжутся шнуры.

Вандербильты стали такими могущественными, что им сходило с рук все, даже убийство. Реджи Вандербильт, сын Корнелиуса и Элис Вандербильт, славился своей безрассудной манерой вождения автомобиля (а также наглостью, ленью и тупостью); в Нью-Йорке он пять раз сбивал пешеходов. Двое из пострадавших погибли, третий на всю жизнь остался калекой, а Реджи так и не привлекли к судебной ответственности за эти преступления.

Единственный член семьи, который, кажется, не страдал экстравагантностью и не вызывал отвращения у окружающих, — это Джордж Вашингтон Вандербильт. Он был робким и тихим, причем до такой степени, что люди порой принимали его за умственно отсталого. На самом деле Джордж был очень образован и говорил на восьми языках. Уже став совершеннолетним, он продолжал жить с родителями и занимался переводами современной американской литературы на древнегреческий, а греческой — на английский. В его коллекции было свыше двадцати тысяч книг — это была, пожалуй, самая большая частная библиотека в Америке. Когда Джорджу было двадцать три, его отец умер, оставив после себя состояние в 200 миллионов долларов. Джордж унаследовал десять из них — вроде бы не слишком много, однако на нынешние деньги это получится примерно 300 миллионов.

В 1888 году он решил наконец построить собственный дом, купил 130 000 акров укромной лесистой территории в Северной Каролине и поручил Ричарду Моррису Ханту построить «нечто уютное, в стиле французского шато, только, конечно, побольше и с современным водопроводом». В результате появился особняк Билтмор — почти копия замка Блуа, великолепное здание из индианского известняка, в 250 комнат, с фасадом длиной 780 футов и прилегающим участком в 5 акров. Билтмор до сих пор остается самым большим жилым домом, когда-либо возведенным в Америке. Для его строительства Вандербильт нанял тысячу рабочих и платил им в среднем по 90 центов в день.

Он наполнил Билтмор самыми лучшими из произведений Европы, а в

конце 1880-х в Европе можно было купить практически все: гобелены, мебель, классические произведения искусства. Размах Вандербильта напоминал, а в некоторых случаях даже перекрывал маниакальные излишества Уильяма Бекфорда в Аббатстве Фонтхилл. Обеденный стол был рассчитан на семьдесят шесть персон. Высота потолка составляла семьдесят пять футов. Жить в таком доме было не менее уютно, чем в зале ожидания крупного железнодорожного вокзала.

Для обустройства участка Вандербильт привез стареющего Лоу Олмстеда, автора нью-йоркского Центрального парка. Тот убедил Вандербильта превратить большую часть поместья в экспериментальный лесопарковый участок. Министр сельского хозяйства Джулиус Стерлинг Мортон удивлялся тому, что для ухода за своей землей Вандербильт нанял больше специалистов и расходовал больше средств, чем целое федеральное министерство.

Дороги поместья имели общую протяженность в двести миль. Там был даже маленький городок со школой, больницей, церковью, железнодорожным вокзалом, банком и магазинами — для обслуживания двух тысяч работников поместья и их семей. Работники жили вполне обеспеченно, но в почти феодальных условиях, с массой ограничений. К примеру, им не разрешалось держать собак.

Чтобы финансово поддержать поместье, Вандербильт разрешил рубить лес, а многочисленные фермы, принадлежавшие ему, производили на продажу фрукты, овощи, молочные продукты, яйца и мясо. Он занимался также производством и обрабатывающей промышленностью.

Джордж намеревался проводить в Билтморе вместе с матерью по несколько месяцев в году, но она умерла вскоре после того, как дом был окончательно достроен, и Вандербильт поселился там в полном и абсолютном одиночестве. В 1898 году он женился на Эдит Стейвесант Дрессер, которая родила ему единственного ребенка, дочь по имени Корнелия. К этому моменту стало ясно, что поместье терпит экономическое бедствие. Ежегодные убытки составляли 250 000 долларов; Джорджу приходилось постоянно поддерживать его на плаву за счет личного (и стремительно тающего) состояния. В 1914 году он внезапно умер. Его жена и дочь поспешили отделаться от поместья и продали его за столько, за сколько смогли, отказавшись участвовать в его дальнейшей судьбе.

Здесь нам стоит на мгновение остановиться и понять, где мы находимся и почему. Мы в коридоре — так на большинстве архитектурных планов XIX века назывались домовые переходы. Коридор — самое неприятное и мрачное пространство старого пасторского дома, поскольку здесь нет окон и свет проникает сюда лишь через открытые двери соседних комнат. Чуть дальше мы видим дверь, которая раньше наверняка постоянно была закрытой и служила границей, разделявшей дом на хозяйскую половину и территорию прислуги.

Сразу за дверью, возле черной лестницы, имеется стенная ниша, которой не было там, когда дом только построили. Ее явно спланировали для чего-то, чего еще не существовало в 1851 году и что своим появлением радикально изменило мир. Мы и пришли-то сюда отчасти из-за этой ниши.

Если, читая предыдущие страницы, вы задались вопросом: какое отношение имеет богатство американцев «позолоченного века» к коридору на первом этаже старого дома в английской глубинке, отвечаю: большее, чем вы думаете. Начиная именно с того времени, вектор современной жизни все чаще определялся американскими событиями, американскими изобретениями, американскими интересами и потребностями. Европейцы удивленно и немного обескураженно разводили руками: американцы делали такие вещи, о которых раньше никто и не слыхивал.

Они были, прежде всего, так вдохновлены идеей прогресса, что изобретали вещи, не имея никакого понятия о том, найдут ли эти предметы какое-то применение в жизни. Абсолютной квинтэссенцией этого явления был Томас Эдисон. Он просто изобретал, без явной надобности или цели. Вообще Эдисон был очень успешен: к 1920 году, согласно подсчетам, те отрасли промышленности, которые использовали его бесконечные изобретения и усовершенствования, в целом приносили доход в 21,6 миллиарда долларов.

Однако Эдисон совершенно не умел определять, какие из его интересов экономически выгодны. Он просто убедил себя, что все его изобретения приносят деньги. Но по большей части это было не так, особенно это касается его мечты застроить мир бетонными домами.

Бетон был одним из самых любопытных открытий XIX века. На самом деле в качестве строительного материала он использовался уже очень давно и повсеместно: огромный купол Пантеона в Риме сделан из бетона; собор в Солсбери стоит на бетонном фундаменте, — но настоящий прорыв случился в 1824 году, когда Джозеф Аспдин, скромный каменщик из Лидса, изобрел портландцемент, названный так по аналогии с долговечным и красивым камнем, добываемым в Портленде.

Портландцемент намного превосходил по своим качествам все существовавшие на тот момент связующие материалы. Он даже был более гидроустойчивым, чем романцемент преподобного Джеймса Паркера. Как Аспдин получил свой продукт, всегда было загадкой, потому что для его производства требовались очень точно рассчитанные операции, а именно: измельчить известняк до определенной степени, смешать его с глиной определенной влажности и запечь все это при температуре гораздо более высокой, чем дает обычная печь для обжига известняка. Каким образом Аспдин догадался изменить составляющие, а потом понять, при какой именно степени нагрева получится самый прочный и гладкий цемент, — загадка, оставшаяся без ответа, однако он все же как-то это сделал... и стал богачом.

В течение нескольких лет Эдисон увлеченно изучал возможности бетона, а затем пошел ва-банк. Он основал «Эдисон Портленд Семент Компани» и построил огромный завод рядом со Стюартсвиллом, штат Нью-Джерси. К 1907 году Эдисон стал пятым по величине производителем цемента в мире. Сотрудники его лаборатории запатентовали больше четырех дюжин усовершенствованных методов массового изготовления качественного цемента. С помощью цемента Эдисона были построены стадион «Янкиз» и первое в мире скоростное бетонное шоссе, но изобретателя не покидала идея массового строительства домов из бетона.

План был таков: сделать опалубку целого дома и залить в нее бетон непрерывным потоком, формируя не просто стены и полы, но и детали каждого помещения — ванны, туалеты, раковины, шкафы, дверные косяки, даже рамы для картин. Не считая некоторых мелочей, таких как двери и электрические выключатели, все будет сделано из бетона. Стены можно даже сразу делать определенных оттенков, предлагал Эдисон, чтобы больше никогда их не красить. По его подсчетам, бригада из четверых человек может строить по одному новому дому в два дня и продаваться эти дома будут за 1200 долларов, что примерно втрое меньше стоимости обычного дома того же размера.

Это была безумная и совершенно несбыточная мечта. Ее осуществлению мешали серьезные технические проблемы. Опалубки — разумеется, величиной с сам дом — были до нелепого громоздкими и сложными, но главной проблемой оказалось их наполнение. Бетон — это смесь цемента, воды и других составляющих, в том числе гравия, который в жидком растворе, естественно, норовил осесть на дно. Перед инженерами Эдисона стояла сложная задача: создать раствор достаточно жидкий, чтобы он мог затечь во все уголки опалубки, и при этом достаточно густой, чтобы

его составляющие, вопреки законам гравитации, оставались во взвешенном состоянии, а застывая, образовывали привлекательную гладкую поверхность — у людей не должно было возникнуть ощущения, будто они покупают не дом, а бункер. Это была смелая и, как выяснилось, невыполнимая задача. Даже если бы все проблемы были решены, то, согласно расчетам инженеров, небольшой дом весил бы 450 000 фунтов, а при таком весе возможны любые структурные деформации.

Все это плюс угроза перепроизводства (которую создал как раз собственный огромный бетонный завод Эдисона) говорило, что Эдисону будет нелегко заработать на этом предприятии. Производство цемента — трудное дело, к тому же товар это сезонный. Но Эдисон не отступал и спроектировал несколько видов бетонной мебели: комоды, кухонные шкафы, стулья, даже бетонное пианино, — которая должна была поставляться вместе с его бетонными домами.

Он обещал разработать двуспальную кровать, которая будет служить вечно, а стоить всего 5 долларов. Весь ассортимент планировалось представить на нью-йоркской выставке цементной промышленности в 1912 году. Когда эта выставка открылась, стенд Эдисона был пуст. Никто из компании Эдисона так и не объяснил, в чем дело. После этого про бетонную мебель больше никто не слышал. Насколько известно, Эдисон никогда не обсуждал этот вопрос.

В конце концов несколько бетонных домов все же было построено, некоторые из них до сих пор стоят в Нью-Джерси и Огайо, но идея не прижилась, и бетонные жилые дома стали одним из самых убыточных и неудачных проектов Эдисона. Это еще раз говорит нам о том, что Эдисон прекрасно умел изобретать вещи, но совершенно не мог оценить их практического потенциала.

Ему, например, так и не удалось разглядеть возможности фонографа как средства для развлечений; он видел в нем лишь прибор для диктовки и записи голосов (он называл его «говорящей машиной»). В течение ряда лет он отказывался признать, что будущее движущихся картинок — это проецирование изображений на экран: его приводила в бешенство мысль, что их может свободно увидеть человек, пробравшийся в кинозал без билета. В течение долгого времени Эдисон держал эти картинки внутри ручных кинетоскопов. А в 1908 году он уверенно заявил, что у самолетов нет будущего.

После дорого обошедшихся ему неудач с цементом Эдисон переключился на другие изобретения, тоже оказавшиеся либо непрактичными, либо безрассудными. Он интересовался военной техникой

и утверждал, что скоро сумеет вызывать массовые обмороки во вражеских войсках с помощью «электрически заряженных распылителей». Он также разработал проект гигантских электромагнитов, которые могли бы на лету ловить вражеские пули и посылать их обратно по той же траектории. Он придумал универсальный торговый автомат: покупатель просовывает монеты в прорезь и через мгновение получает из лотка упаковку с углем, картошкой, луком, гвоздями, шпильками для волос и прочими необходимыми вещами.

И вот теперь мы снова подходим к той самой нише в стене и к предмету, который в ней когда-то стоял, — телефону. Когда в 1876 году Александер Грэм Белл изобрел телефон, никто, в том числе и сам Белл, не осознавал в полной мере, какие возможности таит в себе это изобретение. Многие вообще не видели в телефоне ничего полезного.

Руководители телеграфной компании «Вестерн Юнион» отвергли новинку, обозвав ее «электрической забавой», поэтому Белл продолжил работу независимо и, мягко говоря, сильно в этом преуспел. Патент Белла №174465 стал самым ценным патентом из всех когда-либо одобренных. На самом деле Белл не сделал ничего особенно выдающегося: просто соединил существующие технологии. Компоненты, необходимые для изготовления телефона, существовали уже тридцать лет, и принципы его работы были понятны. Проблема заключалась не столько в том, чтобы заставить голос передаваться по проводам — дети давно умели это делать с помощью двух консервных банок и длинной веревки, — сколько в том, чтобы усилить этот голос так, чтобы он был хорошо слышен на расстоянии.

В 1861 году немецкий школьный учитель Иоганн Филипп Рейс изготовил устройство-прототип и даже дал ему имя «телефон», поэтому немцы, естественно, приписывают это изобретение себе. Однако телефон Рейса не умел делать одного, а именно — работать. Он посылал лишь очень простые сигналы — щелчки и небольшой набор музыкальных тонов, причем не настолько эффективно, чтобы явно превзойти телеграф. По иронии судьбы, позже обнаружилось, что, если контакты устройства Рейса покрыть пылью или грязью, они с поразительной точностью воспроизводят человеческую речь.

К сожалению, Рейс с типично немецкой педантичностью всегда содержал свое оборудование в безупречной чистоте и умер, так и не узнав, как близко он подошел к изобретению полезного и работающего инструмента. По меньшей мере еще трое исследователей, в том числе американец Элайша Грей, независимо занимались разработкой телефона в тот момент, когда в бостонской лаборатории Белла был сделан решающий

прорыв. Вообще говоря, Грей подал ходатайство о том, чтобы патент пока не выдавали другому лицу, — в попытке удержать за собой право на изобретение, которое еще не было доведено до совершенства, — в тот же самый день, когда Белл подал заявку на свой патент; к несчастью для Грея, Белл опередил его на несколько часов.

Белл родился в 1847-м, в том же году, что и Томас Эдисон, и вырос в Эдинбурге, но в 1870-м вместе с родителями эмигрировал в Канаду, отчасти из-за семейной трагедии: два его брата практически один за другим — с разницей в три года — умерли от туберкулеза<sup>[67]</sup>. Его родители обосновались на ферме в Онтарио, а сам Белл получил место профессора физиологии вокала в недавно основанном Бостонском университете — довольно странное назначение, так как он никогда не изучал физиологию вокала и не имел университетской степени. В сущности, все, что у него было, это живой интерес к средствам коммуникации и давняя семейная связь с этой сферой: его мать была глухой, а отец считался мировым экспертом по риторике и красноречию — и это в те времена, когда ораторское искусство вызывало в людях благоговейный трепет. Книга Белла-старшего «Обычный преподаватель красноречия» незадолго до этого разошлась тиражом в 250 000 экземпляров только в одних Соединенных Штатах.

Как бы то ни было, положение Белла в Бостонском университете было совсем не таким замечательным, как может показаться. Он преподавал всего пять часов в неделю и получал жалованье в 25 долларов. По счастью, Белла это устраивало: высвобождалось время для его занятий экспериментальной работой.

Белл искал способы усилить звук с помощью электричества, чтобы помочь тугоухим людям. Вскоре ему пришло на ум, что этот прибор может также использоваться для передачи голосовых сообщений на дальние расстояния и служить, по его собственному выражению, «говорящим телеграфом». Он нанял в качестве ассистента молодого человека, которого звали Томас Уотсон. В начале 1875 года они вдвоем рьяно взялись за дело. Всего год спустя, 10 марта 1876 года, через неделю после двадцать девятого дня рождения Белла, наступил самый знаменательный момент в истории телекоммуникаций. Это случилось в маленькой лаборатории по адресу: Эксетерплейс, 5. Белл случайно расплескал себе на колени какую-то кислоту и с досадой проворчал:

— Мистер Уотсон, идите-ка сюда, вы мне нужны.

Потрясенный Уотсон, который находился в другой комнате, ясно услышал эти слова.

Как бы то ни было, именно такую историю рассказывал сам Уотсон через пятьдесят лет, на юбилейных торжествах по случаю изобретения телефона. Белл, умерший за четыре года до юбилея, никому никогда не рассказывал про кислоту. Да и странно, если вдуматься: человек выливает на себя кислоту и, наверняка испытывая сильную боль, спокойно, не повышая голоса, зовет на помощь.

Более того, учитывая примитивность аппарата, Уотсон мог бы расслышать слова Белла только в том случае, если бы приложил ухо к резонирующей пластине, но вряд ли он постоянно держал ее возле уха. Мы не знаем, как все было на самом деле, но записи Белла подтверждают, что он действительно позвал Уотсона и что Уотсон, находившийся в соседней комнате, четко расслышал его просьбу подойти. Так был сделан первый в истории телефонный звонок.

Уотсон заслуживает отдельного упоминания. Он родился в Салеме, Массачусетс, в 1854 году, через семь лет после того, как в Шотландии родился Белл; закончил школу в четырнадцать лет и работал на различных малозначимых работах, пока не поступил к Беллу. Двоих мужчин связывали глубочайшее уважение и симпатия друг к другу, хотя они, несмотря на полувековую дружбу, так никогда и не стали обращаться друг к другу по имени (только «мистер Уотсон» и «мистер Белл»).

Трудно сказать точно, насколько важную роль сыграл Уотсон в изобретении телефона, но он был явно куда больше, чем просто ассистентом. За те семь лет, что он работал с Беллом, он зарегистрировал на свое имя шестьдесят патентов, в том числе на телефонный звонок — примечательно, что в самом начале телефонизации, чтобы узнать, не пытается ли кто-то с вами связаться, надо было время от времени снимать телефонную трубку и проверять, нет ли кого-то на том конце провода.

Для большинства людей телефон был такой непостижимой новинкой, что Беллу приходилось с доскональной точностью объяснять его возможности. Он писал:

*Телефон можно вкратце назвать электрическим прибором для передачи в различные места интонаций и артикуляции голоса говорящего. Разговоры могут происходить словесно с помощью рта между людьми, находящимися в разных комнатах, на разных улицах или в разных городах... Огромное преимущество, которое имеет телефон по сравнению со всеми другими формами электрических аппаратов, состоит в том, что он не требует особых навыков в обращении.*

Телефон, показанный на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году, привлек мало внимания. Большинство посетителей гораздо больше впечатлила электрическая ручка, изобретенная Томасом Эдисоном. Ручка быстро пробивала отверстия на листе бумаги, образуя строки из букв на манер трафарета; на лежащий под трафаретом лист бумаги впрыскивались чернила, и в считанные минуты получалось множество копий одного документа.

Эдисон, как всегда заблуждавшийся, был убежден, что данное изобретение «превзойдет телеграфию». Разумеется, этого не случилось, зато идея ручки, быстро пробивающей отверстия, со временем была переосмыслена в виде тату-машинки.

Что касается телефона, Белл упорствовал в его продвижении и постепенно добился своего. В 1877 году в Бостоне заработала первая телефонная система, которая позволяла установить трехстороннюю связь между двумя банками (любопытно, что один из них назывался «Банк обуви и кожи») и еще одной частной компанией. К июлю того же года в городе функционировало уже двести телефонных аппаратов, а к августу их число резко увеличилось — до 1300, хотя по большей части это была двусторонняя связь в пределах организаций — скорее интеркомы, чем полноценные телефоны. Настоящим прорывом стало изобретение в следующем году коммутатора. Теперь любой пользователь телефона мог разговаривать с любым другим пользователем телефона в том же районе; вскоре таких абонентов стало множество. К началу 80-х годов XIX века в Америке работало 60 000 телефонов. Еще через двадцать лет эта цифра превысила 6 000 000.

Первоначально телефоны рассматривались как аппараты, предоставляющие информацию и услуги — прогнозы погоды, новости фондового рынка, сигнал пожарной тревоги, музыкальные развлечения, даже колыбельные для капризных младенцев. Никто даже не думал использовать их для сплетен, деловых переговоров или бесед с друзьями и родственниками. Идея болтать по телефону с людьми, с которыми вы и так постоянно видите, многим казалась абсурдной.

Изобретение основывалось на множестве существующих технологий и к тому же оказалось прибыльным, поэтому немало людей и компаний оспаривали действительность патентов Белла или просто не обращали на них внимания. К счастью для Белла, его тесть Гардинер Хаббард был блестящим юристом. На его счету было шестьсот процессов, и все их он выиграл. Самым крупным делом оказался процесс против огромной монополии «Вестерн Юнион», которая объединилась с Эдисоном и

Элайшей Греем в попытке любыми средствами получить контроль над телефонным бизнесом.

К тому времени компания «Вестерн Юнион» стала краеугольным камнем империи Вандербильтов, а Вандербильты терпеть не могли быть вторыми. У них имелись все преимущества: финансовые ресурсы, существующая проводная сеть, техники и инженеры высочайшего класса, — тогда как на руках у Белла было всего два козыря: патент и Гардинер Хаббард. Хаббард возбудил дело о нарушении патентных прав и меньше чем через год его выиграл.

К началу XX века телефонная компания Белла, переименованная в «Американ Телефон энд Телеграф», стала самой большой корпорацией в Америке с капиталом 1000 долларов за акцию. В 1980-е она стоила больше, чем «Дженерал Электрик», «Дженерал Моторс», «Форд», «Ай-би-эм», «Ксерокс» и «Кока-Кола» вместе взятые, и давала работу одному миллиону человек.

Белл переехал в Вашингтон, принял американское гражданство и посвятил себя полезной деятельности. Среди прочего, он изобрел аппарат для искусственного дыхания и экспериментировал с телепатией. Когда в 1881 году в президента Джеймса А. Гарфилда стрелял озлобленный сумасшедший, Белла пригласили, чтобы он помог определить местонахождение пули. Белл приехал с металлодетектором, который прекрасно работал в лаборатории, но оконфузился в спальне Гарфилда: вскоре стало ясно, что прибор вместо пули обнаружил пружины кровати президента.

Между делом Белл помог основать журнал *Science* и Национальное географическое общество, для журнала которого он писал под примечательным псевдонимом *H. A. Largelamb* (англ. «большой ягненок», анаграмма от *A. Graham Bell*).

Белл был щедр со своим другом и коллегой Уотсоном. Не имея перед ним никаких юридических обязательств, он отдал Уотсону 10 % акций компании, позволив молодому человеку отойти от дел богатым в двадцать семь лет. Имея возможность делать все, что пожелает, Уотсон посвятил остаток жизни путешествиям и чтению, а также получил ученую степень по геологии в Массачусетском технологическом институте.

Со временем он основал судостроительный завод, который быстро разросся и требовал для работы четыре тысячи человек. Однако завод стал для Уотсона источником нежелательных волнений и неожиданных обязательств, поэтому он продал бизнес, обратился в ислам и стал последователем Эдварда Беллами, радикального философа-социалиста и

автора утопических романов; в течение короткого периода в 1880-х годах этот общественный деятель пользовался феноменальной популярностью. Когда Беллами ему надоел, Уотсон перебрался в Англию и стал играть в театре, к чему у него открылся неожиданный талант. Ему особенно удавались роли в пьесах Шекспира; он много раз выступал на родине драматурга, в Стратфорде-на-Эйвоне. Потом вернулся в Америку и стал вести спокойную размеренную жизнь пенсионера. Уотсон умер в 1934 году, довольный и богатый, в своем зимнем доме в Пасс-Грилл-Ки, Флорида, совсем немного не дожив до восьмидесяти одного года.

Говоря о телефоне, стоит упомянуть два других имени. Первое — Генри Дрейфус. Молодой театральный декоратор, чей первый опыт был связан исключительно со сценографией и проектированием интерьеров для кинотеатров, он в начале 1920-х получил задание от компании Белла придумать новый тип телефона взамен существовавшего в то время «телефона-канделябра».

Дрейфус предложил непривычно простой, почти квадратный, элегантный, практически современный аппарат с трубкой, лежавшей в углублении чуть позади большого наборного диска. На протяжении большей части XX века эта модель была стандартной практически во всем мире, и кажется, он был с нами всегда. Не так-то просто вспомнить, что изначально кто-то изобрел этот чудо-аппарат; кто-то спроектировал не только его, но фактически все его элементы: количество реостатов, встроенных в диск, низкий центр тяжести, из-за которого телефон практически невозможно случайно опрокинуть; кто-то подал блестящую идею соединить функции «слушать» и «говорить» в одной трубке — все это придумал человек, не имевший никакого отношения к промышленному дизайну. Почему инженеры компании *AT&T* выбрали для этого проекта юного Дрейфуса, мы не знаем, но это был определенно очень удачный выбор.

Что касается наборного диска, то его спроектировал не Дрейфус, а один из служащих Белла по имени Уильям Дж. Бловелт, у себя дома в 1917 году. Именно он придумал написать по три буквы рядом с цифрами. Первое отверстие осталось без букв, потому что в те времена телефонный диск надо было прокрутить чуть дальше первого окошка, чтобы вызвать сигнал, инициирующий звонок. Последовательность выглядела так: 2 (ABC), 3 (DEF), 4 (GHI) и так далее. Бловелт убрал из алфавита букву «Q», потому что за ней всегда следовала «U», ограничивая ее использование, и в конце концов выбросил «Z»: она употреблялась не так часто.

Каждому коммутатору присвоили имя, обычно связанное с названием

улицы или района, — например, Бенсонхерст, Голливуд, Пенсильвания-авеню, хотя некоторые телефонные станции использовали названия деревьев или других предметов; звонящий просил оператора соединить его с «Пенсильванией 6–5000» (как в песне Глена Миллера) или с «Бенсонхерст 5342». Когда в 1921 году ввели прямой набор, названия были сокращены до двухбуквенных префиксов; появилась традиция писать эти буквы крупным шрифтом: *HOLlywood*, *BEEnsonherst*.

В этой системе была своя прелесть, однако она становилась все менее практичной. Большое количество названий — например, *RHInelander* или *SUcamore* — приводило к путанице, особенно если у человека было плохо с грамматикой. Буквы также затрудняли прямой набор цифр из-за границы: иностранные телефоны не всегда выпускались с буквами, или буквы и цифры там были расположены в другом порядке. Поэтому начиная с 1962 года старую систему набора телефонных номеров постепенно упразднили. Сегодня буквы служат лишь в качестве мнемонической символики, позволяя абоненту лучше запомнить номер: к примеру, BUY-PIZZA (то есть 289-74-992) или FLOWERS (356-93-77).

Что касается нашего пасторского дома, то мы не знаем, когда телефон здесь появился впервые, но его установка наверняка была большим радостным событием для безвестного священника, жившего здесь в начале XX века. Сегодня ниша для телефона пустует. Времена, когда в доме имелся всего один телефонный аппарат и стоял он у подножия лестницы, канули в Лету. Сегодня никому не хочется болтать по телефону в таком неудобном месте.

### III

Для многих американцев новая эра богатства означала возможность предаваться самым странным хобби. Так, Джордж Истмен из фирмы «Кодак», занимавшейся производством пленки и фотокамер, жил в громадном доме в Рочестере, штат Нью-Йорк, со своей матерью, но держал много прислуги, в том числе домашнего органиста, который будил его — и, предположительно, большинство остальных жителей Рочестера — с помощью утреннего концерта, исполняемого на гигантском органе. Еще одна причуда Истмана заключалась в том, что на втором этаже его дома располагалась его личная кухня, где он собственноручно и с удовольствием пек пироги.

Куда более оригинальным оказался Джон М. Лонгйир из Маркетта,

штат Мичиган. Когда он узнал, что железная дорога «Дулут, Месаби энд Айрон-Рейндж» получила право прокладки колеи для транспортировки железной руды мимо его дома, то аккуратно упаковал все свое имущество («дом, кусты, деревья, фонтаны, декоративные пруды, изгороди и подъездные дорожки, домик-сторожку, крытые въездные ворота, теплицы и конюшни», по словам одного восхищенного биографа) и перевез все это в Бруклин, Массачусетс, где возобновил свое спокойное существование, организовав свое новое поместье в точности так же, как предыдущее, вплоть до последней цветочной луковицы, однако без поездов, проходящих под его окнами. На фоне этого поступка пример Фрэнка Хантингтона Биби, который содержал сразу два особняка, стоявших бок о бок (в одном жил, а другой без устали отделявал), уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Что же касается легкомысленной траты денег, то в этом деле всех перещеголяла миссис Стотсбери — или «королева Ева», как ее называли. Однажды она потратила полмиллиона долларов, пригласив друзей на охоту на аллигаторов, целью которой было настрелять столько животных, чтобы можно было сделать из их кожи набор чемоданов и шляпных картонок. В другой раз она поручила полностью сменить декор первого этажа своего флоридского дома «Эль Мирасоль» за одну ночь, вот только забыла сообщить об этом своему многострадальному мужу, который проснулся на следующее утро, спустился вниз и некоторое время не мог понять, где он находится.

Растерянного мужа звали Эдвард Таунсенд Стотсбери, и он заработал себе состояние в качестве управляющего банковской империей Джей Пи Моргана. Он был отличным банкиром, по словам одного мемуариста, «невидимой рукой, выписывающей чеки». Мистер Стотсбери «стоил» 75 миллионов долларов, когда в 1912 году познакомился с миссис Стотсбери — она недавно истощила завещанное ей состояние ее первого мужа, мистера Оливера Итона Кромвеля, и с головокружительной быстротой помогла Эдварду потратить 50 миллионов из его состояния на свои новые дома.

Она начала с Уайтмарш-холла в Филадельфии. Это был такой огромный дом, что репортеры путались в описаниях. По словам одного из них, в доме имелось 154 комнаты, по словам другого — 172, третьего — 272. Зато все сошлись на том, что там было четырнадцать лифтов — больше, чем во многих отелях. Только на содержание этого дома мистер Стотсбери тратил около миллиона долларов в год. Он нанял сорок садовников и девяносто человек другой прислуги.

У супругов Стотсбери был также летний коттедж в Бар-Харборе, штат Мэн, где имелось всего-то восемьдесят комнат и жалких двадцать восемь ванных, и еще более величественный особняк во Флориде, который назывался «Эль Мирасоль».

Проект этого последнего образца экстравагантности принадлежал Эддисону Мизнеру, которого сейчас почти совсем забыли, но который в течение короткого времени считался самым востребованным и необычным архитектором Америки.

Мизнер родился в старой уважаемой семье в Северной Калифорнии. Прежде чем стать архитектором, Эддисон жил крайне необычной жизнью: раскрашивал слайды для проекционных фонарей на островах Самоа, торговал ручками для гробов в Шанхае, продавал азиатский антиквариат богатым американцам, искал золото на Клондайке.

Вернувшись в Соединенные Штаты, он стал ландшафтным архитектором на Лонг-Айленде и наконец занялся архитектурой в Нью-Йорке, однако ему пришлось оставить это дело, когда власти узнали, что он нигде не учился по специальности «архитектор» — «даже не окончил соответствующих курсов», по словам одного удивленного журналиста, — и, разумеется, не имел лицензии. Поэтому в 1918 году он переехал в Палм-Бич, Флорида, где не так придирчиво интересовались квалификацией архитектора, и начал строить дома для очень богатых людей.

В Палм-Бич Эддисон подружился с молодым человеком, которого звали Пэрис Сингер (он был одним из двадцати четырех детей магната швейных машинок Исаака Зингера). Пэрис был художником, эстетом, поэтом, бизнесменом и обладал большим весом в невротическом мире светского общества Палм-Бич. Мизнер спроектировал для него клуб «Эверглейдс», который тут же стал самым недоступным заведением к югу от линии Мейсона — Диксона<sup>[68]</sup>. Вход туда разрешался только тремстам членам клуба, которых Сингер лично и безжалостно отбирал. Так, он изгнал из клуба одну даму, потому что ее смех показался ему раздражающим. Когда ее подруга стала молить его о снисхождении, Сингер сказал ей, чтобы она не лезла не в свое дело, иначе он прогонит и ее. Подруга решила больше ему не докучать.

Мизнер закрепил свой успех, получив от Евы Стотсбери заказ на «Эль Мирасоль», дом поистине необъятных размеров (один лишь гараж вмещал сорок автомобилей). Это строительство могло длиться бесконечно, поскольку каждый раз, когда какой-нибудь другой богач грозился построить в Палм-Бич нечто более грандиозное, миссис Стотсбери просила Мизнера «сделать что-нибудь», чтобы «Эль Мирасоль» остался

непревзойденным.

Тут стоит уточнить, что таких архитекторов, как Эддисон Мизнер, мир еще не видел. Он не верил в чертежи и выдавал растерянным рабочим весьма приблизительные инструкции, употребляя такие выражения, как «примерно такой высоты» и «вот где-то здесь». К тому же Эддисон был печально известен своей рассеянностью. Иногда он пытался установить дверь, которая открывалась бы в глухую стену или, как случилось однажды, прямо в дымоход.

Хозяин симпатичного нового лодочного ангара на озере Уорт вступил во владение заказанным объектом и только потом обнаружил, что у сооружения имеются лишь четыре глухие гладкие стены и ни одной двери. В доме клиента, которого звали Джордж С. Расмуссен, Мизнер забыл построить лестницу, так что пришлось прилаживать ее с внешней стороны, у наружной стены дома. Мистеру и миссис Расмуссен приходилось надевать плащи, если они хотели в дождь перейти с этажа на этаж в собственном доме. Когда Мизнера спросили, как он мог допустить такую оплошность, тот, по слухам, ответил, что ему наплевать и что вообще Расмуссену ему с самого начала не нравились.

Согласно журналу *The New Yorker*, клиентам Мизнера приходилось покорно соглашаться со всеми фантазиями архитектора в отношении их нового дома. Они выдавали ему чек на кругленькую сумму, не беспокоили его год или больше, а по возвращении принимали во владение готовый дом. Они не знали заранее, что это будет — асьенда в мексиканском вкусе, венецианский готический дворец, мавританский замок, а может, дерзкое сочетание всех трех стилей. Мизнер питал особое пристрастие к старинным итальянским палаццо и нарочно «состаривал» собственные творения: просверливал в дереве ручной дрелью искусственные червоточины, портил стены искусственными пятнами — как будто на этом месте разросся какой-нибудь непонятный, но живописный грибок эпохи Возрождения.

Когда его мастера заканчивали делать какую-нибудь добротную вещь — каминную доску или дверную притолоку, — он частенько брал в руки молоток и откалывал угол, чтобы придать изделию дух почтенной старины. Однажды он с помощью негашеной извести и шеллака состарил кожаные кресла в клубе «Эверглейдс». К несчастью, тепло тел гостей до того согрело шеллак, что он стал липким и несколько человек намертво приклеились к сиденьям. «Я всю ночь отдираю светских дамочек от этих проклятых кресел», — вспоминал клубный официант несколько лет спустя.

Несмотря на все странности, Мизнера весьма ценили. Порой он

работал сразу над сотней проектов и, насколько известно, проектировал больше одного здания в день. «Некоторые знатоки, — писал *The New Yorker* в 1952 году, — ставят его «Эверглейдс» в Палм-Бич и его «Клойстер» в Бока-Ратоне в один ряд с самыми красивыми сооружениями Америки». Архитектор Фрэнк Ллойд Райт был восторженным почитателем Мизнера.

С течением лет Эддисон Мизнер становился все более упрямым и эксцентричным. Его видели в магазинах Палм-Бич в одном только домашнем халате и пижаме. Он умер от сердечного приступа в 1933 году.

Биржевой крах 1929 года положил конец эпохе излишеств. Стотсбери пострадал особенно сильно: он умолял жену ограничить траты на развлечения до 50 000 долларов в месяц, но блестящая миссис Стотсбери находила это жестоким посягательством на ее интересы. Мистер Стотсбери был уже на пути к банкротству, когда вмешалось милосердное Провидение и он также почил от сердечного приступа 16 мая 1938 года.

Ева Стотсбери дожила до 1946-го, но, чтобы как-то сводить концы с концами, ей пришлось продавать драгоценности, картины и дома. После ее смерти некий девелопер купил «Эль Мирасоль» и снес его, чтобы застроить участок. После этого были уничтожены еще примерно двадцать домов Мизнера на Палм-Бич — иными словами, большая часть всех его построек.

Особняки Вандербильта, с которых мы начали это исследование, постигла та же печальная участь. Первого из них, построенного в 1883 году на Пятой авеню, не стало уже к 1914 году. К 1947-му снесли все; ни одно из родовых поместий не дождалось второго поколения владельцев.

Примечательно, что из внутреннего убранства этих зданий тоже почти ничего не сохранилось. Когда главу компании по демонтажу зданий Джейкоба Волка спросили, почему он не спас бесценные каминные из каррарского мрамора, мавританскую мозаику, панели времен якобинцев и другие сокровища из резиденции Уильяма Вандербильта на Пятой авеню, он презрительно взглянул на интервьюера и сказал:

— Я не привык возиться с секонд-хэндом.

# Глава 11

## Кабинет

### I

В 1897 году молодой торговец скобяными изделиями из Лидса Джеймс Генри Аткинсон взял маленький кусок дерева и толстую проволоку и создал одно из величайших приспособлений в истории — мышеловку. Она входит в ряд полезных предметов (вместе со скрепкой для бумаги, застежкой-молнией и английской булавкой), изобретенных в конце XIX века и настолько совершенных, что им практически не пришлось меняться с момента их появления на свет. Аткинсон продал свой патент за 1000 фунтов — по тем временам весьма внушительную сумму — и принялся изобретать другие предметы, однако не придумал ничего, что снискало бы ему большие деньги и славу.

Его мышеловка, выпускавшаяся под патентованным названием «Тисочки», продается десятками миллионов штук по всему миру и до сих пор продолжает быстро и с жестокой эффективностью расправляться с мышами. У нас у самих дома есть несколько мышеловок, и мы слышим роковой хлопок гораздо чаще, чем хотелось бы. Зимой два-три раза в неделю мы ловим мышь почти всегда в одном и том же месте, в мрачной маленькой каморке в глубине дома.

Слово «кабинет», конечно, звучит внушительно, но на самом-то деле это просто кладовка, такая темная и холодная (даже летом!), что задерживаться в ней никогда не возникает желания. Это еще одна комната, которой нет на первоначальных чертежах Эдварда Талла.

Скорее всего, мистер Маршем добавил ее, потому что ему нужен был кабинет, где бы он мог писать свои проповеди и принимать прихожан — особенно самых бедных, приходивших к нему в грязной обуви. Жену местного помещика почти наверняка приглашали в более уютную гостиную. В наше время этот кабинет является последним приютом для старой мебели и картин, которые нравятся одному члену семьи, а другой спит и видит, как бы их сжечь на костре. Сейчас мы ходим туда лишь затем, чтобы проверить мышеловки.

Мыши — непростые существа. Прежде всего поражает их

удивительная доверчивость. Ведь они легко учатся находить дорогу в лабораторных лабиринтах, почему же грозный кусочек арахисового масла, выложенный на деревянную дощечку, вызывает у них столь непреодолимое искушение?

Что касается нашего дома, то здесь не менее загадочно их пристрастие и, я бы даже сказал, решимость принять смерть именно здесь, в этой комнате, в этом кабинете — не только самом холодном, но и самом далеком от кухни помещении. А кухню, где всегда можно найти на полу крошки от бисквитов, случайно просыпавшиеся рисовые зернышки и прочие лакомства, мыши обходят стороной (возможно, дело в том, что в кухне спят наши собаки), и мышеловки, поставленные там даже с самой обильной наживкой, не ловят ничего, кроме пыли. наших мышей почему-то неизменно тянет в роковой кабинет, вот почему я решил именно здесь поговорить о некоторых многочисленных живых существах, которые обитают бок о бок с нами.

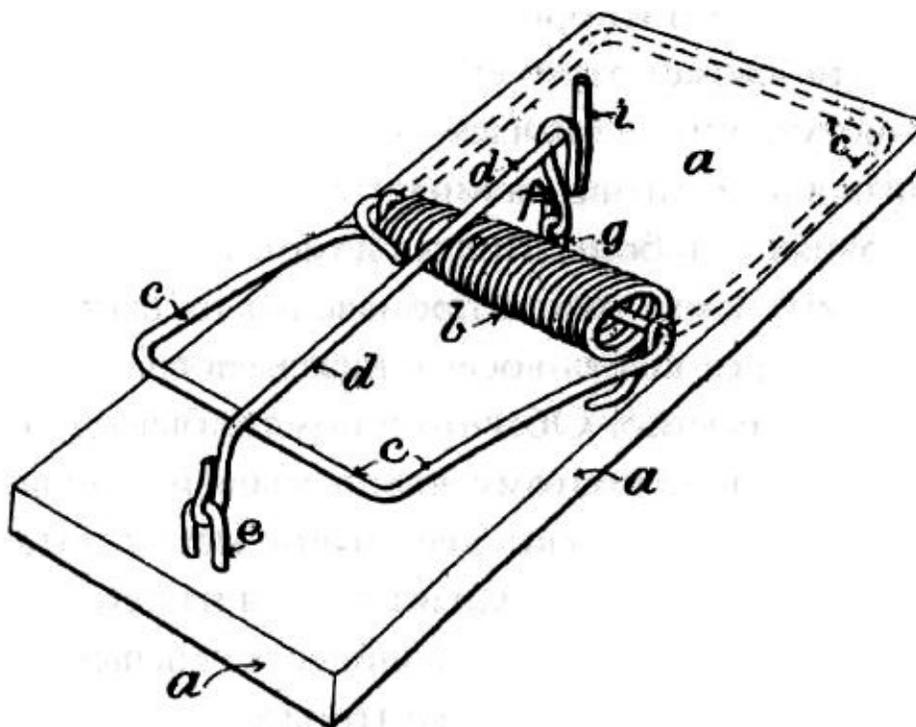


Рис. 11. Чертеж к патенту мышеловки «Тисочки» Джеймса Генри Аткинсона, 1899 г.

Где бы ни жили люди, мыши всегда тут как тут. Ни одно животное не способно выжить в большем количестве помещений, чем мы и они.

Домовая мышь, или, как ее называют ученые, *Mus musculus*, удивительно хорошо приспособляется к среде обитания. Мышей порой можно обнаружить в морозильных камерах мясного цеха, где средняя температура  $-10^{\circ}\text{C}$ . Они почти всеядны, и их практически невозможно выгнать из дома: взрослая особь обычных размеров способна просочиться в отверстие диаметром всего в десять миллиметров (или три восьмых дюйма) — вы наверняка захотите поспорить на деньги, что ни одна взрослая мышь не сможет этого сделать... и проиграете! Они не просто могут, они очень часто это делают.

Попад в дом, мышь начинает плодиться. В оптимальных условиях (а в большинстве домов условия редко бывают иными) самка мыши производит на свет свой первый помет через шесть-восемь недель после рождения и далее — ежемесячно. Обычно в помете бывает от шести до восьми мышат, поэтому число мышей очень быстро прибывает. Теоретически две мыши могут дать жизнь миллионному потомству. Слава богу, в нашем доме такого не бывает, но очень часто количество мышей и впрямь совершенно выходит из-под контроля.

В Австралии, например, в 1917 году случилось знаменитое нашествие этих мелких грызунов. После необычайно теплой зимы город Ласселлс в Западной Виктории был буквально наводнен мышами. В течение короткого, но приснопамятного периода мыши так густо оккупировали Ласселлс, что любая горизонтальная поверхность являла собой кишашую массу их юрких маленьких тел. Горожанам некуда было сесть, кровати были непригодны для сна. «Люди спят на столах, чтобы избежать встречи с мышами, — сообщали газеты. — Женщины пребывают в постоянном страхе, а мужчины то и дело стряхивают с себя мышей, которые норовят забраться за воротники их пальто». Чтобы подавить это восстание грызунов, пришлось уничтожить свыше 1500 тонн мышей — примерно сто миллионов особей.

Даже в относительно небольших количествах мыши могут нанести много вреда, особенно в местах хранения пищевых продуктов. Мыши и другие грызуны уничтожают примерно одну десятую часть американских ежегодных запасов зерна — поразительная цифра! При этом каждая мышь оставляет примерно пятьдесят фекальных шариков в сутки, что тоже приводит к сильному загрязнению. Из-за невозможности добиться идеальных условий хранения в большинстве стран мира гигиенические нормы допускают до двух фекальных шариков на пинту зерна — вспомните об этом, когда в следующий раз увидите перед собой буханку хлеба из цельного зерна.

Мыши — разносчики опасных заболеваний. С этими грызунами и их

фекалиями в первую очередь связаны хантавирусные инфекции (пневмонии и геморрагические лихорадки), которые часто протекают тяжело, а иногда даже кончаются летальным исходом (термин «ханта» происходит от названия реки в Корее, где это заболевание было впервые диагностировано американцами во время Корейской войны).

По счастью, хантавирусные инфекции — довольно редкие заболевания, поскольку немногим из нас случается вдыхать испарения мышинных фекалий, но если вы встанете на четвереньки вблизи от них — например, вам придется ползать на коленях по чердаку или ставить мышеловку в кухонном шкафу, — то во многих странах, где существует эта инфекция, у вас будет риск заражения. В Великобритании, что радует, это заболевание еще ни разу не было зарегистрировано.

Мыши также способствуют распространению сальмонеллеза, лептоспироза, туляремии, чумы, гепатита, сыпного тифа и прочих заболеваний. Словом, есть все основания не принимать мышей у себя дома.

Почти все, что можно сказать про мышей, относится (и в гораздо большей степени) к их сородичам, крысам. Крысы более распространены в наших домах и их окрестностях, чем можно было бы подумать. В современном мире существует две основные разновидности крыс: *Rattus rattus* (они же черные крысы) и *Rattus norvegicus*, или норвежская крыса<sup>[69]</sup>.

Черные крысы любят селиться повыше — в основном на чердаках, — поэтому копошение, которое вы слышите над вашей спальней поздно ночью, увы, скорее всего, не безобидная мышиная возня. По счастью, черные крысы гораздо скромней норвежских. Последние живут в норах, и именно их можно увидеть рыщущими вокруг мусорных баков в безлюдных закоулках и в канализационных системах.

Мы привыкли ассоциировать крыс с нищетой, но крысы — умные животные, они предпочитают обеспеченные дома бедным. Более того, современные дома — это прекрасная среда для крыс. «Высокое содержание белка (а продукты с высоким содержанием этого вещества чаще покупают состоятельные люди) особенно привлекательно для крыс», — написал несколько лет назад Джеймс М. Клинтон, автор отчета для Министерства здравоохранения США. Этот отчет остается одним из самых интересных, хоть и неприятных наблюдений за поведением домашних крыс.

Дело не только в том, что в современных домах полно пищевых продуктов, но и в том, что жители выбрасывают объедки таким образом, что грызуны просто не могут пройти мимо. По словам Клинтона, «нынешний мусор представляет собой обильную и хорошо сбалансированную еду для крыс». Он также подтвердил, что одна из

старейших городских страшилок (гласящая, что крысы попадают в дома через туалеты) на самом деле соответствует действительности. Один раз в Атланте, во время крысиного нашествия, эти мерзкие грызуны заполонили несколько домов в богатом квартале и покусали немало людей. «В некоторых случаях, — отмечает Клинтон, — живых крыс находили в закрытых крышкой унитазах». Неплохой повод всегда закрывать за собой крышку!

Попадая в домашнюю среду, крысы обычно не выказывают страха и «даже нарочно входят в контакт с неподвижными людьми». Они особенно нагленют в присутствии детей и стариков. «В одном известном мне случае крысы напали на беспомощную женщину, пока та спала, — отмечает Клинтон и продолжает: — Жертва, пожилая дама, частично парализованная, истекла кровью от многочисленных крысиных укусов и умерла, несмотря на срочную госпитализацию. Ее 17-летняя внучка, которая в это время спала в той же комнате, осталась невредимой».

Цифры, отображающие количество крысиных укусов, скорее всего, преуменьшены, так как отчеты описывают только самые серьезные случаи, но даже если оперировать самыми скромными цифрами, то в Соединенных Штатах по крайней мере 14 000 человек ежегодно подвергаются нападению крыс. У крыс очень острые зубы; загнанные в угол, они могут стать агрессивными и кусают «жестоко и слепо, как бешеные собаки» — по словам одного специалиста. Разозленная крыса может подпрыгнуть в высоту на три фута — представьте, что она приближается к вам такими скачками и при этом находится не в лучшем расположении духа...

Обычная защита от крыс — это яд. Любопытно, что крысы не срыгивают пищу и ядовитые вещества остаются в их организмах (тогда как другие животные — к примеру, собаки и кошки — с помощью рвоты быстро выводят их наружу). Также часто используют антикоагулянты, но исследования доказывают, что у крыс вырабатывается к ним иммунитет.

Кроме того, крысы — умные существа и часто действуют сообща. Однажды на несуществующем уже рынке на Генсвурт-стрит в квартале Гринвич-Вилледж работники санитарно-эпидемиологического контроля никак не могли понять, каким образом крысы воруют яйца, не разбивая их, и однажды ночью любопытный ученый уселся в укромном месте и стал наблюдать. Что же он увидел? А увидел он вот что: одна крыса обхватывает куриное яйцо всеми четырьмя лапами, потом перекачивается на спину. Затем вторая крыса подтягивает первую за хвост к норе, где они спокойно делят добычу.

Похожая история была на одном мясокомбинате: работники

обнаружили, что куски мяса, висящие на крюках, каждую ночь кто-то сбрасывает на пол и пожирает. Скоро нашли и разгадку: стая крыс строит «пирамиду» под куском мяса; одна крыса забирается на самую вершину этой пирамиды, запрыгивает оттуда на мясо, взбирается по нему наверх, обгрызает мясо вокруг крюка, и в конце концов кусок падает на пол; в ту же секунду сотни голодных крыс с жадностью на него набрасываются.

Крысы крайне прожорливы, однако при необходимости могут довольствоваться очень малым. Взрослая особь может прожить меньше чем на унцию пищи и всего на половину унции воды в сутки. Ко всему прочему, крысам нравится перегрызать провода — трудно сказать почему, ведь провода совсем непитательны, к тому же смертельно опасны, если они под напряжением. Но крысы не в силах сдержаться. Считается, что примерно в четверти пожаров, причина которых не установлена, виновна крыса, перегрызшая электрический провод.

Когда крысы не едят, они, скорее всего, спариваются. Крысы делают это часто — до двадцати раз в сутки. Если самец не может найти себе самку, он охотно совершит копуляцию и с самцом. Самки очень плодовиты. Средняя самка норвежской крысы производит по 35,7 детеныша в год, пометами по шесть-десять крысят.

Впрочем, в хороших условиях самка крысы может каждые три недели производить по двадцать детенышей. Теоретически пара крыс, самец и самка, способны породить 15 000 новых крыс в год. На практике этого не случается, потому что крысы часто погибают, ежегодный уровень смертности достигает 95 %.

Профессиональная дератизация обычно снижает крысиную популяцию примерно на 75 %, но как только кампания прекращается, популяция восстанавливается меньше чем за полгода. Короче говоря, одна отдельно взятая крыса не имеет больших перспектив в жизни, но род ее неистребим.

В большинстве случаев, однако, крысы невероятно ленивы. Они спят по двадцать часов в сутки, просыпаясь только затем, чтобы отправиться на поиски еды. Они редко отходят от своих нор дальше чем на 150 футов, если на то нет крайней необходимости. Вероятно, это часть алгоритма выживания, ведь уровень смертности крыс резко возрастает во время миграции.

Если крысы упоминаются в историческом контексте, значит, сейчас речь пойдет о чуме. Это не вполне справедливо. Прежде всего, сами по себе крысы не заражают нас чумой. Они переносят на себе блох (которые переносят на себе бактерии), а те уже распространяют заболевание. Чума

убивает крыс так же энергично, как и нас — и многих других тварей. Чума — это непременно множество трупов собак, кошек, коров и других животных. Блохи предпочитают кровь покрытых мехом млекопитающих и обращают на людей внимание, только когда нет ничего лучше. По этой причине в местах, где чума до сих пор распространена — в основном в некоторых регионах Африки и Азии, — эпидемиологи не слишком активно истребляют крыс и других грызунов во время эпидемий. Помимо крыс в распространении этой страшной болезни участвуют свыше семидесяти других видов животных, в том числе кролики, мыши-полевки, сурки, белки и мыши.

Более того, крысы не имели никакого отношения к самым серьезным эпидемиям чумы в истории, во всяком случае в Англии. Задолго до печально известной «Черной смерти» XIV века еще более яростная чума опустошила Европу в VI веке. В некоторых районах вымерло почти все население. Беда Достопочтенный в своей истории Англии, написанной через сто с лишним лет, говорит, что, когда эпидемия достигла его монастыря в Джарроу, погибли все, кроме аббата и еще одного мальчика, — то есть уровень смертности значительно превысил 90 %. Мы не знаем, каков был источник распространения чумы, но явно не крысы. Крысиных костей VI века в Британии не нашли, хотя искали очень тщательно! В одном археологическом раскопе в Саутхэмптоне было найдено пятьдесят тысяч костей животных, но ни одна из них не была крысиной.

Случались также вспышки массовых заболеваний, которые сначала принимали за эпидемии чумы, но на самом деле это был эрготизм, отравление спорыньей (грибком, паразитирующим на злаковых растениях). Чума не заглядывала и на многие холодные северные территории: Исландия совсем избежала этой участи, как и большая часть Норвегии, Швеции и Финляндии — хотя в тех местах тоже были крысы. Между тем нашествие чумы почти повсеместно связывают с особо дождливыми годами — подобные же обстоятельства приводят и к распространению эрготизма. У этой теории есть одно слабое место: симптомы эрготизма не слишком похожи на симптомы чумы.

Всего несколько десятилетий назад количество крыс в городах значительно превышало нынешнее. В 1944 году *The New Yorker* сообщил, что бригада дератизаторов, работавшая в знаменитом отеле на Манхэттене (имя его деликатно не было названо), за три ночи обнаружила в подвальных и полуподвальных помещениях 236 крыс. Примерно в то же время крысы практически оккупировали вышеупомянутый рынок домашней птицы на Генсвурт-стрит. Они наводнили его в таких количествах, что клерки в

офисе рынка иногда обнаруживали крыс, когда те выпрыгивали из выдвижных ящиков письменных столов. На помощь были призваны дератизаторы, которые за считанные дни уничтожили четыре тысячи крыс, но не смогли полностью очистить рынок от этих навязчивых грызунов. В конце концов рынок закрыли.

Обычно пишут, будто на каждого жителя мегаполиса приходится по одной крысе, но это все же преувеличение. Более реальная цифра — одна крыса на каждые 30–35 человек. К сожалению, это все равно слишком много: например, это значит, что в Нью-Йорке живет приблизительно четверть миллиона крыс.

## II

Но в наших домах обитают существа и гораздо меньшего размера. Их крошечные армии патрулируют бесконечный лес волокон вашего ковра, летают среди пылинок, крадутся ночью по постельному белью, чтобы попировать на обширных просторах вашего тела!

Этих созданий так много, что трудно даже представить. Одна ваша кровать — средней степени чистоты, среднего возраста, средних габаритов — и матрац, который практически никогда не переворачивают, скорее всего, дает приют примерно двум миллионам клещей — таких мелких, что их не увидишь невооруженным взглядом, но они, несомненно, там есть. Подсчитано, что если вашей подушке шесть лет (а именно таков средний возраст британской подушки), то одну десятую ее веса наверняка составляют частички вашей кожи, живые и мертвые клещи и их экскременты.

В наше время среди ползающих постельных насекомых вполне могут оказаться вши, казавшиеся некогда полностью истребленными. Как и крысы, вши делятся на два основных подвида: головная вошь (*Pediculus capitis*) и платяная вошь (*Pediculus corporis*). Последняя — относительно новый вид животных, он эволюционировал в течение последние 50 000 лет из головных вшей.

Из этих двух видов головные вши гораздо меньше (размером где-то с кунжутное семя и выглядят очень на него похоже), поэтому их трудней обнаружить. Взрослая особь головной вши откладывает от трех до шести яиц в сутки. Каждая вошь живет в течение тридцати дней. Пустая оболочка яиц вшей называется гнида. Вши вырабатывают иммунитет к пестицидам, и в частности их иммунитет развивается из-за нашей привычки стирать при

низкой температуре в стиральных машинах. Как заметил доктор Джон Мондер из Британского медицинского энтомологического центра: «Если вы стираете завшивленную одежду при низкой температуре, то не получите ничего нового, за исключением очень чистых вшей».

Исторически грозой спален были постельные клопы — *Cimex lectularius*. Постельные клопы очень заботятся о том, чтобы вы никогда не спали в одиночестве, — и нередко они доводили людей, желающих от них избавиться, до настоящего безумия.

Когда Джейн Карлейль обнаружила, что клопы наводнили кровать ее экономки, она разобрала кровать на части и вынесла в сад, где каждую деталь вымыли хлорной известью, а потом замочили в растворе хлорной извести на два дня, чтобы уж наверняка утопить всех клопов, выживших после дезинфекции. Тем временем постельное белье несколько раз обработали дезинфицирующим порошком, чтобы убить всех оставшихся там клопов. Только потом кровать и постельные принадлежности собрали воедино, и экономка снова стала нормально спать ночью — в кровати, которая теперь была примерно так же токсична для нее самой, как и для любого насекомого, которое посмело бы туда заползти.

Даже если кровати не были заражены, обычно их разбирали по меньшей мере раз в году и для профилактики смазывали дезинфицирующими веществами или лаком. Производители часто специально подчеркивали в рекламе, как быстро и просто разбираются их кровати для ежегодной чистки. В XIX веке стали популярны медные кровати — и не потому, что медь вдруг стала считаться модным металлом, а потому что в ней не заводились постельные клопы.

Как и вши, клопы имеют обыкновение возвращаться. На протяжении XX века практически все они вымерли на большей части Европы и Америки благодаря появлению новых инсектицидов, но в последние годы количество этих кровососущих вновь существенно возросло. Никто не знает почему. Возможно, все дело в развитии международного туризма: люди привозят их домой в своих чемоданах и других вещах — а может, они выработали иммунитет к тем ядовитым веществам, которыми мы их опрыскиваем.

Как бы то ни было, вши и клопы вдруг опять появились в нашей жизни. «Они есть в некоторых лучших отелях Нью-Йорка», — цитирует *The New York Times* некоего специалиста, сообщившего эту неприятную новость в докладе 2005 года. Далее *Times* отмечает, что поскольку большинство людей не имеет опыта борьбы с клопами и не знает, как можно обнаружить их присутствие, то зачастую печальные новости

доходят до человека только тогда, когда он просыпается и видит, что лежит в куче кишасших насекомых.

При наличии нужного оборудования и острого желания вы можете найти бессчетные миллионы других мелких тварей, живущих рядом с вами, — это обширные племена изоподов, плеоподов, губоногих и прочих невидимых существ. Некоторые из них практически неистребимы. Обнаружено, что насекомое, имеющее латинское название *Niptus hololeucus*, может выживать в кайенском перце и даже в пробках от пузырьков с цианидом. Некоторые, например мучной и сырный клещи, регулярно обедают вместе с вами.

Переходим к следующему уровню живых существ, миру микробов, и тут их количество становится неисчислимым. Только ваша кожа дает приют триллиону бактерий. Внутри вас находится еще много тысяч триллионов, многие из них заняты необходимым и полезным делом, например перерабатывают пищу в кишечнике. Всего в вашем теле содержится около сотни квадриллионов бактериальных клеток. Если извлечь их на свет и взвесить, то окажется, что они все вместе взятые весят около четырех фунтов.

Микробы вездесущи; мы легко забываем, что в современном доме полно тяжелых металлических предметов — холодильников, посудомоечных и стиральных машин, которые существуют исключительно для того, чтобы убивать или подавлять их развитие. Изгонять микробов из нашей жизни — это своего рода повседневная задача для большинства из нас.

Самый знаменитый микробиолог мира — конечно же, доктор Чарльз П. Герба из Аризонского университета, который настолько предан своей науке, что дал одной из своих дочерей среднее имя Эшерихия, в честь бактерии *Escherichia coli*. Несколько лет назад доктор Герба установил, что самое большое количество микробов в доме скапливается не там, где вы думаете. В ходе одного исследования он измерил содержание бактерий в различных комнатах различных домов и обнаружил, что обычно самой чистой поверхностью в среднестатистическом доме является сиденье унитаза. Это объясняется тем, что сиденье протирают с применением дезинфицирующих средств гораздо чаще, чем все остальные поверхности. А вот на рабочем столе живет в пять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Одна из самых грязных вещей в доме — это кухонная раковина, вслед за ней идет кухонная рабочая поверхность, но отвратительней всего

кухонные тряпки. Большинство из них просто пропитаны бактериями, и использовать их для протирания столов, тарелок, хлебниц, засаленных подбородков или каких-то других поверхностей значит просто переносить микробов из одного места в другое, предоставляя им новые возможности для размножения и распространения.

Второй самый эффективный способ распространения микробов, по словам Гербы, — это спустить воду в туалете при открытой крышке унитаза. Миллиарды микробов буквально взвиваются в воздух, и многие остаются парить там до двух часов, как крошечные мыльные пузыри, а мы их вдыхаем; другие оседают на разных предметах — например, зубных щетках. И снова веская причина всегда закрывать крышку!

Пожалуй, самым впечатляющим открытием за последние годы в этой области стало исследование предприимчивой ученицы средних классов одной флоридской школы, которая сравнила качество воды в туалетах местных ресторанов быстрого питания с качеством льда в безалкогольных напитках и обнаружила, что в 70 % случаев туалетная вода оказалась чище, чем лед.

Возможно, самое примечательное во всем многообразии этих форм жизни — это то, как мало мы подчас о них знаем и насколько недавно мы узнали то, что все же знаем о них.

Такое же абсолютное неведение распространялось долгое время и на более крупных существ, главные из которых — летучие мыши. Вряд ли многим из вас нравятся летучие мыши, обычно мы питаем к ним отвращение, а зря: от них гораздо больше пользы, чем вреда. Они поедают бесчисленное количество насекомых, к выгоде сельскохозяйственных культур и людей. Летучие мыши-кожаны, весьма распространенные в Америке, поглощают до шестисот комаров в час. Мелкие летучие мыши — нетопыри, которые могут весить не больше мелкой монеты, пожирают по три тысячи насекомых за время ночных полетов.

Без летучих мышей в Шотландии было бы гораздо больше мошкары, в Северной Америке — клещей, а в тропиках — переносчиков лихорадки. Лесные деревья были бы полностью обглоданы, сельскохозяйственные культуры нуждались бы в большем количестве пестицидов, мир дикой природы стал бы очень неприятным местом. Летучие мыши также нужны для опыления и распространения семян множества растений. Крошечный очковый листонос в Южной Америке съедает до шести тысяч мелких семян за ночь. Благодаря распределению семян в единственной колонии таких мышей, насчитывающей около четырехсот летучих мышей, появляется девять миллионов сеянцев новых фруктовых деревьев в год. Без

летучих мышей этих деревьев просто не было бы. Летучие мыши также необходимы для роста диких авокадо, бальзы, бананов, хлебного дерева, ореха кешью, гвоздичного дерева, финиковой пальмы, инжира, гуавы, манго, персиков и прочих растений.

В мире гораздо больше летучих мышей, чем думает большинство людей. Фактически примерно четверть всех видов млекопитающих — около 1100 — составляют летучие мыши. Они бывают разные — от крошечных летучих мышей-шмелей, которые и впрямь не больше шмеля и являются самыми мелкими из всех млекопитающих, до великолепных летучих лисиц в Австралии и Южной Азии, размах крыльев которых достигает шести футов.

Иногда в прошлом люди предпринимали попытки обратить особые свойства летучих мышей себе на пользу. Во время Второй мировой войны американские военные потратили немало времени и денег на необычный проект оснащения летучих мышей крошечными зажигательными бомбочками. Мышей собирались выпускать массово — по миллиону за раз — с самолетов над Японией. Идея состояла в том, что летучие мыши усядутся на здания, вскоре после этого сработают крошечные детонаторы с часовым механизмом — и вот в логове врага уже полыхают тысячи пожаров.

Для того чтобы создать крошечные бомбочки и часовые механизмы, потребовалось множество экспериментов и немалая изобретательность, но в конце концов весной 1943 года были проведены испытания на базе Лейк Мюрок в Калифорнии. План с треском провалился. Летучих мышей снабдили бомбами и выпустили. Однако мыши приземлились вовсе не на те объекты, которые были для них предназначены, а разрушили все ангары и большинство складов на базе, вдобавок взорвав автомобиль генерала армии. Интересно было бы почитать доклад генерала о событиях того дня... Как бы то ни было, вскоре после этого проект закрыли.

Гораздо менее нелепый, но в конечном счете такой же безуспешный план по использованию летучих мышей был придуман доктором Чарльзом А. Р. Кемпбеллом с медицинского факультета Тулейнского университета. Идея Кемпбелла состояла в том, чтобы построить гигантские «башни для летучих мышей», где эти млекопитающие будут селиться и размножаться, а затем летать по окрестностям и поедать комаров. Кемпбелл полагал, что это значительно снизит распространение малярии, а также даст приличное количество гуано. Было построено несколько таких башен, некоторые стоят до сих пор (хоть и пришли в полное запустение), однако эксперимент опять-таки не удался: летучим мышам не очень нравится, когда им

указывают, где жить.

В Америке летучие мыши в течение многих лет преследовались медицинскими властями из-за раздутых и подчас несправедливых страхов, что эти млекопитающие являются разносчиками бешенства. История берет начало в октябре 1951 года, когда некая женщина из Западного Техаса, жена хлопкового фермера, увидела летучую мышь на дороге перед собственным домом. Женщина думала, что мышь дохлая, но, когда она нагнулась, чтобы рассмотреть ее поближе, мышь неожиданно подпрыгнула и укусила ее за руку.

Это было крайне необычно. Все американские летучие мыши питаются насекомыми; еще ни разу они не кусали людей. Женщина с помощью мужа продезинфицировала и забинтовала маленькую ранку и забыла о ней. Три недели спустя женщину увезли в больницу Далласа в невменяемом состоянии. Она была крайне возбуждена и не могла ни говорить, ни глотать. Помочь ей врачи уже не смогли. Бешенство успешно лечится, но только если начать лечение сразу. Когда начинают проявляться симптомы, лечить уже поздно. Через четыре дня невыразимых страданий женщина впала в кому и умерла.

Потом начали появляться сообщения о все новых случаях укусов человека бешеными летучими мышами в других местах — два раза в Пенсильвании, по одному во Флориде, Массачусетсе и Калифорнии, еще два в Техасе. Все эти случаи были зарегистрированы на протяжении четырех лет, так что их вряд ли можно назвать угрожающими, но они и впрямь вызывали опасения.

Наконец, в день Нового 1956 года доктор Джордж С. Мензис, официальный представитель общественного здравоохранения в Техасе, был госпитализирован в больницу Остина с симптомами бешенства. Мензис исследовал пещеры Центрального Техаса, чтобы найти там летучих мышей — переносчиков бешенства, но, насколько было известно, он не был ни укушен, ни как-либо еще травмирован этими самыми мышами. И все-таки каким-то образом он был инфицирован и всего через два дня лечения умер в муках, с вытаращенными от страха глазами.

Этот случай получил широкую огласку и вылился в своего рода истерию мщения. Было решено немедленно истребить летучих мышей. В Америке эти животные были объявлены вне закона. И за несколько лет популяция летучих мышей резко сократилась. В самой большой колонии летучих мышей в мире в Аризоне число особей снизилось с тридцати миллионов до трех тысяч.

Мерлин Д. Таттл, ведущий американский специалист по летучим

мышам и основатель благотворительного Международного общества защиты летучих мышей, пересказывает историю, описанную в журнале *The New Yorker* в 1988 году. Представители общественного здравоохранения в Техасе сказали одному фермеру, что если он не убьет летучих мышей, живущих в пещере на его земле, то ему, его родственникам и его скоту грозит серьезная опасность заражения бешенством. Действуя в соответствии с их указаниями, фермер залил пещеру керосином и поджег ее.

В огне погибло около четверти миллиона летучих мышей. Когда позже Таттл беседовал с этим фермером, он спросил его, сколько времени его семья владеет этим участком. Примерно сто лет, ответил фермер.

— И за все это время, — продолжал Таттл, — никто из вас не болел бешенством?

— Нет, — ответил фермер.

«Когда я объяснил ему ценность летучих мышей и последствия его действий, он сильно расстроился и даже заплакал, — вспоминает Таттл. — На самом деле больше людей ежегодно погибает на церковных пикниках, чем погибло за всю историю человечества из-за контакта с летучими мышами».

Сегодня летучие мыши, как мало кто другой в мире животных, подвержены риску вымирания. Примерно четверть видов летучих мышей находится в списке исчезающих видов — это поразительная и, разумеется, пугающе высокая цифра для таких живучих и плодовитых существ; свыше сорока видов балансируют на грани полного уничтожения.

Так как летучие мыши очень скрытны и их нелегко наблюдать, нам трудно получить достоверную информацию об их численности. К примеру, в Британии не знают, сколько видов летучих мышей осталось в стране — семнадцать или шестнадцать. У специалистов нет доказательств, которые позволили бы однозначно считать большую ночницу полностью вымершей или просто исчезающей.

Множество существ так непритязательны и при этом так мало изучены, что мы почти не замечаем, когда они начинают вымирать. В XX веке Британия потеряла двадцать видов бабочек и, кажется, не слишком переживает по этому поводу. Популяции примерно 75 % видов британских бабочек сильно сократились. Среди вероятных причин — интенсификация сельского хозяйства и использование мощных пестицидов, но точной динамики не знает никто. Это может привести к катастрофическим последствиям, ведь птицы часто сильно зависят от количества здоровых мотыльков и бабочек. Одним лишь синицам требуется 15 000 гусениц в

сезон. Поэтому снижение популяций насекомых означает снижение популяций птиц.

### III

Стоит отметить, что популяции могут не только сокращаться, но и увеличиваться. Иногда они увеличиваются катастрофически — и это подчас меняет ход истории. В 1873 году фермеры западных штатов США и долин Канады пережили чрезвычайно опустошительное нашествие. Буквально ниоткуда явились полчища саранчи (эту разновидность называли «кобылка Скалистых гор») — огромные копошащиеся массы голодных энергичных насекомых, которые затмевали солнце и сжигали все на своем пути.

Там, где эти полчища приземлялись, последствия были ужасающими. Они дочиста объели поля и фруктовые сады; саранча ела кожу и брезент, висящее на веревках постиранное белье, шерсть на спинах живых овец, даже рукоятки деревянных инструментов. Один пораженный свидетель рассказал, что гигантская стая саранчи, приземлившись, затушила большой костер. По словам большинства очевидцев, все это напоминало конец света, тем более что шум стоял оглушающий.

Одна стая растянулась на 1800 миль в длину и примерно на 110 миль в ширину. Чтобы она пролетела, потребовалось пять дней. Считается, что в стае было как минимум 10 миллиардов особей саранчи, однако есть и другие подсчеты, согласно которым эта цифра равнялась 12,5 триллиона, а общая масса всей стаи составила 27,5 миллиона тонн. Это было, пожалуй, самое крупное сборище живых существ, когда-либо виданное в истории. Саранчу ничто не могло остановить. Когда встречались две стаи, они просто пролетали одна через другую и как ни в чем не бывало продолжали пожирать все, что видели. Люди пытались сбить саранчу лопатами, поливали ее пестицидами, но никакого ощутимого результата не наблюдалось.

Как раз в это время люди активно переселялись на запад Соединенных Штатов и Канады, чтобы создать там новый «пшеничный пояс», который протянется через Великие Равнины. За одно поколение население Небраски выросло с 28 000 до более чем миллиона человек.

После гражданской войны в США к западу от Миссисипи было создано четыре миллиона новых фермерских хозяйств, и многие новые фермеры взяли большие ипотечные кредиты на покупку домов и земельных

участков, а также ссуды на приобретение нового оборудования — жаток, молотилок, уборочных комбайнов и прочего необходимого для ведения хозяйства на промышленном уровне. Сотни тысяч других инвестировали огромные суммы в железные дороги, зерновой силос и иные подобные предприятия для того, чтобы поддержать сильно разрастающееся население Запада.

К концу лета саранча исчезла, и у людей появилась первая робкая надежда на восстановление разрушенного. Но оптимизм оказался преждевременным. В течение следующих трех лет «кобылка» каждое лето возвращалась, причем всякий раз ее было еще больше, чем раньше. Постепенно в головах фермеров укрепилась пугающая мысль о том, что жизнь на Западе невозможна. Не менее пугающей была мысль о том, что саранча может распространиться на восток и начать пожирать еще более богатые урожаи Среднего Запада и Востока. Это был самый мрачный период во всей истории Америки. Люди пребывали в полной растерянности.

А потом все это просто кончилось. Разом сошло на нет. В 1877 году стаи саранчи сильно поредели, а насекомые казались вялыми и апатичными. В следующем году они вообще не пришли. Кобылка Скалистых гор (ее официальное название — *Melanoplus spretus*) не просто отступила, а исчезла совсем. Это было чудом. Последний живой экземпляр был обнаружен в Канаде в 1902 году. С тех пор они не появлялись.

Ученым понадобилось больше века, чтобы понять причину странного исчезновения саранчи в тех краях. Похоже, дело в том, что саранча каждую зиму впадает в спячку, а потом размножается в глинистых почвах, примыкающих к извилистым речкам высокогорных долин к востоку от Скалистых гор — в тех самых местах, где вновь прибывшие фермеры возделывали землю с помощью боронования и ирригации; эти действия и погубили спящую кобылку и ее куколок.

Они не сумели бы изобрести более эффективного способа уничтожения саранчи, даже потратив миллионы долларов и многие годы на изучение этого вопроса. Уничтожение живых существ трудно назвать благим делом, однако в данном случае это обрадовало всех.

Если бы саранча не отступила, мир стал бы совсем другим. Международное сельское хозяйство и коммерция, заселение Запада и, в конце концов, участь нашего старого дома приходского священника — все сложилось бы иначе.

В последней четверти XIX века многие американские фермеры уже были озлоблены и охвачены популистскими идеями, их глубоко возмущали

банки и крупный бизнес, и эти чувства были широко распространены и в больших городах, особенно среди новых иммигрантов. Если бы сельское хозяйство значительно пострадало, если бы начались лишения и даже голод, то население могло проявить массовую склонность к социализму. Такого развития событий отчаянно желали многие.

Но, разумеется, все пришло в норму. Поселенцы продолжили свою экспансию на запад, Америка стала хлебной корзиной мира, а британские деревни и фермы вошли в долгий штопор, из которого так и не выбрались до сих пор. К этой истории мы еще вернемся, а пока давайте заглянем в сад и подумаем, почему этот вид ландшафта так нас привлекает.

## Глава 12

### Сад

#### I

В 1730 году королева Каролина Ансбахская, супруга короля Георга II и сторонница прогресса, сделала весьма рискованную вещь. Она приказала отклонить русло маленькой лондонской речки Уэстборн, чтобы создать большой пруд в центре Гайд-парка. Пруд, названный Серпентайн, сохранился до нашего времени и по-прежнему восхищает посетителей, хотя почти никто не знает его истории.

Это был первый искусственный пруд в мире, который должен был выглядеть как природный. Сейчас трудно представить себе, насколько смелый это был шаг. Раньше все искусственные водоемы делали правильной формы, либо прямоугольными, либо круглыми (как, скажем, Круглый пруд в соседнем парке Кенсингтон-гарденз, построенном всего двумя годами ранее). И вот теперь появился изящный искусственный водоем неправильной формы, который выглядел так, как будто его создала сама Природа.

Лондонцы были очарованы этой иллюзией и стекались поглазеть на пруд. Королевская семья какое-то время держала на Серпентайне две огромные яхты, хотя им едва хватало места, чтобы разойтись не столкнувшись.

Для королевы Каролины это была настоящая победа, так как ее садово-парковые фантазии часто шли вразрез со вкусами публики. Примерно в те же годы она выкупила двести акров Гайд-парка для строительства Кенсингтонского дворца, изгнав частных горожан с их обычных прогулочных тропинок: теперь им позволялось гулять в парке только по субботам, лишь в определенное время года, да и то если они rispetабельно выглядели. Неудивительно, что это решение вызвало волну негодования.

Кроме того, королева вынашивала идею сделать весь Сент-Джеймс-парк частным и даже спрашивала своего премьер-министра Роберта Уолпола, во сколько это ей обойдется. «Вам придется всего лишь пожертвовать короной, ваше величество», — с улыбкой отвечал Уолпол.

Так или иначе, Серпентайн тут же возымел успех, и это всецело заслуга довольно загадочного персонажа по имени Чарльз Бриджмен, который спроектировал пруд и которому, возможно, принадлежала даже сама идея его постройки. Откуда взялся этот невероятно талантливый человек, до сих пор остается загадкой. Он появился практически из ниоткуда в 1709 году с папкой весьма профессионально выполненных эскизов для ландшафтных работ в Бленэмском дворце. Все, что касается жизни Бриджмена до этого момента, — не более чем предположения. Где он родился, когда и при каких обстоятельствах рос, где приобрел свои недюжинные навыки?

Во всяком случае, за те тридцать лет, что прошли с момента его появления на сцене ландшафтного дизайна, он побывал повсюду, где требовались высококачественные проекты садов. Чарльз Бриджмен работал со всеми ведущими архитекторами эпохи — Джоном Ванбру, Уильямом Кентом, Джеймсом Гиббсом, Генри Флиткрофтом.

Он спланировал и разбил парк Стоу, один из самых знаменитых во всей Англии, он занимал должность королевского садовника и проектировал сады в Хэмптон-Корте и Виндзоре, в Кью и Ричмонде, а также все королевские парки. Он создал Круглый пруд в Кенсингтоне и Серпентайн в Гайд-парке. Он провел геодезическую съемку и разработал планы для целого ряда поместий в южной Англии.

Если кому-то требовался красивый сад, тут же появлялся Бриджмен. Не сохранилось ни одного его официального портрета, зато он довольно неожиданно появляется во второй картине серии «Похождения повесы» Уильяма Хогарта, где вместе с Портным, Учителем танцев и Жокеем спрашивает молодого повесу потратиться на его работу<sup>[70]</sup>. Однако даже там Бриджмен выглядит неловким и стесненным, как будто забрел в эту компанию по ошибке.

Садоводство в Англии уже было хорошо развитой индустрией к тому времени, когда появился Бриджмен. Бромптонский парк-питомник в Лондоне — на его месте сейчас стоят музеи Южного Кенсингтона — охватывал сотню акров земли и поставлял множество кустарников, экзотических растений и другой зелени в богатые дома по всей стране.

Но это были сады совсем другого типа — не те, что мы знаем сегодня. Прежде всего, они ослепляли своей пестротой: дорожки посыпаны цветным гравием, статуи кричаще раскрашены, растения на клумбах отобраны по яркости их тонов. Ничего естественного, ничего умеренного. Ограды из кустарника, подстриженного в форме мчащих галопом лошадей. Строго прямые дорожки и бордюры, обсаженные по краям самшитом или

тисом. Формализм правил бал. Участки вокруг богатых домов были не столько парками, сколько упражненьями в геометрии.



*Рис. 12. Чарльз Бриджмен (четвертый слева, держит план сада) на картине Уильяма Хогарта «Утренний выход повесы»*

И теперь вдруг все это забыто; стало модно делать вещи, максимально приближенные к естественности. Откуда пришла эта мода, трудно сказать. В начале XVIII века почти все молодые люди привилегированного положения путешествовали по Европе, а потом возвращались домой, полные энтузиазма и горячего желания перенести формальные требования классического мира в английскую среду. В архитектуре по возможности точное подражание античным образцам было делом чести.

Однако там, где речь шла о садах, англичане были совершенно самостоятельны. Многие полагают, что садоводческий гений у британцев в крови, и данная эпоха может служить тому подтверждением.

Одним из героев этого движения был наш старый приятель сэр Джон Ванбру. Будучи самоучкой, он приносил свежие идеи в вопросы архитектуры и благоустройства территорий. Например, в замке Говардов первое, что он сделал, — это повернул дом на девяносто градусов вокруг своей оси, и тот обратился фасадом на север, а не на восток, как значилось в более ранних эскизах Уильяма Толмана.

Таким образом, из окон дома открывался гораздо более приятный вид. Это было радикальное изменение подхода к проектированию: прежде дома строились уж точно не для того, чтобы их хозяева наслаждались видами.

Чтобы максимально усилить перспективу, Ванбру добавил еще один вдохновляющий штрих — причудливо украшенную беседку, построенную с единственной целью: украсить панораму жизнерадостным пятном, на котором приятно остановить взгляд. Беседка под названием «Храм четырех ветров» стала первым зданием такого типа. Архитектор добавил и еще одну оригинальную инновацию — ров с подпорной стеной, отделяющий господскую часть сада от служебной без использования забора, который мог бы испортить вид. Такой ров в садово-парковом искусстве называется «аха» (англ. *ha-ha*).

Эту идею архитектор позаимствовал у французских военных строителей (Ванбру познакомился с французской фортификацией, когда сидел в тюрьме). Поскольку аха остается невидимой до последнего момента, гость, внезапно наткнувшись на нее, растерянно восклицает: «Ах!» Отсюда, говорят, и пошло название. Эта изгородь не только практична (в том числе и тем, что не дает домашней скотине забрести на газон), но и помогает по-новому взглянуть на мир: красоты поместья не заканчиваются на ограде лужайки, они простираются дальше, до самого горизонта.

Еще одно, гораздо менее приятное нововведение, которое Ванбру предложил в замке Говардов, — это снос принадлежащих поместью деревень и переселение жителей в другие места, если деревни оказывались недостаточно колоритными, а жители — слишком навязчивыми. В окрестностях замка Ванбру стер с лица земли не только жилую деревню, но также церковь и разрушенный замок, от которого получил свое название новый дом. Вскоре к такому варварскому методу стали прибегать по всей стране: такое впечатление, что состоятельный человек просто не может начать строить себе новый большой дом, пока не разрушит по меньшей

мере несколько дюжин жизней.

Оливер Голдсмит сокрушался по поводу этой практики в длинной сентиментальной поэме «Покинутая деревня», навеянной визитом в поместье Ньюнэм-парк в Оксфордшире, где первый граф Харкорт снес старинную деревню ради того, чтобы у его нового дома были более живописные окрестности. Хотя бы в данном случае судьба отомстила Харкорту. По завершении работ граф пошел прогуляться по своему преобразившемуся поместью, но забыл про заброшенный деревенский колодец, свалился в него и утонул<sup>[71]</sup>.

Гораций Уолпол считает, что подобный ров-изгородь придумал Бриджмен; и, возможно, именно он подал эту идею Ванбру. Хотя, возможно, было наоборот, и именно Ванбру подсказал идею Бриджмену. Точно известно лишь одно: к 1710-м годам у людей вдруг появилась масса идей о преобразовании ландшафта, особенно по части придания ему большей естественности.

Событием, которое, вероятно, внесло свою лепту в развитие этой моды, стал ураган 1711 года, прозванный «Великим ударом»: он повалил множество деревьев по всей стране, и люди заметили (многие, очевидно, впервые), каким приятным зрелищем были эти деревья. Как бы то ни было, англичане внезапно стали необычно привязаны к природе.

Эссеист Джозеф Аддисон стал рупором этого движения, написав серию статей в журнале *Spectator* под названием «Радости воображения», где предположил, что природа дает нам всю ту красоту, в которой мы нуждаемся. Требуется лишь немного организовать природу, и, как выразился Аддисон, «человек вполне способен превратить свои владения в приятный ландшафт». Он продолжает:

*Я не знаю, одинок ли я в своем мнении, но, на мой личный взгляд, гораздо приятней смотреть на дерево во всей его роскоши и хитросплетении сучьев и веток, чем на его подстриженный вариант, превращенный в геометрически правильную фигуру.*

И весь мир вдруг согласился с Аддисоном. Состоятельные домовладельцы пустились устраивать в своих поместьях извилистые дорожки и озера неправильной формы, но сначала улучшения касались главным образом парковой архитектуры. По всей стране богачи добавляли на свои земельные участки гроты, храмы, смотровые башни, искусственные развалины, обелиски, причудливо украшенные беседки,

зверинцы, оранжереи, пантеоны, амфитеатры, скамьи, ниши для бюстов героических персонажей, статуи нимф и прочие проявления человеческой фантазии. И это были не какие-то там орнаментальные мелочи, а весьма массивные монументы! Мавзолей в замке Говардов, спроектированный Николасом Хоксмуrom (ныне в нем покоится покровитель Ванбру, третий граф Говард), по размеру и стоимости не уступал любой из лондонских церквей Кристофера Рена.

Роберт Адам разработал план целого римского города со стенами и живописными руинами, который должен был разместиться на дюжине акров лугового склона в Херефордшире — только для того, чтобы мелкопоместному дворянину лорду Харли было на что посмотреть из окна за завтраком. Город так и не был построен, зато на свет появились другие поразительно масштабные произведения архитектуры.

Знаменитая пагода в садах Кью высотой в 163 фута долгое время была самым высоким сооружением в Англии. До XIX века она была щедро позолочена и украшена изображениями драконов (общим числом восемьдесят штук) и звенящими медными колокольчиками, но король Георг IV их продал, чтобы погасить свои долги, поэтому строение, которое мы видим сегодня, на самом деле лишено важнейших составных частей.

В это же время в садах Кью появилось еще девятнадцать затейливых зданий, разбросанных по обширной территории, в том числе турецкая мечеть, копия дворца Альгамбра, миниатюрный готический собор и храмы Эола, Аретусы, Беллоны, Пана, Мира, Уединения и Солнца, — в общем, членам королевской семьи было чем развлечь себя на прогулке.

Со временем вошли в моду «эрмитажи» — уединенные «обители», в которых даже поселяли живых отшельников. В Пайнхилле, что в графстве Суррей, некий местный житель подписал договор, согласно которому ему предстояло прожить семь лет монахом в живописном местечке вдали от людей за 100 фунтов стерлингов в год. Впрочем, его уволили всего через три недели, застукав за выпивкой в местном пабе.

Владелец одного поместья в Ланкашире пообещал 50 фунтов стерлингов в год любому, кто проведет семь лет в подземелье его поместья и все это время не будет стричь волосы и ногти на ногах и общаться с другими людьми. Нашелся человек, который принял это предложение и действительно провел четыре года в добровольном заточении, но потом понял, что больше не выдержит. К сожалению, неизвестно, получил ли он хотя бы частичную плату за свои старания.

Королева Каролина — та самая, которая велела устроить озеро Серпентайн в Гайд-парке, — поручила архитектору Уильяму Кенту

построить для нее уединенное жилище в Ричмонде, куда поселила поэта Стивена Дака, но эта затея тоже не имела успеха: Дак решил, что ему не нравится тишина и любопытные зеваки, вышел из игры и стал проповедником в церкви Байфлит в Суррее. Правда, похоже, что ни там, ни где бы то ни было еще он не был счастлив и потому утопился в Темзе.

Самое причудливое сооружение находилось, конечно же, в Чизвике — тогда это была деревня к западу от Лондона, — где третий граф Берлингтон (еще один член «Клуба Кит-Кэт»), выстроил Чизик-хаус, в котором никто никогда не жил: там любовались произведениями искусства и слушали музыку. Это был своего рода дача, сооруженная с поистине королевским размахом. Именно там, если помните, восьмой герцог Девонширский впервые встретился с Джозефом Пакстоном.

Между тем Чарльз Бриджмен и его последователи всюду перекраивали ландшафты. В поместье Стоу в Букингемшире все создавалось с размахом. Одна из скрытых изгородей (аха) протянулась на целых четыре мили. Холмы изменили форму, лощины были затоплены, по территории небрежно разбросали великолепные мраморные храмы.

Поместье Стоу не походило ни на одно другое. Прежде всего, это был первый в мире сад, обративший на себя внимание туристов. На него приезжали любоваться со всех концов страны, у него даже имелся собственный путеводитель. Сад Стоу стал так популярен, что в 1717 году лорду Кобэму, его хозяину, пришлось купить гостиницу по соседству, чтобы было где размещать посетителей.

В 1738 году Бриджмен умер, и его дело продолжил перспективный молодой человек по имени Ланселот Браун. Именно в такой фигуре нуждалось ландшафтное движение.

Биография Брауна очень напоминает биографию Джозефа Пакстона. Оба были сыновьями мелких землевладельцев, оба обладали блестящими способностями и трудолюбием, оба начали заниматься садоводством еще будучи детьми, и оба быстро отличились в услужении у богачей. Отец Брауна был фермером-арендатором в нортумберлендском поместье под названием Киркхарле. Там в четырнадцать лет Браун стал учеником садовода и проработал целых семь лет, но потом уехал из Нортумберленда на юг, возможно — в поисках более благоприятного климата, так как страдал астмой. Что он делал в следующие несколько лет, неизвестно, но, должно быть, уже отличился, ибо вскоре после смерти Чарльза Бриджмена лорд Кобэм выбрал его на должность главного садовника в поместье Стоу. Брауну было всего двадцать четыре года.

У Брауна в подчинении оказался штат из сорока человек; он служил не

только главным садовником, но и казначеем. Постепенно он взял на себя управление целым поместьем, стал заведовать и садовыми, и строительными проектами. Несомненно, так он получил еще и дополнительное образование, потому что вскоре стал весьма компетентным и даже искусным архитектором. В 1749 году лорд Кобэм умер, и Браун решил основать собственное дело. Он переехал в Хаммерсмит, тогда — деревню к западу от Лондона, и начал карьеру «свободного художника». В возрасте тридцати пяти лет он уже вошел в историю как Умелый Браун (*Capability Brown*).

Он был масштабным художником и проектировал не сады, а целые ландшафты. Ознакомившись с поместьем, где ему предстояло работать, он обычно говорил, что «видит тут большие возможности», отсюда и пошло его прозвище<sup>[72]</sup>. Традиционно Брауна изображают обычным ремесленником, случайным реформатором, который не делал почти ничего, разве только сажал деревья красивыми кущами. На самом же деле еще никто не перелопачивал столько земли и не действовал с таким размахом. Чтобы создать «Греческую долину» в поместье Стоу, его рабочие вывезли на тачках 23 500 кубических ярдов земли и камней.

В Хевенингеме, графство Суффолк, Браун поднял на двадцать футов большую лужайку. Он играючи пересаживал взрослые деревья и также играючи перемещал целые деревни. Чтобы облегчить задачу, Ланселот Браун изобрел машину, которая могла поднять дерево на целых тридцать шесть футов, при этом не повредив его, — настоящее чудо!

Он посадил десятки тысяч деревьев — только в одном Лонглите их было 91 000. Он проектировал озера, которые отнимали сотни акров плодородных фермерских земель (обстоятельство, которое почти наверняка приводило его клиентов в замешательство). В Бленэме красивый мост пересекал жалкий ручеек; Браун создал по обеим сторонам от него озера — и пейзаж преобразился.

Он пытался представить себе, как бы выглядели его ландшафты через сто лет. Задолго до того, как это стало общепринятым, он использовал почти исключительно местные деревья. Подобные штрихи придавали садам Брауна необычайно естественный вид, хотя на самом деле были детально спроектированы едва ли до последней коровьей лепешки.

Он был скорее инженер и ландшафтный архитектор, чем садовник, и обладал особенным даром «обмана зрения»: устраивал, к примеру, два озера на разных уровнях, которые выглядели как одно большое. Ландшафты Брауна были, так сказать, «более английскими», чем сама сельская Англия, в которой он их создавал; он проектировал свои сады с

таким размахом, что нам теперь трудно представить, каким это было новшеством по тем временам.

Браун называл свою работу «созданием местности». Многие пейзажи сельской Англии, может быть, и выглядят так, будто они были такими испокон века, однако на самом деле они в основном созданы в восемнадцатом столетии, и здесь огромная заслуга Ланселота Брауна. Если его и можно назвать ремесленником, то Ремесленником с большой буквы.

Браун работал «под ключ», брал на себя весь комплекс работ — от проекта сада до посадки растений и последующего ухода за ними. Работая усердно и быстро, он управлялся со множеством заданий одновременно. Говорили, что ему хватает часовой беглой экскурсии по поместью, чтобы придумать всеобъемлющую схему усовершенствований. Самым привлекательным в методе Брауна были его дешевизна и предусмотрительность. Стриженные газоны с цветниками, фигурно обрезанные деревья и мили низких изгородей требовали постоянного ухода. Ландшафтные сады Брауна в общем и целом существовали сами по себе.

К тому же он был чрезвычайно практичным. Там, где другие строили храмы, пагоды и склепы, Браун возводил павильоны, которые *выглядели* как изысканные беседки, а на самом деле представляли собой молочные фермы, псарни или дома для рабочих. Проведя юные годы на ферме, он понимал нужды сельского хозяйства и часто предлагал такие изменения, которые повышали его эффективность.

Может, Браун и не был великим архитектором, зато его работы отличаются большой инженерной изощренностью. Прежде всего это касается дренажа, с которым он управлялся лучше, чем какой бы то ни было другой современный ему зодчий, благодаря своему опыту в ландшафтном дизайне. Он был специалистом по грунтоведению задолго до того, как появилась такая дисциплина. Под его безупречными ландшафтами порой скрывались сложные дренажные системы, которые превращали болото в луг и не давали ему снова заболотиться в течение целых 250 лет.

Однажды Брауну предложили тысячу фунтов стерлингов за то, чтобы он спроектировал поместье в Ирландии, но он отказался, заявив, что «еще не все сделал для Англии». За тридцать лет работы независимым архитектором он выполнил 170 заказов, преобразовав таким образом множество британских поместий. Кроме того, на этом деле Браун разбогател. В течение десяти лет такого труда он зарабатывал по 15 000 фунтов в год и вошел в верхний эшелон только зародившегося среднего класса.

Его достижения восхищали отнюдь не всех. Поэт Ричард Оуэн Кембридж однажды заявил Брауну:

— Я искренне хотел бы умереть раньше вас, мистер Браун.

— Почему же? — удивленно спросил архитектор.

— Потому что мне хочется повидать небеса до того, как вы их усовершенствуете, — сухо ответил Кембридж.

Пейзажист Джон Констебл тоже не выносил работ Брауна: «Это некрасиво, потому что неестественно», — говорил он.

Но самым ярким врагом Брауна был архитектор Уильям Чемберс. Он считал, что ландшафты Брауна лишены фантазии, и говорил, что они «мало отличаются от обычных полей». Сам Чемберс считал, что лучшее средство улучшения ландшафта — это строительство в нем как можно более броских зданий. Именно он спроектировал Пагоду, Альгамбру и другие яркие сооружения в Кью.

Чемберс считал Брауна неотесанной деревенщиной, потому что его речь и манеры были лишены изысканности, но клиенты любили Брауна. Один из них, лорд Эксетер, даже повесил у себя дома портрет Брауна, чтобы иметь возможность смотреть на него каждый день.

Кроме того, похоже, Браун был очень милым, хорошим человеком. В одном из немногих сохранившихся писем он пишет своей жене, что, разлученный с ней делами, он провел день в воображаемой беседе с ней; «и все бы ничего, вот только жаль, что тебя не было рядом. Твое общество всегда наполняет меня самым искренним восторгом, моя дорогая Бидди. Твой любящий муж». Неплохо для неотесанной деревенщины!

Браун умер в 1783 году в возрасте шестидесяти шести лет и был оплакан многими.

## II

Умелый Браун отвергал цветы и декоративный кустарник, но другие знатоки природы находили все новые и новые их образцы. Период, который начинается за пятьдесят лет до смерти Брауна и заканчивается через пятьдесят лет после нее, был периодом беспрецедентных открытий в мире ботаники. Охота за растениями была стимулом для развития как науки, так и коммерции.

Зачинателем этого движения можно по праву назвать Джозефа Бэнкса, блестящего ботаника, сопровождавшего капитана Джеймса Кука в его voyage к южным морям с 1768 по 1771 год. Бэнкс заполнил трюмы

маленького корабля Кука образцами растений — всего их было 30 000, включая 1400 ранее нигде не упоминавшихся. Это примерно на четверть увеличило количество известных человечеству растений.

Бэнкс наверняка нашел бы еще больше во время второго вояжа Кука, но, к сожалению, был слишком капризным. Во второе плавание он пожелал взять с собой семнадцать слуг, включая двух горнистов, чтобы те развлекали его вечерами. Кук вежливо отказал, и Бэнкс не поехал с ним. Вместо этого он снарядил за свой счет экспедицию в Исландию, однако сделал остановку в заливе Скейл на Оркнейских островах и занялся раскопками. Но Бэнкс не обратил внимание на поросший травой холм, скрывавший городище Скара-Брей, и упустил шанс добавить к своим многочисленным достижениям еще и одно из самых важных археологических открытий Европы.

Между тем увлеченные охотники за растениями рыскали по всему миру. Конечно, они занимались поисками и в Северной Америке, где были прекрасные образцы растений — не только красивых и интересных, но и способных процветать на британской почве.

Первые европейцы, прибывшие в Америку с востока, не искали новых земель для поселения или пути дальше на запад. Они искали растения, которые можно было бы продать, и нашли чудесные новые виды — азалию, астру, камелию, катальпу, молочай, гортензию, рододендрон, рудбекию, дикий виноград, дикую вишню, многочисленные виды папоротников, кустарников, деревьев и лиан.

Можно было сколотить целое состояние, найдя новые растения и благополучно доставив их в питомники Европы для разведения. Вскоре охотников за растениями стало так много, что сейчас невозможно сказать наверняка, кто и что обнаружил. Джон Фрейзер, в честь которого названа ель Фрейзера, нашел либо сорок четыре новых вида, либо двести пятнадцать — в зависимости от того, какой истории ботаники верить.

Охота за растениями была делом крайне опасным. Джозеф Пакстон отправил двух человек в командировку в Северную Америку; оба утонули, когда их перегруженная лодка перевернулась в бурной реке в Британской Колумбии. Сына французского охотника Андре Мишо искалечил медведь. На Гавайях Дэвид Дуглас, первооткрыватель ели Дугласа, свалился в охотничью ловчую яму в крайне неудачный момент: там уже находился дикий бык, который затоптал натуралиста насмерть.

Другие охотники за растениями сбивались с пути, голодали, умирали от малярии, желтой лихорадки и других болезней или были убиты недоверчивыми аборигенами. Однако те, чьи вылазки были успешны,

благодаря своим находкам часто становились очень богатыми — хотя, возможно, не такими известными, как Роберт Форчун, с которым мы встретились в восьмой главе и который на свой страх и риск путешествовал по Китаю, загримированный под местного жителя, с целью выведать способ производства чая. Он познакомил Индию с секретами выращивания чая, что, возможно, спасло Британскую империю, однако он также привез в английские питомники несколько сортов хризантем и азалий, и именно это позволило ему отойти в мир иной весьма состоятельным человеком.

Кого-то влекли поиски отчаянных приключений. Вероятно, самым известным (и, на первый взгляд, самым невероятным) было путешествие двух юных друзей — Альфреда Рассела Уоллеса и Генри Уолтера Бейтса, сыновей английских предпринимателей средней руки. Хотя ни один из них никогда не бывал за границей, в 1848 году они решили отправиться в Амазонию на поиски новых растений. Вскоре к ним присоединились брат Уоллеса Герберт и еще один ботаник-любитель по имени Ричард Спрус, школьный учитель из замка Говардов в Йоркшире, который никогда не имел дела ни с чем более экзотическим, чем английский газон.

Похоже, ни один из них даже отдаленно не был готов к жизни в тропиках. Бедняга Герберт подхватил желтую лихорадку и умер почти сразу, как только они пристали к берегу. Остальные держались стойко, хотя по неизвестным причинам решили разделиться и отправиться в разные стороны.

Уоллес углубился в джунгли, пошел вдоль Рио-Негро и провел следующие четыре года в упорном собирании растений. Трудностей на его пути было немало. Насекомые были настоящей пыткой. Спасаясь бегством от роя шершней, он разбил очки, без которых практически не мог обходиться, а в какой-то другой опасный момент потерял сапог и некоторое время бродил по джунглям наполовину разутым.

Он поражал своих провожатых-индейцев тем, что хранил экземпляры растений в пузырьках с кашасой (самогоном, сделанным из сахарного тростника), вместо того чтобы выпить эту кашасу, как сделал бы на его месте любой разумный человек. Они сочли его сумасшедшим, украли оставшуюся кашасу и растворились в лесу. Неустрашимый Уоллес пошел дальше один.

Спустя четыре года он вышел из удушливых джунглей, уставший, в рваной одежде, дрожащий и наполовину помешанный из-за возвратного тифа, зато с редкой коллекцией растений. В бразильском портовом городе Пара Уоллес купил билет на барк «Елена» и поплыл домой. Однако на полпути через Атлантику на «Елене» начался пожар, и Уоллесу пришлось

перебраться в спасательную шлюпку, оставив на горящем барке свой драгоценный груз.

Он смотрел, как пожираемый пламенем корабль уходит под воду, унося с собой его сокровища. Не утративший мужества Уоллес выздоровел, а затем отправился под парусами на другой конец света, к Малайскому архипелагу, где бродил без усталости целых восемь лет и собрал поразительную коллекцию из 127 000 экземпляров, включавшую тысячу насекомых и двести птиц, ранее не зарегистрированных. После этого Уоллесу удалось благополучно вернуться в Англию.

Между тем Бейтс после ухода Уоллеса остался в Южной Америке на семь лет; он путешествовал на лодке в основном по Амазонке и ее притокам и в конце концов привез домой около 15 000 образцов животных и насекомых; эта цифра кажется скромной по сравнению со 127 000 Уоллеса, но примерно 8000 его образцов — больше половины (феноменальное число!) — были для науки новыми.

Но самым замечательным во всех отношениях был Ричард Спрус. Он прожил в Южной Америке целых восемнадцать лет, изучая места, где еще не ступала нога европейца, и собирая огромные объемы информации (в том числе он составил словари двадцати одного языка индейцев). Среди прочего Спрус открыл каучуконосное дерево, у которого оказался огромный коммерческий потенциал, кустарник коку, из листьев которой получают кокаин, и целый ряд разновидностей хинного дерева, необходимого для производства хинина, в то время единственного эффективного лекарства от малярии и других тропических лихорадок (также хинин стали использовать для изготовления горьковатого ароматизированного напитка-тоника).

Когда в конце концов Спрус вернулся домой, в Йоркшир, он обнаружил, что все заработанные им за время двадцатилетних скитаний деньги были неудачно инвестированы людьми, которым он их доверил. Он остался без гроша в кармане. Его здоровье было настолько подорвано, что он провел следующие двадцать семь лет жизни почти не вставая с постели, в полной апатии составляя каталог своих находок. Он так и не нашел в себе сил написать свои мемуары.

Благодаря усилиям этих смелых людей и множеству им подобных, число видов растений, доступных английским садоводам, существенно возросло — с одной тысячи в 1750 году до двадцати тысяч и более спустя столетие. Недавно найденные экзотические растения ценились очень высоко. Араукария чилийская, открытая в Чили в 1782 году, в Британии к

1840-м стоила 5 фунтов стерлингов — это приблизительно равнялось годовому жалованию горничной. Клумбовые растения тоже превратились в огромную индустрию. Все это дало мощный толчок развитию любительского садоводства.

Такую же роль сыграло развитие железных дорог. Поезда позволяли людям легко добираться на работу в удаленные пригороды, а в пригородах было больше места и возможностей для садоводства.

Тогда же в стране произошла еще одна перемена — появились женщины-садовницы. Катализатором этого процесса стала Джейн Уэбб, у которой не было опыта садоводства и которая пользовалась невероятной славой как автор посредственной книжонки в трех томах под названием «Мумия! Сказка о двадцать втором веке» — она опубликовала эту книгу анонимно в 1827 году, когда ей было всего двадцать лет. Ее описание газонокосилки с паровым двигателем было настолько впечатляющим, что писатель-садовод Джон Клавдий Лоудон искал знакомства с ней, думая, что автор — мужчина. Лоудон еще больше впечатлился, увидев, что Джейн — женщина, и довольно быстро предложил ей руку и сердце, хотя на тот момент был вдвое старше ее.

Джейн приняла его предложение; так начался их трогательный и плодотворный союз. Джон Клавдий Лоудон был уже весомой фигурой в мире садоводства. Он родился на шотландской ферме в 1783 году, в год смерти Умелого Брауна, провел свою юность в постоянном самосовершенствовании, выучил шесть языков, включая греческий и иврит, и почерпнул немало знаний из книг по ботанике, садоводству, естествознанию и прочим наукам, связанным с растительной средой.

В 1804-м, в двадцать один год, он начал выдавать почти непрерывным потоком толстые книги с пугающе серьезными названиями: «Краткий трактат по некоторым улучшениям, произошедшим за последнее время в теплицах»; «Наблюдения за созданием и организацией полезных и орнаментальных зеленых насаждений»; «Различные способы культивации ананаса». Все эти книги продавались значительно лучше, чем можно было бы предположить по названиям.

Кроме того, Лоудон практически в одиночку издавал серию популярных журналов по садоводству, для которых сам писал статьи — иногда в пять номеров сразу. Стоит отметить, что он занимался всем этим, несмотря на свое слабое здоровье. Похоже, у Лоудона был особенный талант притягивать болезни со страшными осложнениями. Ему пришлось ампутировать правую руку из-за осложнений после ревматической лихорадки. Вскоре после этого у него развился анкилоз колена, и он хромал

до конца жизни. Вследствие хронических недомоганий Лоудон пристрастился к опийной настойке. Словом, судьба у этого человека была отнюдь не легкой.

Миссис Лоудон была гораздо более успешной, чем ее муж, благодаря единственной своей книге, «Практические инструкции по садоводству для дам», опубликованной в 1841 году. Книга оказалась на удивление своевременной. Она впервые побудила женщин высших классов замарать руки в земле и даже слегка вспотеть.

«Садоводство для дам» смело настаивало на том, что женщины могут управляться с садовыми работами, не прибегая к помощи мужчин, если будут соблюдать несколько разумных мер предосторожности: работать регулярно, но не слишком энергично; использовать только легкие инструменты; никогда не стоять на сырой земле, чтобы вредные испарения не проникли к ним под юбки. Автор, кажется, полагает, что ее читательницы почти не бывали на открытом воздухе и, естественно, ни разу не брали в руки садовый инвентарь. Вот, например, как миссис Лоудон объясняет назначение лопаты:

*Копание, выполняемое садоводом, заключается в погружении в почву (с помощью ноги) железной части лопаты, каковая часть действует подобно клину. Затем, используя длинную деревянную рукоятку в качестве рычага, поднимаем взрыхленный грунт и переворачиваем его.*

Вся книга написана в том же духе; в ней с мучительными подробностями описываются самые простые и очевидные действия, как будто кто-то не знает, каким концом лопаты следует копать землю. Сегодня книгу практически невозможно читать; вероятно, в то время у нее тоже было не слишком много поклонников. «Садоводство для дам» ценилось не столько за содержание, сколько за социальный смысл: дамам разрешено было выйти из дома и заняться чем-то полезным; скучающим светским женщинам нашлось новое и интересное развлечение на свежем воздухе. «Садоводство для дам» продолжало переиздаваться огромными тиражами до конца века. Вдохновленные советами миссис Лоудон, женщины и впрямь начали возиться в земле. Вся вторая глава книги посвящена навозу.

Помимо призыва к активному отдыху, у садоводческого движения XIX века был и другой, гораздо более неожиданный стимул, и в нем Джон Клавдий Лоудон также сыграл ключевую роль. В том столетии нередко случались эпидемии холеры и других инфекционных болезней, уносивших

множество жизней: постепенно стало очевидно, что городские кладбища в целом запущены, переполнены и вредны для здоровья.

В середине XIX века в Лондоне было всего 218 акров кладбищенских земель. Покойников клали так густо, что сегодня это даже трудно представить. Когда в 1827 году умер поэт Уильям Блейк, он был похоронен в Банхилл-Филдс, поверх трех других захоронений; позже поверх него положили еще четверых. Таким образом, лондонские кладбища вбирали в себя пугающе огромные груды мертвой плоти. В приходской церкви в Сент-Мерилебоне на участке площадью чуть больше одного акра захоронено сто тысяч тел.

На Трафальгарской площади, там, где сейчас стоит Национальная галерея, был скромный погост церкви Святого Мартина «что в Полях». На площади размером с лужайку для игры в шары было захоронено семьдесят тысяч тел, и еще не считанные тысячи были закопаны в крипте церкви.

В 1859 году, когда клир Святого Мартина объявил о намерении очистить свои усыпальницы, натуралист Фрэнк Бакленд решил найти гроб великого хирурга и анатома Джона Хантера, чтобы перевезти его прах в Вестминстерское аббатство. Бакленд оставил интересное описание того, что он увидел внутри:

*Мистер Берстолл отпер массивную дубовую дверь склепа номер три. Мы посветили туда нашим фонарем, и тут я увидел зрелище, которое мне не забыть никогда: во мраке перед нами были тысячи и тысячи сваленных в кучу и разбитых гробов. Они были повсюду.*

Бакленду понадобилось шестнадцать дней, чтобы найти нужный прах. К сожалению, никто не предпринял таких же усилий ради других гробов, и их грубо выкатили на тележках и бросили в безымянные могилы на другом кладбище. В результате сегодня мы даже не представляем, где упокоились останки знаменитостей — мебельщика Томаса Чиппендейла, королевской фаворитки Нелл Гвин, ученого Роберта Бойля, художника-миниатюриста Николаса Хиллиарда, разбойника Джека Шеппарда, а также Уинстона Черчилля (не знаменитого премьер-министра XX века, а его далекого предка и полного тезки, отца первого герцога Мальборо) и многих других людей.

Многие церкви зарабатывали неплохие деньги на похоронах и не хотели отказываться от прибыльной статьи доходов. Клер баптистской часовни Энон на Клементс-лейн в Холборне (сейчас на этом месте

находится Лондонская школа экономики) умудрился всего за девятнадцать лет свалить в подвале храма ни много ни мало двенадцать тысяч мертвых тел. Неудивительно, что такое количество гниющей плоти издавало невыносимый запах и во время церковных служб часто случались обмороки среди прихожан. В конце концов большинство прихожан перестало вообще ходить в часовню, но отпевания продолжались. Клир нуждался в деньгах.

Кладбища настолько переполнялись, что было почти невозможно копнуть землю лопатой и не подцепить случайно чью-то разлагающуюся руку или другую часть тела. Мертвых хоронили в неглубоких наспех вырытых могилах, и они часто оказывались на виду — их откапывали животные, или они сами по себе поднимались на поверхность, как бывает с камнями в цветочных клумбах. В таких случаях покойников приходилось перезахоранивать.

Горожане, оплакивавшие своих почивших близких, почти никогда не посещали их могилы и не присутствовали на самих похоронах. Это было слишком тяжело и к тому же опасно. Говорили, что посетителей отпугивают гнилостные запахи. Некий доктор Уокер свидетельствовал на парламентском расследовании, что могильщики, прежде чем потревожить гроб, просверливали в нем дыру, вставляли туда трубку и сжигали выходящие газы — этот процесс занимал до двадцати минут.

Доктор Уокер лично знал одного человека, который пренебрег этой мерой безопасности и тут же упал, «сраженный, словно пушечным ядром, отравленный газами из свежей могилы». «Если вдохнуть этот газ, не смешанный с атмосферным воздухом, наступит мгновенная смерть», — подтвердил комитет в письменном отчете, мрачно добавив: — «Хотя даже смешанный с воздухом, он приводит к тяжелым заболеваниям, обычно заканчивающимся смертью». Вплоть до конца века медицинский журнал «Ланцет» время от времени публиковал статьи о людях, которые отравились плохим воздухом, навещая могилы усопших.

Разумным решением этой жуткой проблемы загрязнения, казалось многим, было бы перенести кладбища подальше от центра крупных городов и сделать их больше похожими на парки. Джозеф Пакстон с энтузиазмом продвигал эту идею, но человеком, возглавившим движение, был неутомимый и вездесущий Джон Клавдий Лоудон. В 1843 году он написал и опубликовал свой труд «К вопросу о планировании, устройстве и организации кладбищ, а также об улучшении церковных погостов» — книга оказалась неожиданно своевременной для автора, поскольку еще до конца года ему самому понадобилось кладбище.

Один из недостатков лондонских погостов, отмечал Лоудон, состоял в том, что они в основном устроены на тяжелых глинистых почвах, которые плохо пропускают влагу и воздух, вызывая тем самым гниение и застой. Лоудон предлагал размещать загородные кладбища на песчаных или гравийных почвах, где захороненные тела в конце концов превратятся в полезный компост. Обильные высадки деревьев и других растений не только создадут идиллическую сельскую атмосферу, но и будут впитывать в себя все миазмы, источаемые могилами, значительно освежая воздух.

Лоудон разработал план трех новых образцовых кладбищ и сделал их практически неотличимыми от парков. К несчастью, когда он умер, истощенный непомерной работой, его не смогли захоронить на одном из его собственных погостов, так как они еще не были готовы, и Лоудон упокоился на кладбище Кенсал-Грин в западном Лондоне, которое, впрочем, было основано на похожих принципах.

Погосты стали по сути парками. По воскресеньям люди приходили туда не только для того, чтобы отдать дань уважения своим умершим родственникам и друзьям, но и просто погулять, подышать свежим воздухом или даже устроить пикник. Хайгейтское кладбище в северном Лондоне с его красивыми видами и внушительными памятниками стало туристическим аттракционом. Горожане, жившие по соседству, даже покупали собственные ключи от ворот, чтобы у них была возможность гулять по кладбищу в удобное для них время.

Самым большим стало Бруквудское кладбище в Суррее, открытое компанией «Лондонский некрополь и национальный мавзолей» в 1854 году, которое разрослось так, что вмещало почти четверть миллиона захоронений на парковой территории площадью в две тысячи живописных акров. Компания даже провела частную железную дорогу Лондон — Бруквуд протяженностью двадцать три мили. В поездах имелись вагоны трех разных классов, а в Бруквуде построили два вокзала: один для англикан и другой — для нонконформистов<sup>[73]</sup>. Работники железной дороги шутливо именовали ее «Покойницкий экспресс». Дорога просуществовала до 1941 года, пока ее не уничтожили немецкие бомбардировщики.

Постепенно стало понятно, что людям на самом деле нужны не кладбища, похожие на парки, а настоящие парки. В год смерти Лоудона в городе Беркенхед в северо-западной Англии, на берегу реки Мерси, открылся первый общественный городской парк. Разбитый на 125 акрах пустоши, он сразу же вызвал бурный восторг публики. Стоит ли говорить, что его спроектировал изобретательный Джозеф Пакстон?

Собственно, в то время городские парки уже существовали, но они не были похожи на парки, известные нам сегодня. Прежде всего, до середины XIX века в лондонские парки допускались только люди высокого положения (и время от времени — особенно дерзкие куртизанки). По негласному правилу парк не предназначался для людей низших и даже средних классов, каким бы уважением они ни пользовались. Некоторые парки даже не заботились о том, чтобы сохранять это правило негласным: до 1835 года Риджентс-парк взимал входную плату, дабы отбить у простых людей желание прогуливаться по его дорожкам.

Многие новые промышленные города вообще не имели парков, и большинству рабочих некуда было пойти, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть. Приходилось довольствоваться пыльными дорогами, ведущими из города в сельскую местность, и если какой-то безрассудный путник сходил с изрытой колеями дороги и ступал на частные земли — чтобы полюбоваться видами или попить из ручья, — он вполне мог угодить ногой в стальной капкан. В том веке ссылка в Австралию за браконьерство была обычным делом, а любая форма пересечения частных границ, пусть и самая невинная, считалась гнусным преступлением.

Поэтому идея городского парка, вход в который был бы свободным для всех граждан независимо от их социального положения, была встречена с огромной радостью. Пакстон отказался от формальных геометрических аллей, обычных для парков того времени, и создал нечто более естественное и притягательное. Парк Беркенхед напоминал территорию частного поместья, только открытого для всех.

Весной 1851 года (и снова этот год!) молодой американский журналист и писатель Фредерик Лоу Олмстед, будучи в отпуске на севере Англии с двумя приятелями, зашел в булочную Беркенхеда, чтобы купить продукты для ланча, и булочник с таким энтузиазмом и гордостью рассказал им про парк, что они решили на него посмотреть. Олмстед был очарован. Качество ландшафтного дизайна «достигло здесь такого совершенства, о котором я не смел и мечтать», — вспоминает он в своей популярной книге «Прогулки и беседы американского фермера в Англии», где рассказывает об этом путешествии.

В это время многие жители Нью-Йорка активно добивались от властей города строительства приличного общественного парка, и этот парк, по мнению Олмстеда, был именно тем, что им нужно. Он и понятия не имел, что спустя шесть лет сам спроектирует подобный парк.

Фредерик Лоу Олмстед родился в 1822 году в Хартфорде, штат

Коннектикут, в семье процветающего торговца мануфактурой и провел свою молодость, постоянно меняя занятия. Он служил в текстильной фирме, ходил в плавания в качестве моряка торгового флота, управлял маленькой фермой и в конце концов занялся писательством.

После возвращения в Америку из Англии он стал корреспондентом недавно созданной *New York Times* и отправился в турне по южным штатам, описывая свое путешествие в серии выдающихся газетных репортажей, которые позже были изданы отдельной (и весьма успешной) книгой под названием «Хлопковое королевство».

Он водил знакомство с такими людьми, как Вашингтон Ирвинг, Лонгфелло и Теккерей, стал партнером в издательской фирме «Дикс энд Эдвардс». Какое-то время, кажется, все шло у него как по маслу, но затем фирма пережила серию финансовых потрясений и в 1857-м — в год экономического упадка, когда по всей стране закрывались банки, — он оказался вдруг разорен и без работы.

Как раз в этот момент власти Нью-Йорка решились преобразовать 840 акров лугов и заросших кустарником участков в долгожданный Центральный парк. Это была огромная территория, протяженностью около 2,5 мили и шириной в полмили. Олмстед, будучи на грани отчаяния, попросил для себя должность начальника строительства парка и получил место. Ему было тридцать пять лет, и эта работа была отнюдь не ступенькой вверх по карьерной лестнице. После того успеха, которым пользовался Олмстед как журналист, стать суперинтендантом муниципального парка было почти унижительно, тем более что Центральный парк далеко не все считали успешным проектом.

Во-первых, в те дни он вовсе не был центральным. Жилые кварталы Манхэттена заканчивались примерно на две мили южнее. Район, предлагаемый под парк, представлял собой необитаемый пустырь — забытое богом пространство заброшенных каменоломен и «зловонных болот», по словам одного обозревателя. Идея превращения этой территории в красивое и популярное у горожан место казалась почти абсурдной.

Никакого плана для парка пока не существовало. За лучший проект была назначена премия в 2000 долларов, а Олмстед крайне нуждался в деньгах. Он объединился с молодым британским архитектором Калвертом Во, только недавно приехавшим в Америку, и скоро пара представила свой план городским властям.

Олмстед обладал энергией и проницательностью, но не умел делать чертежи; здесь ему помогал Во. Это было началом крайне успешного партнерства. Согласно заданию, проект должен был включать

определенные элементы: плац-парад, детские площадки, пруд, который зимой превращался в каток, по крайней мере один цветник, смотровую башню и многое другое; кроме того, следовало провести четыре пересекающиеся улицы, чтобы парк не стал помехой для транспорта, идущего по Манхэттену с востока на запад.

Власти выбрали проект Олмстеда и Во отчасти из-за их идеи провести эти улицы в выемках, ниже линии прямой видимости, физически и зрительно отделив их от посетителей парка, которые будут благополучно переходить через эти улицы по мостикам. «Помимо всего прочего, это давало возможность закрывать парк на ночь, не препятствуя движению транспорта», — пишет Витольд Рыбчински в своей биографии Олмстеда. Проект Олмстеда и Во единственный предусматривал эту возможность.

Может показаться, что разбивка парка — это всего лишь посадка деревьев, устройство дорожек, установка скамеек и рытье прудов. На самом же деле Центральный парк был сложным инженерным проектом. Понадобилось свыше двадцати тысяч баррелей динамита, чтобы переконфигурировать ландшафт в соответствии с параметрами, предложенными Олмстедом и Во; на территорию завезли более полумиллиона кубических ярдов плодородной почвы, чтобы земля стала пригодна для посадки растений.

В самый разгар строительства, в 1859 году, в Центральном парке работало 3600 человек. Парк открывался постепенно, по частям, так что официальных торжеств по случаю открытия не состоялось. Многие сочли это неправильным и пребывали в растерянности.

Центральный парк и впрямь имел мало общего с традиционными парками. Эссеист Адам Гопник пишет в журнале *The New Yorker*:

*Главная дорожка парка ведет в никуда. Все озера и пруды разместились на предназначенных для них местах и не являются частями одного водного пути. Главные части парка не обозначены отчетливо и словно перетекают из одной в другую. Здесь умышленно отсутствуют ориентация, четкое планирование, обнадеживающая ясность. В Центральном парке нет центрального места.*

Но ньюйоркцы все равно полюбили свой парк, и вскоре Олмстед начал получать заказы со всей Америки. Это было довольно удивительно, ведь Олмстед разбивал нетрадиционные, непривычные парки, и чем больше он работал, тем более очевидным это становилось.

Олмстед был убежден, что все болезни горожан происходят из-за плохого воздуха и отсутствия физической нагрузки и приводят к «преждевременному упадку мозговой деятельности». Тихие прогулки и спокойное созерцание необходимы для восстановления здоровья, энергии и душевного равновесия усталых граждан. Поэтому он был ярким противником шумных, активных развлечений и особенно не любил зоопарки и катание на лодках — именно то, чего так жаждали посетители парков. В бостонском парке Франклина он запретил играть в бейсбол и заниматься другими видами спорта всем, кроме детей до шестнадцати лет. Празднование Дня независимости в парке тоже отменили.

Люди пренебрегали правилами, а администрация парков смотрела на это сквозь пальцы, поэтому парки Олмстеда в конце концов стали гораздо более приятным местом, чем ему хотелось, хотя по-прежнему более строгими, чем парки Европы с их веселыми биргартенами и дорожками для верховой езды.

Олмстед начал заниматься ландшафтным дизайном уже в зрелом возрасте, однако его карьера была поразительно плодотворной. Он разбил свыше сотни городских парков по всей Северной Америке — в Детройте, Олбани, Буффало, Чикаго, Ньюарке, Хартфорде и Монреале.

Центральный парк — самое известное произведение Олмстеда, но многие считают его шедевром Проспект-парк в Бруклине. Он также выполнил больше двухсот частных заказов для поместий и различных учреждений, в том числе создал около пятидесяти университетских кампусов. Билтмор стал последним проектом Олмстеда и фактически одним из его последних разумных деяний. Вскоре после этого у него развилась безнадежная и прогрессирующая деменция. Последние пять лет жизни он провел в психиатрической больнице Маклин в Белмонте, для которой, само собой, составил план окружающей территории.

### III

Конечно, нельзя сказать наверняка, чем занимался в свободное время наш замечательный преподобный мистер Маршем, однако мы можем уверенно заявить, что он мечтал о теплице... а может, она у него уже была, ибо теплицы были любимой игрушкой того века. Всех вдохновил Хрустальный дворец Джозефа Пакстона в Лондоне; а тут весьма кстати отменили налог на стекло, и вскоре повсюду начали возникать теплицы, наполненные интересными экземплярами растений, которые стекались в

Британию со всего мира.

Впрочем, широкое распространение образцов живой природы между континентами не могло обойтись без последствий. Летом 1863 года увлеченный садовод из Хаммерсмита обнаружил, что в его теплице заболел призовой виноград. Он не сумел определить характер заболевания, но заметил, что листья покрыты ореховидными наростами, из которых вылезают невиданные им ранее насекомые. Он собрал несколько штук и послал их сэру Обадию Вествуду, профессору зоологии Оксфордского университета и энтомологу мирового класса.

К сожалению, до нас не дошло имя хозяина винограда, а жаль, потому что это был первый европейский винодел, пострадавший от заражения филлоксерой — крошечной, почти невидимой тлей, которая вскоре уничтожит европейскую винную промышленность. Однако мы многое знаем о профессоре Вествуде. Он родился в Шеффилде, в скромной семье резчика печатей и штампов, был самоучкой, но стал не только ведущим энтомологом Британии, но и главным специалистом по англосаксонской письменности. В 1849 году его назначили первым профессором зоологии в Оксфорде.

Почти ровно через три года после открытия филлоксеры в Хаммерсмите виноделы из города Арль в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции обнаружили, что их виноградные лозы вянут и умирают. Вскоре виноград начал гибнуть по всей Франции. Владельцы виноградников были бессильны. Так как насекомые сначала поражали корни, первые признаки смертельного заболевания появлялись не сразу. Фермер не может выкопать лозу, чтобы посмотреть, нет ли на ней филлоксеры, — он просто загубит растение. Поэтому оставалось только ждать и надеяться на лучшее. В большинстве случаев надежды были напрасными.

За пятнадцать лет погибло сорок процентов французских виноградников. Восемьдесят процентов из них было впоследствии восстановлено путем прививки американских корней. Посреди общего разорения существовали маленькие загадочные участки очевидного иммунитета. От тли пострадал весь регион Шампань, кроме двух крошечных виноградников под Реймсом, которые по каким-то причинам успешно выстояли против инфекции и продолжают по сей день производить исконно французское шампанское.

Филлоксера из Нового Света почти наверняка и раньше добиралась до Европы, но уже мертвой — она не могла выжить в длительном морском плавании. Появление быстрых пароходов, а на суше — еще более быстрых поездов помогло тле пересечь океан и начать осваивать новые территории в

Старом Свете.

Филлоксера зародилась в Америке и свела на нет все попытки вырастить европейский виноград на американских почвах — это вызвало ужас и отчаяние повсюду, от французского Нового Орлеана до Монтичелло Томаса Джефферсона. Американский виноград был устойчив к филлоксере, но из него получалось не очень хорошее вино. Затем до кого-то дошло, что, если прививать европейский виноград на американские корни, получатся лозы с иммунитетом к тле. Вопрос состоял в том, будет ли из них получаться такое же хорошее вино, как получалось в Европе.

Во Франции многие виноделы не могли даже помыслить о том, чтобы испортить свои лозы прививкой на американские корни. Бургундия, опасаясь, что ее замечательные и крайне ценные виноградники гран крию будут безнадежно испорчены, четырнадцать лет отказывалась пятнадцать американскими корнями свои древние лозы несмотря на то, что эти лозы давно уже давали сморщенную и ни на что не годную ягоду. Однако многие виноделы, чтобы спасти урожай, делали незаконные прививки.

Тем не менее французский виноград существует сегодня лишь благодаря американским корням. Невозможно сказать, хуже ли он стал, чем был раньше. Большинство специалистов считают, что нет. Зато можно сказать наверняка, что вина, сохранившиеся с тех времен, когда еще не было филлоксеры, заставляют людей не только расставаться с большими деньгами, но и терять всякий здравый рассудок. В 1985 году американский издатель Малкольм Форбс заплатил 156 450 долларов за бутылку шато лафит 1787 года. Вино было слишком дорогим, чтобы его пить, поэтому Форбс выставил его на всеобщее обозрение в специальном стеклянном футляре. К несчастью, из-за подсветки, устроенной в витрине, старинная пробка усохла и упала прямо в вино.

Еще хуже оказалась участь бутылки вина шато марго XVIII века, некогда принадлежавшей Томасу Джефферсону. Она была продана в 1989 году за 519 750 долларов. Демонстрируя свое приобретение в нью-йоркском ресторане, виноторговец Уильям Соколин случайно задел бутылкой край сервировочной тележки, и бутылка разбилась, в одно мгновение превратив самое дорогое вино в мире в самое дорогое в мире пятно на ковре. Менеджер ресторана обмакнул палец в винную лужицу и объявил, что вино уже все равно нельзя было пить.

Пока промышленная революция производила чудесные машины, которые меняли жизнь людей (а иногда и насекомых), наука о садоводстве сильно отставала. В самый разгар XIX века никто не мог ответить даже на такой простой вопрос, что заставляет расти цветы и деревья. Все знали, что почвам нужны удобрения, но мало кто понимал, зачем именно они нужны и каким должен быть наилучший состав эффективного удобрения. В 1830-х годах фермеры использовали в качестве удобрения опилки, перья, морской песок, сено, дохлую рыбу, устричные раковины, шерстяную ветошь, золу, молотый рог, каменноугольную смолу, мел, гипс, а также семена хлопка, не говоря обо всем прочем.

Кое-что из этого работало лучше, чем можно предположить, — как-никак, фермеры не дураки, — но никто не мог оценить эффективность отдельно взятых составляющих или сказать, в какой пропорции они работают лучше всего.

В результате урожаи неумолимо снижались. Урожай зерна на севере штата Нью-Йорк снизился с 30 бушелей на акр в 1775 году до одной четверти от этого объема полвека спустя.

Ряд выдающихся ученых: Никола Теодор де Соссюр в Швейцарии, Юстус фон Либих в Германии и Гемфри Дэви в Англии — установили взаимосвязь между азотом и иными элементами с одной стороны и плодородием почв с другой, но как обогатить последние с помощью первых, по-прежнему было неясно. Поэтому фермеры почти повсеместно продолжали наугад подпитывать свои поля бесполезными удобрениями.

Затем в 1830-х неожиданно появился чудесный продукт, которого давно уже ждал мир. Это продукт назывался гуано. Птичьи экскременты использовались в Перу в качестве удобрения еще со времен инков, и эффективность этого ресурса не раз отмечалась исследователями и путешественниками. Но лишь теперь кто-то додумался собирать гуано в мешки и продавать отчаявшимся фермерам Северного полушария. Как только они проверили эффективность гуано, они тут же захотели получать его в возможно больших количествах.

Удобрение из гуано повышало урожайность культур до 300 процентов. Мир захватила настоящая гуаномания. Удобрение работало, потому что в нем было много азота, фосфора и нитрата калия (которые, так уж совпало, заодно являются необходимыми ингредиентами для производства пороха). Мочевая кислота, содержащаяся в гуано, высоко ценилась производителями красок. Так что гуано стало ценным продуктом и требовалось в самых различных отраслях. Одно время это был самый востребованный продукт в мире.

Гуано накапливается в огромных количествах в местах гнездования морских птиц. Множество скалистых островов буквально покрыто им: встречаются отложения толщиной в 150 футов. Некоторые острова в Тихом океане — одно сплошное гуано. Торговля гуано обогатила множество людей.

В течение тридцати лет Перу зарабатывало практически весь свой запас иностранной валюты за счет продажи птичьих экскрементов благодарному миру. Чили и Боливия начали войну за территории, богатые гуано. Конгресс США принял специальный Закон о гуано, позволивший частным компаниям объявлять американской территорией все острова, где есть гуано и которые еще не принадлежат ни одной стране. Таким образом США включили в свои владения свыше пятидесяти островов.

Гуано улучшило жизнь фермеров, чего нельзя сказать о жизни городов: в результате распространения гуано рынок человеческих отходов умер. Раньше люди, опорожнявшие городские выгребные ямы, продавали их содержимое фермерам. Но после 1847 года человеческие экскременты перестали интересовать покупателей, и уборка фекалий свелась к тому, что их просто вываливали в ближайшую реку. Чтобы избавиться от последствий, как мы скоро увидим, понадобилось не одно десятилетие.

Неизбежная проблема с гуано состояла в том, что оно накапливалось в течение веков, а расходовалось быстро. Один остров у берегов Африки, содержащий примерно 200 000 тонн гуано, был полностью очищен от птичьих экскрементов всего за год. Цены взлетели до 80 фунтов за тонну. К 1850 году средний фермер стоял перед нелегким выбором: потратить приблизительно половину своих доходов на гуано или смотреть, как его урожай чахнет. Стало понятно, что насущно необходимо синтетическое удобрение, которое надежно и при этом экономно будет подпитывать сельскохозяйственные культуры. Тут как раз и появляется на сцене любопытная фигура Джона Беннета Лоуза.

Лоуз был сыном богатого землевладельца из Хертфордшира и с детства увлекался химическими экспериментами. Он превратил свободную комнату в родительском доме в лабораторию и проводил там почти все свое свободное время. Примерно в 1840 году, когда ему было около двадцати пяти лет, его заинтересовало загадочное свойство удобрений из костной муки: если добавить такое удобрение в определенные почвы, например меловые или торфяные, то урожаи значительно повысятся, однако та же мука на глинистой почве совсем не дает никакого эффекта. Никто не знал причину этого явления. Лоуз начал экспериментировать на родительской ферме, используя различные сочетания почв, растений и навоза, пытаясь

докопаться до сути проблемы. Это было фактически началом научной агрономии. В 1843-м, в год смерти Лоудона, он превратил часть фермы в экспериментальную станцию Ротамстед — первую в мире станцию сельскохозяйственных исследований.

Лоуз как одержимый изучал удобрения и навоз. Еще никто и никогда не питал к этой теме столь глубокого интереса. Любой аспект, связанный с действием этих веществ, вызывал в Лоузе бурный восторг. Он менял рацион своих животных, а затем исследовал их фекалии, чтобы понять, как эти изменения влияют на урожайность. Он погружал растения во всевозможные сочетания химических веществ и в процессе этого обнаружил, что минеральные фосфаты, обработанные кислотой, делают костную муку эффективной на любых почвах. Но причину этого явления он не понимал. Ответ пришел гораздо позже: активное питающее вещество в костях животных, фосфат кальция, инертно в щелочных почвах; для его активации требуется кислота.

Тем не менее Лоуз создал первое химическое удобрение, которое назвал суперфосфатом извести. Мир получил то самое удобрение, в котором отчаянно нуждался. Лоуз был так предан своему делу, что провел собственный медовый месяц, путешествуя с женой по промышленным районам на берегах Темзы и ее притоков в поисках наилучшего места для своей фабрики удобрений. Лоуз умер в 1900 году очень богатым человеком.

Все эти достижения: развитие любительского садоводства, расцвет городских окраин, разработка эффективных удобрений — породили одно важное явление, которое незаметно преобразило облик мира. Речь идет о лужайках частных домов.

До XIX века газон был почти исключительно привилегией крупных домовладельцев, так как содержать его было делом накладным. Для тех, кто желал поддерживать свою лужайку в надлежащем виде, существовало всего два варианта. Первый — завести стадо овец, которые будут выщипывать траву. Этот вариант был выбран для Центрального парка в Нью-Йорке, в котором вплоть до конца XIX века паслось стадо из двухсот овец; эта часть парка и сейчас называется Овечья лужайка. Второй вариант — нанять специальную бригаду садовников, которые будут в течение всего сезона косить, собирать и увозить на тележках траву.

Оба варианта были накладными, и ни один не давал идеальных результатов. Даже тщательно покошенная лужайка по современным стандартам имела неровности, а газон, на котором паслись овцы, был еще хуже. Трудно сказать, какой из этих вариантов выбрал наш мистер Маршем,

но поскольку у него имелся садовник по имени Джеймс Бейкер, то, скорее всего, газон косили. Как бы там ни было, он почти наверняка выглядел ужасно.

Не слишком вероятно, что мистер Маршем пользовался новым и слегка пугающим изобретением — газонокосилкой. Ее изобрел Эдвин Берд Баддинг, инженер ткацкой фабрики в Страуде, Глостершир. В 1830 году, когда Баддинг возился со станком для обрезки ткани, ему пришло в голову, что если повернуть режущий механизм на бок, поставить на колеса и снабдить длинной рукояткой, то можно будет использовать его для резки травы. Никто раньше до такого не додумался. Еще более замечательно то, что газонокосилка Баддинга в том виде, в котором она в конце концов была запатентована, предвосхитила внешний вид и функциональность современной газонокосилки.

Однако это была жутко тяжелая и неповоротливая машина. Фирма «Джеймс Ферраби энд компани», производитель газонокосилок Баддинга, обещала в рекламном проспекте, что владелец нового приспособления «получит отличную, полезную для здоровья нагрузку»; текст сопровождался иллюстрацией, на которой счастливый покупатель вышагивал за газонокосилкой, как будто вез по гладкому паркету коляску с младенцем.

На самом деле управлять газонокосилкой Баддинга было не так-то просто. Оператор должен был крепко сжимать муфту и при этом со всей силой налегать на саму машинку, чтобы заставить ее двигаться. Повернуть ее в конце каждого ряда без посторонней помощи было почти невозможно.

Второй проблемой газонокосилки Баддинга было то, что она не очень хорошо стригла траву. Плохо сбалансированные лезвия либо беспомощно крутились в воздухе над лужайкой, либо с силой врезались в почву. Лишь время от времени газонокосилка оставляла за собой полосы ровно постриженной травы. Кроме того, это было недешевое удовольствие. В результате покупателей нашлось немного, и Баддинг и Ферраби вскоре расстались.

Однако другие производители взялись усовершенствовать изобретение Баддинга. Основной проблемой был вес. Некоторые ранние образцы чугунных механических газонокосилок были рассчитаны на конную тягу. Предприимчивые инженеры из компании «Лейланд Стим Пауэр Компани» построили паровую газонокосилку, но и та оказалась неуклюжей и громоздкой — ее вес превышал полторы тонны, — и всегда была опасность, что она выйдет из-под контроля и начнет косить заборы и изгороди<sup>[74]</sup>.

Наконец, простые приводные цепи (позаимствованные у другого чуда века — велосипеда) и новая легкая сталь Генри Бессемера сделали небольшую газонокосилку практичной, и это было именно то, в чем нуждался маленький загородный садовый участок.

К последней четверти XIX века газонокосилка окончательно утвердилась в своих правах. Даже в самых скромных имениях хорошо постриженная лужайка стала обязательной. Прежде всего владелец имения таким образом заявлял, что он достаточно обеспечен, чтобы не выращивать на свободной земле овощи к столу.

Сам Баддинг больше не имел никакого отношения к газонокосилкам, зато изобрел другое приспособление, крайне полезное для человечества: регулируемый гаечный ключ. Однако именно газонокосилка навсегда изменила мир у нас под ногами.

Сегодня для многих садоводство — это прежде всего устройство газонов и почти ничего больше. В Соединенных Штатах лужайки занимают большую площадь — 50 000 квадратных миль, — чем какая-либо отдельно взятая сельскохозяйственная культура. Трава на домашних лужайках желала бы вырасти до высоты в два фута, зацвести, приобрести коричневый цвет и погибнуть — именно это происходит с дикой травой в природе. Чтобы сохранить ее короткой, зеленой и постоянно растущей, требуется немало усилий и рабочих рук. В западных Соединенных Штатах около 60 % всей водопроводной воды разбрызгивается на газоны. Мало того, на них расходуется огромное количество гербицидов и пестицидов — 70 миллионов фунтов в год. Есть некая ирония в том факте, что в большинстве случаев поддержание красивого зеленого газона — одно из наиболее экологически вредных занятий, какие только есть в нашей жизни.

На этой несколько обескураживающей ноте давайте вернемся в дом и зайдем еще в одну комнату, прежде чем подняться на второй этаж.

## Глава 13

### «Сливовая» комната

#### I

Мы назвали эту комнату сливовой только потому, что, когда мы сюда переехали, ее стены были выкрашены в сливовый цвет. Название прижилось. Неизвестно, как называл эту комнату преподобный Маршем. На оригинальных планах она значится как «гостиная», но в какой-то момент функции гостиной стала исполнять соседняя комната.

Как бы ее ни называли, эта комната явно служила гостиной и, вероятно, для приема любимых гостей. Мистер Маршем мог бы назвать ее библиотекой, так как одна часть стены занята встроенным книжным шкафом, который тянется от пола до потолка; шкаф достаточно большой, чтобы вместить 600 книжных томов, приличное количество для человека его профессии в те дни.

К 1851 году книги для чтения были вполне доступны, но книги «для полка» оставались дорогими, поэтому, если у мистера Маршема была коллекция томов в переплетах из телячьей кожи, этого, пожалуй, было достаточно для того, чтобы комната называлась библиотекой.

Похоже, мистер Маршем уделял много внимания этой комнате. Лепные карнизы, деревянная каминная полка и книжный шкаф выдержаны в почти избыточном классическом стиле, который свидетельствует о немалых тратах и вдумчивом выборе.

Альбомы XIX века с эскизами декоративных деталей для дома предлагали хозяевам почти безграничный ассортимент: арки и орнаменты любых очертаний, крокеты, выкружки, меандры, волюты, карнизы и прочее. Все это можно было вырезать из дерева или отлить в гипсе. У мистера Маршема была полная свобода выбора, и он выбрал пилястры с каннелюрами у окон, ленты с фестонами у камина и великолепный лепной орнамент на карнизах под потолком.

Такая любовь к избыточному декору (считавшаяся крайне старомодной в то время) характеризует мистера Маршема как неотесанного деревенщину, напрочь лишенного вкуса. Однако мы благодарны ему за то, что избранный им классический стиль дает нам повод поговорить о самом

влиятельном архитекторе в истории (который и сам был деревенщиной), а также о двух самых интересных зданиях в мире. Оба находятся в Америке, и оба выполнены в деревенском стиле. Мы затронем и тему книг, ибо «сливовая» комната, как мы уже говорили, возможно, когда-то была библиотекой.

Чтобы рассказать о том, как появился стиль сливовой комнаты (и бесчисленного множества других интерьеров), нам придется оставить Норфолк и Англию и перенестись в солнечные долины северной Италии, в симпатичный древний город Виченцу, расположенный на полпути из Вероны в Венецию, в регионе Венето.

На первый взгляд Виченца очень похожа на другие города итальянского севера, но почти всех приезжающих сюда охватывает странное, почти сверхъестественное чувство. Вы сворачиваете за угол и вдруг видите здания, которые, как вам кажется, вы уже видели раньше.

На самом деле постройки, которые вы увидите в Виченце, представляют собой образцы, по которым построены многие важнейшие сооружения Европы и Америки: Лувр, Белый дом, Букингемский дворец, Публичная библиотека в Нью-Йорке, Национальная галерея в Вашингтоне и бесчисленное множество банков, полицейских участков, судов, церквей, музеев, больниц, школ, богатых особняков и непритязательных жилых домов. Палаццо Барбарано и вилла Пьовене — явно архитектурные братья Нью-Йоркской фондовой биржи, Банка Англии, берлинского Рейхстага и прочих известных сооружений. Вилла Капра, расположенная на удаленном склоне холма, напоминает сразу целую сотню знаменитых купольных зданий, от Храма четырех ветров в замке Говардов до мемориала Джефферсона в Вашингтоне. А вилла Кьерикати с ее поразительным портиком, треугольным фронтоном и четырьмя строгими колоннами — разве она не похожа на Белый дом?

Человеком, ответственным за все эти архитектурные чудеса, был каменщик Андреа ди Пьетро делла Гондола, который в 1524 году, в возрасте без малого шестнадцати лет, приехал в Виченцу из родной Падуи. Здесь он подружился с влиятельным аристократом Джанджорджо Триссино. Если бы не это удачное знакомство, молодой человек, скорее всего, провел бы свою жизнь на лесах и в пыльной каменоломне, так и не раскрыв своей гениальности, и мир сегодня выглядел бы по-другому.

К счастью для потомков, Триссино разглядел в мальчике талант. Он привел его к себе домой, заставил учиться математике и геометрии, свозил в Рим посмотреть на великолепные античные здания и создал для него все

условия, позволившие Андреа стать величайшим и, пожалуй, едва ли не самым влиятельным архитектором всех времен.

Заодно Триссино дал своему юному другу новое имя, под которым мы знаем его сегодня: Палладио, в честь Афины Паллады, древнегреческой богини мудрости. Тут надо подчеркнуть, что их отношения были совершенно платоническими. Триссино был известным волокитой, а его юный каменщик счастливо женился и стал отцом пятерых детей. Просто Триссино испытывал к Палладио большую симпатию, как и многие другие знакомые Андреа.

Итак, Палладио стал архитектором — что было довольно необычно, так как в то время архитекторы обычно начинали свою карьеру в качестве художников, а не ремесленников. Палладио же не занимался ни рисунком, ни скульптурой, ни живописью. Он просто проектировал дома. Однако его практические навыки каменщика давали ему одно бесценное преимущество: он прекрасно знал, как ведут себя самые различные конструкции, и, следовательно, понимал, как выразился Витольд Рыбчински, «не только как будет выглядеть здание, но и как надлежит его строить».

Палладио был типичным примером таланта, раскрывшегося в нужном месте в нужное время. После эпического вояжа Васко да Гамы в Индию за четверть века до описываемых событий монополия Венеции в торговле специями была подорвана; начался медленный упадок ее коммерческого могущества, и экономический центр тяжести региона начал смещаться вглубь материка.

Внезапно появилась новая плеяда хорошо образованных заказчиков, у которых были и деньги, и архитектурные амбиции; Палладио прекрасно знал, как использовать первое для того, чтобы удовлетворить второму. Он начал строить в Виченце и окрестностях замечательно красивые дома. У него был особый талант проектировать здания так, чтобы они соответствовали классическому канону и в то же время были более привлекательными и комфортабельными, чем строгие классические образцы. Такое обращение с классическими идеалами нравилось его заказчикам.

Палладио спроектировал не так уж много сооружений — несколько дворцов, несколько церквей, театр, два моста и тридцать вилл, из которых до наших дней сохранились только семнадцать. Из тринадцати вилл, что не дошли до нас, четыре не были закончены, семь были со временем разрушены, к строительству одной так и не приступили, а еще одна, вилла Рагона, просто как-то растворилась в истории — трудно сказать,

существовала ли она вообще.

Метод Палладио был основан на жестком следовании канону, как он был сформулирован Витрувием, римским строителем I века до нашей эры. Витрувий, по всей видимости, не был особенно выдающимся архитектором, он больше проявил себя в качестве военного инженера. Однако, по счастливой случайности, сохранились его записи — единственная дошедшая до нас античная работа по теории архитектуры, и это делает Витрувия особенно ценным для истории.

Единственный экземпляр текста Витрувия был найден в одном швейцарском монастыре в 1415 году. Витрувий излагает чрезвычайно подробные правила, касающиеся пропорций, порядка, форм, материалов и всего, что можно измерить цифрами. В мире Витрувия правит математика. Никакие детали нельзя оставлять на волю случая; любые размеры и расстояния диктуются четкими формулами, которые автоматически обеспечивают надежную гармонию:

*Высота таблинума<sup>[75]</sup> до балок определяется на одну восьмую больше его ширины. Кессоны же его должны подниматься еще на одну треть его ширины. Проходы в меньших атриумах определяются в две трети ширины таблинума, в больших — в полширины. Изображения предков ставятся на высоте, соответствующей ширине крыльев. Ширину дверей должно соразмерять с вышиной; если они будут дорийскими, их надо делать по-дорийски, если ионийскими — по-ионийски, согласно тем правилам соразмерности, какие были указаны в четвертой книге относительно входных дверей. На ширину отверстия в крыше надо отводить не меньше четверти и не больше трети ширины атриума; длина же его должна быть соразмерна длине атриума<sup>[76]</sup>.*

Палладио, опираясь на указания Витрувия, считал, что комната в плане может быть одной из семи форм: круглая, квадратная или одного из пяти типов прямоугольников; при строительстве необходимо соблюдать определенные пропорции. К примеру, длина столовой должна быть вдвое больше ее ширины. Эти пропорции, по мнению Палладио, были наиболее гармоничными, однако почему именно, он не объяснял (как, впрочем, и Витрувий).

На деле, однако, минимум в половине случаев Палладио руководствовался собственными правилами, не имеющими никакого

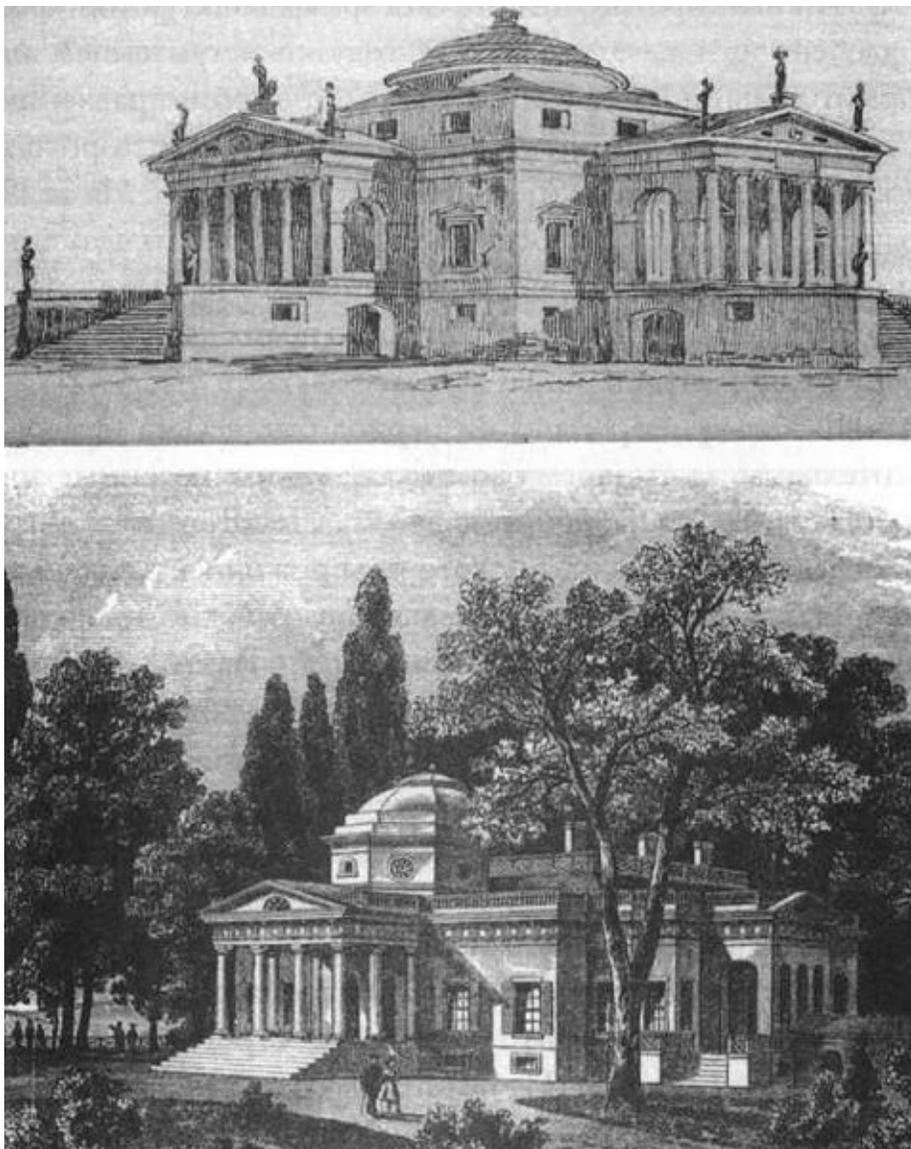
отношения к Витрувию. Например, идея применения композитного ордера в верхнем ярусе зданий (а не коринфского, как делали римляне) принадлежит Себастьяно Серлио, современнику Палладио.

Палладио допускал и другие вольности. Скажем, он всегда пристраивал к фасаду своих вилл портик с колоннами, однако эта деталь характерна только для римских храмов, но не для жилых домов. То есть в данном случае архитектор шел совершенно против исторической правды. Впрочем, можно уверенно заявить, что это самая удачная ошибка в истории архитектуры.

Если бы он строил только красивые жилые дома в Виченце, имя Палладио никогда не прогремело бы на весь мир. Знаменитым его сделал трактат, опубликованный им в 1570 году, ближе к концу жизни, и называвшийся *Quattro Libri dell'architettura* («Четыре книги об архитектуре»). Отчасти это альбом чертежей и архитектурных планов, отчасти — изложение основных принципов архитектуры, отчасти — сборник практических рекомендаций. Книга полна подробностей, в ней обсуждается оптимальная высота потолков, размеры дверей и окон, есть множество полезных советов — например, рекомендация не располагать окна слишком близко к углам здания, так как это ослабляет конструкцию. В общем, это был отличный справочник для всех любителей архитектуры.

Первым палладианцем в Англии стал Иниго Джонс, театральный декоратор и архитектор-самоучка, который открыл для себя работы Палладио, когда посетил Италию — через двадцать лет после смерти мастера. Джонс был поражен до глубины души. Он купил все чертежи Палладио, которые ему попадались — всего их было около двухсот, — выучил итальянский язык, и даже подпись его была похожа на подпись Палладио.

Вернувшись в Англию, Джонс начал строить здания в духе своего кумира. Первым его произведением стал дом королевы в Гринвиче, построенный в 1616 году. На современный взгляд, это довольно унылое квадратное здание, больше всего похожее на полицейский участок маленького городка где-нибудь на Среднем Западе, но для Англии эпохи Стюартов оно было поразительно лаконичным и современным. По сравнению с ним все дома в стране стали казаться пережитком прошлого.



*Рис. 13. Сверху: вилла «Ротонда» работы Палладио; снизу: усадьба Монтичелло Томаса Джефферсона.*

Палладианство тесно связано с георгианским стилем и почти неотлично от него. Эта эра архитектурной упорядоченности началась в 1714 году со вступлением на престол Георга I и продлилась на протяжении правлений еще трех Георгов, а также Уильяма IV, смерть которого в 1837 году привела на трон королеву Викторию. На деле, разумеется, эти хронологические рамки не настолько точны. Архитектурный стиль не меняется со смертью монарха и не держится в строгих рамках во время долгого правления одной династии.

Поскольку георгианский период был весьма продолжительным, за это время возникали многочисленные архитектурные усовершенствования.

Некоторые из них впоследствии исчезли, а некоторые прижились и развивались независимо, поэтому подчас невозможно провести грань между неоклассицизмом, стилем Регентства, итальянским Ренессансом и «греческим возрождением», а также другими стилистическими эпохами, определявшими эстетику времени. В Америке после провозглашения независимости георгианский стиль стал неуютным (его не слишком любили и раньше), поэтому там был разработан новый стиль — федеральный.

У всех этих стилей есть одно общее: приверженность классическим канонам, то есть набору строгих правил, а это не всегда хорошо. Правила означают, что архитекторам практически не надо думать. Например, роскошный дом в Кенте, спроектированный Колином Кемпбеллом, на самом деле представляет собой просто копию виллы «Ротонда», построенной Палладио (разве что с несколько видоизмененным куполом), и многие другие здания не намного оригинальней.

«Верность канону — вот что было важно», — замечает в своей книге «Архитектура счастья» британский писатель и философ Ален де Боттон. Несмотря на то, что в то время были построены великолепные палладианские дворцы — на ум сразу приходит огромный и пышный Чизик-хаус в западном Лондоне, принадлежавший лорду Берлингтону, — общий эффект со временем прискучил. Как выразился историк архитектуры Николай Певзнер, «нелегко отличить друг от друга и виллы, и загородные дома, построенные в тот период».

Поэтому приятно, что два наиболее интересных палладианских здания были построены не в Европе, а в далеких краях и не профессиональными архитекторами, а любителями. Зато какими любителями!

Осенью 1769 года на вершине холма на юге Виргинии — там, где в то время был самый край цивилизованного мира, — один молодой человек начал возводить свой дом-мечту. На строительство ушло больше полувека его жизни, все сбережения и силы, но он так и не увидел этот дом законченным. Молодого человека звали Томас Джефферсон, а свой дом он назвал Монтичелло.

Перед этим сооружением в буквальном смысле простирался неведомый континент, цивилизация же осталась позади него. Пожалуй, самое главное в особняке Джефферсона — это то, что он повернулся спиной к Старому Свету и обратился в загадочную пустоту мира нового.

Дом построен на вершине холма. В XIX веке этого обычно не делали, так как это было непрактично: во-первых, нужно провести навверх дорогу,

во-вторых, расчистить и выровнять обширную и часто каменистую площадку — обе эти задачи требовали огромного труда. И Джефферсон принялся за их выполнение.

Кроме того, ему постоянно приходилось решать проблему водоснабжения. С водой на вершине холма непросто: она имеет обыкновение стекать вниз, поэтому пришлось копать необычно глубокие колодцы. И все равно они пересыхали с периодичностью примерно раз в пять лет, и воду приходилось возить на тележках снизу вверх. Также хозяева постоянно опасались, что в их дом попадет молния, ведь он был самой высокой точкой на площади в несколько миль.

Монтичелло — это та же вилла Капра работы Палладио, но истолкованная по-новому, построенная из других материалов и стоящая на другом континенте — восхитительно самобытная и вместе с тем верная оригиналу постройка. Эпоха Просвещения была отличным временем для палладианских идеалов. В этот период наблюдалось бурное развитие науки; люди верили, что все, в том числе красоту, можно свести к научным принципам.

К тому же книга чертежей Палладио была отличным букварем для архитекторов-любителей; она была практическим пособием для таких людей, как Джефферсон. За полвека, предшествовавших началу работ в Монтичелло, было выпущено около 450 справочников по архитектуре, и у Джефферсона был огромный выбор, однако он остался верен Палладио. «Палладио — это Библия», — просто написал он.

В то время, когда Джефферсон начал строить Монтичелло, он еще не бывал ни в одном крупном городе, если не считать Вильямсбурга, колониальной столицы, где Томас учился в колледже; однако Вильямсбург с его населением примерно в две тысячи человек едва ли можно назвать мегаполисом. Позднее Джефферсон совершил путешествие по Италии, но так никогда и не повидал виллу Капра; она наверняка произвела бы на него сильное впечатление: на картинках эта вилла и дом в Монтичелло кажутся похожими, однако второй по сравнению с первой — просто крошечный коттедж. Отчасти это объясняется тем, что службы Монтичелло построены на склоне холма и не видны ни из дома, ни из сада. К тому же многие служебные помещения Монтичелло расположены под землей.

Сегодня посетители Монтичелло видят дом, о котором мечтал Джефферсон, но которого он никогда не видел. При жизни Джефферсона строительство не было завершено. В течение пятидесяти четырех лет Джефферсон жил на стройплощадке. «Поднимать вверх и тянуть вниз — мои любимые развлечения», — весело замечал он, и это была правда, ибо

он постоянно что-то придумывал по хозяйству или мастерил. Поскольку работа так затянулась, некоторые уже готовые части Монтичелло активно разрушались, пока другие были еще в процессе постройки.

План Джефферсона был чересчур хитроумным. Крыша стала кошмаром для строителей, ибо он придумал слишком сложное соединение коньков со скатами.

— Здесь он проявил себя как любитель, а не как профессионал, — сказал мне Боб Селф, хранитель архитектурного наследия Монтичелло. — Проект был эстетически безупречным, но неоправданно сложным.

Джефферсон-архитектор был скрупулезен до невозможности. Некоторые его чертежи предполагают измерения с точностью до семи десятичных знаков. Селф показал мне одну из пометок: 1, 8 991 666 дюйма.

— Никто даже сейчас не может измерить что-либо с такой степенью точности, — говорит Боб. — Речь идет о миллионной части дюйма. Подозреваю, что это было просто своего рода интеллектуальным упражнением. На практике такие величины не используются.

Самым странным атрибутом дома были две лестницы. Джефферсон считал, что лестницы зря занимают пространство, поэтому сделал их шириной всего в два фута и очень крутыми — «маленькие стремянки», назвал их один посетитель. Лестницы были слишком узкими и к тому же винтовыми, поэтому все предметы, которые требовалось поднять наверх, в том числе и багаж гостей, приходилось втаскивать через окна. Кроме того, лестницы были устроены в самой глубине дома — там, куда не проникал естественный свет, — и пугали своей темнотой. Ходить по ним страшно даже сейчас.

Чтобы избежать опасности, гостям не разрешалось пользоваться лестницами; вход на второй и третий этажи был закрыт для гостей; эти помещения использовались в основном под рабочие кабинеты. Таким образом, гости не могли увидеть самую замечательную комнату в доме — «небесную», как назвал ее Джефферсон, — занимавшую пространство под куполом. Желтые стены и зеленый пол, прохлада и роскошные виды из окон — здесь можно было бы устроить отличный кабинет, студию или гостиную, но до «небесной» комнаты было слишком трудно добраться. Во времена Джефферсона она стояла пустой примерно треть года, поскольку никто не знал, как ее протопить. В результате там устроили просто склад для хранения ненужных вещей.

Во всех других отношениях дом был просто чудесным. Купол, определяющий облик Монтичелло, пришлось строить необычным образом, чтобы подогнать под уже существующие несущие стены задней части

здания.

— Хоть он и выглядит совершенно обычным, — объясняет Селф, — на самом деле это не так. Дом потребовал немислимого количества вычислений. Ребра жесткости купола все разной длины, но охватывают один и тот же радиус, поэтому тут понадобились сложные расчеты с синусами и косинусами. Немногие справились бы с установкой такого купола.

Другие предметы опережали свое время на несколько поколений. Прежде всего, Джефферсон устроил в доме тринадцать световых люков, и помещения получились необычно светлыми и воздушными.

С террасы Селф показал мне очень красивые сферические солнечные часы в саду, которые Джефферсон сделал сам:

— Эти часы — не только отличный образчик искусной работы. Их нельзя было сделать без продвинутого знания астрономии. Удивительно, насколько разносторонне он был одарен!

Дом в усадьбе Монтичелло стал знаменит благодаря своим новшествам — встроенному в камин кухонному лифту, ватерклозетам, устройству под названием «полиграф», в котором использовались две ручки для копирования рукописных текстов. Одно новшество — пара дверей, которые открывались одновременно, если толкали только одну из них, — очаровывало и озадачивало специалистов на протяжении полутора веков. Только в 1950-х, когда в ходе реставрации были вскрыты внутренние механизмы, загадка была разгадана: двери соединялись с помощью встроенных в пол стержня и шкивов — весьма передовой, но не совсем оправданной конструкции: для ее устройства потребовалось немало денег и находчивости, а усилия, которые она сберегала, были совсем незначительны.

Джефферсон был на удивление энергичным человеком. Он хвастался, что за пятьдесят лет солнце ни разу не застало его в постели. За те восемьдесят три года, что были отпущены ему судьбой, он едва ли потратил зря хотя бы одно мгновение. Он как одержимый делал заметки и использовал одновременно целых семь блокнотов, в каждый из которых записывал самые незначительные подробности своей повседневной жизни.

Он фиксировал погоду, приметы миграции птиц, даты зацветания растений. Он не только хранил 5000 полученных им писем и копии 18 000 написанных им, но и тщательно регистрировал их все в «Эпистолярном журнале» (в нем уже было больше 650 страниц). Джефферсон записывал каждый заработанный и потраченный цент. Записывал, сколько нужно

горошин, чтобы наполнить кастрюльку емкостью в одну пинту. Он регулярно проводил инспекцию своих рабов, записывая в деталях, как с ними обращаются и чем они владеют.

Однако, как ни странно, он не вел ни дневника, ни инвентарных записей, касающихся самого Монтичелло.

— Удивительное дело, — сказала мне Сюзан Стейн, главный куратор Монтичелло, когда я туда приехал, — Мы больше знаем про парижский дом Джефферсона, чем про этот. Нам неизвестно, какой тип половых покрытий он применил в большинстве комнат и какая у него стояла мебель. В доме было два туалета, но мы не знаем, кто ими пользовался и что они использовали вместо туалетной бумаги.

Странное дело: нам известно все про 250 видов съедобных растений, которые выращивал Джефферсон (он систематизировал их в своих записях в зависимости от того, какие их части съедобны — корни, плоды или листья), но мы остались в неведении относительно множества аспектов, касающихся его жизни в доме.

Этот дом всегда потворствовал его желаниям. Когда в 1772 году Джефферсон привез в Монтичелло свою молодую жену Марту, здание уже строилось в течение трех лет, и было видно сразу, что это его дом. К примеру, его личный кабинет был вдвое больше столовой и семейной спальни вместе взятых. Вещи, которыми был обставлен дом, отвечали его потребностям и причудам. Так, Томас Джефферсон мог определить направление и скорость ветра в любой из пяти точек в доме — не самый необходимый навык с точки зрения миссис Джефферсон.

Марта умерла всего через десять лет после свадьбы. После ее скоростной смерти дом стал еще больше под стать Джефферсону. Гостям разрешалось заходить в его личные покои только в сопровождении хозяина. Тем, кто желал посидеть в библиотеке, приходилось ждать, когда мистер Джефферсон соизволит их туда отвести.

Из всех загадочных пробелов в записях Джефферсона самым удивительным было то, что он не вел учет своих книг и не имел понятия, сколько их у него всего. Джефферсон любил книги; ему посчастливилось жить в то время, когда книги стали доступны. Когда в 1757 году умер отец Джефферсона, он оставил библиотеку из сорока двух книг, и это считалось весьма впечатляющей коллекцией. Библиотека из четырехсот книг — столько оставил после себя Джон Гарвард — рассматривалась как нечто настолько колоссальное, что его именем назвали Гарвардский университет. На протяжении своей жизни Гарвард собирал книги со скоростью около двенадцати в год. Джефферсон же покупал по двенадцать книг в месяц,

накапливая в среднем по тысяче каждые десять лет.

Без своих книг Томас Джефферсон не был бы Томасом Джефферсоном. Для такого человека, как он, живущего на окраине освоенных земель, вдали от цивилизации, книги были жизненно необходимы; в них содержались ценные советы, и самой полезной с этой точки зрения стала для него книга Палладио *I Quattro Libri*.

## II

Из-за финансовых трудностей хозяина и бесконечных доделок дом Монтичелло выглядел недостроенным. В 1802 году, когда туда приехала с визитом миссис Анна Мария Торнтон, она была в шоке от того, что ей пришлось ходить по шатким доскам. К тому времени Джефферсон работал над усовершенствованием дома уже более тридцати лет. «Я ожидала увидеть недоделанный дом, — с удивлением отметила гостя в своем дневнике, — но меня невольно поразила общая мрачность здания».

Сам Джефферсон никогда не придавал особого значения этим неудобствам. «Мы живем словно в печи для обжига», — весело писал он другу. Джефферсона не слишком волновал беспорядок. В сыром и теплом климате Виргинии дерево приходится перекрашивать минимум раз в пять лет, однако, насколько нам известно, Монтичелло вообще никогда не перекрашивался. Термиты начали уничтожать дом почти сразу же, вскоре завелась и сухая гниль.

Джефферсон постоянно нуждался в средствах, но это исключительно его вина. Он тратил деньги без оглядки. Когда в 1790 году он вернулся на родину после пяти лет, проведенных во Франции, он привез с собой целый корабль мебели и домашней утвари: пять печей, пятьдесят семь стульев, зеркала, диваны и подсвечники, спроектированный им самим кофейник, часы, постельное белье, всевозможную посуду, 145 рулонов обоев, запас газовых ламп, четыре вафельницы и многое другое — всего восемьдесят шесть больших ящиков, набитых добром. Кроме того, он привез из Европы карету вместе лошадьми. Доставив все это в свой дом в Филадельфии, тогдашней столице, он отправился за новыми покупками.

Будучи, с одной стороны, человеком крайне непритязательным — Джефферсон одевался хуже собственной прислуги, — он, с другой стороны, тратил огромные суммы на еду и напитки. Во время своего первого президентского срока (1801–1805) Томас Джефферсон израсходовал 7500 долларов (примерно 120 000 в пересчете на нынешние

деньги) только на одно вино. За восемь лет он купил ни много ни мало двадцать тысяч бутылок вина. Даже когда ему было восемьдесят два года и он безнадежно погряз в долгах, он заказывал по сто пятьдесят бутылок муската «де ривзальт», как с нескрываемым удивлением отмечает один его биограф.

Многие странности Монтичелло происходят из-за недостатка рабочих рук. Джефферсону пришлось выполнить колонны портика в простом тосканском ордере, потому что он не смог найти рабочих, которые сумели бы справиться с более сложным ордером. Однако самой большой проблемой было отсутствие материалов. Здесь стоит остановиться подробнее на том, с чем пришлось столкнуться американским колонистам в их попытке построить цивилизацию на территории, не имевшей никакой инфраструктуры.

Британская имперская философия состояла в том, что Америка должна обеспечивать метрополию сырьем по разумным ценам и получать взамен готовую продукцию. Эта система была закреплена в серии законов, известных как Навигационные акты, в которых говорилось, что любая продукция, предназначенная для Нового Света, должна либо изготавливаться в Британии, либо проходить через нее, даже если она произведена, скажем, в Вест-Индии и для доставки в Америку ей придется дважды пересекать Атлантический океан. Это соглашение было крайне неэффективным, но весьма выгодным для британских торговцев и производителей, которые держали в коммерческой узде целый быстро развивающийся континент.

Накануне революции Америка была для Британии выгодным рынком сбыта. Она покупала 80 % английского экспортного текстиля, 76 % гвоздей, 60 % ковкого чугуна и почти половину всего стекла. Если говорить про оптовую торговлю, то Америка ежегодно импортировала, помимо всего прочего, 30 000 фунтов шелка, 11 000 фунтов соли и свыше 130 000 кастровых шляп. Многие из этих вещей — и уж во всяком случае кастровые шляпы — были сделаны из материалов, полученных в Америке; их могли легко изготовить и на американских фабриках, и американцы это прекрасно понимали.

Маленький внутренний рынок Америки и проблемы распределения по такой большой территории означали, что американцы не могли соперничать с другими странами, даже если бы осмелились. В самом начале XVIII века в Америке имелось несколько фабрик, производивших стекло, и они даже добились некоторого успеха, но к моменту революции стекло в колониях вообще не выпускали. В большинстве домов разбитые

окна так и оставались невставленными. Оконные стекла были такой редкостью, что новым переселенцам советовали привозить их с собой. Железо тоже оказалось в дефиците — так же как и бумага.

В Америке изготавливали только самые основные предметы посуды — кувшины, фаянсовые тарелки и чашки и т. п.; фарфор и другие высококачественные изделия привозили из Британии (или провозили через нее, что получалось еще дороже). В результате буквально все приходилось заказывать через длинные цепочки посредников. Каждый заказ описывался в утомительных подробностях и в конце концов вверялся незнакомцам, которые могли выбрать не то, что нужно, а то и вовсе исчезнуть. Словом, причин для недовольства было хоть отбавляй.

Типичный заказ Джорджа Вашингтона, сделанный им в 1757 году, дает некоторое представление о том, какое бесконечное количество вещей американцы не имели права изготавливать сами. Вашингтон заказал в Англии шесть фунтов нюхательного табака, две дюжины губчатых зубных щеток, двадцать мешков соли, пятьдесят фунтов изюма и миндаля, дюжину стульев из красного дерева, два стола (в разложенном виде общей площадью в 4,5 фута), большую голову чеширского сыра, мрамор для облицовки дымохода, большое количество папье-маше и обоев, один бочонок сидра, пятьдесят фунтов свечей, двадцать головок сахара, 250 оконных стекол и многое другое.

«Пусть все тщательно упакуют», — добавлял Вашингтон почти жалобно, но его просьба была напрасной: почти в каждой посылке всегда было что-то разбито, испорчено или украдено. Если вы почти год ждете, скажем, двадцать оконных стекол, а когда они приходят, вы видите, что половина из них разбита, а другая половина — не того размера, то даже у человека с ангельским характером лопнет терпение.

Впрочем, с точки зрения торговцев и посредников сами заказы тоже порой бывали весьма странными. Один раз Вашингтон попросил своего лондонского агента приобрести для него «двух львов, итальянских антиков». Агент правильно предположил, что Вашингтон имеет в виду статуи, но мог лишь догадываться о том, какие именно и какого размера. Поскольку Вашингтон никогда не бывал в Италии, он, скорее всего, и сам не знал толком, что именно ему нужно. В письмах, которые Вашингтон посылал в Лондон, он постоянно запрашивал «модные» или «красивые и элегантные» вещи, однако письма, которые он посылал следом, свидетельствуют о том, что он редко получал желаемое.

Даже самые аккуратные инструкции иногда понимались совсем не так, как надо. Эдвин Тунис в книге «Колониальная жизнь» рассказывает

историю о человеке, который вложил в конверт с заказом изображение родового герба, который он хотел бы видеть на обеденном сервизе. Чтобы его указания были абсолютно понятны, он добавил жирную стрелку, указав на некую важную деталь герба. Когда посуда прибыла, заказчик с ужасом обнаружил, что стрелка абсолютно точно воспроизведена на каждом предмете.

Для многих посредников было обычным делом отправить американцам одежду и мебель, которая вышла из моды и уже не пользовалась спросом в Европе. «Ты и представить себе не можешь, каким бараклом завалены лучшие здешние магазины!» — писала домой из Америки английская туристка Маргарет Холл. Английские коммерсанты весело повторяли фразу: «Для Америки сойдет». Заказчики, соответственно, все время подозревали, что переплачивают за товар. Вашингтон гневно писал в Лондон после получения очередного заказа, что многие поставленные товары «плохого качества, зато по цене превосходят все, что у меня когда-либо было».

Небрежность агентов и торговцев приводила американцев в крайнее раздражение. Полковник Джон Тейлоу, строя свой знаменитый восьмиугольный дом «Октагон» в Вашингтоне, заказал камин на лондонской фабрике Элизабет Коуд и год ждал, пока его доставят; открыв ящик, полковник разразился ругательствами: отправитель забыл положить каминную полку. Тейлор не стал дожидаться доставки полки и заказал новую, деревянную, надежному американскому плотнику. Камин — по-прежнему с деревянным верхом — остается одним из немногих изделий из камня Коуд в Америке.

Из-за трудностей с поставками плантаторам часто приходилось самим делать собственные кирпичи. Джефферсон тоже сам их обжигал — целых 650 000 штук, — но это было трудным делом, поскольку из каждой партии только около половины оказывались пригодными для строительства: самодельные обжиговые печи Джефферсона нагревали очень неравномерно. Джефферсон начал также делать и собственные гвозди.

Отношения с Британией становились все более напряженными. В 1774 году Континентальный конгресс принял резолюцию о запрете импорта. Джефферсон, к своему разочарованию, обнаружил, что четырнадцать пар очень дорогих створчатых окон, которые он заказал в Англии и которые ему действительно были очень нужны, теперь до него не дойдут.

Все эти ограничения свободы торговли сильно возмущали шотландского экономиста Адама Смита (чья работа «Богатство народов» неслучайно была опубликована в том же году, когда Америка объявила о

своей независимости), но гораздо больше были возмущены американцы, которым совершенно не нравилось, что их рынок монополизировал единственный поставщик. Было бы преувеличением предположить, что проблемы в торговле стали единственной причиной американской революции, но они наверняка сыграли значительную роль.

### III

Пока Томас Джефферсон бесконечно занимался делами Монтчелло, в 120 милях к северо-востоку, в той же Виргинии, его коллега и добрый друг Джордж Вашингтон сталкивался с теми же препятствиями и трудностями (и справлялся с ними с той же находчивостью), перестраивая Маунт-Вернон, свое поместье на берегу реки Потомак, совсем рядом с современным округом Колумбия. Когда Вашингтону поручили выбрать место для новой федеральной столицы, он выбрал его рядом со своей плантацией, чтобы было недалеко ездить.

Когда в 1754 году после смерти своего сводного брата Лоуренса Вашингтон переехал в поместье Маунт-Вернон, здесь стоял скромный фермерский дом в восемь комнат. Вашингтон провел следующие тридцать лет, перестраивая и расширяя здание с целью превратить его в роскошный особняк из двадцати комнат, элегантно спроектированных и красиво отделанных (с оглядкой на Палладио). В юности Вашингтон совершил короткое, но увлекательное путешествие на Барбадос, однако после этого ни разу не покидал своей «лесной колыбели», как он однажды поэтически выразился. Тем не менее гостей поместья Маунт-Вернон поражала его изысканность; казалось, будто Вашингтон совершил экскурсию по дворцам и садам Европы и тщательно отобрал все самое лучшее, что там увидел.

Он продумал каждую деталь. В течение восьми лет, пока шла Война за независимость, несмотря на трудности и лишения, он каждую неделю писал домой, спрашивая, как идут дела, и давая новые указания, касающиеся отделки. Подрядчик, по понятным причинам, то и дело спрашивал заказчика, стоит ли в такое беспокойное время вкладывать столько средств и сил в дом, который в любой момент может быть захвачен и разрушен врагом.

Вашингтон почти всю войну провел на севере, оставив ту часть страны, в которой находился его дом, открытой для нападения. По счастью, британцы так и не добрались до Маунт-Вернон. Случись такое, они почти наверняка захватили бы в плен миссис Вашингтон, а дом и поместье

сожгли бы.

Несмотря на опасность, Вашингтон продолжал строительство. Перед самым концом войны, в 1777 году, дом получил два своих самых поразительных архитектурных элемента: купол и открытую парадную веранду, известную как пьядца, с красивыми квадратными столбами, тянувшимися по всей длине восточного фасада. Купол, который придумал сам Вашингтон, не только изящно венчает здание, но и служит чем-то вроде кондиционера, поскольку направляет внутрь дома потоки воздуха. Пьядца, также спроектированная самим Вашингтоном, поистине великолепна. «На сегодняшний день, — пишет Стюарт Брэнд, — это одно из красивейших мест в Америке, предназначенных для того, чтобы просто спокойно посидеть».

— Пьядца — очень удачный элемент, — объясняет Деннис Поуг, заместитель директора музея Маунт-Вернон. — Она сберегает дом от солнца и жары, а кроме того, украшает фасад. Вашингтон был гораздо лучшим архитектором, чем о нем думали.

Поскольку Вашингтон постоянно добавлял элементы к уже существующему сооружению, ему приходилось идти на компромиссы. По структурным соображениям он должен был выбирать: или переделывать большую часть интерьера, или отказаться от симметрии в той части дома, которую первой видели приходящие гости. Он решил отказаться от симметрии.

— В то время это было весьма смело и необычно, — говорит Поуг. — Он предпочел удобный интерьер строгой симметрии, надеясь, что люди этого не заметят.

Насколько можно судить, половина посетителей действительно этого не замечала. Надо сказать, что отсутствие симметрии не слишком бросается в глаза, хотя человеку, который ценит равновесие и упорядоченность, трудно не заметить, что купол и фронтон смещены от центра здания вбок на целых полтора фута.

В отсутствие строительного камня Вашингтон облицовал дом деревянными планками с тщательно выполненными фасетами по краям, отчего планки выглядят как блоки тесаного камня. Они были покрашены, чтобы скрыть сучки и неровности, а пока краска сохла, ее обсыпали песком, чтобы придать поверхности «каменную» зернистость. Эта хитрость оказалась настолько успешной, что даже сейчас посетители думают, будто дом облицован камнем: гидам приходится стучать костяшками пальцев по стенам, чтобы убедить их в обратном.

Вашингтону не довелось долго наслаждаться Маунт-Верноном. Даже

когда он бывал дома, у него не было ни минуты покоя. Согласно традициям того времени, следовало накормить и приютить любого приличного с виду человека, который постучит к вам в дверь. У Вашингтона от гостей не было отбоя — был год, когда его посетило 677 человек, — и многие оставались не на одну ночь.

Вашингтон умер в 1799 году, всего через два года после выхода в отставку, и Маунт-Вернон начал медленно сдавать. К середине прошлого века он был практически заброшен. Наследники Вашингтона предложили его государству по разумной цене, но Конгресс рассудил, что в его обязанности не входит заботиться о домах бывших президентов, и отказался выделять средства.

В 1853 году женщина по имени Луиза Далтон Берд Каннингем, проплывая по Потомаку на пассажирском пароходе, пришла в ужас, увидев, в каком состоянии находится поместье, и основала фонд «Женская ассоциация Маунт-Вернон». Фонд купил участок и начал его долгую и самоотверженную реставрацию. Он до сих пор с умом и любовью ухаживает за бывшим имением Вашингтона. Еще большим чудом кажется то, что им удалось сохранить бесподобные виды Потомака. В 1950-х годах стало известно о плане строительства крупного нефтеперегонного завода на противоположном берегу реки. Еще одна женщина — конгрессмен из Огайо по имени Фрэнсис Пейн Болтон — успешно вмешалась и сумела сохранить для потомков восемьдесят квадратных миль береговой полосы штата Мэриленд, и сегодня вид из поместья остается таким же приятным и красивым, как и во времена Вашингтона.

Поместье Монтичелло также пострадало после смерти Джефферсона, хотя и на момент смерти хозяина оно уже было в довольно плохом состоянии. Потрясенный посетитель в 1815 году писал, что почти все стулья были насквозь протерты и из сидений торчали куски обивки. Джефферсон умер в возрасте восьмидесяти трех лет 4 июля 1826 года — ровно через пятьдесят лет после подписания Декларации независимости, оставив после себя огромные долги (более 100 000 фунтов) и запущенное поместье.

Будучи не в состоянии ухаживать за домом, дочь Джефферсона выставила его на продажу за 70 000 фунтов, но покупателей так и не нашлось. В конце концов поместье продали всего за 7000 человеку по имени Джеймс Баркли, который попытался превратить его в шелководческую ферму. Предприятие с треском провалилось. Баркли сбежал в Палестину и занялся там миссионерской работой, а дом

превратился в руины. Через половицы проросла трава, по пустым комнатам бродили коровы. Знаменитый бюст Вольтера работы Гудона был найден валявшимся в поле.

В 1836-м, всего через десять лет после смерти Джефферсона, Монтичелло купил за 2500 фунтов — даже тогда это была пустяковая сумма за такой дом — необычный человек по имени Урия Филлипс Леви. Биография Леви и впрямь поражает. Начнем с того, что он был единственным евреем среди офицеров ВМС США. А еще он был тяжелым и шумным человеком — качества, которые были неприятны его военноморскому начальству и которые подпитывали антисемитские предрассудки. Пять раз за свою карьеру Леви оказывался под трибуналом и все пять раз был оправдан. У янки-еврея, уроженца Нью-Йорка, было мало друзей в Виргинии. Когда разразилась гражданская война, поместье Монтичелло было захвачено южанами, и Леви пришлось бежать в Вашингтон, где он обратился за помощью к президенту Линкольну. Президент, оценив его качества, назначил Леви на должность в коллегия федерального военного полевого суда.

Семья Леви владела Монтичелло на протяжении девяноста лет — гораздо дольше, чем сам Джефферсон. Без них дом бы не сохранился. В 1923 году они продали его за 500 000 фунтов стерлингов только что созданному Фонду памяти Томаса Джефферсона, который запустил длительную программу восстановления поместья. Работа завершилась лишь в 1954 году. Почти через двести лет после того, как Джефферсон начал возводить Монтичелло, дом наконец-то обрел первоначально задуманный облик.

Будь Томас Джефферсон и Джордж Вашингтон простыми плантаторами, которые построили интересные дома, это уже было бы большим достижением, но они также стояли во главе американской революции, вели длительную войну за независимость, создали новую страну и без усталости ей служили, по многу лет не бывая дома. Несмотря на все это, не имея ни должного опыта, ни материалов, они умудрились построить два самых замечательных здания, когда-либо видевших свет. Это и впрямь настоящее достижение.

Знаменитые технические приспособления Монтичелло: почти бесшумные кухонные лифты, двойные двери и тому подобное — иногда не принимают всерьез, но на самом деле они лет на 150 предвосхитили пристрастие американцев к трудосберегающим устройствам и позволили сделать Монтичелло не только самым модным домом Америки, но и самым

современным.

Но наиболее важное влияние на будущее из этих двух домов оказал Маунт-Вернон. По его образу и подобию было построено бесчисленное множество других домов, а также банков, мотелей, ресторанов и придорожных кафе. Пожалуй, ни одно другое здание в Америке не копировали так часто — к сожалению, не всегда с безупречным вкусом, но это вряд ли вина Вашингтона и уж точно не пятно на его репутации.

Вашингтон первым в Америке построил у себя в поместье ров-изгородь (*ha-ha*) у так что он вполне может считаться отцом американского газона. Он посвятил годы основательных усилий, пытаясь создать безупречную лужайку для игры в боулинг, и тем временем стал ведущим специалистом Нового Света по семенам газонной травы.

Удивительно, что Джефферсона и Вашингтона от «позолоченного века» отделяет меньше чем половина столетия. За эти годы повседневная жизнь людей радикально изменилась. Те семьдесят четыре года, которые отделяют смерть Томаса Джефферсона в 1826 году от начала следующего века, по случайному совпадению обозначают временные рамки спокойной жизни преподобного мистера Маршема — английского приходского священника.

Добавлю к этой главе маленькое послесловие. Летом 1814 года британцы сожгли здание американского Капитолия (этот акт вандализма так разгневал Джефферсона, что он хотел отправить в Лондон американских агентов, чтобы те спалили тамошние достопримечательности), вместе с ним сгорела и библиотека Конгресса. Джефферсон тут же предложил подарить государству собственную библиотеку «на любых условиях, которые Конгресс сочтет приемлемыми». Джефферсон полагал, что у него порядка десяти тысяч книг, но когда делегация из федерального правительства пришла осматривать коллекцию, обнаружилось, что их всего 6487.

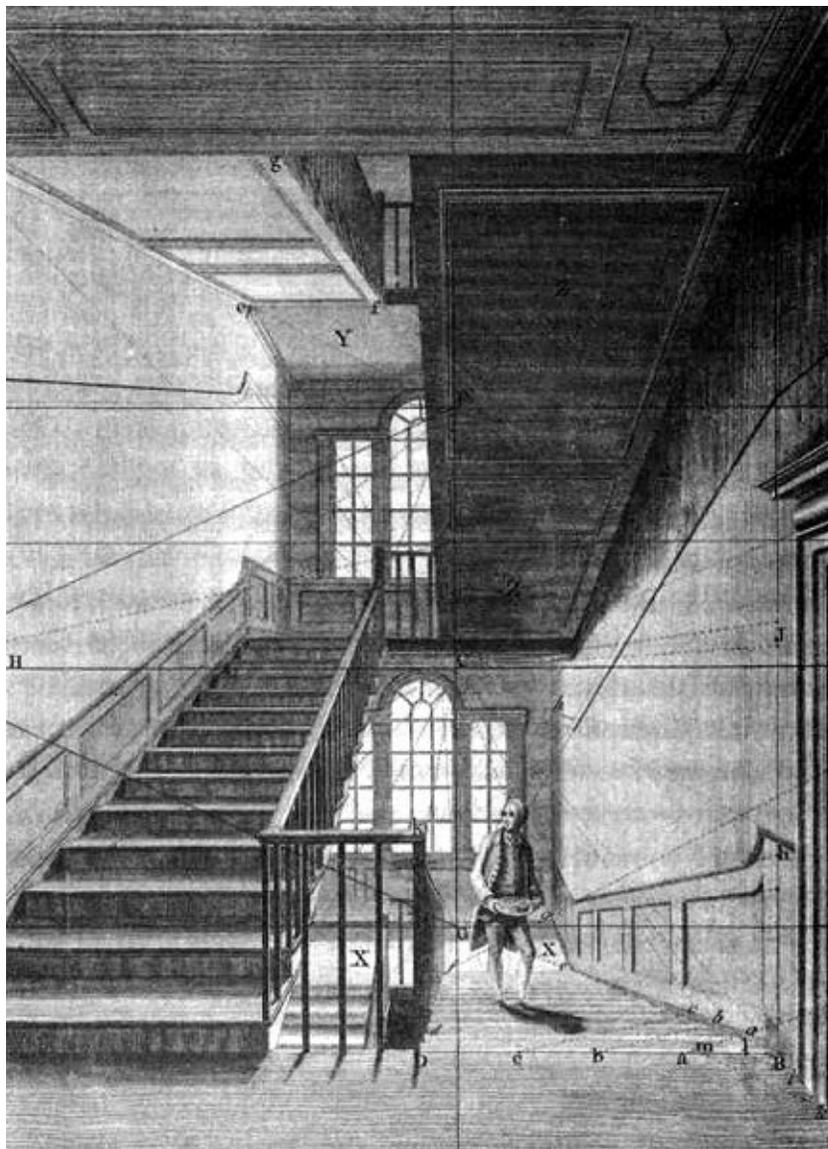
Хуже того, когда представители делегации взглянули на книги, они сильно усомнились, что нуждаются в них. Многие, по их мнению, были не нужны Конгрессу, поскольку касались таких тем, как архитектура, виноделие, поваренное дело, философия и искусство. Примерно четверть книг была на иностранных языках, «которые невозможно прочесть», мрачно отметила делегация, а многие другие были «аморального и атеистического характера». В конце концов конгрессмены выделили Джефферсону 23 900 долларов за его библиотеку — значительно меньше половины ее настоящей стоимости — и весьма неохотно забрали ее.

Джефферсон, как и следовало ожидать, тут же принялся собирать новую коллекцию, и к моменту его смерти в следующем десятилетии в его библиотеке снова было около тысячи новых книг.

Пусть Конгресс и не был особенно рад этой неожиданной удаче, но покупка дала юным Соединенным Штатам самую прихотливую библиотеку в мире и полностью изменила роль национальной библиотеки. Раньше правительственные библиотеки были просто справочными учреждениями, предназначенными для строго утилитарных целей, но эта коллекция оказалась всеобъемлющей и универсальной.

Сегодня библиотека Конгресса — самая крупная по объему фондов библиотека в мире, хранящая более 115 миллионов книг и других носителей информации. К сожалению, вклад Джефферсона был быстро утрачен. Через тридцать шесть лет после покупки библиотеки Джефферсона, рано утром на Рождество загорелась сажа в одном из дымоходов Капитолия. Поскольку был ранний час и к тому же праздник, пожар заметили не сразу. Огонь успел распространиться, и к тому времени, когда его потушили, большая часть коллекции Джефферсона была уничтожена, в том числе и его драгоценный экземпляр *I Quattro Libri* Палладио.

Стоит ли уточнять, что пожар случился в 1851 году?



*Рис. 14. «Перспектива лестницы» Томаса Молтона*

# Глава 14

## Лестница

### I

А теперь перейдем к самой опасной части дома — лестнице. Никто не знает точно, насколько опасны лестницы, так как письменных свидетельств на удивление немного. Статистика смертности в большинстве стран мира регистрирует смерти и травмы в результате падений, но не всегда отмечает, что именно вызвало падение. Например, в Соединенных Штатах примерно 12 000 человек в год падают и уже больше никогда не встают, но откуда именно они упали — с дерева, с крыши или с крыльца, — неизвестно.

В Британии до 2002 года велся весьма скрупулезный учет падений с лестниц, но потом Министерство торговли и промышленности решило, что регистрировать такие вещи нет смысла, и теперь трудно сказать, как дорого обходятся обществу травмы в результате падений. Последние данные показали, что в 2002-м при падениях с лестниц серьезно пострадали и обратились за медицинской помощью 306 166 британцев, так что вопрос довольно серьезный.

Джон А. Темплер из Массачусетского технологического института, автор наиболее полной работы по данной теме, которая называется «Лестница: исследование рисков, падений и безопасных проектов», предполагает, что все цифры, связанные с травмами в результате падений, крайне занижены. Даже по самым консервативным подсчетам, лестницы убивают несколько меньше людей, чем дорожно-транспортные происшествия, но гораздо больше, чем пожары, водоемы и другие источники неприятностей. Если подсчитать, во сколько пропущенных рабочих часов обходятся обществу падения и здоровью какого количества людей они наносят урон, то покажется странным, что они так небрежно исследуются. На предотвращение пожаров, их изучение и соответствующее страхование тратится огромное количество средств и времени, зато на изучение и предотвращение падений не выделяется почти ничего.

Каждый из нас хоть раз спотыкался на лестнице. Подсчитано, что, когда человек пользуется лестницей, он пропускает ступеньку в среднем каждые 2222 раза; с ним происходит незначительный несчастный случай

каждые 63 000 раза, серьезный несчастный случай — каждые 734 000 раза, и в одном из 3 616 667 раз он получает травму, которая в лучшем случае приведет его на больничную койку.

Восемьдесят четыре процента людей, умирающих после падения с лестницы в собственном доме, старше шестидесяти пяти лет. И это не потому, что пожилой человек менее осторожен, а потому, что возраст не позволяет ему поправиться после падения. По счастью, дети очень редко погибают после падения с лестницы, хотя в семьях с маленькими детьми наблюдается самый высокий процент менее серьезных травм — отчасти потому, что там чаще пользуются лестницами, отчасти потому, что дети имеют привычку бросать на ступеньках разные вещи.

Холостяки падают чаще, чем женатые; разведенные — с большей вероятностью, чем холостяки и женатые вместе;

люди в хорошей физической форме — с большей вероятностью, чем люди полные и нездоровые (главным образом потому, что первые гораздо чаще прыгают через две ступеньки и вообще далеко не так осторожны).

Предрасположенность к несчастным случаям — тема, к которой наука относится скептически, однако что-то в этом есть: четыре человека из десяти, получивших травмы при падении с лестницы, падали с нее и раньше.

Люди падают по-разному в разных странах. В Японии, например, вероятность упасть с лестницы в офисе, магазине или на вокзале гораздо выше, чем в Соединенных Штатах. Но это не потому, что японцы хуже умеют пользоваться лестницами, а потому, что американцы редко поднимаются или спускаются по лестницам в общественных местах, предпочитая оснащать эти места лифтами и эскалаторами.

Зато американцы чаще получают травмы, сваливаясь с лестницы у себя дома — это почти единственное место, где они регулярно пользуются ею. По этой же причине женщины падают чаще мужчин: они чаще бывают дома.

Когда мы падаем с лестницы, мы обычно виним самих себя, связывая падение с неосторожностью или невнимательностью. На самом деле на вероятность вашего падения и степень травмы сильно влияет конструкция вашей лестницы. Плохое освещение, отсутствие перил, дезориентирующий узор на ковровой дорожке, необычно высокие, низкие, широкие или узкие ступени, неправильно спланированные лестничные площадки, сбивающие ритм шагов, — вот основные недостатки лестниц, приводящие к несчастным случаям.

По словам Темплера, сделать лестницу более безопасной можно двумя

способами: надо либо «избегать особенностей, которые приводят к несчастным случаям», либо «проектировать лестницу таким образом, чтобы свести к минимуму травмы, если несчастный случай все же произойдет». Темплер рассказывает, как на одном из нью-йоркских вокзалов (правда, он не говорит, на каком именно) края ступенек были оснащены противоскользящими элементами таким образом, что трудно было различить, где край ступеньки. За шесть недель на лестнице споткнулось или упало больше тысячи четырехсот человек — поистине ошеломляющая цифра, — и лишь после этого проблему ликвидировали.

У лестницы есть три пространственные характеристики: подъем и ширина ступеней, а также наклон. Лестница с наклоном больше 45 градусов ощущается как слишком крутая, а с наклоном менее 27 градусов — слишком пологая и монотонная; на удивление трудно ходить по слишком пологой лестнице. В общем, угодить довольно сложно.

Неизбежная проблема, связанная со ступеньками, состоит в том, что по ним должно быть безопасно ходить как вверх, так и вниз. Это не так просто рассчитать, поскольку механика подъема и спуска у нашего тела разная. Вы наклоняетесь к ступенькам, когда поднимаетесь наверх, но во время спуска переносите свой центр тяжести чуть назад, как бы тормозя. Поэтому лестница, которая безопасна и удобна для подъема, может быть не так уж хороша для спуска, и наоборот. Расположение выступающих кромок ступеней может существенно повлиять на вероятность несчастного случая. В идеале ступеньки должны слегка менять свою форму в зависимости от того, идет ли человек вверх или вниз. На практике любая лестница — это компромисс.

Давайте рассмотрим падение в рапиде. Спуск по ступенькам — это своего рода контролируемое падение. Вы подаетесь всем телом вперед и вниз, и это движение может быть опасно. Задача мозга состоит в том, чтобы различить, когда он все еще контролирует момент остановки, а где начинается неконтролируемое падение. Человеческий мозг очень быстро реагирует на опасность, но все же ему требуется какая-то доля мгновения — чтобы быть точным, 190 миллисекунд — для того, чтобы понять: что-то пошло не так (что вы, скажем, наступили на брошенный на лестнице скейтборд) и приказать телу сгруппироваться для безопасного приземления.

Во время этого короткого интервала тело наклоняется в среднем еще на семь дюймов — слишком далеко для изящного приземления. Если вы где-то в нижней части лестницы, то все обходится более-менее благополучно, не считая задетого самолюбия и легких ушибов. Но если это

случается выше по лестнице, ваши ноги просто не в состоянии вернуться в первоначальное положение и вам остается надеяться лишь на перила — если они у вас есть. В ходе одного исследования 1958 года было обнаружено, что три четверти падений с лестницы происходят там, где у лестницы не было перил.

Надо дважды проявить особую осторожность на лестнице — в начале и в конце восхождения или спуска. Как раз в эти моменты мы больше всего отвлекаемся. Одна треть всех несчастных случаев на лестнице происходит как раз на *трех* первых или последних ступеньках. Самый опасный вид лестницы — с одной ступенькой: высокий порог, расположенный в неожиданном месте. Почти так же опасны лестницы с четырьмя и менее ступеньками. Похоже, что они вселяют ложное чувство уверенности.

Неудивительно, что спускаться по лестнице опасней, чем подниматься. Свыше 90 процентов травм случается во время спуска. Вероятность получить серьезную травму составляет 57 % на прямом пролете и всего лишь 37 % — на лестнице с поворотом. Площадки на поворотах тоже должны быть определенной ширины — обычно берут ширину ступени плюс ширина шага, — чтобы они не сбивали ритм ходьбы. Сбой ритма обычно приводит к падению.

В течение долгого времени считалось, что человек, идущий вверх и вниз по лестнице, инстинктивно нащупывает правильный ритм: делает более широкие шаги на пологих лестницах и более короткие шаги на крутых лестницах. Однако в классических справочниках по архитектуре неожиданно мало написано про лестницы. Витрувий, например, просто рекомендует хорошо их освещать. Его заботило не столько снижение риска падений, сколько предотвращение столкновений на темной лестнице (еще одно напоминание о том, как темно было в мире без электричества).

Только в конце XVII века француз Франсуа Блондель обнаружил, что длина шага укорачивается при подъеме и вывел «формулу шага», которая математически установила отношение между крутизной подъема и шириной шага. Формула была широко распространена, и даже сейчас, более трехсот лет спустя, приводится во многих строительных справочниках, хотя плохо работает в случаях, когда ступеньки либо необычно высокие, либо необычно низкие.

Крайне серьезно относился к лестницам великий ландшафтный архитектор Фредерик Лоу Олмстед. Это довольно странно, поскольку почти ничто в его работе не было связано с лестницами. Тем не менее Олмстед в течение девяти лет привередливо — иногда до одержимости — измерял высоту и ширину ступеней самых разных лестниц, пытаясь

вывести формулу, которая обеспечила бы комфортность и безопасность в обоих направлениях. Математик Эрнест Ирвинг Фриз преобразовал его наблюдения в два уравнения. Вот они:

$$R = 9 - \sqrt{7(G - 8)(G - 2)}$$

и

$$G = 5 + \sqrt{\frac{1}{7}(9 - R)^2 + 9}$$

Здесь  $R$  — это высота ступени, а  $G$  — ширина. Первое уравнение, как мне объяснили, описывает ситуацию равномерной ходьбы, вторая — неравномерной.

Темплер предполагает, что высота ступени должна составлять от 6,3 до 7,2 дюйма, а ширина не должна быть меньше 9 дюймов, оптимально — одиннадцать, однако если вы оглянетесь вокруг, то увидите большое разнообразие размеров. В целом, согласно «Британской энциклопедии», американские ступеньки, как правило, чуть выше британских, а европейские — чуть выше американских. Однако точные расчеты не приводятся.

Что касается истории лестниц, то здесь можно сказать немного. Никто не знает, где и когда появились лестницы, даже приблизительно. Самые ранние, однако, были созданы не для того, чтобы подниматься на верхние этажи, как можно было бы предположить, а для того, чтобы *спускаться* в шахты. Самая древняя деревянная лестница из когда-либо обнаруженных (ей примерно три тысячи лет) была найдена в 2004 году на глубине ста метров в соляной шахте бронзового века в австрийском Гальштате. Вероятно, это был первый случай, когда возможность спускаться и подниматься лишь с помощью ног (в отличие от приставной лестницы, где нужны еще и руки) была жизненно необходима, поскольку обе руки были заняты тяжелым грузом.

Стоит отметить один лингвистический курьез. Слова *upstairs* («наверху», доел, «наверху лестницы») и *downstairs* («внизу», доел, «внизу лестницы») появились в английском языке сравнительно недавно. Слово *upstairs* впервые встречается на письме в 1842 году (в романе писателя Сэмюэля Лавера), а *downstairs* — в следующем году, в письме, написанном Джейн Карлейль. В обоих случаях из контекста понятно, что эти слова давно уже были в обиходе — Джейн Карлейль уж точно не придумывала новых слов, — однако в более ранних текстах отсутствуют. Странно, что люди по меньшей мере уже три века жили в домах, имеющих несколько этажей, однако настолько редко употребляли слова, описывающие эту

ситуацию.

## II

Поскольку мы затронули вопрос о том, каким образом наши дома могут нам навредить, давайте на мгновение задержимся на лестничной площадке и рассмотрим еще один элемент, который на протяжении истории не раз убивал людей. Это стены, точнее, то, что их покрывает: краска и обои. В течение долгого времени и то и другое представляло для человека нешуточную опасность.

Обои только начали появляться в обычных домах в то время, когда мистер Маршем строил свой пасторский дом. Сначала (и очень долгое время) обои очень дорого стоили. На протяжении столетия они облагались большим налогом, к тому же их производство было крайне трудоемким. Обои делали не из древесной массы, а из тряпья. Сортировка тряпья была грязной работой, и тряпичникам постоянно грозило заражение различными инфекционными заболеваниями.

В 1802 году изобрели станок, который мог изготавливать длинные полосы бумаги (до этого максимальный размер листа был всего два на два фута), и значит, обои нужно было состыковывать с большой тщательностью и умением. Графиня Суффолкская в 1750-е годы заплатила 42 фунта за обои, которых хватило лишь на одну-единственную комнату (аренда хорошего дома в Лондоне обходилась в те времена всего в 12 фунтов в год). Тисненные обои, сделанные из окрашенной шерсти, наклеенной на поверхность бумаги, были чрезвычайно модными в середине XVIII века, но они грозили производителям дополнительным риском, так как клей зачастую был токсичен.

Когда в 1830 году налог на обои наконец был отменен, их продажи резко выросли. Количество рулонов, проданных в Британии, возросло с одного миллиона в 1830-м до тридцати миллионов в 1870 году; и именно тогда из-за обоев начались болезни. Обои издавна красили пигментами, в состав которых входили опасные вещества: мышьяк, свинец и сурьма. А с конца XVIII века их к тому же нередко обрабатывали особым красителем — арсенидом меди, который был изобретен великим, но на удивление невезучим химиком Карлом Шееле<sup>[77]</sup>.

Цвет, который при этом получался, стал очень популярен, и его называли «зеленый Шееле». Позднее, с добавлением ацетата меди, пигмент сделался еще более насыщенным, изумрудно-зеленым. Он использовался

для окраски самых разных вещей — игральные карты, свечей, одежды, тканей для штор и даже некоторых продуктов питания. Но особенно он был популярен у обойщиков. Это было весьма небезопасно не только для них самих, но и для тех, кто жил в комнатах, оклеенных такими обоями.

К концу XIX века 80 % английских обоев содержало мышьяк, часто в очень больших количествах. Особым энтузиазмом отличался дизайнер Уильям Моррис, который не только любил насыщенные мышьяком зеленые оттенки, но и состоял в совете директоров некоей фирмы в Девоне, которая производила красящие пигменты на основе мышьяка.

Во влажной среде — а в английских домах среда редко была иной — обои издавали специфический затхлый запах, многим людям напоминавший запах чеснока. Было замечено, что в спальнях с зелеными обоями обычно не бывает клопов. Кроме того, вполне возможно, что именно из-за отравленных обоев на самом деле возникло и укрепилось мнение, что смена воздуха идет на пользу хроническим больным. Во многих случаях это действительно было так: больные попросту переставали медленно травиться мышьяком. Одной из таких жертв обоев стал Фредерик Лоу Олмстед — человек, с которым нам приходится сталкиваться чаще, чем мы могли бы этого ожидать. Он медленно, но верно отравлялся мышьяком, который выделяли обои; как раз в этот момент, в 1893 году, люди наконец поняли, почему им так нехорошо в спальне. Олмстеду потребовалось целое лето на восстановление — разумеется, в комнате без обоев.

Картины тоже были на удивление опасными. При изготовлении краски смешивалось множество токсичных продуктов — прежде всего свинец, мышьяк и киноварь (сульфид ртути). Живописцы часто страдали странной болезнью, так называемой коликой художника — одним из симптомов отравления свинцом<sup>[78]</sup>.

Художники покупали свинец куском, а потом измельчали его в порошок, многократно прокатывая его железным валиком или шаром. В результате на пальцах и в воздухе оказывалось большое количество свинцовой пыли, и пыль эта была чрезвычайно ядовитой. Среди многочисленных симптомов, встречающихся у художников, были параличи, мучительный кашель, усталость, апатия, отсутствие аппетита, галлюцинации и слепота. Одной из особенностей отравления свинцом является раздражение сетчатки глаза, и в результате некоторые больные видят вокруг предметов ореолы — похожие на те, что Винсент Ван Гог изображал на своих картинах. Вероятно, он и сам страдал от отравления свинцом. С художниками это случалось часто. Серьезно отравился и

живописец Джеймс Макнил Уистлер, которому потребовалось весьма много белил в работе над картиной «Белая девушка».

Сегодня свинцовые краски запрещены почти повсеместно, за исключением определенных очень специфических областей применения, но некоторые художники считают этот запрет неправомерным, поскольку, по их мнению, такие краски придают тону глубину и густоту, недоступную современным краскам. Особенно красиво свинцовая краска смотрится на дереве.

Работа с краской была связана со множеством ограничений, неизбежных из-за существовавшей в Англии системы ремесленных гильдий. Некоторые ремесленники имели право работать с красками, некоторые могли лишь подкрашивать штукатурку клеевой краской, а кто-то не имел права делать ни того ни другого. Художники, естественно, выполняли большую часть красочных работ, штукатурки могли подкрашивать жидкой клеевой краской оштукатуренные стены, но использовать лишь несколько бледных оттенков. Слесарям и стекольщикам, наоборот, разрешалось применять масляные краски, но не темперу. Почему — неизвестно, но, скорее всего, здесь сыграл роль тот факт, что трубы и оконные рамы часто делали из свинца — то есть к этому материалу были привычны и сантехники, и стекольщики.

Клеевые краски делались из смеси мела и клея. Они имели более жидкую фактуру, идеально подходящую для оштукатуренных поверхностей. К середине XVIII века клеевыми красками обычно красили стены и потолки, а более густой масляной краской красили деревянные части.

Масляные краски — сложный продукт. Они состоят из основы (обычно это карбонат свинца, или «белый свинец»), красящего пигмента, связующего вещества, например льняного масла, которое делает краску вязкой, и загустителей, таких как воск или мыло. Присутствие загустителей несколько удивляет, поскольку масляные краски XVIII века и так уже были достаточно густыми и трудными для нанесения и красить ими было «все равно что размазывать смолу щеткой», по словам писателя Дэвида Оуэна.

Со временем кто-то обнаружил, что добавление скипидара, природного растворителя, получаемого из сока сосны, делает краску более жидкой и легкой для нанесения. Кроме того, скипидар придает краске матовый блеск, который стал модным в конце XVIII века.

Льняное масло (получаемое в результате отжима семян льна) было прекрасным ингредиентом: застывая, оно образовывало твердую пленку. У него, правда, есть один серьезный недостаток — исключительная

горючесть: горшочек с льняным маслом при определенных обстоятельствах может самопроизвольно воспламениться; это вещество наверняка послужило причиной множества разрушительных домашних пожаров. В присутствии открытого огня пользоваться им следует крайне осторожно.

Самым простым способом отделки была побелка известкой, которая обычно использовалась в менее ответственных помещениях, например в комнатах прислуги. Известковая побелка представляла собой всего лишь простую смесь негашеной извести и воды (иногда добавляли немного жира для лучшего сцепления со стеной); побелка была недолговечной, однако у нее было дополнительное преимущество, поскольку известь обладает некоторыми дезинфицирующими свойствами. Несмотря на название, побелка не всегда была белой, ее часто подкрашивали пигментами.

Малярные работы требовали особого навыка, поскольку маляры сами растирали пигменты и сами смешивали краски — как говорится, создавали колера — и в основном держали свои рецепты под большим секретом, чтобы сохранить преимущество перед конкурентами.

Добавьте к льняному маслу не пигмент, а смолу, и вы получите лак. Маляры и его готовили в тайне. Краску надо было смешивать небольшими порциями и использовать сразу же, и смешивание изо дня в день совершенно одинаковых по цвету и тону порций краски требовало настоящего мастерства.

Краску приходилось наносить в несколько слоев, поскольку даже лучшие краски были немного прозрачны. Обычно для покраски стены требовалось как минимум пять слоев. Поэтому работа маляра была очень сложной, трудоемкой и к тому же вредной для здоровья.

Пигменты существенно отличались друг от друга по цене. Приглушенные цвета, такие как кремовый и песочный, стоили четыре-пять пенсов за фунт. Голубые и желтые были в два-три раза дороже, поэтому их могли себе позволить только представители среднего и высшего классов. Особая синяя краска называлась «смальтой» (*smalt*), поскольку в нее добавляли толченое стекло, придававшее окрашенной поверхности искрящийся блеск. Еще более дорогим считался другой оттенок синего под названием «лазурит» (*lazurite*), который изготавливали из одноименного поделочного камня. Самой дорогой краской была ярь-медянка (ацетат меди), которую получали, подвешивая медные полосы над чаном с лошадиным навозом и уксусом, а потом соскребали образовавшиеся на металле темно-сине-зеленые кристаллы. В результате схожего природного процесса медные статуи и купола со временем зеленеют, однако при искусственном изготовлении краски реакция идет быстрее. Восхищенные

ценители XVIII века описывали цвет яри-медянки как «нежнейший травянисто-зеленый оттенок». Комната, окрашенная этим цветом, всегда вызывает у гостей восторженные возгласы.

Когда краски стали популярными, люди пожелали, чтобы они были максимально яркими. Приглушенные тона, которые мы обычно ассоциируем с георгианским интерьером в Британии или колониальным декором в Америке, — это следствие выцветания, а не изначальной сдержанности цветов. В 1979 году, когда в поместье Маунт-Вернон начали перекрашивать интерьеры в исторически верные цвета, посетители были очень недовольны, с улыбкой рассказывал мне куратор Деннис Пуог:

— Они говорили, что мы делаем Маунт-Вернон вызывающе ярким. Они были правы — да, мы сделали его ярким, но только потому, что когда-то он и был таким. Многим было нелегко понять, что мы возвращаем зданию его первоначальный вид.

Даже сейчас считается, что краски в колониальную эпоху были приглушенными. На самом деле в то время почти всегда пользовались глубокими, насыщенными, иногда даже пугающе насыщенными тонами. Чем ярче был цвет, которого вы могли добиться, тем больше вами восхищались. Прежде всего, насыщенные цвета означали большие затраты, поскольку для их приготовления требовалось много пигмента. К тому же следует помнить, что насыщенные цвета лучше видны в свете свечей, поэтому маляры старались взять краску поярче, чтобы она производила впечатление даже в полутьме.

То же самое сейчас происходит в Монтичелло, где несколько комнат выкрашены в весьма яркие желтые и зеленые тона. Внезапно выяснилось, что у Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона были цветовые вкусы как у хиппи. Впрочем, по сравнению с тем, что началось дальше, эти вкусы вполне можно назвать сдержанными.

Когда во второй половине XIX века на рынке появились первые готовые краски, люди накинулись на них как одержимые. Стало модным не только красить яркими красками, но и красить одну комнату в семь-восемь разных цветов.

Если присмотреться внимательнее, можно заметить одну странность: во времена мистера Маршема как будто не существовало двух самых основных красок — чисто белой и чисто черной. Самая светлая из возможных красок представляла собой довольно скучный песочный оттенок, и хотя на протяжении XIX века белила постепенно улучшались, лишь в 1940-х появилась по-настоящему белая краска на основе диоксида титана.

Отсутствие белил особенно заметно в Новой Англии, ибо пуритане не только не имели белой краски, но и вообще не красили свои дома (они считали это безвкусным). Так что все эти нарядные белые церквушки, которые мы ассоциируем с городками Новой Англии, на самом деле явление относительно недавнее.

Что же касается стойкой черной краски, которую получали из смолы и вара, то она стала широко доступной только в конце XIX века. Поэтому блестящие черные парадные двери, перила, ворота, фонарные столбы, водосточные трубы и другие элементы, столь характерные для улиц сегодняшнего Лондона, на самом деле появились не так уж и давно.

Если бы мы могли перенестись в эпоху диккенсовского Лондона, нас бы поразило отсутствие черных крашенных поверхностей. Во времена Диккенса почти все железные детали были зелеными, светло-голубыми или скучно-серыми.

А теперь поднимаемся наверх, в комнату, которая никогда никого не убивала, но зато является местом страданий и отчаяния, чем и отличается от всех других комнат в доме.

# Глава 15

## Спальня

### I

Спальня — странное место. Здесь мы проводим больше всего времени, почти ничего не делая, однако именно в спальне разыгрывается множество самых драматических сюжетов нашей жизни. Если вы умираете, плохо себя чувствуете, устали, тоскуете, у вас проблемы сексуального характера, если вам хочется плакать или вы чем-то расстроены — так сильно, что хотите укрыться от окружающего мира, — то вас, скорее всего, можно будет застать именно в спальне.

Так было на протяжении многих веков, но примерно в то время, когда преподобный мистер Маршем строил свой дом, к жизни за дверью спальни добавилось совершенно новое измерение — страх. Никогда раньше люди не испытывали столько тревог в маленьком помещении, сколько викторианцы в своих спальнях.

Сами наши тела служили отдельным источником беспокойства. Даже самые чистоплотные люди под покровом ночи превращались в источники токсинов. «Вода, выделяемая во время дыхания, — объясняла Ширли Форстер Мерфи в своей книге «Наши дома и как сделать их «здоровыми»» (1883), — содержит посторонние включения; она осаждается на внутренних поверхностях зданий, стекает зловонными ручейками и... впитывается в стены», причиняя серьезный, но несколько неопределенный вред. Почему же эта вода не причиняет вреда человеку, находясь в его организме? Такой вопрос даже не рассматривается. Достаточно и того, что дышать по ночам вредно.

Женатым парам рекомендовалось спать в отдельных односпальных кроватях — не только для того, чтобы избежать постыдного возбуждения при случайном прикосновении, но и для того, чтобы снизить риск смешения индивидуальной нечистоты друг друга. Ведущие медики того времени мрачно предупреждали: «Воздух, который окружает тело под ночными одеждами, крайне загрязнен и насыщен ядовитыми веществами, которые просачиваются через поры кожи». По подсчетам одного викторианского врача, до 40 % смертей в Америке происходило из-за

постоянного пребывания в нездоровом воздухе во время сна.

С кроватями тоже приходилось повозиться. Следовало регулярно переворачивать и взбивать матрасы, что было нелегкой задачей. Обычная перьевая перина содержала сорок фунтов перьев. В подушках и валиках было примерно столько же, и все это требовалось время от времени вспаривать и проветривать, чтобы перья не начали плохо пахнуть.

Многие владельцы загородных домов держали гусей, которых оципывали по три раза в году, чтобы наполнить свои перины новыми перьями (неприятная процедура как для гусей, так и для слуг). Взбитая перина выглядела божественно, но тот, кто на ней спал, погружался в глубокую душную расщелину между вздымающимися холмами. Перина опиралась на веревочную сетку, натянутую на каркас кровати. Сетку можно было подтянуть, когда она начинала провисать, но она все равно не обеспечивала достаточного удобства. Пружинный матрас изобрели в 1865 году, но сначала он был не слишком надежным: пружины то и дело протыкали обивку и могли коварно уколоть спящего.

Популярная американская «Энциклопедия Гудхолма» XIX века разделила матрасы на десять степеней комфортности в зависимости от их набивки: пух, перо, шерсть, шерстяные очески, волос, хлопок, древесная стружка, морские водоросли, опилки, солома.

Если древесная стружка и опилки попадают в десятку лучших материалов для набивки матрасов, значит, на дворе стоят довольно грубые времена. Матрасы были раем не только для клопов, блох и моли (все они обожали старые перья), но и для мышей и крыс. По ночам люди нередко просыпались от тихого копошения и шуршания в собственной перине.

Дети, которые спали на низких выдвигаемых кроватях, скорее всего, больше всех страдали от нашествия этих усатых тварей. Где бы ни находились люди, крысы сопровождали их повсюду. Американка Элиза Энн Саммерс вспоминала в 1867 году, как они с сестрой каждую ночь брали с собой в постель охапки туфель, чтобы кидаться ими в крыс, бегавших по полу. Сюзанна Августа Фенимор Купер, дочь знаменитого писателя, рассказывала, что никогда не забудет, как по ее кровати сновали крысы.

Уже Томас Трайон, автор «Книги о здоровье и благополучии» (1683), жаловался на то, что перья привлекают клопов, и советовал набивать матрасы свежей соломой. Кроме того, он полагал (не без основания), что перья обычно бывают испачканы фекалиями несчастных напуганных птиц, из которых эти перья выщипали.

Исторически самым обычным наполнителем была солома, которая,

однако, кололась через тиковый чехол, и потому спать на таких матрасах было мучением. Но часто использовали и другие доступные наполнители. В детстве Авраама Линкольна матрасы и подушки набивали сухой листовой оберткой кукурузы — наверное, она громко хрустела и была неудобной. Если человек не мог позволить себе перьевой матрас, он набивал его шерстью или конским волосом, которые были дешевле, но обычно издавали неприятный запах.

В шерсти часто заводилась моль. Для того чтобы от нее избавиться, шерсть вынимали и кипятили — такая процедура была весьма утомительной. В самых бедных домах иногда вешали на столбик кровати коровью лепешку, полагая, что она отпугивает моль.

Летом в жарком климате комнаты наводняли разные насекомые; некоторые просто раздражали, а некоторые были опасны. Иногда кровать защищали сеткой, однако это было рискованно: сетки легко воспламенялись. Один путешественник, побывавший в северной части штата Нью-Йорк в 1790-х годах, писал, что хозяева дома, где он жил, действуя из лучших побуждений, в целях дезинфекции перед сном наполняли его комнату дымом и ему приходилось задыхаясь, на ощупь пробираться к своей кровати. Стальные сетки от насекомых появились довольно рано — они, например, были у Джефферсона в Монтичелло, — но не пользовались большим спросом из-за дороговизны.

Долгое время кровать была для большинства домовладельцев самым ценным имуществом. Например, в эпоху Уильяма Шекспира приличная кровать с балдахином стоила пять фунтов стерлингов, половину годового заработка школьного учителя. Поскольку они были так ценны, самая лучшая кровать часто стояла на первом этаже, иногда в гостиной, чтобы ее могли увидеть гости и даже случайные прохожие, заглянувшие в открытые окна. Обычно такие кровати берегли для особо важных гостей и сами почти ими не пользовались. Вот почему Шекспир в своем завещании оставил свою «вторую, лучшую» кровать жене Анне.

Наши современники могли бы расценить подобное завещание почти как оскорбление, однако «вторая, лучшая» кровать почти наверняка была супружеской, а значит, с ней были связаны самые нежные воспоминания. Почему Шекспир решил упомянуть в своем завещании эту кровать — загадка, ведь вдова в любом случае получала в наследство все кровати в доме, но это никак нельзя расценивать как знак пренебрежения.

В былые времена уединение понималось совсем не так, как сегодня. Даже в XIX веке уметь спать с незнакомым человеком в одной кровати в

гостинице было обычным делом, и авторы дневников часто писали, как они были разочарованы, когда к ним в постель забирался поздно прибывший незнакомец. В 1776 году Бенджамину Франклину и Джону Адамсу пришлось делить постель в гостинице Нью-Брансуика, штат Нью-Джерси, и они всю ночь ссорились из-за того, надо ли открывать окно или нет.

Слуги нередко спали в изножье хозяйской кровати, чтобы можно было легко исполнить любую просьбу хозяина. Из письменных источников становится ясно, что камергер и шталмейстер короля Генриха V присутствовали в спальне, когда король спал с Екатериной Валуа. В дневниках Сэмюэла Пипса сказано, что служанка спала на полу его супружеской спальни в качестве живой сигнализации на случай ограбления. В подобных обстоятельствах прикроватный полог не обеспечивал нужного уединения; к тому же он был убежищем для пыли и насекомых, а сквозняки легко его раздували. Помимо прочего, прикроватный полог мог быть пожароопасен, как, впрочем, и весь дом целиком: от тростникового напольного покрытия до соломенной крыши. Почти каждый справочник по домоводству предупреждал, что нельзя читать при свечах в постели, но многие пренебрегали этим советом.

В одной из своих работ Джон Обри, историк XVII века, рассказывает смешную историю, касающуюся свадьбы дочери Томаса Мора Маргарет и некоего Уильяма Ропера. Ропер пришел как-то утром к Мору и заявил, что хочет жениться на одной из его дочерей — все равно на какой. Тогда Мор привел Ропера к себе в спальню, где дочери спали в низкой кровати, выдвинутой из-под отцовской. Нагнувшись, Мор ловко взялся «за угол простыни и вдруг сдернул ее с постели». Девушки спали абсолютно голыми. Сонно выразив неудовольствие тем, что их потревожили, они перевернулись на живот и снова заснули. Сэр Уильям, полюбовавшись открывшимся видом, объявил, что осмотрел «товар» со всех сторон, и легонько постучал своей тросточкой по попе шестнадцатилетней Маргарет. «И никакой мороки с ухаживанием!» — восторженно пишет Обри.

Правда ли все это, неизвестно: Обри описал случившееся спустя столетие. Очевидно, однако, что в его время никого не удивил тот факт, что взрослые дочери Мора спали рядом с его кроватью.

Серьезная проблема с кроватями, особенно в викторианский период, состояла в том, что они были неотделимы от самого проблемного занятия той эпохи — секса. В браке секс, конечно, иногда бывает необходим. Мэри ВудАллен в популярной и влиятельной книге «Что необходимо знать молодой женщине» уверяет своих юных читательниц в том, что с мужем

позволительно иметь физическую близость при условии, что она совершается «при полном отсутствии сексуального желания». Считалось, что настроения и мысли матери во время зачатия и на протяжении всей беременности глубоко и непоправимо влияют на плод. Партнерам советовали заниматься сексом только при взаимной симпатии, чтобы не произвести на свет неполноценного ребенка.

Чтобы избежать возбуждения, женщинам предлагалось больше бывать на свежем воздухе, не заниматься ничем стимулирующим, в том числе не читать и не играть в карты, и прежде всего — не утруждать свой мозг сверх необходимого. Считалось, что образование для женщины всего лишь напрасная трата времени; кроме того, оно крайне опасно для их хрупких организмов.

В 1865 году Джон Рескин написал в одном своем очерке, что женщин следует обучать до тех пор, пока они не станут «практически полезными» для своих мужей, и не более. Даже американка Кэтрин Бичер, которая была, по стандартам того времени, радикальной феминисткой, горячо отстаивала право женщин на полноценное образование, но просила не забывать: им все же нужно время для того, чтобы привести в порядок свою прическу.

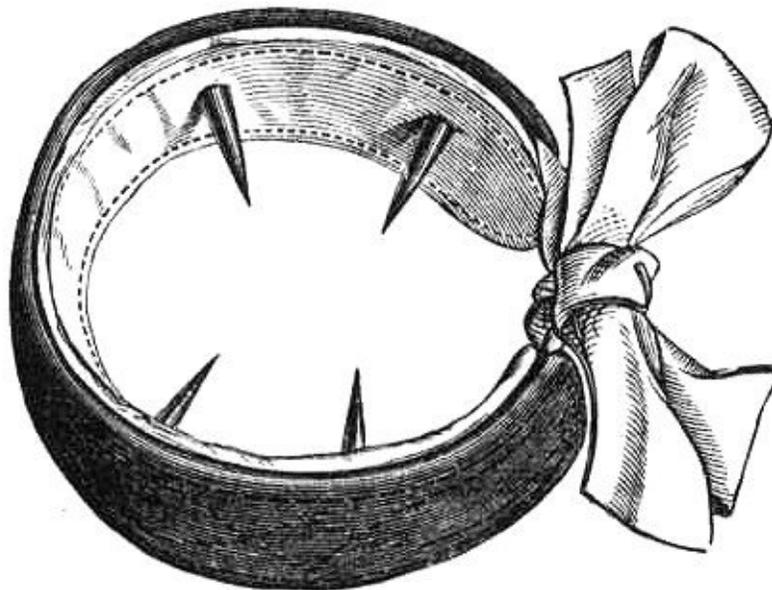
Для мужчин основной задачей считалось не обронить ни капли спермы за пределами священных уз брака, но и в браке им следовало соблюдать умеренность. Как объяснял один уважаемый специалист, семенная жидкость, оставаясь в организме, обогащает кровь и укрепляет мозг. Тот же, кто бездумно расходует этот природный эликсир, становится слабым и духовно, и физически. Поэтому даже в супружестве необходимо беречь свои сперматозоиды, так как из-за частого секса сперма разжижается и получается вялое, апатичное потомство. Половой акт с периодичностью не чаще одного раза в месяц считался оптимальным вариантом.

Онанизм, разумеется, исключался категорически. Были хорошо известны последствия мастурбации: практически все известные медицине хвори, включая безумие и преждевременную смерть. Онанисты — «несчастливые, дрожащие, бледные существа на тощих ножках, ползающие по земле», как описал их один журналист, — вызывали презрение и жалость. «Каждый акт мастурбации подобен землетрясению, взрыву, смертельному паралитическому удару», — заявлял другой. Практические исследования наглядно доказывали вред мастурбации. Медик Сэмюэл Тиссо описал, как один из его пациентов постоянно пускал слюни, из носа у него текла сукровица, а еще он «испражнялся прямо в постели, не

замечая этого». Последние три слова производили особенно сильное впечатление.

Мало того, привычка мастурбировать автоматически передавалась детям и заранее ослабляла здоровье еще не рожденного потомства. Самый тщательный анализ опасностей, связанных с сексом, был предложен сэром Уильямом Актоном в его работе «Функции и заболевания репродуктивных органов у детей, юношей, взрослых и стариков, рассмотренные с точки зрения их физиологических, социальных и нравственных отношений», впервые опубликованной в 1857 году. Именно он решил, что мастурбация приводит к слепоте. Именно Актону принадлежит часто цитируемая фраза: «Должен сказать, что большинству женщин практически недоступны сексуальные переживания».

Подобные представления на удивление долго господствовали в обществе. «Многие из моих пациентов рассказывали мне, что впервые совершили акт мастурбации во время просмотра музыкального шоу», — мрачно и, скорее всего, не без преувеличения сообщает доктор Уильям Робинсон в своей работе 1916 года, посвященной сексуальным нарушениям.



*Рис. 15. Кольцо с шипами для полового члена*

Наука всегда была готова прийти на выручку. В книге Мэри Роуч «Любопытные параллели в науке и сексе» описывается одно из средств борьбы с вожделением, разработанное в 1850-х годах, — кольцо с шипами,

которое надевалось на пенис перед сном (или в любое другое время); его металлические острия кололи пенис, если он нечестиво набухал. Другие устройства использовали электрический ток, который неприятно, но действительно отрезвлял вожделеющего мужчину.

Стоит отметить, что не все разделяли эти консервативные взгляды. Уже в 1836 году уважаемый французский врач Клод Франсуа Лаллеман опубликовал трехтомное исследование, в котором связывал частый секс с хорошим здоровьем. Это так впечатлило шотландского медика Джорджа Драйздейла, что он в своей работе «Физическая, сексуальная и естественная религия» сформулировал философию свободной любви и безудержного секса. Книга была опубликована в 1855 году тиражом 90 000 экземпляров и переведена на одиннадцать языков, «включая венгерский», специально отмечает «Национальный биографический словарь», обожающий акцентировать внимание на пустяках. Ясно, что в обществе жаждали большей сексуальной свободы. К сожалению, общество в целом приняло эту свободу только спустя столетие.

Пожалуй, неудивительно, что в такой напряженной атмосфере удачный секс для многих людей являлся недостижимой мечтой — например, для того же Джона Рескина. В 1848 году великий художественный критик женился на девятнадцатилетней Юфимии Чалмерс Грей, и дела у них не заладились с самого начала. Они так и не вступили в брачные отношения. Позже Юфимия рассказала, что, по признанию Рескина, он представлял женщин совсем не такими, какими они были на самом деле, и что она в первый же вечер произвела на него отталкивающее впечатление, и поэтому он не сделал ее своей женой.

Не получив желаемого, Эффи подала на Рескина в суд (подробности ее заявления о признании брака недействительным стали достоянием бульварной прессы многих стран), а потом сбежала с художником Джоном Эвереттом Милле, с которым жила счастливо и от которого родила восьмерых детей.

Правда, ее побег был совершенно некстати, потому что Милле как раз в это время писал портрет Рескина. Рескин как человек чести продолжал позировать Милле, но двое мужчин больше никогда друг с другом не разговаривали.

Сочувствующие Рескину, которых было немало, сделали вид, что никакого скандала нет и в помине. К 1900 году вся эта история была успешно позабыта, и У. Г. Коллингвуд смог, не краснея от стыда, написать свою книгу «Жизнь Джона Рескина», в которой нет даже намека на то, что Рескин когда-то был женат и что он в панике выбежал из спальни, увидев

волосы на женском лоне.

Рескин так и не преодолел свои ханжеские предрассудки; похоже, он и не сильно старался. После смерти Уильяма Тернера в 1851 году Рескину поручили разобрать работы, оставленные великим художником, и среди них оказалось несколько озорных акварелей эротического содержания. Объятый ужасом Рескин решил, что Тернер написал их в «состоянии безумия», и ради блага нации уничтожил почти все акварели, лишив потомков нескольких бесценных работ.

Между тем Эффи Рескин, вырвавшись из оков несчастливого замужества, зажила счастливо. Это было необычно, поскольку в XIX веке бракоразводные дела всегда решались в пользу мужей. Для того чтобы получить развод в викторианской Англии, мужчине было достаточно просто заявить, что его жена изменила ему с другим. Однако женщине в аналогичной ситуации следовало доказать, что ее супруг совершил инцест, предавался скотоложству или какому-либо еще тяжкому греху, список которых был весьма короток.

До 1857 года у разведенной жены отбирали все имущество и, как правило, детей. По закону такая женщина была совершенно бесправной; степень ее свободы и несвободы определял муж. По словам великого теоретика в области права Уильяма Блэкстоуна, разведенная женщина отказывается от «самой себя и от собственной индивидуальности».

Некоторые страны были чуть более либеральными. Во Франции, к примеру, женщина могла развестись с мужем, если имел место адюльтер, но только при условии, что измена свершилась в супружеском доме.

Английское же законодательство отличалось крайней несправедливостью. Известен случай, когда некую женщину по имени Марта Робинсон годами избивал жестокий, психически неуравновешенный супруг. В конце концов он заразил ее гонореей, а потом серьезно отравил лекарствами от венерических заболеваний, без ведома жены подсыпая порошки ей в пищу. Сломленная и физически, и морально, Марта подала на развод. Судья внимательно выслушал все аргументы, а потом закрыл дело, отправив миссис Робинсон домой и посоветовав ей быть более терпеливой.

Принадлежность к женскому полу автоматически считалась патологическим состоянием. Мужчины почти повсеместно думали, что по достижении половой зрелости женщины заболевают. Развитие молочных желез, матки и других репродуктивных органов «забирает энергию, которой каждому человеку отпускается в ограниченном количестве», по словам одного авторитетного специалиста. Менструация описывалась в

медицинских текстах как ежемесячный акт умышленной небрежности. «Если женщина испытывает боль в какой-либо момент месячного периода, это происходит из-за нарушений в одежде, питании, личных или социальных привычках», — писал один обозреватель (разумеется, мужчина).

По иронии судьбы, женщины и впрямь часто болели, поскольку правила приличия не позволяли им получить необходимую медицинскую помощь. В 1856 году, когда молодая домохозяйка из Бостона, из уважаемой семьи, со слезами призналась своему лечащему врачу, что иногда невольно задумывается не о муже, а о других мужчинах, доктор прописал ей ряд суровых средств лечения, в том числе холодные ванны, клизмы и тщательное спринцевание бурой, порекомендовав исключить все возбуждающее — острую пищу, легкое чтение и так далее.

Считалось, что из-за легкого чтения у женщины появляются нездоровые мысли и склонность к истерикам. Как мрачно заключил один автор, «у юных девушек, читающих любовные романы, наблюдаются возбуждение и преждевременное развитие половых органов. Ребенок физически становится женщиной за несколько месяцев или даже лет до срока, назначенного природой».

В 1892 году Джудит Фландерс пишет про одного мужчину, который повел свою жену проверить зрение; врач сказал, что проблема заключается в выпадении матки и что ей необходимо удалить этот орган, иначе зрение так и будет ухудшаться.

Огульные обобщения далеко не всегда оказывались верными, поскольку ни один доктор не умел проводить правильное гинекологическое обследование. В крайнем случае он осторожно прощупывал пациентку под одеялом в темной комнате, но такое случалось нечасто. В большинстве случаев женщины, у которых были жалобы на органы, находящиеся между шеей и коленями, стыдливо показывали свои больные места на манекенах.

В 1852 году один американский терапевт с гордостью написал, что «женщины предпочитают страдать от опасных болезней, из щепетильности отвергая полное медицинское обследование». Некоторые врачи отказывались налагать щипцы при родах, объясняя это тем, что женщины с узким тазом не должны рожать детей, ибо подобная неполноценность может передаться их дочерям.

Неизбежным последствием всего этого стало почти средневековое пренебрежение женской анатомией и физиологией со стороны мужчин-врачей. В анналах медицины нет лучшего примера профессионального легковерия, чем знаменитый случай с Мэри Тофт, невежественной

женщиной-кролиководом из Годалминга, графство Суррей, которая осенью 1726 года в течение многих недель дурачила авторитетных медиков, в том числе двух королевских терапевтов, уверяя всех, что может рожать кроликов.

Это стало сенсацией. Несколько медиков присутствовали при родах и выразили полное удивление. Только когда еще один королевский врач, немец по имени Кириакус Алерс, тщательно обследовал женщину и объявил, что все это — просто мистификация, Тофт в конце концов призналась в обмане. Ее ненадолго отправили в тюрьму за мошенничество, а потом — домой, в Годалминг; больше про нее никто не слышал.

До понимания женской анатомии и физиологии было еще далеко. В 1878 году *British Medical Journal* вел оживленную длительную дискуссию с читателями на тему: может ли прикосновение кухарки, у которой в данный момент менструация, испортить ветчину?

По словам Джудит Фландерс, одного британского врача исключили из медицинского реестра за то, что он заметил в своей печатной работе: изменение окраски слизистой оболочки вокруг влагалища вскоре после зачатия — надежный индикатор беременности. Это заключение было совершенно справедливым, но крайне неприличным, ведь чтобы определить степень изменения окраски, следовало сперва ее увидеть. Врачу запретили практиковать. Между тем в Америке уважаемого гинеколога Джеймса Платта Уайта выгнали из Американской медицинской ассоциации за то, что он позволял своим студентам присутствовать при родах (разумеется, с разрешения рожениц).

На этом фоне действия хирурга Айзека Бейкера Брауна кажутся еще более неординарными. Браун стал первым хирургом-гинекологом. К несчастью, им руководили заведомо ложные идеи. В частности, он был убежден, что почти все женские недомогания — результат «периферического возбуждения нерва в наружных половых органах с центром в клиторе».

Проще говоря, он полагал, что женщины мастурбируют и это приводит к безумию, эпилепсии, каталепсии, истерии, бессоннице и множеству других нервных нарушений. Для решения проблемы предлагалось удалять клитор хирургическим путем, тем самым исключая самую возможность неуправляемого возбуждения.

Бейкер Браун также был убежден, что яичники плохо влияют на женский организм и их тоже лучше удалять. До него никто не пытался вырезать яичники; это была крайне сложная и рискованная операция. Первые три пациентки Брауна умерли на операционном столе. Однако он

не остановился и прооперировал четвертую женщину — собственную сестру, которая, по счастью, выжила.

Когда обнаружилось, что Бейкер Браун в течение многих лет вырезал женщинам клиторы без их ведома и согласия, медицинское сообщество отреагировало бурно и яростно. В 1867 году Бейкера Брауна исключили из Общества акушеров Лондона, положив конец его практике. Врачи наконец-то приняли, как важен научный подход к интимным органам пациенток. Ирония заключается в том, что, будучи плохим доктором и, по всей видимости, очень плохим человеком, Бейкер Браун, как никто другой, поспособствовал продвижению женской медицины.

## II

Надо отметить, что в XIX веке люди боялись секса также и по вполне рациональной причине: они боялись заразиться сифилисом. В то время не было более страшной болезни, по крайней мере для тех несчастных, у кого уже развилась третья стадия недуга. Никто не хотел для себя подобной участи. Страх сифилиса вызывал неприятие секса. Многим казалось, что Господь таким образом карает за внебрачные связи.

Как мы уже знаем, сифилис появился в Европе давно. Еще в 1495 году, всего через три года после плавания Христофора Колумба, на кораблях которого и прибыла в Старый Свет эта болезнь, у некоторых итальянских солдат по всему лицу и телу выступили прыщики, «похожие на просяные зернышки». Считается, что это первое медицинское упоминание сифилиса в Европе.

Он быстро распространялся — так быстро, что люди не успевали понять, от кого подцепили болезнь. В английском языке сифилис поочередно называли «французской оспой» (1503), «испанской болезнью», «кельтской причудой», «неаполитанской оспой» или — пожалуй, наиболее красноречиво — «христианской болезнью». Слово «сифилис» было изобретено итальянцем Джироламо Фракасторо в 1530 году (в его поэме имя Сифилис носил заразившийся болезнью пастух), но в английский язык оно пришло только в 1718-м. История происхождения более вульгарного термина *clap* неизвестна, но он употребляется в английском по крайней мере с 1587 года.

Сифилис был крайне неприятным заболеванием, потому что не только передавался половым путем, но и имел три стадии, каждая хуже предыдущей. Первая стадия обычно проявлялась в виде шанкра на

гениталиях, уродливого, но безболезненного образования. Спустя время наступала вторая стадия, характеризовавшаяся самыми разными симптомами, от более или менее сильных болей до выпадения волос. Как и первая стадия, вторая заканчивалась примерно через месяц даже в том случае, если пациент не лечился.

Для двух третей заболевших все на этом заканчивалось благополучно, однако оставшаяся треть сталкивалась с настоящим кошмаром. Инфекция могла протекать в скрытой форме в течение двадцати лет, а потом вдруг наступала третья стадия сифилиса. Болезнь методично и безжалостно разрушала кости и ткани организма. Одно время в Лондоне существовал «Клуб безносых». Больной мог лишиться носа. Смерть нервных клеток превращала жертву в развалину. Симптомы варьировались, но один был ужаснее другого. Несмотря на все это, люди на удивление смело шли на риск. Джеймс Босуэлл за тридцать лет девятнадцать раз переболел венерическими болезнями.

Лечение сифилиса было тяжелым. В качестве лекарства использовали ртуть; это токсичное вещество оставалось в арсенале врачей до XX века и перестало употребляться лишь с изобретением антибиотиков. После приема ртути у больных появлялись все симптомы отравления: кости делались губчатыми, зубы выпадали, — но альтернативы не было. «Ночь с Венерой — вся жизнь с Меркурием<sup>[79]</sup>», — говорили в те времена. Между тем ртуть не полностью вылечивала сифилис, а всего лишь ослабляла его симптомы.

В отличие от нынешнего времени, медицина в XIX веке была поразительно неэффективной и крайне неприятной. Врачи могли справиться лишь с малым количеством недугов. Зачастую их лечение только усугубляло состояние больного. Больше всего везло тем, кто не обращался за помощью к докторам и выздоравливал без их вмешательства.

Самыми несчастными были те пациенты, которым требовалась операция. За несколько веков до появления анестетиков испытывались разные методы снижения боли. Одним из них было кровопускание: в задачу врача входило обескровить пациента настолько, чтобы он потерял сознание. Некоторые доктора вводили в прямую кишку раствор табака (наверное, это на некоторое время и в самом деле отвлекало пациента). Самым распространенным средством были опиаты, главным образом в виде опийной настойки, однако даже самые большие дозы не могли заглушить сильную боль.

Ампутация конечности обычно длилась меньше минуты, так что самая мучительная боль была не слишком долгой, но затем врач должен был

перевязать сосуды и зашить рану, и это тоже надо было выдержать. Приходилось работать быстро. В 1658 году Сэмюэлу Пипсу удалили камень в почках; хирургу понадобилось всего пятьдесят секунд, чтобы добраться до почки, найти и вырезать камень размером с теннисный мяч (имеется в виду теннисный мяч XVII века, который был намного меньше современного, но все же не совсем уж крошечный). Пипсу здорово повезло, как отмечает Лайза Пикард, потому что в тот день хирург оперировал его первым и его инструменты были относительно чистыми. Несмотря на быстроту операции, для выздоровления Пипсу понадобилось больше месяца.

Сейчас трудно понять, как пациенты выносили дикую боль при более сложных операциях. В 1806 году писательница Фанни Берни, жившая в Париже, почувствовала боль в правой груди, которая постепенно стала такой невыносимой, что она уже не могла поднимать руку. Медики диагностировали рак груди и назначили мастэктомию. Операцию должен был делать знаменитый военный хирург Жан-Доминик Ларрей, слава которого основывалась не только на его мастерстве и множестве спасенных человеческих жизней, но и на его молниеносной скорости. Позже он прославился тем, что в 1812 году, после Бородинского сражения, выполнил двести ампутаций за двадцать четыре часа.

Берни испытала чудовищные мучения, а затем на удивление спокойно их описала. Почти таким же болезненным, как сама операция, было ее ожидание. Шли дни, тревога все усиливалась, и вдобавок утром назначенного дня Берни узнала, что хирурги задерживаются на несколько часов. Она записала в своем дневнике:

*Я ходила взад-вперед до тех пор, пока у меня не осталось никаких эмоций и я не превратилась в тупое апатичное существо, ничего не чувствующее и ни о чем не думающее, — в таком состоянии я оставалась до тех пор, пока часы не пробили три.*

В этот момент она услышала, как к ее дому быстро подъехали четыре кареты. Спустя несколько мгновений в комнату вошло семеро серьезных мужчин в черном. Берни дали выпить успокоительное — она не пишет, что именно, но обычно в таких случаях употребляли вино, смешанное с лауданумом. Кровать передвинули в центр комнаты; чтобы не испачкать хороший матрас и простыни, кровать заранее застелили старым бельем. Берни пишет:

*Тут меня начала бить сильная дрожь. Я испытывала не столько страх перед болью, сколько ужас и отвращение при виде всех этих приготовлений... Я села на кровать; мистер Дюбуа уложил меня на матрас и накрыл мне лицо батистовым носовым платком. Однако платок был прозрачным, и я увидела через него, что кровать окружили семеро мужчин и медсестра. На вопрос, надо ли меня держать, я ответила отказом, но когда сквозь батист блеснула полированная сталь, я закрыла глаза...*

*Узнав, что они собираются отрезать мне всю грудь, я ощутила неопиcуемый ужас. Когда нож вошел в мою плоть, я закричала, и кричала с перерывами на протяжении всей операции. Хорошо, что этот крик уже не стоит у меня в ушах. Боль была чудовищной.*

*Когда я опять почувствовала инструмент, описывающий дугу в моем теле (плоть упорно сопротивлялась скальпелю хирурга), я подумала, что умираю. Я постаралась больше не открывать глаза.*

Но операция продолжалась. Берни чувствовала и слышала, как скальпель скребет по кости и как хирурги удаляют больную ткань. Вся процедура длилась семнадцать с половиной минут, а потом пациентка выздоравливала в течение нескольких месяцев. Но операция спасла ей жизнь. Она прожила еще двадцать девять лет, и рак больше не давал о себе знать.

Неудивительно, что люди иногда, страшась боли и докторов, занимались самолечением. Губернатор Моррис, один из тех, кто подписал Декларацию независимости, умер, проталкивая в свой пенис китовый ус, чтобы таким способом прочистить закупоренный мочеточник.

В 1840-х появились анестетики, но они, как правило, не избавляли от болей, а лишь оттягивали их на послеоперационный период. Кроме того, анестетики способствовали росту числа хирургических процедур, так что боли и страданий тоже только прибавилось.

Хирурги по-прежнему не мыли рук и не стерилизовали свои инструменты, поэтому многие пациенты, выжившие после операций, умирали в муках из-за различных инфекций, которые объединялись понятием «заражение крови». Когда в 1881 году стреляли в президента Джеймса А. Гарфилда, его в конце концов убила не пуля, а врачи, которые, ощупывая рану, занесли инфекцию грязными руками.

Даже без хирургического вмешательства люди умирали довольно

часто и по разным причинам. Так, в 1758 году в Лондоне в списке умерших было зарегистрировано 17 576 имен и более 80 причин смерти. Большинство умерло от оспы, лихорадки, чахотки или просто «от старости», однако упоминались и менее распространенные причины смерти:

- «подавился салом» — 1
- чесотка — 2
- «замерз до смерти» — 2
- эрготизм — 4
- летаргия — 4
- ангина — 5
- глисты — 6
- самоубийство — 30
- сифилис — 46
- лунатизм — 72
- утопление — 109
- гангрена — 154
- «от зубов» — 644

Каким образом «от зубов» погибло столько народу, похоже, навсегда останется тайной. Списки умерших в Бостоне примерно за тот же период показывают, что причины смерти могут быть еще более неожиданными: «выпил холодной воды», «застой жидкости», «нервная лихорадка», «испуг».

Интересно, что многие виды смерти, которые, как нам интуитивно кажется, должны быть представлены в ту эпоху достаточно широко, на самом деле встречаются редко. Из 17 600 человек, умерших в Лондоне в 1758 году, лишь четырнадцать были казнены, пятеро убиты и четверо умерли голодной смертью.

Учитывая краткую продолжительность жизни и высокую смертность, браки в доиндустриальную эпоху длились в среднем всего десять лет, потом один из супругов умирал. Часто считается, что если люди умирали молодыми, то они рано создавали семью, чтобы не упустить отпущенные им короткие годы жизни. На самом деле это не так. Во-первых, люди по-прежнему полагали, что нормальный срок жизни — это библейские три десятка лет и еще десять. Впрочем, до сорока доживали немногие. Во-вторых, шекспировских Ромео и Джульетту все же нельзя считать стандартной парой. Да, Джульетте было всего тринадцать, Ромео — чуть больше, но вымышленные персонажи — это не доказательство. К тому же в поэме Артура Брука, на основе которой Шекспир создал свою пьесу, героям

было по шестнадцать лет. Почему Шекспир занизил их возраст, неизвестно, как и мотивы многих других поступков Шекспира. Во всяком случае, столь юный средний возраст вступления в брак не поддерживается реальными документальными свидетельствами.

В 1960-х историк из Стэнфордского университета Питер Ласлетт тщательно исследовал британские записи актов бракосочетания и обнаружил, что в прошлом люди создавали семьи не слишком рано. Так, например, в период с 1619 по 1660 год 85 % женщин выходили замуж в возрасте девятнадцати лет и старше; всего одной из тысячи было тринадцать лет и меньше. Средний возраст невесты составлял двадцать три года и семь месяцев, а средний возраст жениха — около двадцати восьми лет, что не слишком отличается от сегодняшних показателей.

Сам Уильям Шекспир женился в восемнадцать лет, что было необычно, а его жене Анне на тот момент уже исполнилось двадцать шесть лет. Ранние браки по большей части были формальностью, декларацией будущих намерений, а вовсе не лицензией, дающей право сразу прыгнуть в постель.

В то время было много вдов и вдовцов, которые часто заново вступали в брак вскоре после тяжелой утраты. Для женщин это было зачастую обусловлено экономической необходимостью. Мужчины же хотели, чтобы о них кто-то заботился. Коротко говоря, создание новых семей, как правило, основывалось не только на эмоциях, но и на практических соображениях.

В 1688 году в одной деревне, изученной Ласлеттом, было семьдесят два женатых мужчины, тридцать из которых были женаты во второй раз, трое — в третий раз, трое — в четвертый раз и один — в пятый, все в результате смерти жен. Всего примерно в четверти случаев люди заключали браки повторно; эти пропорции оставались неизменными до начала XX века.

Когда смертность была столь высокой, траур был важной частью большинства жизней. Особыми знатоками траура были, конечно, люди викторианской эпохи. Еще никогда люди не были так привязаны к смерти и не придумывали столько разных способов скорби.

Главным практиком была сама королева Виктория. После того как в декабре 1861 года умер ее любимый супруг принц Альберт, часы в его спальне были навсегда остановлены на минуте его смерти и показывали 22:50, однако по распоряжению королевы его комнату продолжали обслуживать, как будто он отсутствовал временно, а не упокоился навсегда в мавзолее недалеко от дома. Лакей каждый день выкладывал его одежду; в

должное время в комнату приносили мыло, полотенца и горячую воду, а затем уносили.

Во всех социальных слоях существовали строгие и утомительно подробные правила траура, учитывающие все возможные отношения с покойным. К примеру, если усопший был дядей по мужу или жене, его следовало оплакивать в течение двух месяцев при условии, что супруга пережила усопшего, или всего один месяц, если он был неженатым либо вдовцом. Все происходило в соответствии с установленными канонами. Человек мог даже никогда не встречаться с тем, кого оплакивал. Если мужчина был женат, овдовел, а затем женился во второй раз — вполне обычная ситуация — и скончался кто-то из близких родственников его первой жены, то вторая жена должна была тоже носить траур.

В зависимости от родственных отношений строго оговаривалось, сколько времени и каким образом носить траурные одежды. Вдовы, затянутые в удушающие черные одежды, должны были дополнительно повязывать черные креповые ленты. Креп, разновидность гофрированного шелка, царапался и шуршал. Если на него попадали капли дождя, то на ткани оставались белесые пятна. В свою очередь, сам креп пачкал одежду и тело. Эти пятна не отстирывались и с трудом смывались с кожи. Количество крепа, который следовало носить в знак траура, четко регламентировалось. По тому, сколько креповых лент повязано на рукава женщины, можно было сразу сказать, как давно она потеряла мужа. Спустя два года после утраты вдова переходила во вторую фазу, известную как «полутраур»; теперь ей разрешалось носить серую или бледно-лиловую одежду.

Слугам требовалось оплакивать своих умерших господ, а когда умирал монарх, в стране наступал национальный траур. Когда в 1901 году умерла королева Виктория, люди растерялись. С того момента, как умер последний король, прошло больше шестидесяти лет, и в обществе забыли, какой траур полагается в данном случае.

Иногда создается впечатление, что у викторианцев не было других забот, кроме как тревожиться по поводу смерти. В том числе они боялись быть похороненными заживо — этой фобии посвящен рассказ Эдгара Аллана По «Преждевременное погребение», написанный в 1844 году.

Каталепсия — паралич, жертва которого выглядит мертвой, но на самом деле находится в полном сознании, — стала модной болезнью тех дней. Газеты и популярные журналы изобиловали историями о людях, переживших такое состояние. Один хорошо известный случай произошел с Элеанорой Маркем из северной части штата Нью-Йорк; ее чуть не

похоронили в июле 1894 года, когда в самый ответственный момент из ее гроба донеслись тревожные звуки. Крышка поднялась, и мисс Марчем возопила:

— О боже, вы хороните меня живьем!

Своим спасителям она сказала:

— Все то время, что вы занимались подготовкой к моим похоронам, я была в сознании. Ужас моего положения не описать словами. Я слышала все, что происходит вокруг, даже шепот за дверью.

Она силилась крикнуть, но не могла издать ни звука.

Согласно одному отчету, из 1200 тел, по той или иной причине эксгумированных в Нью-Йорке в период с 1860 по 1880 год, у шести были обнаружены признаки того, что они шевелились в гробу.

В Лондоне, когда натуралист Фрэнк Бакленд пошел взглянуть на гроб анатома Джона Хантера в церкви Святого Мартина, «что в Полях», он увидел три гроба, покойники в которых явно пытались выбраться наружу. В народе ходили бесчисленные рассказы про преждевременные похороны. Корреспондент популярного журнала «Заметки и запросы» в 1858 году написал следующее:

*Богатый мануфактурищик Оппельтумер около пятнадцати лет назад в Райхенберге в Австрии; его вдова и дети построили на кладбище склеп. Вдова умерла около месяца назад, и ее должны были положить в ту же могилу; но когда землю разрыли, чтобы это сделать, гроб ее мужа оказался открыт и пуст, а в углу склепа был обнаружен сидящий скелет!*

По меньшей мере в течение одного поколения подобные истории появлялись даже в серьезных периодических изданиях. У многих людей развилась так называемая тафофобия: они боялись быть погребенными заживо. Романист Уилки Коллинз каждую ночь оставлял на своем прикроватном столике записку с указаниями: что надо делать в случае, если его найдут в состоянии, похожем на смерть, и какие действия следует произвести, чтобы убедиться в том, что он действительно умер.

Другие даже оставляли распоряжения перед погребением отрезать им голову или вынуть сердце. Один автор предложил выдерживать покойников в морге в течение нескольких дней, дабы убедиться в том, что они действительно умерли, а не просто обрели неподвижность. Еще один предприимчивый человек спроектировал устройство, которое позволяло (если вы вдруг проснулись в гробу) потянуть за шнурок, который открывал

дыхательную трубку и подавал воздух внутрь, одновременно с этим начинал звонить колокольчик и над поверхностью земли начинал развеиваться флажок.

В 1899 году в Британии была учреждена Ассоциация по предотвращению преждевременных похорон, а в следующем году сформировалось и аналогичное американское общество. Оба общества составили ряд тестов, которые следовало выполнить лечащим врачам, прежде чем объявить о смерти пациента, — например, надо было приложить к коже горячее железо и посмотреть, появятся ли волдыри. Некоторые из этих тестов были даже включены в учебный план медицинских колледжей.

Разграбление могил было еще одним частым явлением, так как в XIX веке потребность в трупах была велика. В одном только Лондоне имелось 23 медицинских и анатомических колледжа, и каждый нуждался в непрерывных поставках материала для анатомического театра. До принятия Анатомического акта в 1832 году для экспериментов и препарирования можно было использовать только тела казненных преступников, а казни в Англии случались гораздо реже, чем обычно думают.

В 1831-м (обычный год) в Англии были приговорены к смерти 1600 человек, но только 52 были казнены. Поэтому спрос на трупы значительно превышал предложение. Разграбление могил сделалось весьма доходным делом, тем более что кража мертвого тела считалась, по странной прихоти закона, мелким уголовным преступлением. В то время, когда зарплата рабочего в один фунт стерлингов в неделю считалась хорошей, за свежий труп давали от 8–10 до 20 фунтов, и это почти ничем не грозило, во всяком случае поначалу. Но следовало похищать из могилы только труп и не трогать саван и гроб, чтобы не попасть под более серьезную статью уголовного кодекса.

Рынком правил не только патологический интерес к препарированию. При отсутствии анестетиков хирурги должны были тщательно изучить человеческое тело. Невозможно спокойно исследовать органы и артерии, когда пациент вопит от боли и истекает кровью. Приходилось действовать быстро, а скорость зависела от того, насколько хорошо врач знаком с анатомией, поэтому практика на трупах была крайне важна. Холодильников еще не было, и тела быстро портились, так что хирургам постоянно требовались свежие поступления.

Для того чтобы предотвратить разграбление могил, люди часто предпочитали не расставаться с усопшими близкими до тех пор, пока их тела не начинали разлагаться и вследствие этого не теряли свою ценность.

«Отчет о санитарных условиях жизни рабочего класса Великобритании» Эдвина Чадвика полон отвратительных и шокирующих подробностей. Чадвик отмечает, что в некоторых районах страны родственники держали покойников в своих гостиных в течение недели или даже дольше, дожидаясь, когда признаки разложения станут явными. Нередко личинки червей падали на ковер, и среди них играли дети. Само собой, запах стоял невыносимый.

Кладбища тоже принимали меры безопасности, нанимая вооруженных ночных охранников. Это сильно затруднило промысел похитителей тел, и некоторые из них предпочли заняться убийствами. Самыми скандально известными из убийц — поставщиков трупов были Уильям Берк и Уильям Хэйр, ирландские иммигранты в Эдинбурге, которые меньше чем за год, начиная с ноября 1827 года, убили по меньшей мере пятнадцать человек.

Их метод был жесток и крайне эффективен. Они знакомились со скучающими бездельниками, поили их, а затем душили. Коренастый Берк садился жертве на грудь, а Хэйр затыкал ей рот и нос. Труп они сразу же передавали профессору Роберту Ноксу, который платил за каждого свежего, еще теплого покойника от 7 до 14 фунтов стерлингов. Нокс наверняка понимал, что дело неладно, но не задавал лишних вопросов двум ирландским алкоголикам, непрерывно снабжавших его трупами мужчин, умерших при неясных обстоятельствах.

Когда дело открылось, Нокс был подвергнут общественному осуждению, но под суд его не отдали и вообще никак не наказали. Хэйр избежал повешения, дав показания против своего сообщника. Но это оказалось даже лишним, так как Берк и так полностью признал свою вину и вскоре был повешен. Его тело тоже доставили в анатомический колледж для препарирования; фрагменты его кожи обработали кислотой и выдубили и в течение нескольких лет раздавали важным посетителям тюрьмы в качестве сувениров.

Хэйр же провел в тюрьме всего пару месяцев, потом вышел на свободу, но жизнь его не сложилась. Он устроился работать на печи для обжига извести; рабочие опознали известного убийцу и макнули его лицом в негашеную известь. Он навсегда потерял зрение и стал нищим бродягой. Ходили слухи, что он вернулся в Ирландию, что он уехал в Америку, но достоверно про него (и про то, где он похоронен) ничего не известно.

Подобные истории были одной из причин, подтолкнувших общество к поиску альтернативного способа избавления от мертвых тел. Таким способом стала кремация. Движение за популяризацию кремации не имеет ничего общего с религией или какими-либо духовными исканиями. Это

был сугубо практический метод: от большого количества покойников можно теперь было избавиться гигиенично, эффективно и не слишком загрязняя окружающую среду.

Сэр Генри Томпсон, основатель Общества поддержки кремации в Англии, в 1874 году продемонстрировал в Уокинге возможности своих печей, кремировав лошадь. Демонстрация прошла безупречно, но вызвала шумный протест у тех, кого возмутила сама идея сжигания туши лошади (или любого другого тела).

Тем временем некий капитан Ханем из Дорсета построил собственный крематорий и с его помощью в нарушение всех существующих законов избавился от тел умерших жены и матери. Другие англичане, опасаясь судебного преследования, отправляли своих покойников в те страны, где кремация была разрешена. Писатель и политик Чарльз Уэнтворт Дилк в 1874 году отвез тело своей умершей в родах жены в Дрезден, где ее кремировали.

Одним из первых сторонников кремации был Огастес Питт-Риверс, один из ведущих археологов XIX века, который не только сам пожелал быть кремированным, но и настаивал на кремации своей жены, несмотря на ее постоянные возражения. «Черт возьми, женщина, тебя сожгут!» — орал он, когда она робко пыталась завести разговор на эту тему. Питт-Риверс умер в 1900 году и был кремирован, хотя это еще не было официально разрешено законом. Миссис Питт-Риверс пережила мужа и в конце концов была погребена в земле в соответствии со своей волей.

В Британии особенно долго сопротивлялись кремации. Многие считали подобное уничтожение мертвого тела аморальным актом. Другие приводили практические соображения: если было совершено убийство, то в печи вместе с жертвой будут сожжены и все улики. Кроме того, движение в поддержку кремации несколько дискредитировал тот факт, что один из главных его активистов был сумасшедшим. Его звали Уильям Прайс, он работал врачом в валлийской деревне и отличался крайней эксцентричностью. Прайс был друидом, вегетарианцем и воинствующим чартистом; он принципиально не носил носков и отказывался притрагиваться к монетам. В восемьдесят с лишним лет он сделал ребенка своей экономке и назвал сына Иисусом Христом.

В начале 1884 года ребенок умер, и Прайс решил устроить погребальный костер на своем земельном участке. Когда односельчане увидели огонь и пришли посмотреть, что же это такое горит, они увидели Прайса, одетого в наряды друида, танцующего вокруг костра и поющего странные песни. Возмущенные и встревоженные, они решили остановить

эту дикость. Прайс выхватил наполовину обгоревшее тело сына из огня и убежал в дом, где спрятал труп в коробке под кроватью. Через несколько дней Прайса арестовали, однако судья отпустил Прайса на свободу, решив, что он не совершил ничего противозаконного, так как мальчик фактически не был кремирован. Стоит ли говорить, что этот эпизод еще больше ожесточил противников кремации.

В Британии ее формально узаконили лишь в 1902 году. Как раз в это время умер наш мистер Маршем, но он предпочел, чтобы его погребли по старым канонам.

# Глава 16

## Ванная комната

### I

Трудно найти более неточное или по меньшей мере неполное рассуждение о гигиене, чем слова прославленного архитектурного критика Льюиса Мамфорда из его классической книги «История города», опубликованной в 1961 году:

*В течение нескольких тысяч лет жители городов мирились с плохими, зачастую отвратительными санитарными условиями, погрязнув в нечистотах и грязи. Они вполне могли прибратся; это было бы приятней, чем работать и дышать в помойке. Чем объяснить подобное равнодушие к грязи и вони, омерзительным для многих животных, даже для свиней, которые стараются содержать себя и свой загон в чистоте? И почему технологический прогресс был таким медленным и прерывистым, ведь с момента рождения города прошло целых пять тысяч лет?*

На самом деле, как мы уже видели на примере поселка Скара-Брей на Оркнейских островах, любовь к чистоте была свойственна людям с давних пор. И Скара-Брей — вовсе не уникальное поселение. В доме, стоявшем 4500 лет назад в долине реки Инд, в местечке, которое сегодня называется Мохенджо-Даро, имелся отличный мусоропровод, с помощью которого отбросы отправлялись за пределы жилого квартала, на свалку. В древнем Вавилоне имелась канализационная система. У минойцев свыше 3500 лет назад были в домах проточная вода, ванны и другие удобства. Короче говоря, чистота и уход за собой были характерны для многих древних культур.

Древние греки обожали мыться. Им нравилось раздеваться догола (слово «гимнасий» происходит от слова *γυμνος*, «обнаженный») и тренироваться до здорового пота; свои повседневные дела они завершали мытьем в общественной или домашней бане. Но для греков это было

обычной и быстрой гигиенической процедурой. По-настоящему серьезным делом было купание в римских банях. Никто и никогда не мылся с такой увлеченностью, как римляне.

Римляне любили воду; в одном доме в Помпеях было тридцать водопроводных кранов, а благодаря сети акведуков крупные города в изобилии снабжались свежей водой. В Риме один человек расходовал триста галлонов воды в день, что в семь-восемь раз больше, чем требуется среднестатистическому римлянину сегодня.

Для римлян термы были чем-то большим, чем просто место для гигиенических процедур, — это ежедневный отдых, времяпрепровождение, образ жизни. В римских банях располагались библиотеки, магазины, гимнастические залы, цирюльни, теннисные корты, бары и публичные дома. В баню ходили люди всех сословий.

«Встречая знакомого, римлянин обычно спрашивал, в какую баню тот собирается», — пишет Катерина Ашенберг в своей блестящей книге «Грязь и чистота», посвященной истории гигиены. Некоторые римские бани скорее были похожи на дворцы. Огромные термы Каракаллы вмещали одновременно шестьсот человек, а термы Диоклетиана — триста.

Римлянин переходил из одного отделения бани в другое — сначала во фригидарий (баню с холодной водой), а затем в кальдарий (с горячей водой). По пути он останавливался в анктуарии, где на его тело наносили ароматические масла, а затем шагал в лаконий (парную), где, как следует пропотев, счищал с себя масло и грязь специальным скребком — стригилем. Все это выполнялось в определенном, почти ритуальном порядке, хотя историки не могут прийти к единому мнению относительно последовательности действий — возможно, потому, что в разное время в разных местностях особенности банной процедуры варьировали.

Мы многого не знаем о римлянах и их банных привычках — купались ли рабы вместе со свободными гражданами, как часто люди ходили в баню и сколько времени там проводили; насколько они были увлечены процессом. Сами римляне иногда выражали беспокойство по поводу состояния и чистоты воды, так что вряд ли все они всегда мылись с удовольствием.

Похоже, для большинства римлян бани были связаны с определенным строгим этикетом, который гарантировал здоровые моральные принципы, но со временем нравы в Риме становились все более свободными, и мужчины начали мыться вместе с женщинами; скорее всего, женщины мылись также вместе с мужчинами-рабами. Никто не знает, чем именно занимались римляне в банях, но это явно не соответствовало строгим

нравам древних христиан, которые считали римские бани безнравственными и развратными, то есть нечистыми (с точки зрения не гигиены, а морали).

Христианство всегда на удивление настороженно относилось к чистоте и рано выработало странную традицию отождествлять святость с грязью. Когда в 1170 году был убит архиепископ Томас Бекет, люди, которые его хоронили, одобрительно заметили, что его нижнее белье «кишело вшами». На протяжении всего средневекового периода человек мог завоевать долгосрочное уважение, поклявшись не мыться. Многие совершали паломничество из Англии на Святую землю, но когда монах Годрик проделал этот путь, ни разу не ополоснувшись в воде, его стали называть Святым Годриком.

Эпидемии чумы в Средние века заставили людей пересмотреть свое отношение к гигиене; они стали думать, как себя обезопасить, и, к несчастью, пришли к неправильному выводу. Все лучшие умы согласились, что во время мытья открываются поры кожи, после чего смертельные испарения легче проникают в тело. Так что лучший способ избежать болезни — закупорить поры грязью.

В течение следующих нескольких сот лет большинство людей не мылось и даже старалось по возможности не иметь контакта с водой, что приводило к печальным последствиям. Инфекции стали частью повседневной жизни. Бесконечные фурункулы, сыпь и раздражения заставляли людей постоянно чесаться. Человек жил в привычном дискомфорте и со смирением принимал более серьезные недуги.

Страшные болезни убивали миллионы, а затем часто таинственным образом отступали. Самой известной, но далеко не единственной заразой была чума (на самом деле существовало два вида заболевания: бубонная чума, названная так из-за бубонов — воспаленных лимфатических узлов на шее, в паху или под мышками, и более тяжелая и заразная пневмоническая чума, поражающая дыхательную систему).

Эпидемии английской потливой горячки — болезни, о которой мы почти ничего не знаем, — случились в 1485, 1508, 1517 и 1528 годах; она отняла тысячи жизней, а потом исчезла и больше не возвращалась (во всяком случае, до сих пор). В 50-е годы XVI века появилась другая странная лихорадка — «новая болезнь», которая «свирепствовала по всему королевству и убила множество людей всех сословий, но в основном знатных и богатых», по словам одного современника.

В промежутках между этими недугами, а иногда и одновременно с ними случались вспышки эрготизма. У людей, употребивших в пищу

зараженное грибок зерно, наблюдались расстройства сознания, припадки, горячка и обмороки; в большинстве случаев все заканчивалось смертью. Любопытно, что эрготизм сопровождался лающим кашлем. Отсюда пошло выражение «чокнутый» (*barking mad*<sup>[80]</sup>).

Самой страшной была оспа — болезнь крайне заразная и смертельная. Известны два основных типа оспы: обычная и геморрагическая. Оба типа были тяжкими, но геморрагическая оспа (при которой возникали внутреннее кровотечение и гнойники на коже) доставляла больше страданий и чаще приводила к летальному исходу: она убивала 90 % своих жертв — примерно вдвое больше, чем обычная оспа. До XVIII века, пока не появилась вакцинация, от оспы ежегодно умирало 400 000 жителей Европы. Такого высокого уровня смертности не наблюдалось ни при одной другой болезни.

Те, кто выживал после оспы, часто оставались слепыми, а лица их были покрыты оспинами — обезображивающими рубцами. Эта болезнь существовала уже тысячи лет, но лишь в начале XVI века распространилась по Европе. Первое письменное упоминание оспы в Англии датируется 1518 годом.

Приступ оспы начинался с внезапного повышения температуры, сопровождавшегося болями и сильной жаждой. Примерно на третий день появлялись пустулы, которые затем распространялись по всему телу — характер их распространения у разных жертв был разным. В самых тяжелых случаях больной превращался в одну большую пустулу. На этой стадии лихорадка усиливалась, а пустулы вскрывались, и из них вытекал зловонный гной. Если после этого жертва выживала, то болезнь, как правило, отступала, но на этом беды больного не заканчивались. Гнойники покрывались струпьями и начинали мучительно чесаться. Только когда струпья отпадали, человек видел, насколько сильно он изрубцован.

Будучи юной девушкой, королева Елизавета чуть не умерла от оспы, но полностью выздоровела и избежала рубцов на теле. Ее подруге леди Мэри Сидней, которая ее выхаживала, повезло меньше. «Когда я уезжал, она была прекрасной дамой, — писал ее муж, — а когда вернулся, увидел, что она вся изрыта оспой». Герцогиню Ричмонд, послужившую моделью для фигуры Британии на английской монете достоинством в один пенс, болезнь тоже оставила обезображенной.

На примере оспы врачи пытались найти средства лечения других заболеваний. Истечение гноя привело к убеждению, что тело пытается избавиться от ядов, поэтому больным пускали кровь, давали слабительное и потогонное, вскрывали пустулы; вскоре те же самые методы стали

использовать при лечении остальных недугов, однако, как правило, они лишь усугубляли состояние больных. Оспа называется по-английски «малой оспой (*smallpox*), чтобы отличить ее от «большой оспы» (*great pox*) — так раньше называли сифилис.

Понятно, что не все ужасные болезни были связаны с нечистотой, но люди этого не знали. И хотя сифилис передавался при половом контакте, который мог иметь место где угодно, его стали ассоциировать с банями. Проституткам запрещалось подходить к купальням ближе чем на сто шагов; в конце концов в Европе вообще были закрыты все общественные бани. Пропала привычка регулярно мыться. Некоторые люди продолжали это делать, но избирательно. «Мой руки часто, ноги — редко, а голову — никогда», — гласила популярная английская поговорка.

Королева Елизавета принимала ванну раз в месяц «независимо от того, нуждалась она в купании или нет». В 1653 году Джон Ивлин записал в дневнике, что решил мыть голову один раз в году. Ученый Роберт Гук часто мыл ноги (его это успокаивало), но почти никогда не мылся целиком. Сэмюэл Пипс вел дневник девять с половиной лет, и там лишь единожды упоминается о том, что его жена моется. Во Франции король Людовик XIII ходил немытым почти до семи лет от роду и впервые выкупался в 1608 году.

Купание служило почти исключительно для медицинских целей. В 1570-х Бат и Бакстон были популярными бальнеологическими курортами, но многие посетители пребывали в нерешительности. «На мой взгляд, не слишком здорово, когда столько людей одновременно купаются в одной и той же воде», — заметил Пипс летом 1668 года, размышляя о своем посещении курорта. Однако ему понравилось, и он провел два часа в воде, а потом попросил, чтобы его завернули в простыню и отнесли в номер.

Когда европейцы прибыли в Новый Свет, индейцы сразу заметили, как плохо от них пахнет. Однако еще больше индейцев удивляла привычка европейцев сморкаться в тонкие и красивые носовые платочки, а потом аккуратно их складывать и прятать, словно драгоценный сувенир.

Впрочем, какие-то стандарты чистоты все же существовали. Один посетитель двора короля Якова I с неприкрытым отвращением заметил, что король только смачивал кончики пальцев влажной салфеткой. К тем, кто печально прославился своей нечистоплотностью, можно причислить одиннадцатого герцога Норфолка, который так сильно не любил банные процедуры, что слуги дожидались, когда он напьется мертвецки пьяным, и только тогда его мыли; памфлетиста Томаса Пейна, чье тело было покрыто «ровным слоем грязи», и даже благородного Джеймса Босуэлла, от

которого так воняло, что шарахались даже привычные ко всему окружающие.

Однако даже Босуэлл в подметки не годится своему современнику маркизу д'Аржану, который годами носил одну и ту же нательную сорочку; когда его наконец уговорили ее снять, ее пришлось отдирать практически вместе с кожей. Впрочем, для некоторых — например, для аристократки Мэри Монтегю Уортли, одной из первых прославленных женщин-путешественниц, — грязь была чем-то, чем можно гордиться. Люди, которым Уортли пожимала руку при знакомстве, невольно вздрагивали, пораженные тем, насколько грязна ее ладонь.

— А что бы вы сказали, увидев мои ноги? — с гордостью вопрошала леди Мэри.

Многие люди привыкли обходиться без воды, и сама мысль о купании приводила их в ужас. Когда Генри Дринкер из Филадельфии в конце 1798 года поставил у себя в саду душ, его жена Элизабет больше года отказывалась им пользоваться.

— За последние двадцать восемь лет я ни разу не мылась целиком, — объяснила она.

В начале XVIII века ванны все чаще ассоциировались с лечением сумасшествия. В 1701 году сэр Джон Флойер начал практиковать холодные ванны для лечения ряда заболеваний. Согласно его теории, погружение в холодную воду вызывает «ужас и потрясение, которые укрепляют и оживляют притупившийся ум».

Бенджамин Франклин использовал другой метод. Он прожил в Лондоне несколько лет и взял за правило принимать «воздушные ванны», лежа голым перед открытым окном на втором этаже. Это не делало его чище, но, кажется, не причиняло вреда; а у его соседей, определенно, всегда был повод для разговоров.

Также странно популярным было «сухое купание»: люди растирались щетками для того, чтобы «открыть поры» (и, возможно, избавиться от вшей). Многие верили, что льняное белье имеет особые свойства, что оно впитывает грязь с кожи. Большинство боролось с грязью и неприятными запахами, маскируя их косметикой и одеколонами. А многие просто не обращали на это внимания: зачем избавляться от дурного запаха, если все вокруг все равно воняют?

Но потом вдруг водные процедуры вошли в моду. В 1702 году королева Анна поехала в Бат лечить подагру. Этот престижный курорт славился своими целебными водами, хотя проблемы Анны лучше бы лечить банальной диетой.

Вскоре повсюду появились курорты с минеральными источниками — Харрогит, Челтнем, Лландидно-Уэллс в Уэльсе. Но прибрежные города боролись за то, чтобы лечебными назывались только морские воды и только вблизи их курортов. Скарборо на йоркширском побережье обещал, что его вода исцеляет от «апоплексии, эпилепсии, каталепсии, головокружений, ипохондрии и метеоризма».

Самым прославленным пионером лечебных водных процедур был доктор Ричард Рассел, который в 1750 году написал латинскую «Диссертацию об использовании морской воды при заболеваниях гланд», которая четыре года спустя была переведена на английский. В этой книге Рассел рекомендовал морскую воду в качестве эффективного средства лечения целого ряда заболеваний, от подагры и ревматизма до «застоя в мозгу». Больным рекомендовалось не только погружаться в морскую воду, но и пить ее в больших количествах. Рассел практиковал в рыбацком поселке Брайтхелмстоун на побережье Суссекса и стал так успешен, что город разросся и превратился в Брайтон, самый модный в мире морской курорт того времени. Рассела называли «изобретателем моря».

Многие люди купались совершенно голыми (часто вызывая праведное негодование тех, кто за ними подсматривал, иногда даже в телескоп), более скромные облачались в слишком тяжелые одежды (что было небезопасно). Аристократическая публика особенно возмущалась, когда на пляже начали появляться представители беднейших слоев общества, которые раздевались у всех на глазах и заходили в воду, — для большинства из них такое событие, как купание, случалось один раз в год.

Потом изобрели передвижные купальни, которые представляли собой не что иное, как фургоны на колесах с дверцами и ступеньками. Фургончик заезжал прямо в воду, позволяя купальщику окунуться и помыться не на глазах у всех. После купания люди энергично растирались сухой фланелью, и эта процедура, вероятно, оказывалась даже полезнее для здоровья, чем само мытье.

Будущее Брайтона было предрешено в сентябре 1783 года. Только что закончилась война за независимость США и был подписан мирный договор. Принц Уэльский посетил Брайтон, где надеялся подлечить горло, и воды действительно помогли. Принцу это так понравилось, что он немедленно велел построить там экзотический павильон. Для принца установили индивидуальную ванну с морской водой, и теперь ему не нужно было во время купания обнажаться перед обычными людьми.

Отец принца, король Георг III, также в поисках уединения, отправился в Уэймут, сонный портовый городишко на западе Дорсета, но обнаружил на

пляже тысячи доброжелательных зевак, жаждущих увидеть первое погружение его величества. Когда монарх вошел в воду, облаченный в обширный халат из голубой саржи, оркестр, спрятанный в соседнем фургончике-купальне, грянул «Боже, храни короля». Несмотря на всю эту помпу, королю понравилось в Уэймуте; он ездил туда почти ежегодно — до тех пор, пока его психическая болезнь не прогрессировала настолько, что он уже не смог появляться на публике.

Тобиас Смоллетт, писатель и врач, страдавший чахоткой, перенес практику морских купаний в Средиземноморье. В Ницце он, к удивлению местных жителей, ежедневно ходил плавать. Один из очевидцев писал:

*Им казалось очень странным, что человек, по-видимому изнуренный болезнью, купается в море, тем более в такую холодную погоду; некоторые врачи прогнозировали ему немедленную смерть.*

Однако привычка купаться постепенно привилась, а книга Смоллетта «Путешествия по Франции и Италии» (1766) сыграла большую роль в становлении французской Ривьеры как популярного курорта.

Разнообразные мошенники тоже быстро сообразили, что на купании можно делать хорошие деньги. Самым успешным из них был Джеймс Грэм (1745–1794). Этот хвастливый невежда, объявивший себя врачом, имел во второй половине XIX века огромный успех в Бате и Лондоне. Он использовал магниты, электрические батареи и другие инструменты для исцеления пациентов от целого ряда болезней, главным образом от сексуальных нарушений, таких как импотенция и фригидность. Он вывел купания на более высокий уровень популярности, придав им заманчивую эротическую ауру. Грэм предлагал своим клиентам молочные и грязевые ванны, которые сопровождались театральным представлением, включавшим музыку, живые картины, ароматизированный воздух и даже полуобнаженных танцовщиц (говорят, что одной из таких танцовщиц была Эмма Лайон, будущая леди Гамильтон и любовница адмирала Нельсона).

Тем, чьи проблемы не удавалось решить с помощью водных процедур, Грэм предлагал терапию при помощи электрифицированной «божественной кровати» по цене 50 фунтов за ночь. Матрац кровати был набит лепестками роз и пересыпан специями.

К сожалению, Грэма несколько занесло на волне успеха, и он стал проповедовать настолько неправдоподобные вещи, что от него отвернулись даже самые преданные его сторонники. Одна его лекция называлась «Как

прожить много недель, месяцев и лет без еды», в другой он гарантировал своим последователям «здоровую жизнь до 150 лет». Его претензии делались все более абсурдными, дела пошатнулись и резко покатились вниз. В 1782 году его имущество было конфисковано в счет долгов, и славе Джеймса Грэма пришел конец.

Сейчас Грэма принято изображать как нелепого шарлатана; разумеется, по большей части он и был таковым, однако следует помнить, что многие его предложения: холодные ванны, простая еда, жесткие кровати, настежь открытые окна, наполняющие спальню морозным воздухом, — вошли в жизнь англичан.

Люди постепенно привыкли к мысли о том, что ничего плохого не произойдет, если они будут время от времени мыться, так что старинные концепции личной гигиены были резко пересмотрены. Теперь розовая кожа и открытые поры больше не считались нездоровыми; напротив, укрепилось мнение, что кожа является прекрасным вентилятором тела: через нее выводятся двуокись углерода и другие токсические вещества, вдыхаемые человеком. Если же поры закупорены грязью, природные яды накапливаются в организме и приводят к опасным недугам.

Вот почему нечистоплотные люди — «толпа немых», как выразился Теккерей, — так часто болеют: их убивают забитые поры. Один врач наглядно демонстрировал, как быстро слабеет и околевает лошадь, сплошь вымазанная дегтем. На самом деле проблема тут заключалась не в вентиляции, а в терморегуляции, тем не менее данный эксперимент был, безусловно, весьма поучителен.

Люди на удивление поздно стали мыться ради того, чтобы быть чистыми и хорошо пахнуть. Когда основатель методизма Джон Уэсли в своей проповеди в 1778 году сказал, что «чистота — это почти благочестие», он имел в виду чистую одежду, а не чистое тело. Впрочем, уважая также чистоту телесную, он рекомендовал «частое бритье и мытье ног».

Когда в 1830-х годах молодой Карл Маркс отправился учиться в колледж, заботливая мать дала ему строгие указания в отношении гигиены и особенно предписывала ему «каждую неделю растираться мочалкой с мылом».

К моменту открытия «Великой выставки» отношение к мытью явно начало меняться. На самой выставке было представлено свыше 700 разных сортов мыла и марок духов, что наверняка отражало уровень спроса. А два года спустя правительство наконец отменило старинный налог на мыло.

Несмотря на это, вплоть до 1861 года англичанам все еще требовалась подробная инструкция для того, чтобы принять ванну.

Однако люди викторианской эпохи все-таки приучились мыться — главным образом потому, что это было время самоограничения и умерщвления всяческих плотских инстинктов, а водные процедуры были отличным способом укротить свой дух. Во многих дневниках описывается, как при утреннем умывании приходилось сначала скотить лед с замерзшей воды, а преподобный Фрэнсис Килверт с удовольствием отмечал, как лед покрывал стенки его ванны и обжигал ему кожу, когда он мылся рождественским утром 1870 года.

Принимать душ было тоже непросто. Часто напор был слишком мощным, и купальщику приходилось надевать на голову специальную защитную шапочку, прежде чем шагнуть в душ, дабы струя воды не причинила ему слишком сильных ушибов.

## II

Пожалуй, ни одно другое слово в английском языке не претерпело столько изменений, сколько их выпало на долю слову *toilet*. Изначально, примерно с 1540 года, это слово было уменьшительным от французского *toile* (особый вид льняного полотна) и означало некоторые мелкие предметы одежды и белья. Потом так стали называть льняную салфетку, покрывавшую туалетный столик, а потом и предметы, стоящие на этой салфетке (отсюда пошло слово *toilettries* — «туалетные принадлежности»).

Затем слово перешло на сам туалетный столик, потом на процесс одевания (ср. русское «утренний туалет»), потом так стали называть церемонию публичного переодевания в присутствии гостей или придворных. Со временем туалетом стали называть гардеробную, потом любую приватную комнату рядом со спальней и, наконец, уборную в современном смысле слова. Вот почему термин «туалетная вода» может означать и парфюмерное средство, и воду из туалета.

Слово *garderobe*, ныне считающееся устаревшим<sup>[81]</sup>, меняло значения почти так же часто. Составленное из французских слов *garde* («хранение») и *robe* («платье»), это выражение сначала обозначало кладовку, затем любую приватную комнату, затем (недолго) спальню и наконец уборную (*privy*). Впрочем, несмотря на последний термин<sup>[82]</sup>, отправление естественных потребностей далеко не всегда было приватным делом.

Римляне особенно любили совмещать этот процесс с беседой. В их общественных туалетах обычно имелось по двадцать и больше отверстий, располагавшихся интимно близко одно от другого; люди пользовались ими безо всякого стеснения — так же, как мы сейчас пользуемся соседними сиденьями в автобусе. Отвечая на неизбежный вопрос, сообщаю: перед каждым рядом сидений по полу проходила канавка с водой; чтобы подтереться, пользователи макали в воду губки, прикрепленные к палкам.

Даже в гораздо более поздние эпохи люди продолжали коллективно испражняться, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Во дворце Хэмптон-корт имелся «Большой дом для облегчения», вмещавший одновременно четырнадцать человек. Карл II, отправляясь в туалет, всегда брал с собой двух сопровождающих. В усадьбе Маунт-Вернон, доме Джорджа Вашингтона, сохранилась уборная с двумя сидениями, расположенными рядом.

Англичане особенно долго не нуждались в уединении при отправлении естественных надобностей. Итальянский авантюрист Джакомо Казанова, посетив Лондон, отметил, как часто ему на глаза попадались люди, мочившиеся на виду у всех на обочины дорог или на стены зданий. Пипс в своем дневнике пишет, как его жена присела прямо на дороге, чтобы облегчиться.

Термин *water closet* появился в 1755 году и первоначально означал комнату, где королю ставили клизмы. Французы с 1770-х годов называли домашний туалет «английским местом» (*un lieu á l'anglaise*), отсюда, скорее всего, пошло просторечное *loo* («сортир»).

У себя в Монтичелло Томас Джефферсон установил три домашних туалета — едва ли не первых в Америке — с системой вентиляции для устранения запахов. Эти туалеты, конечно, не были технологическими новинками: фекалии падали в общий горшок, который затем опорожнялся слугами. Однако в Белом доме — или в Президентском доме, как его называли в то время, — в 1801 году Джефферсон устроил три первые уборные со сливом. Вода подавалась из дождевых цистерн, установленных на чердаке.

В середине XIX века преподобный Генри Моул, викарий из Дорсета, изобрел «земляной» туалет. В нем имелся бак, наполненный сухой землей, который при нажатии на рычаг высыпал приличное количество земли в резервуар, маскируя запах и сами испражнения. Земляные клозеты какое-то время были весьма популярны, особенно в сельской местности, но их быстро вытеснили туалеты со сливом, которые не просто прятали нечистоты, но уносили их потоком воды. Конечно, поначалу туалеты со

сливом частенько барахлили.

Большинство же людей продолжало пользоваться ночными горшками, которые хранились в особых шкафчиках в спальне. Иностранные гости часто приходили в ужас от привычки англичан хранить ночные горшки в шкафчиках непосредственно в столовой; когда женщины выходили из помещения, мужчины доставали горшки и пользовались ими. В некоторых комнатах для отправления естественных потребностей имелся специальный стул, стоявший в углу.

Французский путешественник Моро де Сент-Мери, посетивший Филадельфию, был совершенно потрясен, когда увидел, как некий американец помочился в цветочную вазу (предварительно вынув из нее цветы). Другой французский турист примерно в то же время написал, что попросил у хозяев гостиницы ночной горшок, но ему предложили «воспользоваться окном, как все остальные». Француз все же настоял, чтобы ему дали какую-нибудь посудину, и удивленная хозяйка принесла гостю чайник, попросив вернуть его утром к завтраку.

Забавно наблюдать, как жители разных стран взаимно ужасались туалетным привычкам иностранцев. Французы жаловались на дикие нравы англичан и американцев, а последние в свою очередь поражались порядкам, принятым во Франции. Французы мочились в камин и испражнялись на лестницах. «Такая практика существовала в Версале даже в XVIII веке», — пишет Марк Жируар в своей книге «Жизнь во французском сельском доме». Версаль славился тем, что в нем имеется сотня ванн и триста ночных горшков, однако ими почему-то редко пользовались, и в 1715 году был издан специальный указ, предписывавший убирать фекалии из дворцовых коридоров «не реже одного раза в неделю».

Большинство нечистот в конце концов оказывалось в выгребных ямах, но последние обычно плохо чистили, и их содержимое частенько просачивалось в соседские резервуары с водой. Ямы переполнялись и разливались. Сэмюэл Пипс описывает один из таких случаев в своем дневнике:

*Спустившись в подвал... я вступил в огромную кучу дерьма... Я понял, что в конторе мистера Тернера переполнилась выгребная яма и его фекалии попадают в мой подвал — крайне неприятно.*

Труд золотарей, чистивших выгребные ямы, пожалуй, был самым

незавидным. Они работали бригадами по трое-четверо. Один человек — вероятно, младший в бригаде — спускался в яму и черпал нечистоты ведрами. Второй стоял у края ямы и принимал ведра. Третий и четвертый относили ведра к стоявшей наготове тележке. Все это было не только крайне неприятно, но и опасно. Чистильщики могли задохнуться или даже взорваться, поскольку работали при свете масляных фонарей в сильно загазованной среде.

В 1753 году журнал *Gentleman s Magazine* описал такой случай: некий ассенизатор спустился в подвальный туалет одной лондонской таверны и сразу же почувствовал слабость, столь сильной была вонь. «Он успел позвать на помощь и рухнул ничком», — рассказал журнал. Другой золотарь, бросившийся спасать товарища, тоже потерял сознание. Затем на помощь пришли еще два человека: они не стали заходить в подвал, однако им удалось слегка приоткрыть дверь и выпустить некоторую часть газов. Когда удалось вытащить двоих рабочих наружу, один из них был уже мертв, а второй еще жив, но спасти его тоже не удалось.

Поскольку золотари заламывали высокую цену за свою работу, выгребные ямы в бедных районах убирались плохо и часто переполнялись, что неудивительно с учетом лондонской демографии. Во многих лондонских районах царила невообразимая скученность.

В районе Сент-Джайлс, где находились самые страшные трущобы, изображенные на гравюре Уильяма Хогарта «Улица джина», всего на нескольких улочках ютилось 54 000 человек. Согласно одному источнику, 1100 человек жили в 27 зданиях — это больше 40 человек на дом. В районе Спиталфилдс, расположенном дальше к востоку, инспекторы обнаружили, что в одном из домов живет 63 человека, у которых было всего девять кроватей — по одной на семерых. Такие районы стали называть трущобами (*slums*). Первым это слово употребил Чарльз Диккенс в письме 1851 года.

Разумеется, такое количество народа производило огромное количество нечистот — никакие выгребные ямы не могли с ними справиться. В одном вполне типичном докладе инспектор записал, что посетил два дома в Сент-Джайлсе, где подвалы были на три фута заполнены человеческими фекалиями. Во дворе слой экскрементов составлял шесть дюймов и были специально положены кирпичи (по несколько штук один на другом), по которым жителям приходилось прыгать, чтобы пробраться к себе домой.

В Лидсе в 1830-е годы в ходе проверки бедных районов выяснилось, что многие улицы «утопают в нечистотах». Одна улица, где жили 176 семей, не убиралась в течение пятнадцати лет. В Ливерпуле одна шестая

часть населения ютилась в темных подвалах, куда легко могли просочиться помои. Разумеется, отходы человеческой жизнедеятельности были лишь одной составляющей огромных гор отходов, которые образовывались в густонаселенных и быстро растущих промышленных городах.

Река Темза в пределах Лондона была настоящим накопителем нечистот: испорченное мясо и потроха, дохлые собаки и кошки, пищевые и промышленные отбросы, человеческие экскременты и прочее — все сбрасывалось прямо в реку. Крупный и мелкий рогатый скот ежедневно пригоняли на Смитфилдский рынок, где он превращался в бифштексы и бараньи ребрышки. По дороге на рынок животные оставляли на улице 40 000 тонн навоза в год. Конечно, были и другие животные: собаки, лошади, гуси, утки, цыплята и свиньи, тоже производившие немало подобного добра.

В это море грязи и нечистот вливались и отходы производителей клея, кожевников, красильщиков, свечных фабрикантов и химических предприятий всех видов. Большая часть гниющих нечистот в конечном счете попадала в Темзу, откуда их (в лучшем случае) уносило течением в море. Однако во время штормов течение иногда поворачивало вспять и тащило обратно немалую часть отходов. В общем, река представляла собой «поток жидкого навоза», как выразился один обозреватель.

В книге «Путешествие Хамфри Клинкера» Тобиас Смоллетт писал, что «человеческие экскременты — наименее неприятная часть отходов», ибо река содержала также «всевозможные лекарства, минералы и яды, используемые на производстве, гниющие останки животных и людей, содержимое всех ванн и коллекторов».

Темза была настолько токсична, что во время строительства туннеля в Ротерхите, когда он дал течь, в образовавшуюся дыру вместе с речной водой хлынули концентрированные газы; они воспламенились от ламп проходчиков, и рабочим пришлось в панике бежать не только от бушующей воды, но и от облаков едкого дыма.

Притоки Темзы зачастую были хуже самой Темзы. В 1831 году течение реки Флит «практически остановилось из-за обилия грязи». Даже озеро Серпентайн в Гайд-парке стало таким зловонным, что посетители старались приближаться к нему только с наветренной стороны. В 1860-х годах со дна озера был откачан слой нечистот в пятнадцать футов глубиной.

И вот ко всему этому ужасу добавился туалет со сливом, и в результате началась настоящая катастрофа. Самый первый ватерклозет был построен Джоном Харрингтоном, крестником королевы Елизаветы. Когда в 1597 году Харрингтон продемонстрировал крестной свое изобретение, королева

выразила бурный восторг и немедленно установила такой туалет в Ричмондском дворце. Но это было новшество, сильно опередившее свое время; прошло почти двести лет, прежде чем Джозеф Брама, краснодеревщик и специалист по замкам, в 1778 году запатентовал первый сливной туалет современной конструкции. Постепенно подобные устройства завоевали популярность, но первые образцы работали неважно. Иногда случалось, что вода не сливалась в унитаз, а, наоборот, извергалась из него обратно, вызывая настоящий потоп и заставляя перепуганного хозяина прыгать по щиколотку в нечистотах. Эта опасность существовала до тех пор, пока не было изобретено U-образное колено и сифон — емкость в нижней части унитаза, которая после каждого смывания снова заполняется чистой водой, отделяющей унитаз от канализационной системы. До этого в туалете стоял невыносимый запах, особенно в жаркую погоду.

Проблема была решена одним из самых прославленных и необычных людей в истории — Томасом Крэппером (1837–1910), который родился в бедной семье в Йоркшире и, как считается, пришел пешком в Лондон, когда ему было всего одиннадцать лет. Он стал подмастерьем водопроводчика в Челси.

Крэппер изобрел классический и до сих пор остающийся в употреблении в Британии унитаз с верхним бачком, вода из которой сливалась, когда пользователь дергал за цепочку. Получился чистый, лишенный запахов и на удивление надежный агрегат. Его производство сделало Крэппера очень богатым и знаменитым. Иногда говорят, что именно от фамилии изобретателя пошло просторечное словечко *crap* («дерьмо»), однако на самом деле оно появилось в английском языке значительно раньше. Слово же *crapper* в значении «туалет» — это американизм, которого до 1922 года не было в Оксфордском словаре. То, что это слово звучит так же, как фамилия изобретателя, — всего лишь забавное совпадение.

Революцию в области сливных туалетов произвела «Великая выставка», где они были одним из самых интересных аттракционов. Более восьмисот тысяч человек терпеливо выстояли в длинных очередях, чтобы посетить туалеты со сливом, которые для большинства из них были диковинкой. Посетителей так восхитили шум и поток воды, смывающей нечистоты, что многие поспешили установить такие же удобства у себя дома. Пожалуй, ни одно дорогостоящее домашнее приспособление не приживалось так быстро. К середине 1850-х в Лондоне функционировало уже двести тысяч туалетов со сливом.

Проблема состояла в том, что лондонские коллекторы были рассчитаны только на отвод дождевой воды и не могли справиться со сплошным потоком нечистот. Коллекторы забивала несмываемая, густая, вязкая масса. Ассенизаторы искали места засоров и прочищали их. А другие люди в это время копались в грязи, в сточных трубах и на зловонных берегах реки в поисках потерянных драгоценностей и столового серебра. Они могли неплохо заработать, но их работа была опасной: надыхавшись ядовитыми испарениями, «искатели сокровищ» могли погибнуть, а то и заблудиться в обширной и плохо изученной канализационной сети. Многие из них, по слухам, съели крысы.

В таких условиях нередко вспыхивали смертельные эпидемии. В 1832 году во время вспышки холеры умерло 60 000 человек. Затем, в 1837–1838 годах, разразилась эпидемия гриппа, а потом опять вернулась холера — в 1848, 1854 и 1867 годах. При этом люди продолжали умирать от брюшного тифа, скарлатины, дифтерии, оспы и многих других недугов. Один лишь брюшной тиф за период с 1850 по 1870 год уносил ежегодно по 1500 жизней. В 1840–1910 годах от коклюша каждый год умирало 10 000 детей, а от кори — и того больше.

Холеры сначала не очень боялись, думая, что она поражает главным образом самых бедных. В XIX веке повсеместно бытовало мнение, что беднякам самой судьбой уготовано оставаться бедняками. Лишь немногие благонравные бедняки заслуживали лучшей участи, большинство же от природы были «расточительны, безрассудны, склонны к излишествам и жадны до чувственных удовольствий», говорилось в одном правительственном отчете.

Даже Фридрих Энгельс, более или менее сочувствовавший беднякам, так писал в своей работе «Положение рабочего класса в Англии»:

*Южный, легкомысленный характер ирландца, грубый нрав, ставящий его почти на одну доску с дикарем, его презрение ко всем человеческим наслаждениям, на которые он не способен вследствие именно своей дикости, его нечистоплотность и нищета — все это поощряет в нем склонность к пьянству.*

Поэтому когда в 1832 году жители перенаселенных городских трущоб начали умирать в больших количествах от новой болезни под названием «холера», завезенной из Индии, многие усмотрели в этом лишь очередную неприятность из тех, что время от времени случаются у бедноты. Холеру стали называть «наказанием для нищих». В Нью-Йорке более 40 % жертв

составляли бедные ирландские иммигранты. Черное население тоже было особенно сильно подвержено недугу. Государственная медицинская комиссия в Нью-Йорке заключила, что холерой болеют беспутные бедняки и «исключительно из-за своих вредных привычек».

Но затем холера начала поражать обеспеченных соседей, и очень скоро ужас обуял все слои населения. Со времен «черной смерти» люди так не боялись заразы. Отличительным признаком холеры была стремительность протекания болезни. Симптомы: неукротимая диарея, рвота, мучительные спазмы и сильные головные боли — проявлялись почти моментально.

Уровень смертности составлял 50 %, иногда даже больше: совершенно здоровые люди вдруг начинали агонизировать, бредить и в конце концов умирали. Ситуация, когда близкий тебе человек за завтраком прекрасно себя чувствовал, а к ужину отправлялся на тот свет, вселяла в людей ужас.

Выжившие после холеры обычно полностью выздоравливали — в отличие от жертв скарлатины, которые часто становились глухими или слабоумными, или оспы, которая уродовала своих жертв. И все же именно холера стала поистине национальным бедствием. В период с 1845 по 1856 год в Англии было опубликовано свыше семисот книг об этом заболевании. Людей особенно беспокоило то, что они не знали причин возникновения холеры и, следовательно, не могли от нее уберечься. «Что такое холера? — вопрошал медицинский журнал *Lancet* в 1853 году. — Грибок, насекомое, миазмы, электрическое возмущение, дефицит озона, патологическое очищение кишечного канала? Мы ничего не знаем».

Большинство считало, что холера и другие ужасные болезни зарождаются в загрязненном воздухе. Канализация, кладбища, гниющие растительные остатки, даже человеческое дыхание — все это порождает в воздухе так называемые миазмы, а те, в свою очередь, способствует развитию заболеваний и в конце концов приводят к смерти. «Ужасные миазмы распространяются по улицам, — писали журналисты середины века. — Атмосферные миазмы и газы никого не щадят, и пешеход при каждом вдохе наполняет свои легкие гнилостными испарениями сточных труб».

Главный санитарный врач Ливерпуля в 1844 году с удивительной точностью рассчитал размер вреда и писал в докладе парламенту:

*Лишь в результате дыхания жителей Ливерпуля ежедневно становится непригодным для дыхания объем воздуха, которым можно было бы покрыть всю поверхность города слоем толщиной в три фута.*

Самым преданным и влиятельным сторонником теории миазмов был Эдвин Чадвик, секретарь Королевской комиссии по делам бедных и автор «Доклада о санитарных условиях трудового населения Великобритании», ставшего бестселлером 1842 года. Чадвик утверждал, что, избавившись от миазмов, вы избавитесь и от болезней. «Зловоние приводит к болезням», — объяснял он парламенту. Его решение проблемы заключалось в генеральной уборке бедных кварталов и помывке их обитателей — не затем, чтобы улучшить условия жизни, а просто чтобы избавиться от запахов.

Чадвик был настойчивым и угрюмым человеком. Юрист по образованию, он провел большую часть жизни, работая в различных королевских комиссиях: по улучшению законов о бедных, по фабричным условиям, по городской санитарии, по снижению уровня смертности, по реорганизации системы регистрации рождений, смертей и браков.

Его почти никто не любил. Его работа над законами о бедных в 1834 году и введение национальной системы рабочих домов, которые были по сути почти тюрьмами, сделали его крайне непопулярным в среде рабочего класса. Впрочем, по словам одного биографа, он был «самым непопулярным человеком во всем королевстве». Судя по всему, он не питал привязанности даже к своим родным. Мать Чадвика умерла, когда он был еще маленьким, а отец женился во второй раз, жил с новой семьей на западе Англии и в конце концов эмигрировал в Америку и поселился в Бруклине, оборвав отношения с сыном.<sup>[83]</sup>

У теории миазмов был всего один, но серьезный недостаток: она была совершенно безосновательной. К сожалению, это понимал только один человек, и он никак не мог убедить других в своей правоте. Этого человека звали Джон Сноу.

Сноу родился в Йорке в 1813 году в простой семье — его отец был рабочим. Пусть происхождение лишило его светского лоска, зато оно дало ему сострадание. Сноу был почти единственным влиятельным медицинским специалистом, который не осуждал бедняков за их недуги, понимая, что болезни — следствие плохих условий жизни. До него никто не смотрел на проблему таким непредвзятым взглядом.

Сноу изучал медицину в Ньюкасле, но обосновался в Лондоне. Он сделался одним из выдающихся анестезиологов своего времени, хотя на тот момент анестезия была пугающе неизученной областью. Слово «практика» редко бывает более уместно для описания врачебной деятельности. Даже сейчас анестезия — дело тонкое, а раньше, когда дозы наркоза рассчитывались исходя из интуиции и догадок, пациентов нередко ждали

кома или даже смерть.

В 1853 году Сноу пригласили к королеве Виктории, чтобы он дал ей хлороформ и облегчил родовые муки (это была ее восьмая беременность). Использование хлороформа было еще непривычным: это был новый и опасный препарат, недавно открытый одним эдинбургским врачом. Немало людей уже погибло в результате его неосторожного применения. Большинство медиков считало, что данное средство никак нельзя давать королевам. Журнал *Lancet* выразил удивление: почему профессиональный врач пошел на такой риск, если обстоятельства были далеко не критическими?

Однако Сноу, кажется, без колебаний назначал хлороформ своим пациентам несмотря на то, что в своей практике ему не раз приходилось видеть, насколько опасны анестетики. В апреле 1857 года он нечаянно убил пациента, дав ему слишком большую дозу нового анестетика — амилена. Ровно через неделю он вновь дал хлороформ королеве.

Сноу не только помогал людям спокойно уснуть на время операции, но и проводил много времени, пытаясь понять, откуда берутся те или иные заболевания. Его особенно интересовало, почему холера выкашивает одни районы, но щадит другие. В Саутуорке уровень смертности от холеры был в шесть раз выше, чем в соседнем Ламбете. Если хворь вызвана миазмами в нечистом воздухе, то почему же люди, живущие рядом и дышащие одним и тем же воздухом, заражаются так неравномерно?

К тому же, если холера распространяется с помощью миазмов, значит, самыми частыми ее жертвами должны быть ассенизаторы и те, кто роется в канализационных коллекторах в поисках драгоценностей. Однако повышенного уровня смертности в данной группе людей не наблюдалось. Во время эпидемии 1848 года вообще никто из золотарей или кладоискателей не умер.

Сноу стал искать причины, организовав поиски в строгую научную систему. Он составил очень точные карты, показывающие топографическое распределение жертв холеры. Получилась любопытная картина. Например, в Бетлемской больнице для умалишенных не было ни одного заболевшего, зато близлежащие улицы сильно пострадали. Сноу обратил внимание на то, что в больнице было автономное водоснабжение из колонки, стоявшей на ее территории, тогда как остальные пользовались общественными колонками. Жители Ламбета получали воду из чистых источников, находившихся за городской чертой, а жители Саутуорка брали воду прямо из грязной Темзы.

Сноу объявил о своих результатах в статье «К вопросу о

распространении холеры» (1849), доказав четкую взаимосвязь между заболеванием и грязной водой. Это один из важнейших документов в истории статистики, общественного здоровья, демографии и судебной экспертизы — одним словом, один из важнейших документов XIX века. Однако никто не прислушался к Сноу, и эпидемии продолжались.

В 1854 году особенно опасная вспышка холеры наблюдалась в Сохо. В одном лишь квартале на Брод-стрит за десять дней умерло свыше пятисот человек. Как заметил Сноу, это была самая серьезная эпидемия в истории города, даже хуже чумы. Жертв могло быть еще больше, если бы люди не бежали из зараженного района.

Характер распределения смертности представлял собой загадочные аномалии. Один человек умер в Хэмпстеде, другой — в Ислингтоне; оба района находились за много миль от очага заражения. Сноу побывал в домах у жертв, расспросил их родственников и соседей. Оказалось, что женщина, умершая в Хэмпстеде, любила воду из колонки на Брод-стрит; эту воду регулярно доставляли к ней домой, и она пила ее незадолго до начала заболевания. Другая женщина, умершая в Ислингтоне, была племянницей первой, которая приходила ее навестить и тоже пила эту воду.

Сноу убедил приходской совет снять рукоятку с водяной колонки на Брод-стрит, после чего жители этого района сразу перестали умирать от холеры — во всяком случае, так говорится в докладах. На самом деле к этому моменту эпидемия уже пошла на спад — главным образом потому, что многие покинули очаг заражения.

Несмотря на накопленные доказательства, выводы Сноу отвергались. Когда он выступил перед парламентской комиссией, ее председатель, сэр Бенджамин Холл, не поверил его словам. Холл удивленно спросил Сноу:

— Значит, по-вашему, неважно, какие миазмы поднимаются, к примеру, при выварке костей? Вы считаете, что они не оказывают пагубного влияния на здоровье жителей того района, где находятся подобные предприятия?

— Таково мое мнение, — скромно ответил Сноу, но, к сожалению, эта скромность не соответствовала решительности его выводов, и специалисты к нему не прислушались.

Сейчас трудно оценить, насколько радикальными и нежелательными были взгляды Сноу. Многие уважаемые специалисты активно его ненавидели. Журнал *Lancet* пришел к выводу, что Сноу подкуплен фабрикантами, которые стремятся и дальше загрязнять воздух «ядовитыми парами, миазмами и всевозможными отвратительными веществами», богатеть, отравляя своих соседей. «После тщательного рассмотрения»

парламент пришел к выводу: «Мы не видим причин соглашаться с результатами этого исследования».

В конце концов случилось неизбежное. Летом 1858 года в Лондоне установилась сильнейшая жара и засуха, отбросы накапливались и не смывались. Температура воздуха поднялась до 30 с лишним градусов. Такие погодные условия были необычными для Лондона.

Результатом стала «Великая вонь», как окрестила это явление газета *Times*. Темза стала настолько зловонной, что люди старались не подходить к ней близко. «Кто однажды вдохнул эти запахи, уже никогда их не забудет», — писали газеты. Шторы новых зданий Парламента были плотно задернуты и смочены раствором хлорной извести, чтобы минимизировать поступление смертельных испарений. Началась паника, и парламенту пришлось временно прекратить свою работу. Некоторые его члены, по словам Стивена Халлидея, пытались спрятаться в библиотеке, окна которой выходили на реку, «но тут же уходили, прижимая к носам платки».

Сноу не дожил до той поры, когда его идеи были приняты. Он умер внезапно от инсульта в самый разгар «Великой вонючки», не зная, что в один прекрасный день его назовут героем. Ему было всего сорок пять лет. В то время его смерть почти никто не заметил.

По счастью, на сцене появилась еще одна героическая фигура — Джозеф Базалгетт. По воле случая, Базалгетт работал в конторе, расположенной рядом с домом Сноу, однако, насколько известно, эти двое никогда не встречались. Базалгетт был худеньким коротышкой, но восполнял недостаток стати густыми усами от уха до уха. Как и у другого великого инженера викторианской эпохи, Изамбарда Кингдома Брюнеля, его предки были французами, но семья давно обосновалась в Англии и к тому моменту, когда на свет появился Джозеф (1819), жила там уже тридцать пять лет. Его отец был командующим королевским военноморским флотом, и Базалгетт рос в привилегированной атмосфере; его учили частные преподаватели, и перед ним были открыты все пути, кроме военной карьеры, для которой он был признан негодным из-за своего маленького роста.

Он выучился на инженера-железнодорожника, но в 1849 году в возрасте тридцати лет пришел на работу в управление по канализации, где вскоре вырос до главного инженера. У санитарной профилактики еще никогда не было столь яркого сторонника. От внимания Базалгетта не ускользала ни одна мелочь, связанная со сточными водами и ликвидацией отходов.

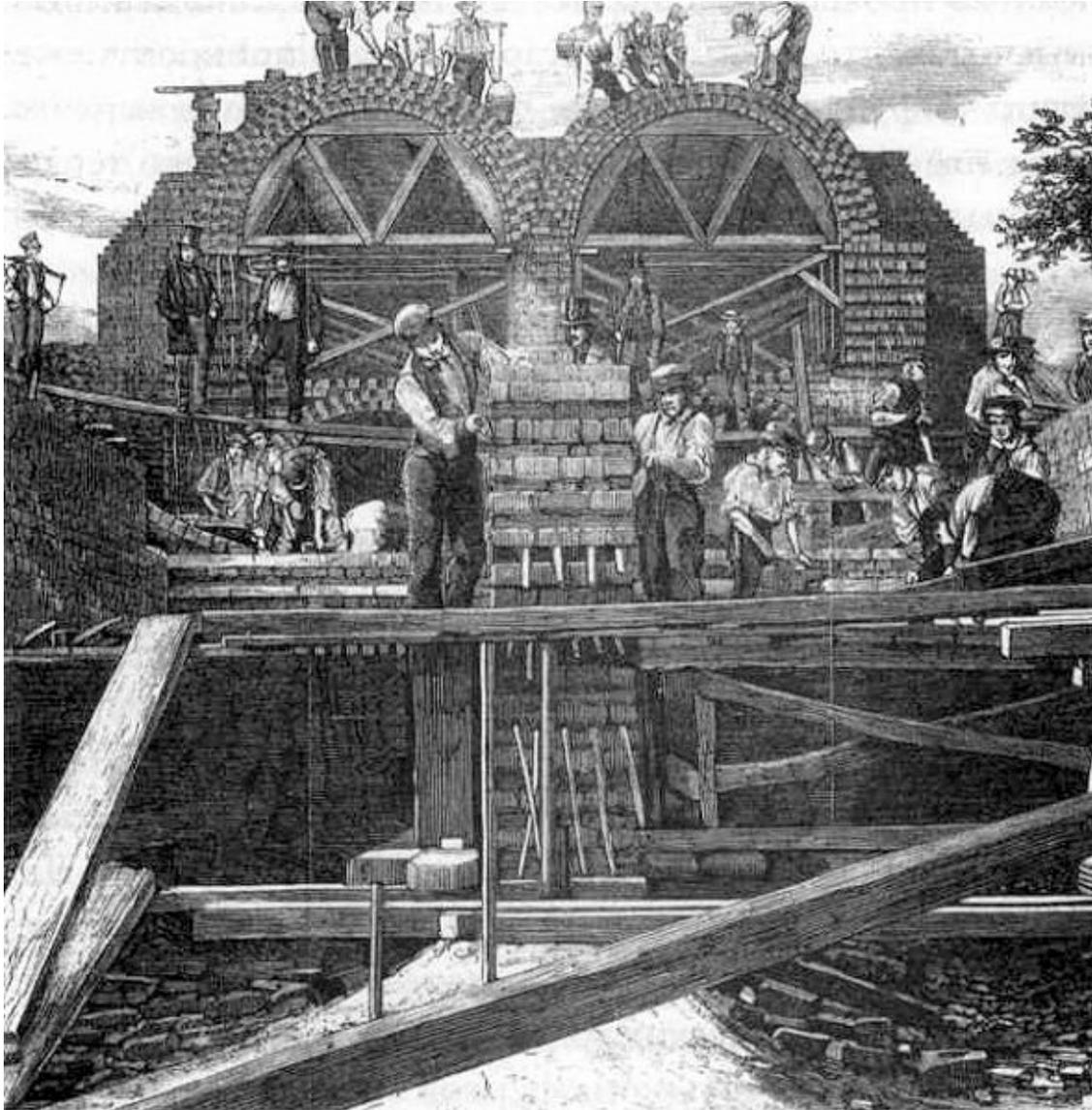
Базалгетта беспокоило то, что в Лондоне не было общественных

туалетов. Он разработал план их установки в самых востребованных местах. Он решил собирать мочу и продавать ее в качестве промышленного сырья (моча, помимо прочего, требовалась для производства квасцов), подсчитав, что каждый писсуар способен приносить ежегодно 48 фунтов стерлингов — весьма неплохая выручка. Этот план, правда, так и не был одобрен, однако теперь все знали, что все проблемы, связанные с канализацией, следует решать через Джозефа Базалгетта.

После «Великой вони» стало ясно, что лондонскую канализационную систему необходимо перестраивать; эту трудную работу поручили Базалгетту. Ему предстояло проложить в крайне оживленном городе 1200 миль тоннелей (которые будут в будущем разрастаться), унося все нечистоты, произведенные тремя миллионами человек.

Перед Базалгеттом стояла очень непростая задача: он должен был приобрести земельные участки, договориться о полосах отвода, достать и распределить материалы, а также руководить целой армией рабочих. Каждый аспект задачи был сам по себе тяжелым и изматывающим. Для строительства туннелей требовалось 318 миллионов штук кирпича; надо было выбрать и перевезти в другие места 3,5 миллиона кубических ярдов земли. И на все это власти выделили всего 3 миллиона фунтов стерлингов.

Успех Базалгетта превзошел все ожидания. В процессе строительства новой канализационной системы он преобразовал три с половиной мили прибрежной зоны, построив набережную Челси, набережную Виктории и набережную Альберта на Южном берегу (на это ушла почти вся вырытая земля). Эти новые набережные предоставили место не только для канализационной сети, но и для новой линии подземного газопровода. А по набережным прошли новые дороги, разгрузившие самые оживленные кварталы города.



*Рис. 16. Строительство канализационного тоннеля возле Олд-Форда, Боу, восточная часть Лондона*

Всего Базалгетт создал пятьдесят два акра новой земли, на которых устроил парки и места для прогулок. Набережные сузили реку, заставив ее течь быстрее и тем самым лучше очищаться. Трудно назвать какой-либо другой инженерный проект, который дал бы столько усовершенствований по целому ряду направлений — в здравоохранении, транспорте, создании зон отдыха и речном хозяйстве. Эта система до сих пор справляется со своими задачами, а набережные и парки входят в число главных достопримечательностей Лондона.

Ограниченный в средствах, Базалгетт дотянул канализационную сеть только до восточного края города, остановившись в местечке под

названием Баркинг-Рич. Там мощные дренажные трубы извергали в Темзу 150 миллионов галлонов вонючих нечистот. Баркинг находился в двадцати милях от морского побережья. Несчастные жители близлежащих домов были напуганы, однако волны достаточной силы благополучно уносили большую часть отходов в море, гарантируя, что в Лондоне уже никогда не повторятся эпидемии, как-либо связанные с канализацией.

Правда, сточные воды сыграли свою роль в величайшей трагедии, случившейся на Темзе. В сентябре 1878 года прогулочная лодка «Принцесса Элис», полная пассажиров, возвращалась в Лондон после дня, проведенного в море. В Баркинге она столкнулась с другим судном. Это произошло как раз в тот момент, когда две гигантские дренажные трубы начали извергать в реку свое содержимое. «Принцесса Элис» затонула меньше чем за пять минут. Около восьмисот человек захлебнулись сточными водами. Даже те, кто умел плавать, не смогли пробраться сквозь липкую грязь. В течение нескольких дней тела всплывали на поверхность. Как писала *Times*, многие трупы так раздуло, что они не помещались в обычные гробы.

В 1876 году Роберт Кох, в ту пору еще никому не известный сельский врач из Германии, обнаружил микроб *Bacillus anthracis*, вызывающий сибирскую язву. Семь лет спустя он выделил еще одну бациллу — холерный вибрион, вызывающий холеру. Наконец-то было доказано, что микроорганизмы являются причиной определенных заболеваний.

Что примечательно, электрическое освещение и телефон были изобретены примерно в одно время с открытием смертельных болезнетворных бактерий. Эдвин Чадвик никогда не верил в микробов и всю жизнь предлагал средства устранения неприятных миазмов, которые, по его мнению, были виновны в человеческих недугах. Одно из его последних и наиболее выдающихся предложений состояло в том, чтобы построить в Лондоне серию башен, похожих на Эйфелеву. По мнению Чадвика, эти башни будут действовать как мощные вентиляторы, нагоняя свежий здоровый воздух. Он почил с миром летом 1890 года, так и оставшись в убеждении, что причиной эпидемий служат атмосферные пары.

Между тем Базалгетт перешел к следующим проектам. Он построил красивейшие лондонские мосты — в Хаммерсмите, в Баттерси и в Патни — и протянул через сердце Лондона несколько больших новых улиц, призванных уменьшить транспортные заторы, в том числе Чаринг-Кросс-роуд и Шафтсбери-авеню. Позже Базалгетт был посвящен в рыцари, но так

и не удостоился громкой (и вполне заслуженной) славы: инженеры в области канализации редко становятся известными. Он умер спустя несколько месяцев после Чадвика и был увековечен в скромной статуе на набережной Виктории.

### III

В Америке ситуация была сложнее, чем в Англии. Гостей Северной Америки часто поражал тот факт, что там эпидемии случались реже и протекали не так остро. Это объяснялось просто: американское общество в целом было, так сказать, более чистым, чем английское. Не то чтобы американцы были разборчивей в своих гигиенических привычках, они просто жили не так скученно и имели меньше шансов заразиться.

Между тем у обитателей Нового Света был ряд собственных недугов; некоторые из них казались совершенно загадочными. Одной из таких загадок была «молочная болезнь». Человек, выпивший американского молока, иногда вдруг начинал бредить и быстро умирал — одной из жертв этой болезни стала мать Авраама Линкольна. Однако такое болезнетворное молоко на вкус и запах не отличалось от обычного, и никто не знал, что это была за напасть. Только в XIX веке наконец поняли, что во всем виноваты коровы, съевшие растение под названием агератина высочайшая — безвредное для них, но ядовитое для человека.

Еще более грозной напастью была желтая лихорадка. Это вирусное заболевание назвали так потому, что кожа жертв часто приобретала землистый оттенок. Основными симптомами были высокая температура и рвотные массы черного цвета. Этот недуг прибыл в Америку вместе с рабами из Африки. Первый случай в Западном полушарии был зарегистрирован на Барбадосе в 1647 году.

Болезнь была ужасной. По словам одного заразившегося врача, «создавалось такое впечатление, как будто к моим глазницам прицепили три или четыре крючка, и человек, стоящий сзади меня, со всей силы за них дергал так, что мои глаза вылезали из орбит». Никто не знал причины возникновения желтой лихорадки, но, по общему мнению, скорее интуитивному, чем рациональному, виновата была плохая вода.

В 1790-х годах героический иммигрант из Англии по имени Бенджамин Латроб начал масштабную работу по очистке воды в США. Латроб был успешным английским архитектором и инженером, но в 1793 году его жена умерла в родах. Раздавленный горем, он решил уехать в

Америку, на родину своей матери, и попытаться начать жизнь заново. Одно время он был единственным в стране дипломированным архитектором и инженером и в качестве такового выполнял множество важных поручений; он спроектировал здание банка Пенсильвании в Филадельфии и новый Капитолий в Вашингтоне.

Латробу не давала покоя мысль о том, что грязная вода убивает тысячи невинных людей. После ужасной вспышки желтой лихорадки в Филадельфии он убедил власти засыпать городские болота и брать чистую свежую воду за чертой города. Эти перемены возымели чудесное действие: в Филадельфии больше не наблюдалось массовых заражений желтой лихорадкой. По злой иронии судьбы, сам Латроб умер в 1820 году в Новом Орлеане, заразившись желтой лихорадкой.

Те города, которые не сумели улучшить качество воды, жестоко поплатились за это. Примерно до 1800 года вся пресная вода на Манхэттене поступала из единственного водохранилища, и, по словам одного современника, оно было «едва ли чище, чем общественная выгребная яма».

После того как был построен канал Эри, плотность населения в Нью-Йорке стала резко расти и дела пошли еще хуже. К 1830-м, как было подсчитано, каждый день в городские сточные ямы сливалось по сто тонн экскрементов, которые зачастую проникали в ближайшие питьевые колодцы.

Вода в Нью-Йорке была, как правило, непригодна для питья; это явствовало даже из ее внешнего вида. В 1832 году в городе свирепствовала не только холера, но и желтая лихорадка. Оба этих заболевания поразили в четыре раза больше жертв, чем в Филадельфии, где источники воды были чище. Двойная эпидемия подстегнула Нью-Йорк так же, как несколько позже подстегнула Лондон «Великая вонь», и в 1837 году началась работа по строительству Кротонского акведука, который со временем наконец-то привел в город чистую воду.

Но кое в чем Америка действительно опередила весь мир — она первая обеспечила своих граждан личными ванными комнатами. Правда, инициатива исходила не столько от домовладельцев, сколько от гостиниц. Самая первая в мире гостиница, в каждом номере которой имелась ванна, — это отель «Маунт-Вернон» на курорте Кейп-Мей в Нью-Джерси. Новшество внедрили в 1853 году; оно значительно опередило свое время: прошло больше полувека, прежде чем диковинную практику переняли другие отели.

Ванные комнаты, пусть и общие, на этаже, постепенно прижились в отелях сначала Соединенных Штатов, а потом и Европы. Управляющие, не

придавшие значение новой моде, сильно за это поплатились.

Больше других пострадал огромный роскошный «Мидленд-Отель», расположенный у лондонского вокзала Сент-Панкрас и построенный великим Джорджем Гилбертом Скоттом, автором памятника принцу Альберту. «Мидленд» открылся в 1873 году. Предполагалось, что это будет самый величественный отель в мире. Его строительство обошлось в 400 миллионов долларов (на сегодняшние деньги), и это действительно было здание, приятное во всех отношениях. Кроме одного: в гостинице было всего четыре ваннные комнаты на шестьсот номеров — и уже в день открытия отеля стало ясно, что это провал.

В частных домах ваннные комнаты приживались с еще большими трудностями. До конца XIX века многие дома были оснащены кухонным водопроводом и иногда — туалетом на первом этаже; ванну наполнить не получилось бы, потому что в трубах не хватало напора для подачи воды на верхние этажи. В Европе же, даже если напор позволял, богатые люди упорно отказывались от ваннных комнат. «Ваннные — это для прислуги», — цедили английские аристократы.

Когда французского герцога де Дудовилля спросили, не собирается ли он устраивать в своем новом доме водопровод, тот надменно ответил:

— Я строю не отель.

Американцы же, напротив, чрезвычайно полюбили горячую воду и ватерклозеты. Когда газетный магнат Уильям Рэндольф Херст купил валлийский замок святого Доната, первым его усовершенствованием стала установка тридцати двух ваннных комнат.

Ванная поначалу ничем не украшалась — вы же не будет украшать бойлерную у себя в подвале, верно? — и оставалась строго утилитарным помещением. В уже существующих домах тоже везде, где можно, ставили ванны. Обычно они занимали место в спальне, но иногда устанавливались в алькове или просто в первом попавшемся углу. В приходском доме в Уотфилде, графство Суффолк, например, ванну поместили за ширму прямо в парадном холле на первом этаже. Ванны, туалеты и раковины были самых разных размеров. В поместье Лангайдрок, Корнуолл, чтобы забраться в гигантскую ванну, требовалась стремянка. Вообще ванны, особенно со встроенным душем, были иногда такого размера, словно в них собирались купать лошадей.

Технологические проблемы тормозили развитие сантехники. Отливка цельной чугунной ванны — не слишком толстой и тяжелой — отнимала много сил и труда. В некотором смысле легче было построить чугунный мост, чем отлить тонкостенную чугунную ванну. Кроме того, ванну

приходилось покрывать каким-то защитным слоем: горячая мыльная вода была чрезвычайно активной коррозионной средой.

Оцинкованные или покрытые медью, а затем отполированные чугунные ванны выглядели роскошно, пока были новыми, однако полировка быстро приходила в негодность. Только в 1910 году, когда изобрели эмалированные покрытия, ванны стали долговечными и достаточно привлекательными внешне. На чугун распыляли порошок и многократно его обжигали — до тех пор, пока ванна не приобретала фарфоровый блеск. На самом деле эмаль не имеет никакого отношения к фарфору: это особая разновидность стекла. Эмалированные поверхности были бы совершенно прозрачными, если бы в стекло не добавляли белый или какой-то другой краситель.

Мир наконец получил ванны, которые отлично выглядели и долго служили. Но они по-прежнему были крайне дорогими. В 1910 году ванна стоила 200 долларов — это было не по карману большинству домовладельцев. Но изготовители постепенно отладили массовое производство, и цены упали; к 1940 году американская семья могла купить полный комплект сантехники: раковину, ванну и унитаз — всего за 70 долларов, по цене, доступной почти каждому.

Во всех других странах ванна оставалась роскошью. Одной из проблем была нехватка места для ванных комнат в тесных европейских домах. Даже в 1954 году душем или ванной дома пользовался лишь один француз из десяти. Репортер журнала *Women s Own* Кэтрин Уайтхорн вспоминала, что в конце 1950-х ей и ее коллегам не разрешали писать о ванных комнатах, поскольку они имелись далеко не в каждом британском доме и их описания могли бы разжечь в читательницах зависть.

Что касается нашего старого дома приходского священника, то в 1851 году в нем, конечно, не было ванной комнаты, и это совершенно неудивительно. Зато архитектор, не устающий нас восхищать Эдвард Талл, включил в план ватерклозет — совершеннейшую новинку по тем временам. Еще более удивительным было место, которое он выбрал для уборной: на лестничной площадке главной лестницы, за тонкой перегородкой. Помимо странного расположения, уборная имела еще один минус: перегородка должна была закрыть лестничное окно, оставив лестницу в абсолютной темноте.

Отсутствие канализационных труб на чертежах здания позволяет предположить, что Талл все же недостаточно хорошо все продумал. Но все это неважно, так как в действительности до строительства уборной дело так и не дошло.

# Глава 17

## Гардеробная

### I

В конце сентября 1991 года Гельмут и Эрика Симон, два немецких туриста из Нюрнберга, шли по высокогорному леднику в Альпах южного Тироля у австрийско-итальянской границы и наткнулись на тело мужчины. Труп был высохшим и сморщенным, однако целым.

Симоны сделали крюк длиной в две мили, дошли до горной хижины в Симилауне и рассказали там о своей находке. Вызвали полицию, но когда полицейские прибыли, стало ясно, что это не их случай: нужно было вызывать археологов. При трупе были найдены медный топор, кремневый нож, стрелы и колчан — все по виду доисторические.

Последующее радиоуглеродное исследование показало, что мужчина умер свыше 5000 лет назад. Его окрестили Этци, по названию ближайшей горной долины Этцтал<sup>[84]</sup>; некоторые прозвали его «Ледяным человеком». Этци не только имел при себе разнообразное оружие — сохранилась и вся его одежда. Никогда прежде не обнаруживали столь хорошо сохранившихся первобытных останков.

Вопреки расхожему мнению, человеческие тела, оказывающиеся в леднике, почти никогда не оказываются потом на поверхности в безупречно сохранившемся виде. Ледник перемалывает свои жертвы — медленно, но безжалостно, так что попавшая в него плоть растирается в порошок. Изредка трупы расплющивает и растягивает, и тела становятся похожи на персонажей мультфильмов, по которым проехал каток. Если к телу не поступает кислород, труп может претерпеть процесс под названием «омыление», при котором плоть превращается в дурно пахнущую субстанцию, называемую жировоск. Такие тела выглядят так, как будто их вырезали из мыла, и почти полностью утрачивают свою первоначальную форму.

Тело Этци так хорошо сохранилось из-за сочетания необычайно благоприятных обстоятельств. Во-первых, он умер на открытом воздухе; день был сухой, но становилось все холоднее; в результате тело замерзло и высохло. Затем прошла серия сухих легких снегопадов, и замерзший Этци,

скорее всего, лежал под снегом в течение нескольких лет, а потом его медленно поглотил ледник. Однако Этци остался на самом краю ледника; это спасло и тело, и, что не менее важно, вещи, которые сохранились целыми и невредимыми. Если бы Этци умер на несколько шагов ближе к леднику, чуть ниже по склону, под дождем или солнцем, его бы сейчас не было с нами.

Каким бы обычным человеком ни был Этци при жизни, после смерти он превратился в уникальный археологический артефакт.

Главный интерес для историков заключается в том, что Этци не был похоронен, что он отошел в мир иной вдали от своих сородичей и что при нем остались его личные вещи, те, которыми он пользовался в повседневной жизни. На радостях первооткрыватели чуть не уничтожили свою находку.

Случайным людям и каким-то зевакам разрешили рубить лед и помогать в извлечении тела. Один из таких горе-помощников схватил валявшуюся рядом палку и попробовал ею копать, но палка сломалась. «Как оказалось, эта палка, — писал позднее журнал *National Geographic*, — была частью деревянной рамы от рюкзака Ледяного человека, сделанной из ореха и лиственницы». Короче говоря, добровольцы пытались открыть один бесценный артефакт при помощи другого.

В конце концов в дело снова вмешалась австрийская полиция, и замороженное тело увезли в Инсбрук и поместили там в холодильник. Последующее GPS-позиционирование показало, что Этци был найден на итальянской территории, и после юридических препирательств австрийцам пришлось отдать драгоценное тело: Этци отправился через перевал Бреннер в Италию.

Сегодня Этци лежит в комнате-холодильнике археологического музея в городе Больцано, на севере Италии. Его кожа туго обтягивает кости и имеет цвет и текстуру тонкой выделанной кожи животного. На его лице застыло выражение, очень напоминающее усталое смирение. Поскольку его нашли почти двадцать лет назад, Этци подвергся самой дотошной в истории судебно-медицинской экспертизе.

Ученые с поразительной точностью сумели описать множество деталей его жизни. С помощью электронных микроскопов они узнали, что в день своей смерти он ел козлятину и оленину, хлеб, сделанный из полбы, и какие-то неидентифицированные овощи. По пыльце, обнаруженной в его толстой кишке и легких, они определили, что он умер весной и что сравнительно незадолго до момента смерти он был еще внизу, в долине.

Изучив следы изотопов в зубах Этци, ученые вычислили даже, чем он

питался в детстве и, следовательно, откуда он родом. Как утверждают специалисты, он вырос в долине Айзак, сейчас эта территория относится к Италии, а затем переехал в долину Финшгау, которая расположена дальше на запад, возле швейцарской границы.

Больше всего поражает возраст этого человека: на момент смерти ему было от сорока до пятидесяти трех лет, и это значит, что он был довольно стар по меркам того периода. Однако ученые сумели объяснить далеко не все. Им неизвестно, как он умер и что он делал на момент смерти на высоте двух миль над уровнем моря. Его лук был без тетивы и вообще не совсем доделан; спрашивается, зачем он взял с собой такое бесполезное оружие?

Обычно немногие туристы посещают маленькие археологические музеи провинциальных городков, расположенных вдали от традиционных экскурсионных маршрутов, но музей Больцано никогда не пустует. Сувенирная лавка бойко торгует изображениями Этци. Посетители стоят в очереди, чтобы взглянуть на него в маленькое окошко. Он лежит обнаженный на спине на стеклянной плите. Его смуглая кожа блестит в тумане, который образуется из-за постоянного орошения воздуха с целью предотвращения разложения.

В самом Этци нет ничего выдающегося. Это совершенно обычный человек, разве что чрезвычайно старый, но он хорошо сохранился. Гораздо больший интерес вызывают его многочисленные пожитки.

Этци был хорошо экипирован: обувь, одежда, два сосуда, сделанных из бересты (в одном он носил тлеющие угольки, завернутые в кленовые листья, при помощи которых мог развести костер), ножны, топор, лук и стрелы, разные мелкие инструменты, какие-то ягоды, кусок козьего мяса и два круглых куска березового трутовика, каждый размером с большой грецкий орех, аккуратно нанизанные на сухожилия. Некоторые предметы откровенно удивляли. Особенно загадочными казались березовые трутовики: Ледяной человек ими явно дорожил, однако совершенно непонятно, как он их использовал.

Его снаряжение было сделано из восемнадцати различных видов древесины — поразительное многообразие! Самым странным предметом был топор с медным лезвием, относящийся к культуре Ремеделло (названной так по одному местечку в Северной Италии, где были сделаны важные находки). Однако топор Этци был на несколько сот лет старше самого древнего топора из Ремеделло. По словам одного ученого, «это примерно то же самое, что найти в могиле средневекового воина современную винтовку». Этот топор изменил временные рамки медного века в Европе, сместив их ни много ни мало на тысячу лет.

Но самой любопытной была одежда Ледяного человека. До него мы не представляли себе (вернее, представляли, но лишь теоретически), как одевались первобытные люди. Дошедшие до наших дней ткани существовали лишь в виде маленьких фрагментов. На Этци же был полный комплект одежды, поразивший ученых. Его одежда была сделана из кожи и меха целого ряда животных — благородного оленя, медведя, серны, козла и домашней коровы. Кроме того, при нем была сплетенная из травы четырехугольная подстилка длиной в три фута. Возможно, Этци укрывался ею от дождя или спал на ней. Подобных вещей раньше никто не видел.

На ногах у Этци были меховые штаны, которые держались на кожаных бретельках, прикрепленных к поясному ремню. В них Ледяной человек выглядел почти комично. Штаны чем-то напоминали нейлоновые чулки с подвязками, которые носили голливудские красотки времен Второй мировой войны. Никто не мог даже предположить, что доисторические люди ходили в таком виде. На Этци были также набедренная повязка из козлиной кожи и шляпа, сделанная из меха бурого медведя, — вероятно, это был его охотничий трофей. Шляпа явно была очень теплой и выглядела весьма стильно. Остальная его одежда была сшита в основном из кожи и меха оленя. Вопреки ожиданиям, материалов, полученных от домашних животных, оказалось совсем немного.

Сапоги удивляли больше всего. Они походили на пару птичьих гнезд, укрепленных на подметках из затвердевшей кожи оленя, и казались крайне неумело сделанными и непрочными. Однако чешский обувщик Вацлав Патек изготовил копию этих сапог — того же фасона и из тех же материалов, а потом попробовал походить в них по горам. Как ни странно, они оказались более удобными, чем любые современные ботинки, которые ему доводилось носить. Они не так скользили на камнях, и в них почти невозможно было натереть ноги до мозолей. И самое главное, они эффективно защищали от холода.

Несмотря на все судебно-медицинские исследования, прошло целых десять лет, прежде чем кто-то заметил наконечник стрелы, вонзившийся в левое плечо Этци. Более тщательная экспертиза показала также, что его одежда и оружие забрызганы кровью еще четверых людей. Значит, Этци был убит в жестокой схватке.

Трудно сказать, почему убийцы загнали его на высокогорный перевал. И почему они не взяли его вещи, которые представляли большую ценность, особенно топор. Враги долго преследовали Этци, а потом, судя по пятнам крови, сошлись с ним в рукопашной, но по какой-то причине оставили его лежать там, где его нашли, и не позарились на его имущество. Разумеется,

нам сильно повезло, так как по вещам Ледяного человека мы теперь можем ответить на множество вопросов, но один вопрос остается неразгаданным: что же все-таки там произошло?

Мы с вами сейчас находимся в гардеробной — во всяком случае, эта комната называлась гардеробной на первоначальных чертежах Эдварда Талла. Один из курьезов, характерных для работы этого архитектора, состоит в том, что он не позаботился обеспечить прямой доступ из гардеробной в спальню мистера Маршема. Между этими двумя комнатами проходит лестница. Значит, чтобы одеться или раздеться, преподобный должен был покинуть спальню и пройти несколько шагов по коридору к гардеробной — довольно странный маршрут, если учесть, что совсем рядом находилась «спальня для женской прислуги», то есть для преданной старой девы мисс Уорм. Такое расположение наверняка было неудобным: мистеру Маршему пришлось бы сталкиваться со своей горничной в коридоре, и эти столкновения ставили бы их обоих в неловкое положение. Впрочем, возможно, мы ошибаемся. Отдельный вопрос — почему вообще их комнаты находились рядом.

Во всяком случае, потом мистер Маршем внес в проект изменения, поскольку сейчас гардеробная и спальня в нашем доме все же соединяются между собой. Мы используем гардеробную как ванную — наверное, так было и на протяжении большей части столетия. Но иногда мы там все же одеваемся, и поэтому сейчас мне хотелось бы перейти к длинной и весьма загадочной истории нашей одежды.

Как давно люди начали одеваться, вопрос весьма непростой. Здесь можно сказать лишь одно: примерно сорок тысяч лет назад, после нескончаемо долгого периода, в ходе которого люди только производили потомство и выживали, появились кроманьонцы — весьма разумные существа с весьма современным взглядом на жизнь. Среди них оказался некто находчивый, чье величайшее изобретение — веревка — до сих пор не оценено по достоинству.

Веревка на удивление простая вещь: это всего лишь два куска волокна, скрученных вместе. В результате получается крепкий шнур, который можно сделать весьма длинным даже из коротких волокон. Представьте себе, что бы мы сейчас делали без этого крайне нужного приспособления. У нас не было бы ни одежды, ни рыболовных сетей, ни веревок, ни хирургических петель, ни поводков... в общем, тысяч полезных вещей. Элизабет Уэйленд Барбер, историк текстиля, вряд ли преувеличила, когда

назвала веревку «оружием, которое позволило человечеству покорить Землю».

Исторически двумя самыми распространенными волокнами являются льняное и пеньковое. Льняное волокно делалось из льна и было очень удобно, потому что лен быстро вырастает до четырех футов высотой. Урожай льна можно собирать уже через месяц после посадки. Недостаток заключается в том, что изготовление льняного волокна требует много сил и терпения. Для того чтобы отделить эластичное волокно от стеблей и размягчить его для прядения, необходимо выполнить около двадцати различных операций: мять, мочка, трепание, чесание и т. д., но главными процедурами являются трамбовка, волокно-отделение и размачивание.

В результате всех этих усилий получалась крепкое льняное волокно. Хотя мы привыкли думать о льне как о белоснежном материале, его натуральный цвет — коричневый. Чтобы он стал белым, его надо выбелить на солнце — это медленный процесс, занимающий несколько месяцев.

Пенька, или конопляное волокно, похожа на лен, но более грубая, и носить одежду из нее не слишком удобно, поэтому ее обычно пускают на изготовление веревок и парусов. Однако конопля была распространена в древнем мире еще и потому, что ее можно было курить. Поэтому-то ее и выращивали в куда больших количествах, чем нужно для производства веревок и парусов.

В Средние века главным материалом была шерсть. Она гораздо теплей и лучше носится, чем лен, но у шерсти короткие волокна; из них было трудно делать пряжу, тем более что у древних овец была на удивление короткая шерсть, сплошной подшерсток. На выведение рунных овец ушло несколько столетий. К тому же первоначально шерсть с овец не состригали, а выдергивали, причиняя боль животным; неудивительно, что овцы такие пугливые, и недаром они боятся людей.

Для того чтобы превратить кучу шерсти в какой-нибудь предмет одежды, требовалось произвести целый ряд операций — вымыть ее, вытрепать, вычесать гребнем, протравить, свалять и так далее. В результате того или иного набора этих операций получались ткани различной фактуры и качества. Иногда в шерсть добавляли мех ласки, горностаия и других животных, чтобы полученная ткань блестела. Словом, это был очень трудоемкий процесс.

Четвертой популярной тканью был шелк — это редкая роскошь, которая ценилась буквально на вес золота. В списках преступлений XVIII и XIX веков часто значатся кражи носовых платков или связки кружев. За это сажали в тюрьму или даже ссылали в Австралию. В то время, когда пара

шелковых чулок стоила 5 фунтов стерлингов, а связка кружев — 20 фунтов (на такую сумму можно было жить пару лет), подобные кражи для любого торговца означали серьезную потерю.

Шелковый плащ ценой в 50 фунтов мог себе позволить лишь очень богатый аристократ. Большинство людей либо вовсе обходились без шелка, либо носили его в виде лент и прочей отделки. Китайцы рьяно охраняли секреты производства шелка; вывоз из страны единственного семечка тутового дерева карался смертью. Впрочем, в Северной Европе тутовое дерево никогда бы не прижилось из-за морозов, так что китайцы зря беспокоились. Британцы в течение ста лет пытались изготавливать шелк и иногда получали неплохие результаты, но суровые зимы мешали этому процессу.

Из этих немногочисленных тканей (плюс отделка из перьев и меха горностая) люди умудрялись шить поразительно красивые вещи. В Средние века неоднократно вводились законы, мелочно регламентирующие, какие ткани и каких цветов позволительно использовать в одежде представителей разных сословий.

Во времена Шекспира человек с годовым доходом в 20 фунтов имел право носить атласный камзол, но не атласный халат, а тот, у кого годовой доход достигал 100 фунтов, мог без ограничения носить любые атласные вещи, однако из бархатных — только камзол, но ни в коем случае не малиновый и не голубой: эти цвета дозволялись лишь самым высокопоставленным вельможам.

Ограничения касались также количества ткани, которую можно было использовать для пошива конкретных видов одежды; оговаривалось даже наличие плиссировки. Когда король Яков I в 1603 году взял под свое королевское покровительство Шекспира и артистов его театра, он подарил им четыре с половиной ярда алой ткани — это была великая честь для людей столь презираемой в обществе актерской профессии.

Система сословий удерживала людей в рамках класса, в котором они родились, и одновременно стимулировала британскую промышленность, поскольку сдерживала импорт иностранных продуктов. По этой же причине был издан Указ о кепках, призванный поддержать британских производителей кепок; в нем предписывалось носить кепки, а не шляпы. По неясным причинам пуритане воспротивились этому закону, из-за чего часто платили штрафы. Но в целом закон социальных сословий исполнялся не слишком строго. Указы, регламентирующие одежду, издавались в 1337, 1363, 1463, 1483, 1510, 1533 и 1554 годах, но многие источники свидетельствуют, что эти правила далеко не всегда соблюдались. Все они

были отменены в 1604 году.

Мода часто кажется чем-то совершенно непонятным. Если рассмотреть большинство исторических периодов, может показаться, что целью моды было сделать внешность как можно более смешной; чем неудобней, тем лучше.

Если кто-то надевал непрактичные вещи, он тем самым показывал, что ему нет необходимости работать физически. На протяжении истории у различных культур это, как правило, было куда важнее комфорта. Так, например, в XVI веке в моду вошел крахмал. В результате появились огромные воротники, отделанные кружевом. Из-за них человек не мог нормально есть, поэтому стали популярны ложки с длинными ручками, чтобы обедающему было легче донести пищу до рта. Несмотря на это, люди, должно быть, часто портили жирными пятнами свои драгоценные костюмы, а подчас и вовсе вставали из-за стола голодными.

Даже самые простые вещи нередко использовались не по назначению. Когда появились пуговицы (примерно в 1650 году), люди начали нашивать их в декоративных целях где только можно: на спинки платьев, на воротники и рукава — в общем, там, где они вообще не были нужны. До наших дней дошел пережиток этой нелепой моды: короткий ряд бесполезных пуговиц, нашитый на рукав пиджака. На протяжении трехсот пятидесяти последних лет мы нашиваем их на наши рукава, как будто в этом есть хоть какой-то смысл.

Пожалуй, самым нелепым модным аксессуаром, продержавшимся при этом целых сто пятьдесят лет, были мужские парики. Сэмюэл Пипс жил, когда парики еще только входили в моду; он записал в своем дневнике, что собирается купить себе парик; дело происходило в 1663 году. Пипс боялся, что люди засмеют его в церкви, но этого не случилось, и он испытал великое облегчение и некоторую гордость. Он также беспокоился (и, возможно, не без основания), что волосы для париков берут у больных чумой. Наверное, это ярче всего демонстрирует великую силу моды: Пипс продолжал носить парики, даже зная, что они могут его убить.

Парики делали из самых разных материалов — человеческого, конского или козьего волоса, хлопковой нити, шелка. Один умелец рекламировал модель, выполненную из тонкой проволоки. Парики изготавливались в разных стилях: короткая стрижка, седина, косичка, завитки и т. д.

Они были дорогими: цена на парики доходила до 50 фунтов стерлингов, их передавали по наследству и нередко крали. По размеру

парика определяли социальный статус его владельца. Недаром слово *bigwig* (буквально «большой парик») означает «важная персона», «шишка».

Нелепость огромных париков высмеивали в комедиях. У Джона Ванбру в «Неисправимом» некий мастер хвастается сделанным париком — «таким длинным и лохматым, что в случае непогоды его можно использовать как шляпу и плащ одновременно».

Ходить в парике было неудобно и жарко, кожа головы под ним чесалась. Многие мужчины наголо брили голову, чтобы чувствовать себя комфортней. Мы бы сильно удивились, увидев знаменитостей XVII и XVIII столетий бритыми наголо — такими, какими их видели их жены по утрам. Это было странно: в течение полутора столетий мужчины избавлялись от собственной шевелюры и нахлобучивали на голову чужие неудобные волосы. Хотя очень часто парики делали из своих же волос. А те, кто не мог позволить себе купить парик, пытались сделать такие прически, которые выглядели бы как парики.

За париком приходилось много ухаживать. Примерно раз в неделю его отправляли к парикмахеру, чтобы освежить букли (от французского *boucles*, «кудри»). Локоны парика накручивали на нагретые бигуди, предварительно раскалив последние в печи. В XVIII веке в моду вошли парики, обсыпанные белой пудрой (сделанной в основном из обычной муки) — в этом, разумеется, тоже не было никакого практического смысла. Когда в 1770-х годах во Франции случился неурожай пшеницы, по всей стране начались бунты; голодные крестьяне понимали, что скудные запасы муки расходуются не на выпечку хлеба, а на пудру для привилегированных аристократических голов. К концу столетия пудру для париков стали окрашивать в разные цвета — особенно популярными были голубой и розовый — и ароматизировать.

Парик пудрили на специальной деревянной подставке, однако, по мнению многих, он выглядел более стильно, если его обрабатывали прямо на голове у владельца. Надев на клиента парик, парикмахер или слуга накрывал ему плечи и верхнюю часть туловища простыней, давал ему бумажную воронку, через которую клиент дышал во время процедуры, а затем распылял ему на голову целые облака пудры.

Некоторые франты шли еще дальше. Некий принц Рауниц приказывал четверем лакеям одновременно распылять в воздух четыре разноцветных облака пудры, а принц ходил взад-вперед, добиваясь нужного эффекта. Лорд Эффингем нанял пятерых французских парикмахеров, которые заботились о его париках; у лорда Скарборо парикмахеров было шесть.

А потом парики довольно неожиданно вышли из моды. Парикмахеры в отчаянии взывали к Георгу III, призывая его издать указ об обязательном ношении мужских париков, однако король отклонил их петицию. К началу XIX века уже никто не хотел носить парики, и сегодня они сохранились лишь в некоторых судах Великобритании и стран Содружества. Сегодня парик судьи, сделанный из конского волоса, стоит, как мне сказали, около 600 фунтов стерлингов. Чтобы «состарить» новый парик, вид которого мог бы навести на мысль о неопытности юриста, его предварительно вымачивают в чае.

У женщины были иные отношения с париками. Сплетая смазанную жиром шерсть, конский волос и собственную шевелюру, они возводили у себя на головах внушительные сооружения, достигавшие порой двух с половиной футов высоты, отчего рост модницы достигал семи с половиной футов. Отправляясь на светские мероприятия в карете, дамы иногда садились прямо на пол или высовывали голову из окна, поскольку прическа не помещалась внутри. Стоило неосторожно задеть свечу — и все сооружение запросто могло загореться.

Прически женщин стали такими сложносочиненными что для них понадобился целый новый словарь, в котором отдельные локоны или системы локонов получили собственные названия: *frivolite, des migraines, l'insurgent, monte la haut, sorti, frelange, flandon, burgoigne, choux, crouche, berger, confident* и многие другие. Слово «шиньон», обозначающее пучок на затылке, — практически единственное, что осталось в современном языке из этого лексикона.

Для того чтобы создать столь затейливую прическу, требовалось немало труда, поэтому женщины нередко месяцами не трогали свои прически, время от времени добавляя в них какое-нибудь связующее вещество, чтобы конструкция не распалась. Спать приходилось, подложив под шею специальную деревянную подставку, и, само собой, нельзя было мыть голову. В волосах часто заводились насекомые, особенно жуки-долгоносики. У одной беременной светской дамы случился выкидыш, когда она обнаружила, что в верхней части ее парика поселилась мышь.

Порой расцвета женских причесок-башен стали 1790-е годы, когда мужчины уже отказались от париков. Женские парики обычно украшались лентами и перьями, но иногда в них вплетали и более сложные элементы. Джон Вудфорд в своей «Истории тщеславия» упоминает женщину, которая носила на голове модель корабля с парусами и пушками, который словно бы плыл по волнам ее прически.



*Рис. 17. Сверхвысокая прическа: мисс Щебетунья консультируется с доктором Двоехватом по поводу своей прически «Пантеон» (гравюра 1772 г.)*

В тот же период вошли в моду искусственные родинки, так называемые мушки. Со временем они приобрели различные формы — например, звездочек или полумесяца; их лепили на лицо, шею и плечи. Иногда это были целые картины; так, по щекам одной дамы ехала карета, запряженная шестеркой лошадей.

На пике моды люди буквально обклеивали себя искусственными родинками, и казалось, будто на них сидят живые мухи. Мушки носили и мужчины, и женщины; говорят, что мушки выражали политические пристрастия человека: на правой щеке их носили виги, на левой — тори.

Сердечко на правой щеке означало, что ее обладатель (обладательница) женат (или замужем), а на правой — что он (или она) помолвлен (помолвлена). Мушки стали такими затейливыми, что для их описания тоже появился целый словарь. К примеру, мушка на подбородке называлась *silencieuse*, на носу — *Vimpudente* или *Veffrontee*, в середине лба — *majestueuse* и так далее. В 1780-х годах на короткое время в моду вошли фальшивые брови, сделанные из мышинных шкурок, — воистину, нелепость не знала границ.

Но, по крайней мере, мушки были не так токсичны как многие другие модные ухищрения, к которым прибегали на протяжении веков. В Англии существовала давняя традиция отравлять свой организм во имя красоты. Чтобы расширить зрачки, женщины закапывали в глаза белладонну или паслен — крайне ядовитое растение.

Но самыми опасными были свинцовые белила — паста, сделанная из белого свинца и обычно называемая «краской». Свинцовые белила были очень популярны в течение довольно долгого времени. Дамы со следами оспы на лице использовали их в качестве замазки, но и многие женщины, лишенные дефектов кожи, наносили белила, чтобы придать лицу романтическую бледность. Первое упоминание о них как о косметическом средстве относится к 1519 году, в нем говорится, что модницы «белили лицо, шею и грудь»; а в 1754 году журнал *Connoisseur* замечает, что «каждая встречная дама вымазана свинцовыми белилами».

У таких белил было три основных недостатка: они трескались, когда женщина улыбалась или гримасничала; они через несколько часов становились серыми; а если ими пользовались достаточно долго, они могли и убить (как минимум, из-за них опухали веки и выпадали зубы). По крайней мере две знаменитые красавицы, куртизанка Китти Фишер и светская львица Мэри Ганнинг, графиня Ковентри, умерли из-за отравления свинцовыми белилами; обе не дожили даже до тридцати лет, и никто не знает, сколько еще барышень принесли свое здоровье и жизнь в жертву свинцовым белилам.

До середины XIX века многие женщины, чтобы улучшить цвет лица, пили так называемый «раствор Фаулера», представлявший собой не что иное, как слабый раствор мышьяка. Поэтесса Элизабет Сиддал, жена художника Данте Габриэля Россетти (она позировала Джону Эверетту Милле для его знаменитой «Офелии»), регулярно употребляла это снадобье, и оно почти наверняка способствовало ее ранней смерти в 1862 году<sup>[85]</sup>.

Мужчины тоже красились и примерно в течение столетия стремились

поразить окружающих своей женственностью, иногда в самых неожиданных обстоятельствах. Брат короля Людовика XIV, герцог Орлеанский, «самый известный гомосексуалист в истории», как без обиняков называет его историк Нэнси Митфорд, прослыл храбрым, но экстравагантным солдатом. Митфорд пишет в своей книге «Король-солнце»:

*Он появлялся на поле брани покрашенный, напудренный, со склеившимися ресницами, весь в лентах и бриллиантах. Он никогда не носил шляпу, чтобы не помять парик. В бою он был храбр, как лев, однако сильно беспокоился о том, что солнце и пыль ухудшат его цвет лица.*

Мужчины, как и женщины, украшали свои прически плюмажем и перьями, повязывали ленты на каждый завиток. Некоторые носили обувь на высоком каблуке — не тяжеловесные платформы, а изящные шпильки длиной до шести дюймов — и меховые муфты, чтобы руки были в тепле. Летом иные мужчины гуляли под зонтиками. Почти все обильно поливали себя духами. Таких женоподобных джентльменов, набравшихся европейских манер, называли *macaronis* — в честь популярного в их среде блюда, которое они пробовали во время путешествий в Италию.

Очень странно, что английские денди, которые и привнесли в мужскую моду некоторые ограничения, ассоциируются в массовом сознании с чересчур расфранченными людьми. На самом деле это прямо противоположно действительному положению вещей. Воплощением подобной сдержанности был Джордж Браммел по прозвищу Красавчик (1778–1840). Браммел не отличался ни богатством, ни талантами, ни особым умом. Просто он одевался лучше всех остальных — не так пестро и не так экстравагантно, но зато гораздо более тщательно.

Он родился в привилегированной семье правительственного чиновника; его отец был доверенным советником премьер-министра лорда Норта. Браммел учился в Итоне, потом (недолго) в Оксфорде, после чего поступил на военную службу в Десятый гусарский полк принца Уэльского. Если у него и были какие-то военные способности, то они остались невостребованными. Его основная роль заключалась в том, чтобы хорошо выглядеть в униформе и быть компаньоном и помощником принца на официальных собраниях. В результате они с принцем стали близкими друзьями.

Браммел жил в Мейфэре, и в его доме происходил один из самых

невероятных ритуалов в истории Лондона: каждый день туда приходили взрослые, самостоятельные и высокопоставленные мужчины, чтобы посмотреть, как одевается еще один взрослый мужчина. Среди регулярных посетителей были принц Уэльский, три герцога, один маркиз, два графа и драматург Ричард Бринсли Шеридан. Они сидели в почтительном молчании и наблюдали, как Браммел начинает свой ежедневный туалет с принятия ванны. Большинству казалось удивительным, что он каждый день принимает ванну «и моет все части тела», уточняет один внимательный наблюдатель. Более того, он мылся в *горячей* воде, иногда добавляя в нее молоко. Это чуть было не вошло в моду, однако прошел слух, что морщинистый и скарденый маркиз Куинсберри, живший по соседству, тоже взял в привычку принимать молочные ванны и что он возвращает молоко молочникам после того, как омоет в нем свое дряхлое, покрытое струпьями тело; продажи молока в районе резко упали.

Костюм денди был нарочито приглушенным. В одежде Браммела присутствовало всего три простых цвета: белый, темно-желтый и черный с синим отливом. Настоящего денди отличало не богатство наряда, а тщательность, с которой он его подбирал. Самым главным было добиться безупречного силуэта. В погоне за совершенством они часами подгоняли каждую складочку. Как-то один посетитель, придя к Браммелу и увидев пол, заваленный галстуками, спросил у его терпеливого слуги Робинсона, что происходит?

— Все это наши ошибки, — вздохнул Робинсон.

Денди одевался и переодевался бесконечно. За день он обычно менял по меньшей мере три рубашки, две пары брюк, четыре или пять галстуков, две жилетки, несколько пар чулок и целую пачку носовых платков.

Моду отчасти диктовала все более округлявшаяся фигура принца Уэльского (за глаза его называли *Prince of Whales* — «принц Китовый»), К тридцати годам принц так раздобрел, что его приходилось затягивать в корсет — «настоящую Бастилию из китового уса», как выразился один денди, которому позволялось присутствовать при этой процедуре. Камердинеры принца тактично именовали корсет «поясом». Жирная шея принца вылезала из воротника, как зубная паста вылезает из тюбика, поэтому в моду вошли высокие воротнички, способные скрыть двойной подбородок.

В костюме денди самым примечательным предметом были брюки. Панталоны-лосины шили узкими; они обтягивали ноги подобно второй коже и порой надевались прямо на голое тело, без белья. Джейн Карлейль, увидев на одном званом вечере графа д'Орсе, ошеломленно заметила в

своем дневнике, что панталоны графа были «цвета кожи и облегли его подобно перчатке». Такая мода пошла от жокейских брюк конного полка, в котором служил Браммел.

Фраки имели фалды сзади и вырез спереди, который акцентировал внимание на причинном месте. Впервые в истории мужская одежда стала более сексуальной, чем женская.

Браммел наверняка мог заполучить любую даму, которая привлечет его внимание, а также многих мужчин. Но, как ни странно, нам ничего неизвестно о его любовных похождениях. Судя по всему, Браммела не интересовал секс. Этот мужчина прославился своей внешностью, однако мы совсем не знаем, как он выглядел. Сохранилось четыре его портрета, на удивление непохожих один на другой, и теперь уже невозможно сказать, который из них наиболее близок к оригиналу.

Прошло какое-то время, и Браммел впал в немилость. Он поссорился с принцем Уэльским, и они перестали разговаривать. На одном светском мероприятии принц, нарочито игнорируя Браммела, завел беседу с его приятелем. Когда принц отошел, Браммел обернулся к приятелю и произнес одну из самых опрометчивых фраз в истории высшего света.

— Кто таков этот ваш полный друг? — надменно спросил он.

Подобное оскорбление в адрес монаршей особы было равносильно самоубийству. Браммелу пришлось уехать во Францию, и последние двадцать пять лет жизни он провел в нищете. Он жил в Кале, постепенно теряя разум, однако все эти годы умудрялся отлично выглядеть, сохраняя свой сдержанный аккуратный стиль.

## II

В то время, когда Красавчик Браммел блистал своей элегантностью в Лондоне и за его пределами, еще одна ткань начала менять мир (особенно мир промышленности). Я имею в виду хлопок. Его роль в истории трудно переоценить.

Сегодня хлопок — это самый обычный материал, и мы забыли, что когда-то он стоил дороже шелка. В XVII веке Ост-Индская компания начала импортировать из Индии ткань, которая называлась *calico* (от названия индийского города Калькутта) и была вполне доступной по цене. Термин *calico* объединял разные виды набивных тканей — муслин, миткаль, перкаль, которые очень понравились европейским потребителям, ведь эти материалы были легкими, хорошо стирались и не линяли.

Хотя хлопок давно культивировали в Египте, Индия держала первенство в торговле этим материалом, в результате чего в английский язык вошло много индийских слов: *khaki* (хаки), *dungaree* (дангери — грубая хлопчатобумажная ткань), *gingham* (гинем — легкая хлопчатобумажная ткань, в полоску или клетку; используется для дамского и детского платья), *muslin* (муслин), *pyjamas* (пижама), *shawl* (шаль), *seersucker* (сирсакер — легкая жатая ткань в полоску) и т. д.

Внезапное обилие индийского хлопка радовало потребителей, но не производителей льняных тканей. Не в силах соперничать с индийскими мануфактурщиками, европейские ткачи просили защиты у правительств и почти везде ее получали. На большей части Европы в XVIII веке был запрещен импорт готовых хлопчатобумажных материй.

Хлопок-сырец по-прежнему ввозился из-за границы, и это давало британской текстильной промышленности мощный стимул для его использования. Проблема состояла в том, что хлопок очень трудно прясть и ткать. Проблему решила промышленная революция.

Для того чтобы превратить кипы пушистого хлопка в полезные вещи, такие как постельное белье или джинсы, требуются две основные операции — хлопок надо прясть и ткать. Прядение — это процесс преобразования коротких хлопковых волокон в длинные нити: короткие волокна наращиваются понемногу и скручиваются между собой — точно такой же процесс используется для производства веревки.

Ткачество предусматривает переплетение двух нитей или волокон под нужными углами, в результате чего получается густая сеть из петель. Поперечные нити ткани (уток) переплетаются с продольными (основа). Большинство тканей для дома — простыни, носовые платки и тому подобное — по-прежнему делаются таким способом.

Прядением и ткачеством традиционно занимались в деревнях, и это обеспечивало работой большое число людей. Традиционно прядением занимались женщины, а ткачеством — мужчины. Однако прядение занимает гораздо больше времени, чем ткачество, и это несоответствие стало еще более явным после того, как в 1733 году Джон Кей, молодой человек из Ланкашира, изобрел механический челнок для ручного ткацкого станка — это стало одной из первых революционных инноваций промышленной революции.

Челнок Кея вдвое увеличил скорость ткацкого процесса. Прядильщицы, которые и так не поспевали за ткачами, стали безнадежно отставать. Поставки готовых тканей замедлялись, и это приводило к огромному экономическому напряжению.

Согласно традиционной версии, в конце концов и прядильщицы, и ткачи так разозлились на Кея, что напали на его дом и Кею пришлось бежать во Францию, где он и умер в нищете. Эта история повторяется во многих книгах с «догматическим пылом», по словам историка промышленности Питера Уиллиса. Однако на самом деле, настаивает Уиллис, все это неправда.

Кей действительно умер нищим, но только потому, что не сумел как следует организовать свое дело. Он предлагал фабрикантам в аренду свои станки, но запрашивал непомерно высокую цену, которую никто не мог бы заплатить. Поэтому его изобретение стали незаконно копировать, и Кей потратил все свои сбережения на безуспешную судебную борьбу за компенсации. Он уехал во Францию, тщетно надеясь на то, что там его дела поправятся. После изобретения ткацкого станка он прожил еще почти пятьдесят лет. На него никто не нападал, никто не выгонял его из страны.

Сменилось целое поколение, прежде чем люди нашли решение проблемы прядения, и пришло оно с неожиданной стороны. В 1764 году неграмотный ткач из Ланкашира по имени Джеймс Харгривз изготовил простое до гениальности устройство — прядильную машину, получившую прозвище Дженни, которая выполняла работу десяти прядильщиц за счет использования нескольких веретен.

О Харгривзе известно немного. Он родился и вырос в Ланкашире, рано женился и быстро обзавелся двенадцатью детьми. До наших дней не дошел ни один его портрет. Он был самым бедным и невезучим героем ранней промышленной революции. В отличие от Кея, Харгривз действительно пережил трудные времена. Толпа разгневанных местных жителей как-то явилась к нему домой и сожгла двадцать наполовину законченных прядильных машин и большую часть его инструментов. Это было жестокой потерей для бедняка; на какое-то время он перестал делать станки и занялся бухгалтерией. Часто пишут, что он назвал свою машину по имени собственной дочери, однако это не так: на диалекте северной Англии *jenny* означает просто «станок».

Станок Харгривза, если судить по иллюстрациям, не представляет собой ничего особенного: всего лишь десять катушек на раме и колесо для того, чтобы их вращать. Однако это приспособление способствовало промышленному росту Британии. К сожалению, оно также привело к использованию детского труда, поскольку дети, которые проворнее и меньше ростом, чем взрослые, умели лучше всех управляться с прядильной машиной.

До этого изобретения надомные рабочие пряли вручную по 500 тысяч фунтов хлопка в год. К 1785 году, благодаря станку Харгривза и последовавшим вслед за ним усовершенствованным моделям, эта цифра достигла 16 миллионов фунтов. Однако Харгривз не разбогател на своем изобретении — по большей части из-за махинаций некоего Ричарда Аркрайта, менее привлекательного и менее одаренного, зато самого успешного из всех деятелей раннего периода промышленной революции.

Как Кей и Харгривз, Аркрайт был выходцем из Ланкашира (как знать, случилась бы промышленная революция без ланкаширцев?). Он родился в Престоне в 1732 году, был на одиннадцать лет моложе Харгривза и почти на тридцать лет моложе Кея. Следует помнить, что промышленная революция свершилась не в одночасье и представляла собой постепенные усовершенствования в разных областях на протяжении многих лет. Прежде чем заняться индустрией, Аркрайт был трактирщиком, парикмахером и брадобреем-хирургом, в обязанности которого входило вырывать зубы и отворять кровь.

Он заинтересовался текстильной промышленностью благодаря дружбе с Джоном Кеем (другим Джоном Кеем — часовщиком и полным тезкой изобретателя ткацкого челнока). С его помощью Аркрайт начал собирать станки и компоненты, необходимые для механического производства тканей. Будучи человеком бессовестным, Аркрайт без колебаний украл у Харгривза отдельные элементы его Дженни (естественно, не выплачивая никаких компенсаций), мошенничал в делах и предавал друзей и партнеров ради собственной выгоды.

У него, без сомнения, были определенные познания в механике, но, что важнее, он был отличным дельцом-организатором. Тяжкий труд, удача, гибкость и жестокость сделали Аркрайта в кратчайшие сроки фактически монополистом в области производства хлопка в Англии.

Люди, чьи рабочие места были уничтожены станками Аркрайта, не просто были расстроены — они впали в отчаяние. Предвидя такой поворот событий, Аркрайт построил свою фабрику в отдаленном уголке такого же отдаленного графства Дербишир как настоящую крепость, оснастив ее пушками и копьями (в количестве пятисот штук). Он стал монополистом на рынке механического производства тканей и в результате стал баснословно богат. На момент смерти Аркрайта в 1792 году на него работало пять тысяч человек, а его состояние насчитывало полмиллиона фунтов стерлингов — гигантская сумма для кого угодно, не говоря уж о бывшем брадобрее.

На самом деле промышленная революция стала по-настоящему

эпохальной во многом благодаря одному человеку — преподобному Эдмунду Картрайту (1743–1823). Картрайт вышел из обеспеченной и по местным меркам влиятельной семьи из Ноттингемшира; он очень хотел стать поэтом, но в результате стал приходским священником в Лестершире. В 1785 году, после случайного знакомства с одним текстильным фабрикантом, он разработал — кажется, без всякой предварительной подготовки — мощный ткацкий станок.

Станки Картрайта полностью изменили мировую экономику и сделали Британию по-настоящему богатым государством. К моменту открытия «Великой выставки» 1851 года в Англии работали 250 000 мощных ткацких станков, и число их росло в среднем на 100 000 в десятилетие, пока их не стало 805 000 в 1913 году; к этому же времени по всему миру разошлось около 3 000 000 станков.

Если бы Картрайт получил адекватную компенсацию за свое изобретение, он стал бы богатейшим человеком своего времени, как в разные эпохи становились Джон Рокфеллер или Билл Гейтс, но этого не случилось. Напротив, он залез в долги, пытаясь защитить и внедрить свои патенты. В 1809 году парламент наградил его премией в 10 000 фунтов стерлингов — это было ничто по сравнению с аркрайтовским полумиллионом, — но Картрайту этого хватило, чтобы прожить свои оставшиеся дни в комфорте.

У Картрайта была настоящая страсть к изобретательству, и он предложил также станки для производства веревок и чесания шерсти (оба они оказались очень успешными), а также новые виды печатных машин, паровых двигателей, новые типы кровельной черепицы и кирпичей. Последним изобретением Картрайта, запатентованным незадолго до его смерти в 1823 году, стал экипаж, управляемый мускульной силой человека и «способный передвигаться без лошадей». В патенте было заявлено, что для управления таким экипажем требуется два человека; если они будут постоянно, но не особенно напрягаясь, нажимать на педали, то экипаж пройдет 27 миль в день даже по сильно пересеченной местности.

С ткацкими станками производство хлопка уж точно должно было бы резко пойти в гору, но не тут-то было: фабрики нуждались в гораздо большем количестве хлопка, чем могли обеспечить поставщики. Самым подходящим районом для выращивания хлопка оказался юг Соединенных Штатов. Климат, слишком жаркий и сухой для многих других сельскохозяйственных культур, как раз подходил для хлопка. Однако наладить прибыльное хозяйство долго не удавалось из-за трудностей сбора. Каждая семенная коробочка хлопчатника набита клейкими семенами (три

фунта семян на каждый фунт хлопкового волокна), которые приходилось отделять вручную, одно за другим. Эта операция была крайне трудоемка и экономически невыгодна даже с использованием рабского труда. Стоимость еды и одежды рабов, пусть и ничтожная, все равно намного превосходила стоимость получаемого в итоге хлопка.

Эту проблему решил человек, выросший вдали от плантаций. Его звали Эли Уитни, он был родом из Уэстборо, штат Массачусетс, и, если источники не врут (а мы скоро увидим, что источникам никогда не следует чрезмерно доверять), прославился Уитни благодаря невероятно счастливому случаю.

Согласно общепринятой версии, он окончил Йельский университет в 1793 году и нанялся домашним учителем в семью из Южной Каролины. Однако, приехав туда, Уитни обнаружил, что ему платят лишь половину от обещанного жалованья. Оскорбившись, он отказался от места, потешив таким образом свое самолюбие, но оставшись без копейки денег вдали от дома.

Он отправился еще дальше на юг и по дороге познакомился с жизнерадостной молодой женщиной по имени Катарина Грин; это была вдова покойного генерала Натаниела Грина, героя американской революции. Грин поддерживал Джорджа Вашингтона в самое тяжелое военное время, и благодарное правительство наградило его плантацией в Джорджии. К сожалению, Грин, уроженец Новой Англии, не вынес жаркого климата Джорджии и в первое же лето умер от солнечного удара. Уитни обратился к его вдове.

К тому времени миссис Грин открыто жила с другим выпускником Йельского университета, управляющим на ее плантациях, по имени Финеас Миллер; они с радостью пригласили Уитни к себе в качестве работника. Там Уитни и узнал о проблеме хлопковых семян. Осмотрев семенную коробочку, он тут же придумал решение, пошел в мастерскую и изготовил простой вращающийся барабан с гвоздями, которые отделяли хлопковые волокна от семян. Его новое устройство было таким эффективным, что могло заменить работу пятидесяти рабов. Уитни запатентовал свою хлопкоочистительную машину, или волокноотделитель (по-английски — *gin*, сокращенно от *engine*, двигатель), и приготовился загребать деньги лопатой.

Это традиционное изложение событий, но во многом оно похоже на выдумку. Скорее всего, Уитни уже был знаком с Миллером (недаром же они окончили один и тот же университет), заранее знал о проблемах выращивания хлопка на американской почве, ехал на юг уже по

приглашению Миллера, и задачей его было именно изобретение хлопкоочистительной машины. И потом, даже опытную модель такой машины не сколотишь за пару часов в сарае на плантации; Уитни наверняка работал над своим станком в течение недель или даже месяцев в мастерской Уэстборо.

Каковы бы ни были обстоятельства ее изобретения, машина получилась чудесная. Уитни и Миллер стали партнерами и рассчитывали разбогатеть, но оказались никудышными бизнесменами. За право пользоваться своей машиной они запрашивали одну треть урожая вне зависимости от его размеров — плантаторы и законодатели Юга сочли такие условия откровенно грабительскими.

То, что Уитни и Миллер оба были северянами-янки, не добавило им популярности. Они упрямо отказывались изменить свои требования, убежденные, что южане-плантаторы не устоят перед лицом такого эффективного технологического новшества. В этом они были правы, но им не пришло в голову, что их агрегат можно запросто скопировать, что любой мало-мальски приличный плотник смастерит копию их машины за пару часов.

Вскоре плантаторы по всему югу Америки обрабатывали хлопок на самодельных хлопкоочистительных машинах. Уитни и Миллер подали в суд Джорджии шестьдесят исков (и еще множество — в другие суды), но не нашли там поддержки. К 1800 году — всего через семь лет после изобретения волокноотделителя — нужда заставила Миллера и Грин продать плантацию.

Вскоре, однако, хлопок сделался самым ходовым товаром в мире, и южные штаты США, производившие две его трети, сильно разбогатели. Экспорт американского хлопка вырос почти с нуля (до изобретения хлопкоочистительного агрегата) до двух миллиардов фунтов стерлингов (к началу гражданской войны). 84 % всего хлопка покупала Британия.

До того как хлопок стал популярен, рабовладение не имело большого экономического значения, но сейчас появился большой спрос на рабочую силу, так как сбор коробочек хлопка, в отличие от их обработки, по-прежнему требовал больших затрат труда. В тот момент, когда Уитни изобрел свою волокно-отделительную машину, рабство существовало всего в шести американских штатах; к началу гражданской войны оно распространилось уже на пятнадцать.

Северные рабовладельческие штаты, такие как Вирджиния и Мэриленд, где хлопок не выращивался, начали продавать рабов на Юг, разбивая семьи и делая несчастными десятки тысяч людей. С 1793 года до

начала гражданской войны в южные штаты было переселено свыше 800 000 рабов.

В то же время появившиеся в Англии фабрики по производству хлопчатобумажных тканей требовали огромного числа рабочих — прирост населения не мог его обеспечить, поэтому там начали использовать дешевый детский труд. Дети были послушными, юркими, они ловко сновали между станками и успешно устраняли мелкие неполадки. Даже самые просвещенные фабриканты эксплуатировали детей — у них не было выбора.

Таким образом, хлопкоочистительная машина Уитни не только помогла разбогатеть многим людям по обе стороны Атлантики, но и стимулировала работорговлю и детский труд, а в результате привела к гражданской войне в Америке. Пожалуй, Эли Уитни был первым человеком, чье изобретение привело к таким серьезным последствиям: обогащению одних и личной трагедии других.

В конце концов некоторые южные штаты все же согласились выплатить Уитни небольшие суммы за его изобретение. Всего он заработал на своей машине 90 000 фунтов — в самый раз, чтобы окупить расходы.

Вернувшись на север, он обосновался в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, и там его посетила еще одна идея, которая наконец-то сделала его богатым. В 1798 году он заключил контракт на производство десяти тысяч мушкетов для федерального правительства. Оружие было изготовлено новым методом, получившим название «система Уитни» или «американская система». Уитни построил станки, которые изготавливали бесчисленное множество одинаковых деталей; затем эти детали собирались, чтобы получился конечный продукт. Рабочему не нужны были никакие особые навыки. За них все делали машины. Идея оказалась блестящей. Дэниел Бурстин назвал это «инновацией, сделавшей Америку богатой».

Правительство отчаянно нуждалось в оружии, ибо в то время Америка стояла на грани войны с Францией. Контракт был заключен на 134 000 долларов (это был первый американский контракт на такую большую сумму) несмотря на то, что у Уитни еще не было ни станков, ни опыта производства ружей. Но в 1801 году Уитни продемонстрировал президенту Джону Адамсу и еще не вступившему в должность президента Томасу Джефферсону, как можно в один момент собрать ружье из заранее заготовленных деталей.

Конечно, Уитни столкнулся с целым рядом проблем, прежде чем его система заработала. Мушкеты были поставлены с опозданием больше чем

на восемь лет; политический кризис, стимулировавший их производство, уже давно закончился. Более того, современное исследование ружей Уитни, сохранившихся до наших дней, показало, что некоторые из деталей все же сделаны вручную. В знаменитой демонстрации для президентов Уитни прибег к обману. И вообще на протяжении этих восьми лет Уитни не так уж много времени работал над заказом; аванс, полученный им по ружейному контракту, он использовал на новые попытки добиться компенсации за свою хлопкоочистительную машину.

### III

По сравнению со всеми остальными тканями того времени хлопок был на удивление легким и приятным материалом, однако он почти никак не повлиял на стремление людей, особенно женщин, одеваться как можно нелепее. В XIX веке дамы старались нацепить на себя как можно больше вещей. В 1840-х годах женщина могла надеть под платье сорочку до колен, кофту, до шести нижних юбок, корсет и панталоны. Как заметил один историк, «дамы изо всех сил пытались сгладить любой намек на фигуру».

Такие туалеты наверняка были страшно тяжелыми. Женщина носила на себе до 40 фунтов одежды. На вопрос, как же наряженная таким образом дама пользовалась уборной, у историков моды нет ответа. Появление объемных юбок — кринолинов или фижм — с каркасом из китового уса или стальных полос сделало женщину еще более неуклюжей.

«Интересно, как викторианские дамы умудрялись ходить по гостиным, не смахивая своими пышными кринолинами все, что стояло и лежало на маленьких столиках?» — задается вопросом Лайза Пикард. Чтобы сесть в карету, им также требовались крайняя осторожность и изобретательность. Один мемуарист того времени вспоминает:

*Мисс Клара поворачивалась то так, то эдак, как павлин, пытаясь решить, какой стороной лучше зайти. В конце концов она смело протиснулась боком; внутри кареты ее смятая было юбка снова приобрела былой объем, и поэтому, когда за мисс последовали ее сестры, места для майора уже не осталось.*

Кроме того, кринолин слегка приподнимался, когда дама наклонялась — например, чтобы ударить по мячу во время игры в крокет, — и взорам галантных мужчин, пропустивших ее вперед, открывался чарующий вид ее

отделанных рюшами лосин. Когда женщина выпрямлялась, кринолин перекручивался и сдвигался вперед, как зонт на ветру.

Леди Элинор Стенли записала в своем дневнике, как герцогиня Манчестерская «запуталась в юбках, перелезая через забор». Зачем она полезла через забор в кринолине? На этот вопрос у нас нет ответа. Так или иначе, клетчатые панталоны герцогини «увидели все, в частности герцог Малаховский».

Сильный ветер тоже создавал проблемы, ступеньки таили в себе серьезную опасность, но главной угрозой был огонь. «Многие женщины, носившие кринолины, погибли из-за того, что по неосторожности подошли слишком близко к огню», — отмечают С. Уиллетт и Филлис Каннингтон в своем неожиданно мрачном сочинении «История исподнего белья». Один производитель с гордостью рекламировал свои кринолины, заявляя, что они «не вызывают несчастных случаев и ни разу не упоминались в судебных расследованиях».

Золотым веком кринолинов стал период с 1857 по 1866 год; потом их перестали носить — не потому, что они были опасными и нелепыми, а потому, что в них начали щеголять представительницы низших классов. «Ваша горничная обязана ходить в кринолине, — наставлял один дамский журнал, — он необходим даже для фабричных работниц». Легко представить себе, насколько опасны были фижмы в окружении вращающихся шестеренок и жужжащих ремней фабричных станков.

То, что дамы забросили кринолины, еще не означало, что эра бессмысленных неудобств наконец подошла к концу. Ничуть не бывало! Кринолины уступили место корсетам, которые мучили своих обладательниц ничуть не меньше. Как ни странно, многих эта мода воодушевляла; считалось, что дама в корсете демонстрирует самоотречение и целомудренность.

Журнал *Englishwoman's Domestic Magazine*, который издавала миссис Битон, одобрительно отмечал в 1866 году, что ученицы одного пансиона для девочек надевают свои корсеты в понедельник утром и ходят затянутыми до субботы, когда им разрешается на час расшнуроваться и помыться. Подобный режим, по мнению журнала, позволял девушкам всего за два года уменьшить обхват талии с двадцати трех до тринадцати дюймов.

В самом деле, женщины в ущерб собственному комфорту любыми путями стремились похудеть, однако рассказы, будто некоторые из них хирургическим путем удаляли себе нижние ребра, чтобы сделать талию более тонкой, по счастью, всего лишь вымысел. Валери Стил, написавшая

книгу «Культурная история корсета», не нашла доказательств того, что подобная операция когда-либо имела место. Прежде всего, хирургия XIX века просто еще не умела этого.

Во второй половине XIX века тугие корсеты стали для врачей самым страшным кошмаром. В организме женщины не осталось ничего, что не страдало бы и не разрушалось из-за сдавливания шнуровкой и китовым усом. Корсеты не позволяли сердцу свободно биться, в результате кровь застаивалась, что в свою очередь приводило ко множеству болезней — от недержания мочи, диспепсии и печеночной недостаточности до застойной гипертрофии матки и даже потери рассудка. Журнал *Lancet* регулярно исследовал опасности, которые представляло ношение тугих корсетов. Рассказывали, что по крайней мере одна женщина умерла из-за сдавливания грудной клетки: ее сердце не выдержало такой нагрузки. Некоторые врачи считали, что тугие корсеты сильно снижают сопротивляемость туберкулезу.

Ношение корсетов неизбежно связывалось со стремлением женщины выглядеть сексуально. Появилось немало литературы, где ношение корсета сравнивалось с мастурбацией. Авторы опасались, что, сжимая органы вблизи репродуктивной зоны, корсеты чрезвычайно усиливают «эротические желания» и, возможно, даже вызывают непроизвольные «сладострастные спазмы».

Постепенно эти страхи распространились на все части тела, которые женщины «упаковывали» в тугую одежду. Даже тесные туфли предположительно вызывали «опасное покалывание», если не «полномасштабный спазм». Некто Орсон Фаулер написал книгу под названием «Тугая шнуровка и ее влияние на физиологию и френологию, или Вред, причиняемый разуму и телу путем сдавливания органов, отвечающих за плотские наслаждения; наблюдаемые при этом замедление и ослабление жизненно важных функций»; автор утверждал, что неестественное кровообращение вызывает прилив крови к мозгу женщины, что может привести к необратимым изменениям психики.

Единственная функция организма, которая действительно страдала из-за ношения тугих корсетов, это репродуктивная. Многие женщины носили корсеты, будучи уже на последних месяцах беременности, и даже шнуровали их потуже, чтобы как можно дольше скрывать свое интересное положение: ни одна из них не хотела явно признавать, что участвовала в действе, вызывающем непристойные «сладострастные спазмы».

В викторианскую эпоху дамам запрещалось даже задувать свечи в смешанной компании, чтобы мужчины не видели, как они вытягивают

губы. Они не могли сказать, что идут «в постель», ибо эта фраза вызывала возбуждающие образы; в данном случае им следовало говорить, что они отправляются «отдыхать». Обсуждая одежду, также прибегали к эвфемизмам. Брюки стали называться «нижняя часть облачения» или просто *inexpressibles* («невыразимые»), а нижнее белье — *linen* («полотно»). Между собой женщины могли шушукаться о нижних юбках и чулках, но остальные предметы одежды, надеваемые на голое тело, были абсолютно запрещено упоминать в разговоре с кем бы то ни было.

Впрочем, на самом деле общество было далеко не таким ханжеским, каким хотело казаться. В середине века появились химические красители, зачастую весьма насыщенные и яркие; первыми предметами одежды, на которых применялись такие красители, стало нижнее белье. Встал логичный, но скандальный вопрос: для чьих глаз предназначаются столь пестрые вещи?

Такой же популярной и не менее скандальной стала вышивка на нижнем белье. В тот же год, когда английских школьниц похвалили за то, что они неделями ходят в убийственно тугих корсетах, *Englishwoman's Domestic Magazine* сетовал на то, что «вышивка на нижнем белье, ставшая модной в последнее время, греховна по своей сути; молоденькая барышня тратит целый месяц на то, чтобы украсить свое белье, однако ее старания все равно не увидит никто, кроме прачки».

В те времена женщины не носили бюстгалтеры. Корсеты приподнимали и поддерживали грудь снизу, но лифчики на бретелях (как мне говорили) гораздо удобней. Первым, кто это понял, был Лумен Чапмэн из Кэмдена, Нью-Джерси, который в 1863 году получил патент на «подушечки для груди». За период с 1863 по 1969 год в Соединенных Штатах было выдано 1230 патентов на бюстгалтеры. В 1904 году компания Чарльза Р. Дебеуа впервые употребила слово *brassiere* (бюстгалтер, лифчик), произошедшее от французского слова, означающего «плечо».

Хочу развенчать один маленький, но стойкий миф. Иногда пишут, что лифчик изобрел некий Отто Тицлинг. На самом же деле, если этот человек и вправду существовал, то он не имел никакого отношения к изобретению женского белья.

На этой слегка обескураживающей ноте предлагаю перейти в детскую.

# Глава 18

## Детская

### I

В начале 1960-х французский историк Филипп Арьес сделал в своей чрезвычайно знаменитой книге «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» поразительное заявление. Он написал, что до XVI века (как минимум) такого понятия, как детство, не существовало. Разумеется, сами дети существовали, однако их жизнь ничем не отличалась от жизни взрослых. Арьес с уверенностью утверждал, что идея детства появилась только в викторианскую эпоху.

Утверждения Арьеса основывались лишь на умозаключениях, большая часть которых сейчас подвергается сомнению, но его взгляды вызвали глубокий отклик в общественном сознании. Вскоре и другие историки заявили, что в прошлые века детьми пренебрегали и не слишком их любили.

«В традиционном обществе матери равнодушно относились к детям, которым еще не исполнилось двух лет», — писал Эдвард Шортер в своей книге «Создание современной семьи» (1976). Причиной этого, по мнению автора, была высокая детская смертность. «Вы не можете позволить себе привязываться к ребенку, который, возможно, скоро умрет», — объясняет Шортер.

Это мнение целиком и полностью разделяла Барбара Такман, которая спустя два года написала в своем бестселлере «Далекое зеркало»: «Из всех характеристик, отличающих Средневековье от современности, самая поразительная — это относительное отсутствие интереса к детям». Инвестировать любовь в ребенка было слишком рискованно. Такман назвала это «неблагодарным занятием». Якобы проявления такой любви повсеместно считались бесполезной тратой энергии, и взрослые относились к своим младенцам безо всяких эмоций, как к «продукту»: «Ребенок рождался и умирал, а его место занимал другой».

Арьес объяснял это так: «Долгое время семьи стремились завести побольше детей, чтобы выжило хотя бы несколько». Подобное мнение разделяли практически все историки детства; прошло целых двадцать лет,

прежде чем появились первые сомнения: кое-кто понял, что неправильно рассматривает человеческую природу, не говоря уже о пренебрежении известными историческими фактами.

Несомненно, дети часто умирали, и родителям приходилось с этим мириться. В прошлые столетия мир представлял собой бесконечные ряды маленьких гробиков. Статистика говорит о том, что одна треть младенцев умирала в первый год жизни и почти половина детей не доживала до пяти лет. Смерть регулярно навевалась даже в самые лучшие дома. Стивен Инвуд в свежей «Истории Лондона» отмечает, что историк Эдвард Гиббон, выросший в богатой семье в благополучном квартале Патни, еще в раннем детстве потерял всех своих шестерых братьев и сестер.

Нельзя, впрочем, сказать, что родители меньше скорбели о своих утратах, чем сегодня. У мемуариста Джона Ивлина и его жены было восемь детей, шестеро из них умерли в раннем возрасте. Ивлин с супругой тяжело переживали каждую смерть. «В моей жизни больше никогда не будет места радости», — написал Ивлин в 1658 году после того, как спустя три дня после своего пятилетия умер его старший сын.

Писатель Уильям Браунлоу, который на протяжении четырех лет каждый год терял ребенка, отмечал, что эта «цепь несчастий» разбивает его сердце. Однако ему и его жене пришлось пережить еще большее несчастье: в течение последующих трех лет у них умерли оставшиеся трое детей.

Лучше всех родительское горе сумел передать Уильям Шекспир, который вообще как никто другой умел выражать человеческие чувства. Вот строки из драмы «Король Иоанн», написанной вскоре после смерти его одиннадцатилетнего сына Хамнета (1596):

Да, место сына скорбь взяла:  
Дитятею лежит в его постели,  
Со мною ходит, говорит как он,  
В лицо глядит мне светлым детским взглядом,  
На мысль приводит милые движенья,  
И крадется в его пустое платье,  
И платье то глядит моим ребенком!<sup>[86]</sup>

Такие слова не мог написать человек, считающий детей просто «продуктом». Нет никаких оснований предполагать, что в прошлом родители были равнодушны к собственным детям. Лишним доказательством этого служит название той комнаты, в которой мы сейчас

находимся<sup>[87]</sup>.

Слово *nursery* впервые появляется в английском языке в 1330 году; с тех пор этот термин прочно вошел в обиход. Комната, в которой все служит детским потребностям, вряд ли могла появиться в доме, где родители равнодушны к собственным отпрыскам. Слово «детство» (*childhood*) не менее красноречиво. Оно появилось в английском языке свыше тысячи лет назад (оно встречается уже в Евангелии из Линдисфарна примерно в 950 году). Неизвестно, какую эмоциональную нагрузку оно несло в те давние времена, но тем не менее у нас нет оснований утверждать, что раньше к детям относились без души.

Разумеется, в прошлом детство не было таким же долгим, беззаботным и веселым периодом жизни, как сейчас. С самого момента зачатия жизнь маленького существа подвергалась разным опасностям, и самой главной опасностью как для матери, так и для ребенка были роды. Если они проходили с осложнениями, то ни повивальная бабка, ни врач почти ничего не могли поделать.

Доктор (если за ним вообще посылали) часто прибегал к таким методам лечения, которые лишь усиливали риск: пускал измученной матери кровь с тем, чтобы помочь ей расслабиться, а когда женщина теряла сознание, полагали, что это успех; прикладывал припарки, которые вызывали волдыри, и делал много других вещей, лишавших роженицу последних сил и надежд.



*Рис. 18. Роженица XVIII века. Обратите внимание на то, как сохранялась благопристойность: доктор укрыт простыней*

Иногда роды продолжались в течение трех недель или даже больше — до тех пор, пока ребенок или его мать (или оба) не погибали. Если младенец умирал в утробе, то для того, чтобы его оттуда извлечь (по частям), применялись совершенно жуткие процедуры, невыразимо мучительные для роженицы. Мало того, это было опасно: существовал большой риск повредить матку и занести инфекцию. Учитывая такие условия, поразительно, что в родах умирали только одна-две женщины из ста. Впрочем, большинство женщин рожали неоднократно (в среднем от семи до девяти раз), так что вероятность смертельного исхода сильно возрастала и составляла один случай из восьми.

Для детей рождение было только началом. Первые годы жизни приносили им не только радости детства, но и многочисленные беды. Вдобавок к бесконечным вспышкам болезней и эпидемий, которые косили всех подряд, смерть в результате несчастного случая тоже была обычным делом. В списках лондонских коронеров XIII и XIV веков значились следующие причины скоропостижной гибели детей: «утонул в выгребной яме», «укушен свиньей», «упал в кастрюлю с горячей водой», «попал под телегу», «упал в миску с горячей кашей», «раздавлен в толпе» и т. д. Историк Эмили Кокейн рассказывает печальную историю маленького мальчика, который лег на дорогу и набросал на себя соломы, чтобы посмешить своих друзей, а в результате был раздавлен колесом телеги.

Аръес и его сторонники воспринимали подобные смерти как доказательство родительского равнодушия и отсутствия интереса к благополучию детей, но это попытка оценить поведение предков с точки зрения современных стандартов. Необходимо учитывать, что в жизни средневековой матери было множество отвлекающих моментов. Она могла нянчить больного или умирающего ребенка, сама страдая от лихорадки. Время от времени ей приходилось разжигать огонь в очаге или, наоборот, тушить его. Помимо этого у нее была еще тысяча важных дел. Сегодня детей не кусают свиньи вовсе не потому, что за детьми лучше присматривают, а потому, что мы не держим свиней на кухне.

Множество современных выводов основано на данных о смертности в Средние века, которые не всегда отражают реальную действительную ситуацию. Первым человеком, который внимательно рассмотрел этот вопрос, был, как ни странно, астроном Эдмунд Галлей, который сегодня известен в основном благодаря названной в его честь комете.

Галлей был неутомимым исследователем самых различных научных явлений. Он изучал все на свете, от магнетизма до снотворного действия опиума. В 1693 году он наткнулся на сводки о рожденьях и смертях в силезском городе Бреслау (ныне это город Вроцлав в Польше). Эта статистика понравилась ему своей необычной полнотой, и он решил составить таблицы ожидаемой продолжительности жизни, которые показывали бы, сколько лет в среднем оставалось жить человеку того или иного возраста.

Из его таблиц следует, что для двадцатипятилетнего человека шансы умереть в следующем году составляют восемьдесят к одному, а тот, кто дожил до тридцати, вероятно, проживет еще двадцать семь лет; шансы сорокалетнего прожить еще семь лет — пять с половиной к одному и так далее. Это были первые статистические таблицы ожидаемой

продолжительности жизни (такие данные, которые, помимо всего остального, делают возможным существование индустрии страхования жизни).

Выводы Галлея были опубликованы в научном журнале Лондонского королевского общества и долго были лишены пристального внимания историков. Очень жаль, ведь в них много интересного. К примеру, исследования Галлея показывают, что в Бреслау жили семь тысяч женщин детородного возраста, но каждый год рождались всего тысяча двести детей — «чуть больше шестой части», уточняет он. Понятно, что во все времена подавляющее большинство женщин старалось избежать беременности. Поэтому рождение детей, во всяком случае в Бреслау, не было неизбежностью: женщины беременели в основном по собственному желанию.

Статистика Галлея также развенчивает миф о крайне высокой детской смертности. В Бреслау четверть с лишним младенцев умирала в первый год жизни и 44 % детей не доживало до семи лет. Конечно, эти цифры сегодня пугают, однако они все же несколько лучше, чем «треть» или «половина», о которых рассуждают историки.

Зато среди семнадцатилетних молодых людей Бреслау смертность достигала 50 %. Это была гораздо более высокая цифра, чем Галлей ожидал; в своем докладе он выразил мнение, что следует не уповать на долгую жизнь, а укреплять себя в мысли о возможности преждевременной кончины:

*Как несправедливо мы жалуемся на краткость нашей жизни и считаем себя обязанными дожить до преклонных лет. Половина всех родившихся умирает в семнадцать лет... [Поэтому] вместо того, чтобы роптать о безвременной кончине, мы должны терпеливо и спокойно покориться увяданию, которое неизбежно для нашего бренного тела.*

Женщины недаром старались реже беременеть: на то была довольно веская причина. Как раз в то время в Европе свирепствовала новая загадочная болезнь, причины возникновения которой врачи не понимали. Болезнь называлась родильной горячкой. Впервые она была зарегистрирована в Лейпциге в 1652 году. В течение следующих двухсот пятидесяти лет медицина была бессильна перед этим недугом.

Родильная горячка пугала своей внезапностью. Часто после успешных родов проходило несколько дней, в течение которых мать была совершенно

здорова. Но затем за считанные часы у нее поднималась высокая температура и она начинала бредить. В таком состоянии жертва находилась примерно неделю, после чего либо поправлялась, либо умирала. Второе случалось чаще.

Во время самых тяжелых эпидемий умирало 90 % больных. До конца XIX века врачи связывали родильную лихорадку с плохим воздухом или моральной неустойчивостью матери, тогда как на самом деле они сами были виновны в смертях своих пациенток, заноса бактерии на собственных грязных пальцах. Еще в 1847 году венский врач Игнац Земмельвайс заметил, что, если больничные персонал мыл руки в слабом растворе хлорки, уровень заболеваемости (независимо от причин) резко падал. Но на его призыв никто не обратил внимания, лишь через несколько десятилетий медики начали повсеместно применять антисептики.

На счастье некоторых женщин, появились акушерские щипцы, облегчившие работу врачей. К сожалению, их изобретатель Питер Чемберлен не захотел делиться своим изобретением с остальным миром и хранил его в секрете, используя только в собственной практике. Его наследники поддерживали эту прискорбную традицию на протяжении последующих ста лет — до тех пор, пока акушерские щипцы не были независимо изобретены другими людьми.

Между тем роженицы тысячами умирали в неоправданных муках. Стоит отметить, что акушерские щипцы тоже были по-своему опасны. Нестерильный инвазивный инструмент мог легко навредить как ребенку, так и матери; щипцы следовало применять с крайней осторожностью. Поэтому многие медики отказывались ими пользоваться.

Самый известный случай произошел с принцессой Шарлоттой, предполагаемой наследницей британского трона. Она умерла в 1817 году, рожая своего первенца, потому что главный врач, сэр Ричард Крофт, не разрешил своим коллегам воспользоваться щипцами для облегчения ее страданий. В итоге через пятьдесят часов утомительных и бесполезных схваток и ребенок, и роженица погибли.

Смерть Шарлотты изменила ход британской истории. Останься она в живых, не было бы ни королевы Виктории, ни викторианского периода. Потрясенная нация ополчилась на Крофта. Удрученный всеобщим осуждением, он пустил себе пулю в лоб.

До начала современной эры для большинства людей, как детей, так и взрослых, главным вопросом в жизни был вопрос выживания. В бедных семьях (а таких семей, конечно, было больше всего) каждый человек,

начиная с самого раннего возраста, считался потенциальным работником. В 1697 году Джон Локк в докладе для Министерства торговли обсуждал возможность привлечения к работе детей с трехлетнего возраста, и никто не счел это ни невозможным, ни жестоким. «Мальшок-пастушок» (*Little Boy Blue*) из детского стишка — тот, что не сумел удержать овец и коров, и они разбрелись по лугам и полям, — был от силы четырех лет от роду; дети постарше использовались на более тяжелых работах.

Часто детям поручали самую черную работу. Шестилетних мальчиков и девочек посылали в шахты, поскольку они в силу своей миниатюрной комплекции могли пробраться в самые укромные уголки. Из-за жары и в целях экономии одежды дети часто работали голышом (взрослые мужчины тоже традиционно работали голыми, а женщины обнажались по пояс). Большую часть года шахтеры не видели солнечного света, поэтому многие из малолетних работников отставали в росте и слабели от недостатка витамина D.

Даже относительно легкий труд зачастую был опасен. На керамических фабриках в Мидлендсе дети чистили котлы, содержавшие остатки свинца и мышьяка, и в результате медленного отравления часто страдали параличами и припадками.

Самой незавидной детской профессией была профессия трубочиста. Они начинали раньше, работали тяжелее и умирали раньше, чем представители других профессий. Большинство трубочистов начинало свою короткую карьеру лет в пять, хотя в письменных свидетельствах упоминается один мальчик, ставший трубочистом в три с половиной года — в том возрасте, когда даже самая простая задача может поставить в тупик.

Для работы требовались маленькие мальчики, потому что дымоходы были узкими и часто изогнутыми. Джон Уоллер пишет в книге «Настоящий Оливер Твист»:

*Некоторые дымоходы поворачивали под самыми разными углами, тянулись горизонтально или по диагонали, иногда образовывали зигзаги или устремлялись вниз, а потом уж поднимались к дымовым трубам. В Лондоне был один дымоход, который менял направление четырнадцать раз.*

Это была жестокая работа. Чтобы мальчики не ленились, в камине поджигали кучу соломы, и жар поднимался по дымоходу следом за маленьким трубочистом. Многие заканчивали свою короткую карьеру

сутулыми и больными в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. Самым распространенным профессиональным заболеванием был рак мошонки.

В таком суровом и безнадежном мире судьба Айзека Уэра кажется счастливым чудом. Имя Уэра часто упоминается в истории архитектуры XVIII века, так как он был ведущим градостроительным критиком той эпохи и к его мнению прислушивались. Как вы, возможно, помните после нашего посещения подвала, именно он в середине XVIII века объявил красный кирпич «слишком ярким и неприятным на вид». Но Уэр родился в бедной семье и начинал трубочистом. Своим успехом он обязан одному необычному благотворительному жесту.

Примерно в 1712 году некий джентльмен (его имя осталось неизвестным, однако, скорее всего, это был третий граф Берлингтон, строитель Чизик-хауса и один из законодателей мод того времени), прогуливаясь по лондонской улице Уайтхолл, увидел юного трубочиста, который сидел на земле и кусочком угля рисовал с натуры Банкетинг-хаус<sup>[88]</sup>. Парень был явно талантливым, и Берлингтон склонился к мальчику, желая получше рассмотреть рисунок. Однако мальчик решил, что его накажут, расплакался и попытался стереть нарисованное. Граф успокоил маленького трубочиста и завел с ним беседу. Ум и сообразительность ребенка произвели на него сильное впечатление; Берлингтон выкупил мальчика у его работодателя, забрал к себе домой и решил сделать из него джентльмена. Это был долгий процесс. Он отправил своего протеже в путешествие по Европе и обучил его изящным искусствам.

Под руководством графа Уэр стал толковым, пусть и не блестящим архитектором, но его настоящим даром был дар теоретика. Он написал несколько книг, сделал качественный перевод «Четырех книг» Палладио, ставших настольным чтением как для профессионалов, так и для любителей архитектуры. Уэр так никогда и не избавился от следов своего низкого происхождения. Он умер в 1766 году; по словам очевидцев, на его коже остались несмываемые пятна сажи, сохранившиеся с тех времен, когда он был трубочистом.

Думаю, не стоит говорить о том, что Уэр был исключением из общего правила. Большинство детей целиком и полностью зависело от своих работодателей, и иногда они подвергались крайне жестокому обращению. Так, например, один фермер из Малмсбери в Уилтшире надумал кастрировать двух своих юных подмастерьев, чтобы продать их в оперу в качестве певцов. Вторая часть его плана не удалась, но, к сожалению, он успел осуществить первую.

До середины XIX века дети были почти совершенно бесправны в юридическом смысле. В частности, закон, запрещающий воровать детей, был издан лишь в 1814 году. Когда в 1802 году жительница Мидлсекса Элизабет Салмон похитила девочку по имени Элизабет Импи, ее осудили лишь за то, что она украла чепчик и платице, поскольку только эта часть деяния была незаконной. Пользуясь этой дырой в законе, цыгане часто воровали детей, а потом их продавали. Известен случай, когда благородная дама Мэри Дэвис случайно нашла своего пропавшего сына в гостинице. Он прочищал дымоход в том номере, где она остановилась.

Промышленная революция только усугубила ситуацию. До 1844 года фабричное законодательство ограничивало рабочий день для детей так: шесть дней в неделю, по двенадцать-четырнадцать часов в день, но если на фабрику поступал большой заказ, приходилось трудиться еще дольше. В 1810 году на одной фабрике подмастерья начинали работу без десяти шесть утра, а заканчивали после девяти вечера. У них был только один перерыв на обед длительностью от тридцати до сорока пяти минут, причем иногда дети ели, не отходя от станков.

Питание почти повсеместно было скудным; его едва хватало для поддержания жизни. «На завтрак и ужин они едят кашу, сваренную на воде, а на обед обычно овсяную лепешку с патокой или жидким мясным бульоном», — докладывал один инспектор. На некоторых фабриках были совершенно невыносимые условия. Такие материалы, как лен, нужно было постоянно смачивать в процессе их производства; от станков летели брызги, и рабочие постоянно ходили мокрыми, даже зимой. Почти все промышленные агрегаты представляли опасность, особенно когда работавшие на них люди были голодными и истощенными. По словам очевидцев, некоторые дети так уставали, что у них не оставалось сил даже на еду: они засыпали с куском хлеба во рту.

Но у них, по крайней мере, была постоянная работа. Для тех же, кто перебивался случайными заработками, жизнь превращалась в бесконечную лотерею. В 1750 году треть обитателей центрального Лондона ложилась спать «почти без гроша в кармане», и со временем ситуация только ухудшилась. Поденные рабочие просыпались утром, не зная, удастся ли им сегодня поесть. В таких мрачных условиях существовало большинство из тех, кому Генри Мейхью посвятил целый том своего четырехтомника «Труженики и бедняки Лондона». Это были представители самого дна общества, просеиватели мусора. Для них была ценностью любая вещь, найденная в сточной канаве. Мейхью писал:

*Многие предметы, которые в главных городах графств даже нищие пинают ногами... в Лондоне считаются добычей, которую можно продать за деньги. К примеру, раздавленная женская шляпка или даже старый чепец, потертый, бесформенный и безнадежно рваный, — все поднимается и аккуратно укладывается в суму...*

Условия, в которых жила беднота, порой были настолько убогими, что даже самые суровые наблюдатели приходили в ужас. В 1830-х один инспектор бедных кварталов писал в своем отчете:

*Я обнаружил [одну комнату], в которой жили один мужчина, две женщины и двое детей. Там же лежал труп несчастной молодой женщины, умершей в родах несколько дней назад.*

Бедняки обычно рожали по много детей, надеясь, что хотя бы часть потомства выживет и поддержит их в старости. Ко второй половине XIX века у одной трети английских семей было по восемь детей и более, у еще одной трети — от пяти до семи и, наконец, у последней трети (состоятельных людей) — четверо и меньше.

В самых бедных кварталах редкая семья ела вдоволь, поэтому по меньшей мере у 15 % детей был рахит. Один лондонский врач викторианской эпохи опубликовал список яств, которыми бедняки кормили малышей: студень из телячьих ножек; оладьи, сдобренные растительным маслом; хрящеватое мясо, которое маленькие дети просто не могли разжевать.

Дети, только что отнятые от груди и едва научившиеся ходить, часто ели только то, что падало на пол, или то, что можно было найти на помойке. Когда им исполнялось по семь-восемь лет, родители выгоняли их на улицу, чтобы они сами искали себе пропитание. В 1860-х в Лондоне насчитывалось сто тысяч уличных мальчишек, у которых не было ни образования, ни полезных навыков, ни цели в жизни, ни будущего. «Уже одно их количество приводит в ужас», — писал один современник.

Несмотря на все это, идея обучения беспризорников была почти повсеместно встречена с осуждением. Люди боялись, что дети бедняков, получив образование, захотят найти себе достойную работу, на которую не смеют претендовать в силу низкого происхождения. Сэр Чарльз Эддерли, отвечавший в конце 1850-х годов за государственную образовательную

политику, прямо заявил: «Было бы неправильным держать детей рабочих в школе после достижения ими возраста, в котором они начинают трудиться. Это все равно что послать учащихся Итона и Харроу копать землю лопатами».

Ярче всех описал ситуацию преподобный Роберт Мальтус (1766–1834) в своем «Очерке о законе народонаселения». Эта работа была опубликована в 1798 году и сразу же стала крайне известной. Мальтус винит бедняков в их собственных бедах и критикует идею облегчения страданий масс, утверждая, что это лишь усилит в бедняках их врожденную склонность к безделью:

*Даже если у них есть возможность спастись из нужды, они редко ее используют, ибо игнорируют все, что выходит за рамки их сиюминутных потребностей, и проводят время в пивных. Таким образом, английские законы о бедных принижают волю и стремление простых людей к спасению, тем самым ослабляя один из самых сильных стимулов сохранять трезвость и развивать промышленность, а значит, быть счастливыми.*

Мальтуса особенно беспокоили ирландцы; в 1817 году он пишет одному из друзей: «Большую часть этого населения следует стереть с лица земли». В душе этого человека было не слишком много христианского милосердия.

Из-за тяжелых условий существования в бедных кварталах уровень смертности резко возрастал. В Дадли в регионе Мидлендс средняя продолжительность жизни в Средние века составляла всего 18,5 лет; такой низкий показатель не наблюдался в Британии со времен бронзового века. Даже в самых экологически чистых городах средняя продолжительность жизни равнялась 26–28 годам; ни в одном урбанизированном районе страны этот показатель не превышал тридцати лет.

Как обычно, больше всего страдали дети, однако их благополучие и безопасность почти никого не волновали. Самым красноречивым фактом, отражающим образ жизни британцев в XIX веке, является то, что Общество по защите животных от жестокого обращения было основано на шестьдесят лет раньше аналогичного Общества по защите детей. Стоит также отметить, что в 1840 году, через пятнадцать лет после своего основания, первое Общество стало королевским, однако Национальное общество по защите детей от жестокого обращения и по сей день не удостоилось внимания коронованных особ.

Как раз в тот момент, когда жизнь английских бедняков казалась совершенно беспросветной, на простолюдинов обрушились новые беды. Причиной удара было введение и строгое исполнение новых законов о помощи бедным, начавшееся в 1834 году. Помощь бедным всегда была проблемой. Многие зажиточные люди викторианской эпохи больше тревожились не о плачевном положении неимущих, а о том, сколько им придется заплатить, чтобы облегчить их участь.

Законы о бедных существовали еще с елизаветинских времен, но каждый приход самостоятельно решал, как их применять на практике. Некоторые были относительно щедры, зато в других приходах скарденность достигала такого уровня, что неимущих больных и рожениц тайком перевозили в другие приходы, чтобы снять с себя ответственность. Незаконнорожденные дети раздражали особенно. Местные власти с маниакальным вниманием следили за тем, чтобы оба «преступника» — и мать, и отец — были должным образом наказаны. Вот типичное решение ланкаширского суда, принятое в начале XVII века:

*Джейн Сотуорт из Райтингтона, незамужняя, клянется, что Ричард Гарстанг из Фазакерли, земледелец, является отцом Эллис, ее незаконнорожденной дочери. Ей надлежит опекать ребенка в течение двух лет при условии, что она не будет нищенствовать. Затем опекуном станет Ричард до достижения дочерью одиннадцатилетнего возраста. Он должен дать Джейн корову и шесть шиллингов. Сегодня в Ормскирке и он, и она будут выпороты розгами.*

К началу XIX века проблема помощи бедным привела к национальному кризису. Наполеоновские войны сильно истощили государственную казну, а с наступлением мира ситуация только ухудшилась, поскольку триста тысяч солдат и моряков вернулись к гражданской жизни и начали искать работу в условиях экономического спада.

Этой проблеме нашлось решение в виде учреждения национальной сети работных домов с правилами, соответствующими единому государственному стандарту. Комиссия, секретарем которой был неумолимый Эдвин Чадвик, рассмотрела этот вопрос с типичной для того

времени (и для Чадвика) тщательностью и в итоге выпустила тринадцатитомный отчет. По мнению комиссии, новые рабочие дома должны были стать максимально непривлекательными для бедняков. В качестве предостережения предлагалась история — настолько показательная, что ее стоит привести здесь целиком:

*Я помню случай, который произошел с семьей Уинтл, состоявшей из мужа, жены и пятерых детей. Около двух лет назад отец, мать и двое детей сильно заболели и вынуждены были продать всю свою скромную мебель, чтобы добыть средства к существованию. Они поселились с нами, и когда мы услышали об их крайней нужде, я пришел к ним, чтобы помочь. Однако они категорически отказались от помощи.*

*Я сообщил об этом церковному старосте, который решил меня сопровождать, и мы вместе опять стали настаивать, чтобы семья получила помощь, но они по-прежнему отказывались. Мы ничего не могли поделать. Но мы так сильно им сочувствовали, что послали им 4 шиллинга и письмо, в котором говорилось, что они могут обратиться к нам и мы пришлем им еще денег, если они не выздоровеют. Они так и сделали, и с тех пор (а прошло уже больше двух лет) чаще чем раз в три недели мы даем им деньги, хотя все члены семьи здоровы. Таким образом, мы их избаловали. Я без колебаний могу сказать, что в девяти случаях из десяти щедрость церковного прихода приводит к подобному результату.*

Отчет комиссии ханжески обличал тех, «кто считает поддержку со стороны церковного прихода своей привилегией и требует ее, ссылаясь на свои права». По мнению членов комиссии, помощь стала уж слишком доступной для бедных:

*Неимуций думает, что правительство ради него отменило обычные законы природы и постановило, что дети не должны страдать из-за халатности своих родителей, жена — из-за халатности мужа, а муж — из-за халатности жены; что никто не должен лишаться жизненных благ, даже если он бездельник и мот.*

С усердием, близким к паранойе, авторы отчета утверждали, что

бедняк-рабочий может сознательно «отомстить церковному приходу», женившись и родив детей; тем самым он «увеличит уровень перенаселенности и истощит фонд поддержки неимущих рабочих». Он ничего не потеряет, так как его дети смогут работать дома и «станут источником дохода для родителей, если их ремесло будет процветать, а в случае неуспеха воспользуются поддержкой церковного прихода».

Чтобы беднякам не казалось, что рабочие дома — это подарок за их безделье, были введены жесткие правила. Мужей отделяли от жен, а детей — от родителей. Обитатели некоторых рабочих домов носили униформу, похожую на тюремную. Им нарочно давали невкусную еду («Питание ни в коем случае не должно быть лучше, чем у рабочих, живущих по соседству», — постановили члены комиссии). Разговоры в столовой и за работой были запрещены. Попадая в рабочий дом, человек лишался всякой надежды.

Постояльцы рабочих домов часами трудились, чтобы заработать на еду и кров. Одной из обычных работ было щипание пакли. Пакля представляла собой старую веревку, густо покрытую смолой и применявшуюся для конопачения морских судов. Рабочие отрывали от веревки отдельные пряди, чтобы затем изготовить из них новые веревки. Это была тяжелая, неприятная и нескончаемая работа; жесткие волокна больно царапали кожу. В рабочем доме «Поплар» на востоке Лондона мужчины должны были нащипать пять с половиной фунтов пакли в день — это почти вдвое превосходило норму для тюремных заключенных.

Тех, кто не сумел выполнить норму, сажали на хлеб и воду. К 1873 году две трети обитателей «Поплара» получали урезанный рацион. В рабочем доме в Андовере, Хэмпшир, где обычным заданием было измельчение костей на удобрения, работники от голода сосали кости в надежде высосать хоть немного костного мозга.

Медицинское обслуживание почти повсеместно было недостаточным и предоставлялось неохотно. Чтобы сэкономить средства, пациентам из рабочих домов делали хирургические операции без анестезии. Заболевания были эндемическими. У рабочих часто развивался туберкулез двух типов: либо чахотка, либо скрофула (золотуха), которая поражала кости, мышцы и кожу. Всегда был риск заразиться тифом.

Дети, как правило, были сильно истощены, поэтому заболевания, которые сейчас легко излечиваются, нередко становились смертельными. В XIX веке от кори умерло больше детей, чем от каких-либо других недугов. Коклюш и круп отправили на тот свет десятки тысяч малолетних обитателей рабочих домов: духота и скученность сильно способствовали

распространению вирусов.

Условия в некоторых рабочих домах были настолько плохими, что там появлялись специфические заболевания. Одно неопределенное хроническое недомогание — теперь считается, что это сочетание разных кожных инфекций, — называлось просто «чесотка». Оно возникало вследствие плохой гигиены и скудости питания.

По этим же причинам у рабочих выявлялись острицы, ленточные черви и другие виды глистов. Манчестерская фармацевтическая компания выпустила глистогонное слабительное, и один пользователь с гордостью сообщал, что из него вышло три сотни глистов, «некоторые были необычно толстыми». Обитатели рабочих домов могли лишь мечтать о подобных лекарствах.

Стригущий лишай и другие грибковые заболевания тоже постоянно присутствовали. Вши никогда не переводились. Одним из методов борьбы с ними являлось замачивание постельного белья в растворе хлорида ртути, после чего простыни становились ядовитыми не только для вшей, но и для тех несчастных, кто на них спал.

Кроме того, вновь прибывших обитателей подвергали грубой процедуре обеззараживания. В одном рабочем доме в Мидлендсе посчитали мальчика, которого звали Генри Картрайт, таким вонючим, что надзирательница приказала посадить его в раствор сернистого калия в попытке уничтожить неприятный запах. В результате она уничтожила самого ребенка. Когда беднягу достали из раствора, он был уже мертв.

Власти не были совсем уж равнодушны к подобному обращению. Когда в Brentwude, графство Эссекс, медсестра Элизабет Гиллесли столкнула одну девочку с лестницы, в результате чего та умерла, Гиллесли осудили на пять лет тюрьмы. Тем не менее физические наказания и сексуальные домогательства, особенно в отношении детей, были широко распространены.

На практике рабочие дома могли вместить не больше одной пятой всех лондонских бедняков. Остальные неимущие выживали на пособия, которых едва хватало на оплату жилья и пищу. Собрать эти деньги было делом отнюдь нелегким. К. С. Пил рассказывает про одного безработного пастуха из Кента — «честного и работающего мужчину, не по своей вине оказавшегося без работы», — которому требовалось каждый день проходить пешком двадцать шесть миль, чтобы получить жалкую сумму в один шиллинг и шесть пенсов на себя, свою жену и пятерых детей. Пастух на протяжении девяти недель ежедневно совершал эти обходы, а потом свалился от слабости и голода.

В Лондоне некая Анни Каплан после смерти мужа вынуждена была в одиночку растить шестерых детей. Ей сказали, что она не прокормит всех своих детей на ничтожное пособие, и велели отдать двоих в детский дом. Каплан отказалась. «Если четверо будут голодать, то и шестеро тоже будут голодать, — заявила она. — А если у меня найдется кусок хлеба для четверых, то я прокормлю им и шестерых... Я никого не отдам». Власти просили ее передумать, но она стояла на своем, и ей отказали в пособии. Что стало с ней и ее детьми, неизвестно.

Одним из немногих активно сочувствовавших бедным был весьма примечательный персонаж по имени Фридрих Энгельс. Он приехал в Англию в 1842 году, в возрасте двадцати одного года, чтобы помочь своему отцу управлять манчестерской текстильной фабрикой. Фирма «Эрмен энд Энгельс» торговала нитками. Молодой Энгельс был преданным сыном и честным бизнесменом (в конце концов он стал партнером), а также регулярно отправлял небольшие суммы из доходов фирмы в Лондон своему другу и единомышленнику Карлу Марксу.

Как ни странно, Энгельс был одним из основателей такого аскетического движения, как коммунизм. Искренне желая свергнуть капитализм, Энгельс наслаждался всеми его благами: был богат и вел весьма комфортное существование, держал конюшню с отличными лошадьми, по выходным охотился с собаками на мелкую дичь, наслаждался лучшими винами, имел любовницу и общался с манчестерской элитой в модном клубе Альберта — короче, делал все то, что делают успешные члены высшего общества. Маркс, последовательно осуждавший буржуазию, жил как истинный буржуа: он отправил своих дочерей учиться в частные пансионы и при каждом удобном случае хвастался аристократическим происхождением своей супруги.

Трудно сказать, почему Энгельс поддерживал Маркса. В 1851 году Маркс согласился на должность иностранного корреспондента газеты New York Daily Tribune, но не имел ни малейшего желания писать статьи. Начать хотя бы с того, что он плохо знал английский. Ему хотелось, чтобы Энгельс писал за него, а он получал бы гонорары. Так оно и случилось. Этого дохода не хватало, чтобы жить на широкую ногу, потому-то он и заставил Энгельса тянуть деньги из отцовской фирмы. Энгельс делал это на протяжении нескольких лет, сильно рискуя собственной репутацией в глазах отца.

Энгельс не только управлял фабрикой и поддерживал Маркса, но и проявлял живой интерес к судьбам манчестерских бедняков. Впрочем, его

взгляды не всегда были беспристрастными. Как я уже говорил в предыдущей главе, он не любил ирландцев и считал, что неимущие сами виноваты в своих бедах. Однако до него еще никто не писал с таким сочувствием о жизни в викторианских трущобах. В своей работе «Положение рабочего класса в Англии» он описывает людей, живущих среди грязных и вонючих отходов.

Энгельс рассказывает про женщину, два маленьких сына которой, будучи на грани замерзания и голода, воровали еду. Когда полицейский привел мальчиков домой, он увидел мать и еще шестерых ее детей, «сгрудившихся в тесной комнатухе, меблированной двумя старыми стульями с сиденьями из камыша и маленьким столиком с двумя сломанными ножками, на котором стояли разбитая чашка и небольшая тарелка. Огонь в камине чуть теплился, а в углу валялись старые тряпки, служившие всем домочадцам постелью».

Описания Энгельса, несомненно, трогают и часто цитируются сегодня, но не стоит забывать, что его книга была опубликована в Германии в 1845 году и переведена на английский язык только через тридцать два года. В качестве реформатора британского общества Энгельс не имел никакого влияния, реформы начались без его участия.

Постепенно условия жизни бедняков привлекли внимание власть имущих. В 1860-х у журналистов появилась мода одеваться бродягами и инкогнито посещать работные дома с тем, чтобы потом описать свои приключения. Читатели, сидя в своих уютных гостиных, ужасались.

Они узнали, как обитателей работного дома в Ламбете заставляли раздеваться догола и залезать в грязную ванну «цвета жидкого бараньего бульона», наполненную водой, в которой до этого мылись другие постояльцы. В мрачных спальнях мужчины и мальчики лежали вповалку, «совершенно нагими», на «постелях», больше напоминавших обычные мешки с соломой:

*Взрослые мужчины обнимали юношей, а этих мужчин, в свою очередь, обнимали другие мужчины. Там не было ни огня, ни света, ни надзирателей. Слабые и немощные находились в полной зависимости от сильных и жестоких. Воздух был наполнен зловонием.*

Взволнованное этими отчетами, новое поколение благотворителей учредило ряд необычных организаций: «Комитет для основания бань для рабочего класса», «Общество за искоренение детского и подросткового

бродяжничества», «Общество поощрения комнатного цветоводства в среде рабочего класса Вестминстера» и даже «Общество спасения мальчиков, еще не бывших под судом». Эти организации стремились привить беднякам привычку к трезвости, усердию, гигиене, законопослушности и прочим добродетелям, а также привить им христианские нравы.

Благотворители пытались улучшить и жилищные условия неимущего класса. Одним из самых щедрых был Джордж Пибоди, американский бизнесмен, обосновавшийся в Англии в 1837 году (возможно, вы помните, что именно он выручил Америку, когда у нее не хватало денег, чтобы разместить на «Великой выставке» свои экспонаты). Он потратил большую часть своего огромного состояния на строительство многоквартирных домов для бедняков по всему Лондону.

В домах Пибоди, в чистых и сравнительно просторных квартирах, разместилось почти пятнадцать тысяч людей, но везде ощущалось тяжкое бремя запретов. Жильцам не разрешалось ни красить стены, ни клеить на них обои. Они не имели права вешать шторы или каким-то еще способом украшать свои квартиры. В результате их жилища были почти такими же мрачными, как тюремные камеры.

Но настоящим прорывом стало внезапное расширение миссионерской деятельности; самый большой вклад в нее внес молодой выходец из Ирландии, сосредоточившийся на помощи нищим детям (часто вопреки их желанию). Этого человека звали Томас Барнардо. Он приехал в Лондон в начале 1860-х, и его настолько потрясли условия жизни бедной молодежи, что он учредил организацию, официально называвшуюся «Национальная ассоциация помощи обездоленным и беспризорным детям», хотя всем она была известна просто как «Ассоциация доктора Барнардо».

Родители Барнардо были испанскими евреями, переехавшими сначала в Германию, а затем в Ирландию. К моменту рождения Томаса в 1845 году они крестились и стали чрезвычайно консервативными протестантами. Сам Барнардо попал под влияние идей «плимутских братьев»<sup>[89]</sup> и поэтому приехал в Лондон: он собирался выучиться на врача и заняться миссионерской работой в Китае. В Китае он так и не побывал, да и на врача тоже не выучился. Он решил стать миссионером в среде бездомных мальчишек (а потом и девочек). Заняв деньги, он открыл свой первый дом в Степни, рабочем районе лондонского Ист-Энда.

Барнардо был блестящим мастером саморекламы. Он провел крайне успешную пиар-кампанию, основанную на поразительных фотографиях детей, которых он спас, — их фотографировали до того, как они попали под его опеку, и после. Первые снимки изображали чумазых, плохо одетых

бродяжек с мрачными лицами, тогда как на вторых красовались умытые, энергичные и сияющие физиономии. Кампания была настолько успешной, что вскоре Барнардо расширил поле своей деятельности: он начал открывать лазареты, дома для глухих детей, дома для бездомных чистильщиков обуви и многое другое.

Вывеска, украшавшая фасад дома в Степни, гласила: «Ни один бедный ребенок не будет отвергнут». Такой благородный подход тут же создал для Барнардо множество недругов. Дело в том, что практика приема в приют без всяких дополнительных условий противоречила новому Закону о бедных, принятому в 1834 году.

Расширяя свою деятельность, Барнардо поссорился с коллегой-миссионером Фредериком Чаррингтоном. Выходец из очень богатой семьи пивоваров из Ист-Энда, Чаррингтон занялся миссионерской деятельностью после того, как однажды увидел пьяного мужчину, избивающего жену у паба, принадлежавшего семье Чаррингтон. Сам Фредерик только что вышел из этого пивного заведения, и несчастная женщина осмелилась попросить у него милостыню, чтобы накормить своих голодных детей. С этого момента Чаррингтон стал трезвенником, отказался от наследства и стал работать с бедняками.

Он считал улицу Майл-Энд-роуд собственной сферой влияния, поэтому, когда Барнардо выразил желание открыть там столовую для трезвенников, Чаррингтон оскорбился и начал безжалостную кампанию по подрыву репутации своего коллеги. С помощью странствующего проповедника Джорджа Рейнолдса (который до недавнего времени был грузчиком на железнодорожном вокзале) он распространял слухи о том, что Барнардо лжет о своем происхождении, что он плохо управляет своими домами, что он спит со своей домовладелицей и обманывает общество с помощью фальшивой рекламы. Кроме того, Чаррингтон намекал, что дома Барнардо — рассадники содомии, пьянства, шантажа и других ужасных пороков.

К несчастью для Барнардо, кое-что в этих обвинениях было правдой, и Барнардо лишь усугубил ситуацию, отреагировав на нападки Чаррингтона неуклюжей ложью. Когда тот заявил, что Барнардо обманывает общество, представляясь дипломированным врачом (а это, согласно Медицинскому акту 1858 года, было достаточно серьезным преступлением), Барнардо предъявил диплом некоего немецкого университета, который был тут же разоблачен как плохая подделка.

Кроме того, его противники доказали, что многие фотографии нищих детей, снятых до опеки, были слегка «подправлены», чтобы сильнее

подчеркнуть их бедность. На этих постановочных снимках дети были изображены в искусственно разодранной одежде, трогательно обнажавшей голое тело; тем самым Барнардо, по словам его недругов, пытался воззвать к низменным инстинктам зрителей. Даже самые преданные сторонники Барнардо усомнились в его искренности. Вызывали беспокойство и его долги. Одним из основных принципов «плимутского братства» была воздержанность и экономия, а Барнардо легко и неоднократно брал кредиты на свои бесконечные миссионерские программы. В конце концов Барнардо признали виновным в подделке фотографий и незаконном присвоении себе медицинской квалификации, но оправдали по более серьезным обвинениям.

Как ни странно, жизнь в приюте Барнардо была почти такой же малопривлекательной, как и жизнь в работных домах. Постояльцев поднимали с постели в 5:30 утра и заставляли работать до 6:30 вечера с короткими перерывами на еду, молитву и некоторое количество уроков. Вечера посвящались муштре, учебе и молитве. Если кто-то из детей пытался сбежать из приюта, его сажали в карцер. Барнардо не просто нанимал детей на работу, он буквально выдергивал их из уличной среды в порыве человеколюбия. Каждый год около полутора тысяч мальчиков отправляли морем в Канаду, чтобы освободить место в приютах для новых беспризорников.

К моменту смерти Барнардо в 1905 году через его дома прошло 250 000 детей, а за организацией накопился колоссальный долг в размере 250 000 фунтов стерлингов.

### III

До сих пор мы говорили только о детях бедняков, но и детям состоятельных господ подчас приходилось несладко. Отпрыски благополучных семей страдали в основном от душевной черствости родителей и учились жить в мире, лишенном любви и привязанности.

С самого его рождения от ребенка, появившегося на свет в семье среднего и высшего классов викторианской Британии, ожидали, что он будет послушным, исполнительным, честным, трудолюбивым, твердым духом и эмоционально выдержанным. Дети явно получали недостаточно тепла и ласки. Когда они выходили из младенческого возраста, их физический контакт со взрослыми сводился лишь к редким рукопожатиям. Типичный дом процветающего сословия являл собой, по словам одного

современника, мир «холодных, суровых и крайне негуманных взаимоотношений, пресекавших любые проявления дружеского участия, которое должно быть в каждой семье».

Детям благополучных родителей зачастую приходилось терпеть тяготы чрезвычайно строгого воспитания. У шурина Изабеллы Битон Уилли Смайлса было одиннадцать детей, но стол для завтрака накрывали только на десятерых, чтобы приучить детей не опаздывать. Гвен Рейверат, дочь одного кембриджского ученого, вспоминала, как ее ежедневно заставляли солить кашу, а родители в это время посыпали свои порции сахаром. Ей не разрешалось намазывать хлеб джемом, поскольку «сладости портят характер». Одна современница Гвен из столь же обеспеченной семьи с грустью вспоминает, как кормили в детстве ее и сестру: «Мы ели апельсины только на Рождество, а мармелада вообще не видели».

Родители не только подавляли вкусовые рецепторы своих детей, но и всячески устрашали их — в воспитательных целях. В то время были очень популярны книги, готовившие своих юных читателей к тому, что они в любой момент могут умереть — так же, как их мамы, папы и любимые братья и сестры. В подобных книгах говорилось о том, как прекрасен рай (хоть там тоже нет ни джема, ни других запретных сладостей). По всей видимости, взрослые таким способом пытались отучить ребенка от страха перед смертью, однако часто добивались совершенно противоположного эффекта.

Другие литературные произведения внушали детям, что непослушание не только преступно, но и крайне неразумно. В популярном стихотворении «Ужасная история про Паулину и спички» рассказывалось про маленькую девочку, которая не послушала маму и стала играть со спичками:

Не вняв разумному совету,  
Паулина спичку вмиг зажгла.  
О, как красиво пламя это!  
Вот это новая игра!

Паулина прыгала от счастья,  
Огонь трещал в ее руке,  
Но что такое? В одночасье  
Настал конец! Она в беде!

Горит Паулинин новый фартук,  
Горят и руки, и коса,

Объята пламенем Паулина,  
Померкла девичья краса!

Чтобы маленькие читатели все правильно поняли, стихотворение сопровождалось рисунком, изображавшим насмерть перепуганную маленькую девочку, охваченную безжалостным пламенем. Завершали стихотворение следующие строки:

Сгорела вся ее одежда,  
Сгорели пальцы, уши, нос;  
Сгорело тело, а надежду  
Огонь жестокий враз унес.

Осталась только горстка пепла,  
А в ней два красных башмачка,  
Душа для жизни не окрепла  
И вмиг ушла на облака.

«Ужасная история про Паулину и спички» — одно из стихотворений немецкого врача Генриха Гофмана, который изначально писал для собственных детей, пытаясь привить им житейскую осмотрительность. Книжки Гофмана пользовались большим успехом и были переведены на разные языки, в числе переводчиков был и Марк Твен. Все стихотворения строились по одной схеме: сначала Гофман описывал ребенка, поддавшегося запретному искушению (а к подобным искушениям относились почти все детские развлечения), а потом показывал, к каким необратимым и страшным последствиям привела его шалость.

В другом стихотворении, «История малыша, сосавшего большой палец», мальчику по имени Конрад было сказано, чтобы он не сосал пальцы, потому что это может привлечь внимание великана-портного, который всегда приходит к маленьким мальчикам, сосущим большие пальцы, и отрезает их огромными острыми ножницами.

К сожалению, малыш не послушался, и его настигло неотвратимое наказание: пришел великан-портной и в один момент — щелк, щелк, щелк! — отрезал Конраду два больших пальца. Потом домой вернулась мама; Конрад показал ей свои руки, а она сказала: «Я так и знала, что он придет к тебе, маленький негодник!»

Детям постарше такие стихи, возможно, казались забавными, но малышам они приводили в совершенный ужас — на что, собственно, и рассчитывал автор. Текст сопровождался такими же страшными иллюстрациями, на которых потрясенные дети либо горели в огне, либо лишались полезных частей тела.

Богатые родители часто оставляли своих детей на попечение слуг, и малыши становились жертвами их прихотей. Будущего лорда Керзона, сына пастора из Дербишира, годами терроризировала полубезумная гувернантка, которая привязывала его к стулу или на несколько часов запирала в кухонном шкафу, съедала его десерты и заставляла его письменно признаваться в преступлениях, которых он не совершал. Она водила его по деревне, обрядив в нелепый комбинезон и повесив ему на шею плакат с надписью «ЛЖЕЦ» или «ВОР», причем все эти обвинения были абсолютно беспочвенными. Мальчик был настолько травмирован психически, что, пока был маленьким, никому не рассказывал об этих издевательствах.

Детство будущего шестого графа Бичема было почти таким же кошмарным. Его гувернантка, религиозная фанатичка, заставляла своего подопечного каждое воскресенье посещать по семь церковных служб, а в промежутках между ними писать сочинения о неизмеримом милосердии Господнем.

Но для многих это было всего лишь легкой разминкой перед суровым испытанием — частной школой. Английская частная школа XIX века с большим энтузиазмом предоставляла своим ученикам полный набор невзгод и лишений. С самого поступления для них устанавливался строгий режим, включавший холодные ванны, частые телесные наказания и намеренно невкусную пищу.

Мальчики из колледжа Рэдли, расположенного недалеко от Оксфорда, регулярно голодали — до такой степени, что им приходилось выкапывать в школьном саду цветочные луковицы и жарить их над свечами у себя в комнатах. В других школах, где не было луковиц, мальчики ели сами свечи.

Писателя Алека Во, брата Ивлина Во, отдали в начальную школу Фернден, которая, судя по всему, открыто исповедовала принципы садизма. В первый же день пальцы Алека окунули в банку с серной кислотой, чтобы отучить его грызть ногти, а вскоре после этого заставили съесть содержимое миски с манным пудингом, в которую его только что вырвало. Понятно, что потом его всю жизнь воротило от манной каши.

Условия жизни в частных школах были ужасными. Рисунки с

изображением школьных дортуаров XIX века показывают, что эти помещения практически не отличались от тюремных камер и общих спален в рабочих домах. Там зачастую было так холодно, что за ночь замерзала вода в графинах. Кровати представляли собой деревянные топчаны, на каждый из которых была брошена пара грубых одеял, а подушки вовсе отсутствовали. Каждую ночь персонал Вестминстера и Итона запирали в просторных залах примерно по пятьдесят мальчиков и оставлял их без присмотра до утра; самые слабые оказывались во власти самых сильных. Младшим мальчикам иногда приходилось вставать среди ночи, чтобы начистить сапоги, принести воду и сделать всю остальную тяжелую работу, которую требовалось выполнить до завтрака. Неудивительно, что Льюис Кэрролл с ужасом вспоминал свои школьные годы. По его словам, он ни за что на свете не согласился бы пережить это еще раз.

Многих мальчиков пороли ежедневно, по два раза в сутки. Отсутствие порки уже было поводом для радости. «На этой неделе я исправил оценки по арифметике, и меня не били розгами», — хвалился один мальчик из Винчестера в письме домой в начале XIX века. Ученики обычно получали от трех до шести ударов, но часто больше. В 1682 году директору Итона пришлось оставить свою должность после того, как он убил мальчика. У многих молодых людей вырабатывалась нездоровая привычка к битью; извращенное удовольствие, получаемое от порки, называли в Европе *le vice anglais*<sup>[90]</sup>. По крайней мере два премьер-министра XIX века, Мельбурн и Гладстон, были, судя по всему, законченными садомазохистами, а некая миссис Коллет держала в Ковент-Гардене бордель, специализировавшийся на порке.

Но прежде всего от детей требовалось неукоснительное послушание. Даже достигнув совершеннолетия, они должны были делать то, что им велели старшие. Родители сами выбирали для них будущих супругов, профессию, образ жизни, политические взгляды, стиль одежды и прочее, а если их отпрыск восставал против такого диктата, финансово ограничивали непокорного.

Социальный реформатор Генри Мейхью остался без средств к существованию, когда отказался выполнить волю отца и стать юристом. То же самое произошло с шестью из семи его братьев. Только седьмой пожелал заняться юриспруденцией (а может, просто не захотел терять поместье, предназначавшееся ему по завещанию); он послушно выучился на адвоката и в результате получил большое наследство.

Поэтессу Элизабет Барретт лишили наследства за то, что она вышла замуж за поэта Роберта Браунинга, который не только был нищим, но и — о

ужас! — внуком трактирщика. Точно так же скандализированные родители Эллис Робертс оставили ее без наследства, потому что она выбрала себе в мужа настройщика фортепиано, да к тому же еще и католика! К счастью для мисс Робертс, ее супруг, Эдуард Элгар, впоследствии стал знаменитым композитором и все-таки сделал ее богатой.

Иногда детей лишали наследства по более банальным соображениям. Второй лорд Таунсенд, которого чрезвычайно раздражало женоподобие сына, взял и вычеркнул его из завещания только за то, что тот посмел войти к нему в комнату в туфлях с розовыми бантами. Столь же красноречив пример шестого герцога Сомерсета, которого прозвали «Гордым герцогом»; он требовал от своих дочерей, чтобы они всегда стояли в его присутствии, но однажды, очнувшись от дремы, застал одну из них сидящей и тут же лишил негодницу наследства.

Поразительно, с какой готовностью родители отказывали детям не только в деньгах, но и в привязанности. Элизабет Барретт была очень близка со своим отцом, но, когда она объявила о своем намерении выйти замуж за Роберта Браунинга, мистер Барретт тут же прервал с ней все отношения. Он перестал разговаривать с дочерью, перестал ей писать, хотя ее супруг был одаренным и респектабельным человеком, а их брак основывался на глубоком чувстве. В загадочном викторианском мире послушание ценилось больше, чем любовь и счастье; столь странные приоритеты сохранялись во многих обеспеченных семьях по меньшей мере до Первой мировой войны.

На первый взгляд может показаться, что викторианцы не изобрели детство, а уничтожили его. На самом же деле ситуация была гораздо сложнее. Родители рвали отношения со своими юными детьми, а потом, когда те становились старше, пытались контролировать их поведение. Таким образом, люди викторианской эпохи подавляли детские порывы и одновременно делали все, чтобы их сыновья и дочери никогда не выросли. Поэтому неудивительно, что конец викторианской эпохи почти точно совпал с изобретением психоанализа.

Спорить с родителями считалось настолько недопустимым, что молодые люди, даже достигнув зрелости, старались этого не делать. Прекрасный пример — Чарльз Дарвин. Когда юному Дарвину предложили кругосветное путешествие на корабле «Бигль», он написал своему отцу трогательное письмо, объяснив, почему он так сильно хочет отправиться в это плавание; но он заверил отца, что тут же откажется от участия в путешествии, если отцу почему-либо не понравится эта идея. Мистер

Дарвин-старший подумал и решил, что ему и впрямь это не нравится, и Чарльз, ни слова не говоря, отказался от предложения. Сейчас нам трудно представить, что Чарльз Дарвин не пошел в это плавание, но в то время Дарвину трудно было представить, как можно послушаться отца.

Разумеется, Дарвин в конце концов отправился в этот вояж; его отец смягчился благодаря... запутанным родственным отношениям. Как ни странно, в XIX веке приветствовались внутрисемейные браки. Это хорошо видно на примере Дарвинов и их родственников Веджвудов (прославившихся своей керамикой). Чарльз женился на своей двоюродной сестре Эмме, дочери своего любимого дядюшки Джосайи Веджвуда.

Сестра Дарвина Каролина вышла замуж за Джосайю Веджвуда III, брата Эммы и, соответственно, своего кузена. Другой брат Эммы, Генри, женился на своей двоюродной сестре из другой ветви семьи Веджвудов, усложнив и без того непростые генетические связи собственного семейства. Наконец, некий Чарльз Лэнгтон, не принадлежавший ни к одной из этих двух семей, сначала взял в жены Шарлотту Веджвуд (еще одну сестру Эммы и Джосайи), а после ее смерти женился на родной сестре Дарвина Эмили. Эти крайне запутанные родственные отношения могли обернуться тем, что дети Эмили и Чарльза приходились бы кузенами собственным родителям.

Тем не менее это была одна из счастливейших семей XIX века: почти все Дарвины и Веджвуды искренне симпатизировали друг другу. Когда отец Дарвина выразил свои сомнения касательно планов сына, дядя Джосайя с удовольствием замолвил за Чарльза словечко. Дарвин-старший уважал и любил Джосайю и поэтому передумал и отпустил сына в плавание.

Таким образом, благодаря своему дяде и традиции сохранять гены внутри семьи, Чарльз Дарвин отправился в море и провел там следующие пять лет, собрав факты, которые позволили ему изменить мир. А теперь, пусть и несколько неожиданно, мы поднимаемся наверх и исследуем последнее оставшееся помещение в доме.

## Глава 19

### Чердак

#### I

Богатым на события летом 1851 года, когда люди толпами стекались на лондонскую «Великую выставку», а священник Томас Маршем устраивался в своем новом доме в Норфолке, Чарльз Дарвин принес своим издателям объемистую рукопись, результат восьмилетнего исследования происхождения и повадок усоногих ракообразных.

Монография «Об усоногих», возможно, была не слишком захватывающим чтением, но именно благодаря ей Чарльз Дарвин зарекомендовал себя как уважаемый натуралист и получил, по словам одного биографа, «право говорить, когда пришло время, об изменчивости видов» — то есть об эволюции.

Стоит отметить, что Дарвин продолжил и дальше изучать усоногих. Через три года он произвел на свет 684-страничное исследование усоногих ракообразных и более скромную сопроводительную работу по окаменелым усоногим, не упомянутым в его первой монографии. «Я, как никто другой, ненавижу усоногих», — заявил он по окончании работы, и в этом ему трудно не посочувствовать.

Монография об усоногих раках не стала слишком популярной, как и другая книга, опубликованная в том же 1851 году, — странная, загадочная притча из жизни китобоев, которая называлась просто «Кит». Книга была своевременной, потому что массовая охота на китов уже в то время угрожала им вымиранием, но критики и читающая публика восприняли притчу без энтузиазма. Текст оказался труден для понимания, перегружен рефлексией и огромным количеством фактов.

Месяц спустя книга была выпущена в Америке под другим названием: «Моби Дик». Но там она тоже не пошла. Ее провал кажется странным, ведь автор, тридцатидвухлетний Герман Мелвилл, уже имел большой успех с двумя более ранними романами о морских приключениях — «Тайпи» и «Ому».

«Моби Дик» так и не стал популярен при жизни Мелвилла, та же участь постигла и другие его книги. Он умер, всеми забытый, в 1891 году.

Его последняя повесть, «Билли Бадд», нашла своего издателя только через тридцать лет после смерти автора.

Маловероятно, что мистер Маршем читал «Моби Дика» или монографию об усоногих раках, между тем обе эти работы отражают фундаментальную перемену, постигшую мыслящий мир: у многих возникло почти навязчивое стремление разложить на составляющие каждый казавшийся очевидным факт и пристально рассмотреть его. Среди джентльменов, склонных к такому подходу, стали весьма популярны полевые исследования. Некоторые увлеклись геологией и естественными науками, другие сделали антикварами. Самые отважные пожертвовали домашним уютом и годами исследовали самые дальние уголки света. Они стали называться «учеными» (*scientists*) — это было новое слово, придуманное в 1834 году.

Их любознательность и преданность науке не знали границ. Они с готовностью отправлялись в самые захолустные места и изучали самые ничтожные предметы. Именно в эту эпоху охотник за растениями Роберт Форчун путешествовал по Китаю, притворяясь местным жителем, и тайно собирал сведения о выращивании и обработке чая; Дэвид Ливингстон совершил плавание по реке Замбези и побывал в самых неведомых районах Африки; смелые ботаники прочесывали территории Северной и Южной Америки в поисках новых интересных экземпляров, а двадцатидвухлетний Чарльз Дарвин пустился в качестве натуралиста в эпическое плавание, которое круто изменило не только его, но и наши жизни.

Внимание Дарвина привлекало почти все, с чем он сталкивался во время пятилетнего кругосветного путешествия. Он записал столько фактов и собрал такое количество образцов усоногих, что ему потребовалось еще полтора десятилетия, чтобы разобраться в этих ракообразных. Помимо прочего, у него накопились сотни образцов новых видов растений; он сделал множество важных геологических открытий; разработал широко признанную ученым миром гипотезу, объясняющую формирование коралловых атоллов; собрал материалы, необходимые для создания революционной теории жизни, — неплохое начало для молодого человека, который вместо всего этого вполне мог бы, согласно воле своего отца, сделаться сельским священником, как наш мистер Маршем (Дарвина пугало подобное будущее).

Забавно, но капитан «Бигля» Роберт Фицрой пригласил Дарвина в кругосветное путешествие именно из-за его геологического образования: Фицрой надеялся, что Дарвин сможет доказать божественное происхождение жизни. Джосая Веджвуд, уговаривая Роберта Дарвина

отпустить сына в плавание, тоже напирал на то, что «исследование законов природы — весьма подходящее занятие для священнослужителя».

Однако чем больше Дарвин изучал окружающий мир, тем больше он убеждался в том, что история планеты устроена куда сложнее, чем представляется многим священникам: например, на формирование коралловых атоллов ушло бы гораздо больше времени, чем отведено в Библии на всю историю мироздания, — это вольнодумство совершенно возмущало набожного капитана Фицроя.

В конце концов Дарвин разработал концепцию «выживания сильнейших», как ее иногда называют, или происхождения видов, как он сам ее называл. Эта теория объясняла удивительную сложность живых существ и не предполагала божественного вмешательства. В 1842 году, через шесть лет после окончания путешествия, Дарвин на 230 страницах кратко набросал основные принципы своей теории, а затем... запер свою работу в ящике стола и держал ее там следующие шестнадцать лет. Он понимал, что эта тема слишком взбудоражит общественность.

Задолго до появления дарвиновской теории люди находили вещи, которые противоречили ортодоксально религиозному взгляду на природу. Одна из первых таких находок была сделана всего в нескольких милях от старого дома приходского священника, в деревне Хоксен, где богатый землевладелец и антиквар Джон Фрир обнаружил в конце 1790-х множество кремниевых орудий вперемешку с костями давно вымерших животных. Такое соседство наводило на мысль о том, что древние люди существовали одновременно с этими древними животными. Как рассказал Фрир в своем письме лондонскому Обществу любителей древностей, найденные орудия сделаны людьми, «которые еще не использовали металлы... что относит их к очень древнему периоду».

Идея показалась слишком фантастической для того времени, и ею просто пренебрегли. Секретарь Общества поблагодарил Фрира за его «весьма любопытное сообщение», и в течение следующих сорока лет к этому вопросу больше не возвращались<sup>[91]</sup>.

Затем были сделаны новые находки древних орудий и древних костей. В пещере рядом с Торки, в графстве Девон, преподобный Джон Макенери, католический священник и археолог-любитель, обнаружил неопровержимые свидетельства того, что древние люди охотились на мамонтов и других ныне вымерших животных. Эта мысль показалась Макенери настолько противоречащей библейским текстам, что он сохранил в тайне свои находки.

Потом французский таможенник Жак Буше де Перт нашел человеческие останки и древние орудия в долине реки Сомма и написал объемистую работу «Кельтские и допотопные древности», которая привлекла мировое внимание. В это же время Уильям Пенгелли, директор одной английской частной школы, осмотрел пещеру, обнаруженную Макенери, а также другую, в соседнем Бриксхеме, и опубликовал находки, которые обескураженный Макенери не пожелал сделать достоянием общественности.

Таким образом, к середине столетия человечество убедилось в том, что на Земле имела место доисторическая эпоха, хотя слово *prehistory* было придумано лишь в 1871 году: слишком уж радикальная идея, чтобы сразу сочинить для нее название.

В начале лета 1858 года натуралист Альфред Рассел Уоллес, исследовавший природу Юго-Восточной Азии, прислал Дарвину набросок статьи, которая произвела на Дарвина сильнейшее впечатление. Статья называлась «К тенденции независимого возникновения вариаций из оригинальной формы». Это была дарвиновская теория, независимо сформулированная другим человеком. «Я никогда не видел более поразительного совпадения, — писал Дарвин. — Если бы у Уоллеса был мой черновик, написанный в 1842 году, он не смог бы сочинить для него лучшего резюме».

Научный этикет требовал, чтобы Дарвин отошел в сторону и отдал Уоллесу право считаться первооткрывателем теории, но Дарвин не мог заставить себя сделать такой благородный жест. Теория эволюции слишком много для него значила. Дело осложнялось тем, что его полуторогодовалый сын Чарльз был тяжело болен скарлатиной. Однако Дарвин нашел время написать письма своим самым высокопоставленным друзьям-ученым, и они помогли ему найти решение.

Был заключен договор, согласно которому Джозеф Хукер и Чарльз Лайель представят краткие изложения обоих трудов на заседании лондонского Линнеевского общества, так что Дарвин и Уоллес будут совместно считаться авторами новой теории. Так они и поступили 1 июля 1858 года. Уоллес, находившийся в далекой Азии, ничего не знал об этих комбинациях. А Дарвин не присутствовал на заседании, потому что в тот день они с женой хоронили сына.

Дарвин немедленно начал работать над книгой, которая была опубликована в ноябре 1859 года и называлась «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Книга сразу же стала бестселлером. Сейчас почти невозможно

представить, до какой степени дарвиновская теория потрясла интеллектуальный мир и до какой степени многим хотелось, чтобы она оказалась неверной. Сам Дарвин заметил в письме другу, что писал эту книгу с таким чувством, «как будто признавался в убийстве».

Набожные люди просто не могли согласиться с тем, что Земля древнее, чем они думали. Один ведущий натуралист, Филипп Генри Госс, выдвинул несколько отчаянную альтернативную теорию, названную «прохронизмом», в которой говорилось о том, что Бог нарочно состарил Землю, чтобы пытливым умам было над чем задуматься. По словам Госса, Господь поместил в скальные породы окаменелости в течение той самой недели, пока творил мир.

Однако постепенно образованные люди начали понимать, что мироздание не только старше, чем утверждает Библия, но и гораздо сложнее; что в нем не так уж все совершенно и упорядоченно. Естественно, все это противоречило представлениям скромных священнослужителей, таких как мистер Маршем. С их точки зрения, это было началом конца.

В погоне за сокровищами многие из новой плеяды исследователей наносили ужасные повреждения своим находкам. По словам одного встревоженного обозревателя, они выкапывали из земли артефакты, «как картошку». В Норфолке члены нового археологического общества графства (основанного незадолго до того, как мистер Маршем стал священником нашего прихода) опустошили сотню могильных курганов, то есть большую часть местных древних захоронений, не оставив никаких описаний того, что они обнаружили и как все это выглядело, — к полному отчаянию следующих поколений ученых.

Любопытно, как британцы, открывая свое прошлое, тут же его и уничтожали. Пожалуй, самый характерный образец подобного алчного собирателя древностей — Уильям Гринвил (1820–1918), каноник Даремского собора. Мы с ним уже встречались раньше — это он изобрел искусственную муху для ловли форели «слава Гринвила». За свою долгую жизнь отец Гринвил составил необычную коллекцию артефактов «подаренных, купленных и добытых нечестным путем», по словам одного историка. Он один собственноручно раскопал (хотя здесь, пожалуй, лучше подойдет слово «разворошил») 443 могильных кургана по всей Англии. Его методы можно описать как эффективные, но крайне ненаучные. Он не оставил никаких записей, поэтому зачастую невозможно понять, что в его коллекциях откуда взялось.

Впрочем, Гринвил сделал одно доброе дело — познакомил человека с

затейливым именем *Огастес Генри Лейн-Фокс Питт-Риверс* с волшебной наукой археологией. Питт-Риверс запомнился истории по двум причинам: он был одним из самых влиятельных археологов начальных времен археологии и ужасно неприятным человеком. Мы уже мимоходом упоминали его в этой книге — именно он весело повторял своей несчастной жене, боявшейся кремации: «Черт возьми, женщина, тебя сожгут!»

Питт-Риверс был выходцем из довольно любопытной семьи; с некоторыми ее членами мы тоже сталкивались раньше; особенно занятыми персонами были две его двоюродные бабушки. Первая, Пенелопа, вышла замуж за виконта Лигонье Клонмеллского. Если помните, это она закрутила роман с итальянским графом, а потом сбежала со своим лакеем. Вторая в молодости вышла замуж за Питера Бекфорда, но затем по уши влюбилась в его кузена Уильяма, построившего Аббатство Фонтхилл. Обе дамы были дочерьми Джорджа Питта, первого барона Риверса, от которого нашему Питт-Риверсу и досталась двойная фамилия.

Огастес Питт-Риверс, устрашающе крупный мужчина, обладал крайне вспыльчивым нравом. Он деспотично управлял поместьем площадью 27 000 акров, называвшимся Рашмор, неподалеку от Солсбери. Этот человек славился своим тяжелым характером. Однажды его жена пригласила в Рашмор жителей местной деревни, чтобы отпраздновать вместе с ними Рождество, и была сильно расстроена, когда никто из них не пришел. Оказывается, Питт-Риверс, узнав о планах супруги, втайне от нее приказал слуге запереть на замок ворота поместья.

Он был способен на внезапную и неоправданную агрессию. Выгнав одного своего сына из дома за какую-то провинность, он запретил другим детям с ним общаться. Одна из его дочерей по имени Элис пожалела брата и, встретившись с ним на границе поместья, передала ему немного денег. Питт-Риверс узнал об этом и, когда она вернулась в дом, выпорол ослушницу ее же собственным хлыстом для верховой езды.

Питт-Риверсу нравилось выселять со своих земель престарелых арендаторов. Один раз он официально известил о выселении старика и его жены-калеки — обоим было за восемьдесят. У них не осталось родственников, к которым они могли бы переехать, но когда они стали умолять землевладельца передумать, тот живо ответил:

— Да, я получил ваше письмо и понимаю, как вам не хочется покидать Хинтон. Мне очень жаль, но некоторые мои обязанности как владельца поместья вынуждают меня как можно скорей лично переехать в ваш дом.

Стариков выгнали, но Питт-Риверс так и не поселился в их доме. Его

биограф Марк Боуден считает, что он даже не собирался этого делать.

Но при всех своих недостатках Питт-Риверс был выдающимся археологом, одним из отцов современной археологии. Он разработал точную методику полевых работ. Он снабжал аккуратными ярлычками каждый найденный фрагмент, каждый черепок разбитой посуды, когда все это еще не считалось совершенно обязательной практикой.

Питт-Риверс первым начал выстраивать археологические находки в систематическую последовательность — этот процесс был назван типологией. Как ни странно, сверкающие сокровища привлекали его меньше, чем предметы повседневного обихода: кубки, гребни, декоративные бусины и т. п., — значение которых раньше сильно недооценивалось. Кроме того, Питт-Риверс сделал археологию более точной наукой. Он изобрел устройство под названием «краниометр», с помощью которого можно было производить высокоточные измерения человеческих черепов. После его смерти коллекция найденных им артефактов составила основу оксфордского музея Питт-Риверса.

По большей части благодаря точной методике Питт-Риверса ко второй половине XIX века археология из охоты за сокровищами превратилась в науку и практика небрежного обращения с предметами старины (этим часто грешили антиквары) ушла в прошлое. Но все же люди продолжали разрушать артефакты. Практически все древние памятники Британии находились в частном владении, и ни один владелец за ними не ухаживал, потому что закон его к этому не обязывал.

Кто-то уничтожал археологические находки, потому что они ему надоедали, кто-то — потому что не понимал их ценности. В местечке Стеннесс на Оркнейских островах, неподалеку от Скара-Брей, один фермер уничтожил доисторический мегалит, известный как камень Одина, потому что камень мешал ему пахать, и собирался сделать то же самое с ныне знаменитыми камнями Стеннесса, но соседи все же уговорили его воздержаться.

Даже такие величественные сооружения, как Стоунхендж, были поразительно незащищенными. Посетители часто вырезали на камнях свои имена и откалывали кусочки на сувениры. Одного туриста застали, когда он пытался добыть сувенир кувалдой. В 1883 году Лондонская и Юго-Западная железные дороги объявили о своих планах протянуть ветку прямо по тому участку, где располагался Стоунхендж. Когда люди начали возмущаться, чиновник из компании заявил, что древний артефакт «уже не поддается восстановлению и ни для кого не представляет ни малейшей пользы».

Итак, британское культурное наследие взывало о спасителе. И он явился. Его звали Джон Лаббок. Как ни странно, мы почти ничего не знаем про него. Трудно представить себе человека, который сделал столько полезных вещей в стольких областях и получил за это столь малую долю признания.

Сын богатого банкира, в детстве Лаббок жил в Кенте, по соседству с Чарльзом Дарвином. Он играл с детьми Дарвина и был вхож в семью. У него рано проявился талант к естествознанию, что расположило к нему ученого соседа. Они вместе проводили много часов в кабинете Дарвина, разглядывая в микроскоп различные образцы живой природы. Одно время Дарвин, впав в депрессию, никого не принимал — кроме юного Лаббока.

Повзрослев, Лаббок пошел по стопам отца и занялся банковским делом, но его сердце было отдано науке. Он был неутомимым, хоть и слегка эксцентричным экспериментатором. Однажды он в течение трех месяцев пытался научить свою собаку читать. Увлечшись археологией, он выучил датский язык, потому что Дания была в то время мировым лидером в этой области.



Рис. 19. Карикатура журнала *Punch* на Джона Лаббока, автора Акта о банковских каникулах и Акта о защите памятников старины

Лаббока особенно интересовали насекомые. Он держал у себя в гостинной рой пчел и изучал их повадки. В 1886 году он открыл класс пауроподов — семейство крошечных и ранее не замеченных клещей, которые обитают в человеческих домах. Наука обратила внимание на клещей только в середине XX века, и своим открытием Лаббок намного опередил свое время. Это было большим достижением, тем более для банкира, который изучал живую природу только по вечерам и в выходные. Не менее значительным стало его исследование изменчивости нервной системы насекомых, которое поддержало Дарвина и его идею происхождения видов как раз тогда, когда Дарвин в этом особенно

нуждался.

Лаббок был не только банкиром и энтомологом, но и замечательным археологом, членом правления Британского музея, членом парламента, ректором Лондонского университета и автором популярных книг. Это он придумал термины «палеолит», «мезолит» и «неолит»; к тому же он одним из первых начал употреблять новое слово «доисторический» (*prehistoric*).

В качестве политика и члена парламента, выдвинутого от либеральной партии, Лаббок стал защитником рабочих. Он ввел законы, ограничившие рабочий день до десяти часов, а в 1871 году практически в одиночку протолкнул через парламента Акт о банковских каникулах (*Bank Holidays Act*), который воплощал в жизнь крайне радикальную для того времени идею о том, что у рабочих, помимо церковных праздников и воскресений, должны быть и другие оплаченные регулярные выходные<sup>[92]</sup>.

Сейчас трудно представить, с какой радостью был встречен этот новый закон. Раньше большинство рабочих и служащих освобождалось от работы в страстную пятницу, на Рождество или на следующий после Рождества день (но не в оба этих дня) и по воскресеньям. Теперь же им предоставлялся дополнительный день отдыха, да еще и летом. Лаббок был признан самым популярным человеком в Англии, а банковские каникулы долгое время называли «днями святого Лаббока». В то время никто и не предполагал, что его имя когда-нибудь забудется.

Однако здесь мы будем говорить о другом новшестве, введенном Лаббоком: сохранении древних памятников. В 1872 году Лаббок узнал от пастора сельского прихода в графстве Уилтшир, что в Эйвбери собираются снести часть старинного круга из камней, значительно превышавшего по размерам Стоунхендж (хоть и не такого живописного), чтобы построить на этом месте новые дома.

Лаббок купил этот земельный участок, а также два других памятника старины, находившихся поблизости, — «Длинный курган» (*Long Barrow*) в Вест-Кеннете и Силбери-хилл (самый большой в Европе рукотворный курган), но, разумеется, он не мог защитить каждый памятник старины, которому грозило уничтожение, поэтому начал проводить закон о сохранении исторических ценностей.

Это было не так-то просто: правящая партия тори под руководством Бенджамина Дизраэли считала данный закон вопиющим нарушением прав частных собственников. Разве может государственный чиновник явиться к землевладельцу и начать ему указывать, как надо управлять его помещьем? Такая идея казалась абсурдной и возмутительной.

Лаббок стоял на своем, и в 1882 году, когда у власти было новое

либеральное правительство Уильяма Гладстона, ему удалось провести через парламент Акт о защите памятников старины, который вполне можно назвать краеугольным камнем охранного законодательства.

Поскольку идея защиты памятников вызвала немало разногласий, было решено выбрать на должность первого инспектора древностей человека, уважаемого среди землевладельцев, лучше всего, одного из крупных помещиков. И Лаббок знал такого человека — это был не кто иной, как его будущий тесть, Огастес Генри Лейн-Фокс Питт-Риверс.

Их отношения были весьма странными. Прежде всего, они были почти ровесниками. Так случилось, что недавно овдовевший Лаббок познакомился с дочерью Питт-Риверса Элис, когда в начале 1880-х годов останавливался в замке Говардов. Лаббоку было около пятидесяти, а Элис — всего восемнадцать. Трудно сказать, какая искра между ними пробежала, но вскоре после этого они поженились. Этот брак нельзя назвать абсолютно счастливым. Жена Лаббока была младше некоторых из его детей, что создавало некоторую неловкость. Кроме того, она, судя по всему, мало интересовалась его работой. Тем не менее жить с Лаббоком ей было куда лучше, чем с отцом, который при малейшей провинности драл ее хлыстом.

Лаббок или не знал о жестоком обращении Питт-Риверса с дочерью, или закрывал на это глаза. Во всяком случае, эти двое мужчин прекрасно ладили во всем, что касалось работы: у них было много общих интересов. Питт-Риверс в качестве инспектора памятников старины обладал не слишком большими полномочиями. Его задачей было определить значимость памятников, которым угрожает опасность, и с согласия землевладельца взять их под охрану государства. Несмотря на то, что это снизило бы расходы на содержание земли, многие помещики упирались: еще никогда им не приходилось передавать право управления частью своего поместья в другие руки. Сам Лаббок колебался, прежде чем уступить Силбери-Хилл государству.

Акт не включал дома, замки и церковные сооружения. Он касался лишь доисторических памятников. Управление общественных работ выделило Питт-Риверсу крайне скудные средства; половина его годового бюджета пошла на установку низкого ограждения вокруг единственного могильного кургана, а в 1890 году ему вообще перестали платить жалованье: Управление просто покрывало его расходы и при этом просило, чтобы он перестал «привлекать внимание» ко все новым памятникам.

Питт-Риверс умер в 1900 году. За 18 лет ему удалось занести в реестр всего 43 памятника (сегодня количество описанных памятников составляет свыше 19 000). Но он помог донести до общества две крайне важные идеи:

во-первых, древности представляют ценность и их надо защищать, во-вторых, владельцы памятников старины должны о них заботиться.

В его времена эти принципы не всегда пользовались популярностью, однако они привели к появлению других организаций. В 1877 году было основано Общество защиты старинных зданий, которое возглавил Уильям Моррис, а в 1895 году учредили Национальный трест. Наконец-то британские памятники старины оказались под защитой государства.

Некоторым памятникам, впрочем, по-прежнему грозила опасность. Стоунхендж был частной собственностью: его владелец, сэр Эдмунд Антробус, отказывался прислушиваться к советам государственных чиновников и даже не пускал инспекторов в свое поместье. В конце века прошел слух, что анонимный покупатель собирается перевезти эти камни в Америку и разместить их где-то на дальнем Западе в качестве достопримечательности. Если бы Антробус принял это предложение, то его никто не смог бы остановить: соответствующего закона просто не существовало. Мало того, в течение многих лет не было ни одного человека, который захотел бы помешать разграблению национального достояния. В течение десяти лет после смерти Питт-Риверса должность инспектора памятников старины в целях экономии средств оставалась вакантной.

## II

Примерно в это же время жизнь британской деревни сильно ухудшилась за счет одного события, о котором сегодня мало кто помнит. Это была одна из самых больших экономических катастроф в истории Британии: сельскохозяйственный упадок 1870-х, когда в течение семи лет фермеры снимали крайне низкие урожаи. В этот раз фермеры и землевладельцы не могли решить проблему простым вздуванием цен, как они обычно делали в прошлом, потому что столкнулись с сильной конкуренцией со стороны заморских производителей, особенно Америки, превратившейся в огромную сельскохозяйственную машину. Благодаря жатке Маккормика и другим грохочущим орудиям американские прерии стали устрашающе плодovиты. С 1872 по 1902 год производство пшеницы в Америке выросло на 700 %, в то время как производство пшеницы в Британии упало более чем на 40 %.

Цены тоже упали. Пшеница, ячмень, овес, бекон, свинина и баранина в последней четверти XIX века стали стоить примерно вдвое меньше, чем

пару десятилетий назад. Шерсть подешевела с 28 шиллингов за четырнадцатифунтовый сверток до 12 шиллингов. Тысячи фермеров-арендаторов разорились. Более ста тысяч фермеров и рабочих ушли в города. Поля пустовали, никаких перспектив не было. Деревенские церкви стали подозрительно пустынными: прихожане разъехались кто куда, а те, кто остался, совсем обнищали. Для сельских священников настали трудные времена. Эта должность уже никогда не будет такой же привлекательной, как раньше.

На пике сельскохозяйственного кризиса британское правительство, возглавляемое либералами, сделало странную вещь. Оно ввело налог на наследство. Жизнь тысяч людей, в том числе и нашего мистера Маршема, должна была в скором времени круто измениться.

Новый налог придумал сэр Уильям Джордж Грэнвилл Венэйблс Вернон Харкорт, министр финансов, — человек, которого никто не любил, даже его родные. Харкорт, прозванный за свое необычно крупное телосложение Великаном (*Jumbo*), вряд ли стремился навредить классу помещиков, поскольку и сам относился к их числу. Семья Харкерта жила в Ньюэм-парке (если помните, это там первый граф Харкорт перестроил территорию, а потом не узнал места, где был заброшенный деревенский колодец, упал в него и утонул).

Все Харкерты были тори, а Уильям стал либералом — его семья восприняла это как страшное предательство. Впрочем, его налог на наследство напугал даже либералов. Премьер-министр лорд Розбери, который и сам был крупным помещиком, интересовался, будет ли какое-то послабление в случае, если два наследника умрут один за другим. Было бы жестоко, по мнению Розбери, взимать налог с поместья второй раз, если наследник еще не успел восстановить финансовое положение семьи. Однако Харкорт отвечал отказом на все предложения о налоговых льготах.

У Харкерта почти не было шансов унаследовать имущество собственной семьи, и это, несомненно, повлияло на его решения. Думаю, он немало удивился, все-таки став наследником (весной 1904 года внезапно умер сын его старшего брата). Впрочем, Харкорт недолго наслаждался своим везением: спустя шесть месяцев он и сам отправился в мир иной, и его наследникам пришлось дважды платить налог — таких случаев и опасался Розбери. Таким образом, Харкорт получил по заслугам.

Во времена Харкерта налог на наследство был довольно скромным (8 % за поместье стоимостью свыше одного миллиона фунтов стерлингов), но представлял собой надежный источник государственных доходов. Миллионы людей, которым не надо было его платить, поддерживали этот

закон и постоянно повышали ставку налога до тех пор, пока накануне Второй мировой войны он не составил 60 % — такой уровень был разорительным даже для самых богатых землевладельцев.

В то же время государство постоянно повышало подоходный налог и придумало еще целый ряд новых налогов — налог на необрабатываемую землю, на добавленную стоимость и прочие; все они легли тяжким бременем на крупных землевладельцев. Двадцатый век стал для высших слоев общества, по словам историка Дэвида Кэннедайна, временем, когда «сгущаются тучи».

Большинство жило в состоянии перманентного кризиса. Когда случалось что-то плохое — крыша прохудилась, а налоги стали неподъемными, — исправить положение можно было только продавая фамильные ценности: картины, гобелены, драгоценности, книги, фарфор, серебряная посуда, редкие марки — все это утекало из богатых английских домов в музеи или в руки иностранцев.

Это как раз было то самое время, когда Генри Клей Фулджер скупил почти все первоиздания Шекспира, а Джордж Вашингтон Вандербильт приобрел в Британии столько ценностей, что забил ими свой 250-комнатный особняк Билтмор. Эндрю Меллон, Генри Клэй Фрик и Джон П. Морган закупили картины старых мастеров, а Уильям Рэндольф Херст подобрал все остальное.

Едва ли в Британии был хоть один большой дом, в котором ничего не было продано. Хозяева замка Говардов расстались с 110 картинами старых мастеров и более чем с тысячей редких книг. Во дворце Бленэм герцоги Мальборо продали множество картин, в том числе восемнадцать полотен Рубенса и больше полдюжины работ Ван Дейка, но потом, правда, спохватились: жениться на богатых американках было куда выгодней. Сказочно богатый герцог Гамильтон в 1882 году продал разных безделушек на сумму около 400 000 фунтов стерлингов, а потом, несколько лет спустя, выручил еще 250 000 фунтов. Для многих большие аукционные дома Лондона стали чем-то вроде ломбардов.

Некоторые продавали все те ценности, что висели у них на стенах и стояли на полу, а некоторым пришлось продать сами стены и пол. Художественный музей Сент-Луиса приобрел в Уингерворт-холле (Дербишир) целую комнату вместе со всем ее содержимым. Резную лестницу работы Гринлинга Гиббонса забрали из Кассиобери-парка (Хартфордшир) и установили заново в нью-йоркском музее Метрополитен. Иногда продавали целые дома, например Эйджкрофт-холл, красивый тюдоровский особняк из Ланкашира, который разобрали на части, затем

уложили части в пронумерованные ящики и перевезли в Ричмонд, штат Виргиния, где дом опять собрали, и он стоит там до сих пор.

Очень редко во всех этих бедах находились и положительные стороны. В 1915 году наследники сэра Эдмунда Антробуса, которые были не в состоянии ухаживать за поместьем, выставили его на торги. Местный бизнесмен и коннозаводчик сэр Сесил Чабб купил Стоунхендж за 6600 фунтов стерлингов — в пересчете на сегодняшние деньги это примерно 300 000, то есть весьма крупная сумма, — и весьма великодушно передал этот исторический памятник в руки государства, после чего Стоунхендж наконец-то стал охраняемым.

Такие счастливые случаи были исключением. Сотни сельских домов ждала печальная участь: они не выдержали кризиса, пришли в запустение и в конце концов пошли под снос. Некоторые здания использовались самым возмутительным образом. Замок Стритлам, некогда одно из красивейших сооружений графства Дарем, отдали армейскому резерву, который в буквальном смысле использовал его в качестве мишени на учениях. Астон Клинтон, роскошный дом XIX века, которым когда-то владели Ротшильды, был куплен советом графства Бэкингемшир; его снесли, чтобы освободить место под безликий центр профессионального обучения. Одна кинокомпания купила богатый старинный дом в Линкольншире только для того, чтобы сжечь его на съемках кульминационной сцены фильма.

Даже Чизик-хаус был в опасности. Одно время в нем располагалась психиатрическая клиника, но потом здание приговорили к сносу. По счастью, здравый смысл возобладал, и здание спасли. Сейчас оно находится под охраной государства.

В течение века Национальный трест спас еще двести домов. Некоторые из них превратились в туристические достопримечательности. Правда, поначалу не все шло гладко. По словам Саймона Дженкинса, автора книги «Тысяча лучших домов Англии», одна старая леди, хозяйка богатого дома, открытого для посетителей, отказывалась покидать гостиную, когда по телевизору показывали скачки. «Посетители считали ее лучшим экспонатом», — добавляет Дженкинс.

Многие большие дома обрели новую жизнь в качестве школ, больниц и других общественных учреждений. Ньюэм-парк сэра Уильяма Харкорта большую часть XX века служил учебным центром ВВС Великобритании. Сейчас там располагается монашеская обитель.

К сожалению, сотни исторических сооружений были бесцеремонно уничтожены. В 1950-х богатые дома исчезали с лица земли со скоростью два здания в неделю. Точное количество снесенных построек неизвестно. В

1974 году лондонский музей Виктории и Альберта провел ставшую знаменитой выставку «Уничтожение сельского дома», посвященную сносу величественных зданий.

Кураторы выставки, Маркус Винни и Джон Харрис, подсчитали, что Британия утратила всего 1116 прекрасных домов, и эта цифра растет. На данный момент снесено около 2000 домов — из самых красивых, изысканных, поразительных и важных зданий, когда-либо воздвигнутых на нашей планете.

### III

Такова была ситуация в конце XIX века, когда мистер Маршем доживал свои последние годы. Это было интересное время, наполненное событиями. В XIX столетии быт и частная жизнь полностью преобразились — изменения коснулись социальной, интеллектуальной и технологической сфер, а также гигиены, моды, сексуальных отношений и почти всего остального.

Мистер Маршем родился в 1822 году в мире, очень похожем на средневековый. Люди освещали свои дома свечами и путешествовали со скоростью черепахи, доктора почти всем своим пациентам назначали пиявок, а новости из дальних краев доходили только к вам через несколько недель или даже месяцев. Но со временем начали появляться, одно за другим, настоящие чудеса: пароходы и скорые поезда, телеграфы, фотография, анестезия, домашний водопровод, газовое освещение, антисептики, холодильники, телефоны, электрические лампочки, граммофоны, автомобили, самолеты, небоскребы, кино, радио и десятки тысяч полезных вещей, от мыла фабричного производства до газонокосилок.

Почти невозможно представить, насколько радикальными были все эти перемены для жителей XIX века, особенно второй его половины. Даже такое обычное для нас понятие, как уик-энд, было в свое время новшеством и нуждалось в объяснениях. Слово *weekend* (буквально «конец недели») появилось в английском языке в 1879 году, его употребил журнал *Notes and Quiries* в следующем предложении:

*В Стаффордшире, если человек уезжает из дома в субботу днем, чтобы провести вечер субботы и воскресенье где-то в другом месте вместе со своими друзьями, про него говорят, что*

*он проводит свой «уик-энд» там-то и там-то.*

По мере того как для большинства людей мир становился все приятней: появились яркое освещение, удобная канализация, условия для ленивого времяпрепровождения и всяческих развлечений, — судьбы других, таких как мистер Маршем, постепенно рушились. Сельскохозяйственный кризис, начавшийся в 1870-х и затянувшийся на многие десятилетия, ударил по сельским священникам и богатым землевладельцам, от которых зависели первые; и тем и другим стало вдвое трудней сохранять свое благосостояние.

К началу XX века сельские священники стали получать гораздо меньше половины тех сумм, которые они получали пятьдесят лет назад. Церковный каталог Крокфорда за 1903 год уныло заявляет, что «значительная часть» духовенства «влачит жалкое существование». Далее там говорится о том, что преподобный Ф. Дж. Блисби подал 470 безуспешных заявлений на вакансию vicar и в конце концов ушел жить в рабочий дом. Такое понятие, как «богатый священник», навсегда осталось в прошлом.

Ветшающие, с протекшими крышами, дома священников, в которых когда-то припеваючи жили сельские пасторы, теперь для многих стали обузой. В XX веке представители духовенства, вышедшие из небогатых семей, еле сводили концы с концами. Миссис Люси Бернетт, жена йоркширского сельского vicar, в 1933 году так объясняла церковной комиссии, в каком огромном доме ей приходится хозяйничать:

— Если в моей кухне будет играть духовой оркестр, вы вряд ли услышите его, сидя в гостиной.

Ответственность за обустройство пасторского дома лежала на самих священниках, но они постепенно нищали и не могли справиться с такой обузой. «Многие пасторы жили в своих домах по двадцать, тридцать, даже пятьдесят лет, не делая в них никакого ремонта», — писал в 1964 году Алан Сэвидж в своей истории сельских приходов.

Самым простым решением для церкви было бы приватизировать принадлежащие ей огромные пасторские дома и построить вместо них маленькие. Но члены английских церковных комитетов, отвечавшие за размещение сельских пасторов, не всегда обладали деловой хваткой. Энтони Дженнингс в своей книге «Старый дом приходского священника» (2009) пишет, как в 1983 году они приватизировали свыше трехсот пасторских домов по средней цене 64 000 фунта стерлингов, а на строительство новых, меньших по размеру зданий потратили в среднем по

76 000 фунтов.

Из 13 000 приходских домов, существовавших в 1900 году, только 900 по-прежнему находятся в ведении англиканской церкви. Наш дом был продан в частное владение в 1978 году (за сколько, я не знаю). Он был домом приходского священника в течение 127 лет; за это время в нем успели сменить друг друга восемь сельских священников. Как ни странно, каждый из них задерживался в этом доме дольше, чем тот, кто его построил. Томас Маршем уехал отсюда в 1861 году, всего через десять лет после постройки дома, получив новую должность в Сакслингеме — деревне в двадцати милях к северу, у моря.

Почему он построил себе такой огромный дом — вопрос, на который уже никто не даст ответа. Возможно, он надеялся произвести впечатление на какую-то знакомую ему красивую девушку, но она все равно отвергла его и вышла замуж за другого. А может, она согласилась стать его женой, но умерла, не дождавшись свадьбы. Обе эти ситуации вполне типичны для середины XIX века. Каждая из них объяснила бы некоторые архитектурные загадки пасторского дома, такие как наличие детской комнаты и едва уловимая женственность гостиной, однако все наши догадки так и останутся просто догадками. Можно с уверенностью сказать лишь одно: если мистер Маршем и был счастлив, то счастливым его сделал отнюдь не счастливый брак.

По крайней мере, вполне вероятно, что его отношения с преданной экономкой мисс Уорм были полны тепла и привязанности. Это почти наверняка были самые длительные отношения как в его, так и в ее жизни. Мисс Уорм умерла в 1899 году в возрасте семидесяти шести лет, прослужив экономкой нашего мистера Маршема больше полувека.

В этот же год семейное имение Маршемов в Страттон Стролесс было продано, поделенное на пятнадцать участков (видимо, не нашлось человека, который смог бы купить его целиком). Эта сделка ознаменовала конец четырехсотлетнего процветания семьи Маршемов в графстве. Сегодня о них напоминает лишь паб под названием «Герб Маршема» в соседней деревне Хевингем.

Мистер Маршем пережил свою экономку на неполных шесть лет и умер в доме престарелых в соседнем селе в 1905 году. Ему было восемьдесят три года, и, если не считать время учебы в школе, он провел всю свою жизнь в графстве Норфолк, на территории чуть больше двадцати миль в поперечнике.

Мы начали нашу экскурсию отсюда, с чердака — кажется, что это было очень давно, правда? — когда я залез сюда в поисках источника протечки (оказалось, что все дело в сдвинувшейся черепице, которая пропускала дождевую воду). Там, если помните, я обнаружил дверь, ведущую на крышу — откуда открывался прекрасный сельский вид. И вот я снова забрался сюда — впервые с тех пор, как начал работать над этой книгой. Я хотел посмотреть, не покажется ли мне мир другим теперь, когда я немного лучше узнал мистера Маршема и обстоятельства его жизни.

Но этого не случилось. Напротив, меня поразило, как мало изменился мир со времен мистера Маршема. Воскресни он сейчас, его бы наверняка удивили некоторые новшества: мчащиеся по шоссе автомобили, вертолет, с гулом пролетающий над головой, — но по большей части ландшафт остался прежним и очень знакомым, как бы существующим вне времени.

Разумеется, это впечатление обманчиво. Ландшафт меняется, но меняется слишком медленно и незаметно, 160 лет для него совсем немного. А вот 500 лет назад здесь все было по-другому, если не считать церкви, нескольких фрагментов живой изгороди, очертаний полей и дорог. А еще раньше древний римлянин обронил здесь свою фаллическую подвеску, с которой мы и начали эту книгу.

Перенеситесь в еще более раннее время — скажем, на 400 000 лет назад, — и вашим взорам предстанут львы, слоны и другие экзотические животные, разгуливающие по засушливым равнинам. Эти звери оставили здесь свои кости, которые так удивляли старинных любителей древностей, таких как Джон Фрир из ближайшей деревни Хоксен (правда, место, где он их нашел, слишком далеко, и его не видно с нашей крыши).

Что же привело сюда этих представителей фауны? Климат, который был всего на три градуса теплее, чем нынешний? Возможно, люди со временем будут жить в такой же теплой Британии. А может быть — кто знает, — на месте норфолкских полей появится однажды выжженная солнцем пустыня или зеленый рай с виноградными кустами и фруктами круглый год? Не будем гадать. Как бы там ни было, пейзаж преобразится, и людям придется к нему приспособливаться гораздо быстрее.

Отсюда, с крыши, нам не видно, сколько энергии и других ресурсов требуется нам для того, чтобы сделать нашу жизнь легкой и удобной. Поразительно много! Из всей энергии, произведенной на Земле с начала промышленной революции, половину мы потребили за последние двадцать

лет. При этом процветающие страны использовали энергию в несоизмеримо больших количествах, чем остальные; мы относимся к чрезвычайно привилегированной части человечества.

Сегодня среднестатистическому жителю Танзании требуется почти год на то, чтобы произвести такой же объем углекислого газа, какой без усилий вырабатывает европеец каждые два с половиной дня, а американец — каждые двадцать восемь часов. Короче говоря, мы имеем возможность жить так, как живем, потому что расходует ресурсы в сотни раз быстрее, чем большинство населения Земли. Но наступит такой день (не думайте, что он за горами), когда шесть миллиардов менее обеспеченных граждан захотят получить все то, что получили мы, — и это потребует больших ресурсов, возможно, даже намного больших, чем те, которыми располагает наша планета.

Вполне возможно, что, по иронии судьбы, в нашем вечном стремлении к комфорту и счастью мы создадим мир, лишенный и энергии, и ресурсов. Но это, конечно, будет темой другой книги.

## Задняя обложка

Bill Bryson  
At Home. A Short History of Private Life



Билл Брайсон (род. 1951) — английский писатель и популяризатор науки, автор международного бестселлера «Краткая история почти всего на свете» и многих других книг, кавалер ордена Британской империи.

После феноменального успеха книги «Краткая история почти всего на свете», посвященной «большим» проблемам — рождению Вселенной, развитию планеты Земля, происхождению жизни, Билл Брайсон решил резко сменить угол зрения и на этот раз приглашает нас в путешествие... по обычному деревенскому дому!

Может быть, не совсем обычному, поскольку дом старинный и стоит в английской глубинке. Мы и представить себе не могли, сколько странных, забавных и уютных историй могут рассказать самые заурядные бытовые предметы: ступени скрипучей лестницы, труба в ванной, солонка на кухне... Погружение в историю, не выходя из дома!

«Краткую историю быта и частной жизни» чрезвычайно приятно читать за утренним кофе, сидя в пижаме. Судя по тому, какая это уютная книжка, в пижаме он ее, похоже, и написал!

*The New York Review of Books*

Настоящее сокровище... Брайсон пишет легко и как бы

шутя, но при этом он весьма серьезный историк.

*Los Angeles Times*

Если вы не сможете почерпнуть из этой книги достаточно сюжетов для застольной болтовни лет этак на пять, то вы просто ничего не стоите!

*People*

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

Решение Конгресса США (1820), согласно которому рабовладение было запрещено севернее  $36^{\circ}30'$  северной широты и западнее реки Миссисипи (*здесь и далее — прим. ред., если не оговорено иное*).

Речь идет о бестселлере Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете»: М., АСТ, 2013.

**3**

Примерно 7,7 га.

**4**

Большой ботанический сад в западной части Лондона; основан в 1759 году.

Сравнивать деньги 1851 года с сегодняшними сложно, и результат всегда получается неточным, поскольку вычисления зависят от выбора эталона сравнения. Вещи, которые сегодня обходятся дорого (например, земля или прислуга с проживанием), тогда были относительно дешевыми, и наоборот. Я благодарен профессору Рональду Мики из Даремского университета, который посоветовал мне использовать в качестве эталона индекс розничных цен в 1851 году и в настоящее время. При таком расчете 500 фунтов годового дохода мистера Маршема сегодня означали бы 400 000 (или даже 630 000) фунтов. В 1851 году среднедушевой доход в Британии составлял чуть больше 20 фунтов (*прим. авт.*).

Судно получило имя *Resurgam* (лат. «Я воскресну»), однако оно оказалось несчастливym: субмарина затонула во время шторма в Ирландском море в 1878 году, через три месяца после спуска на воду (она до сих пор лежит на дне). Судьба самого Гарретта была почти столь же плачевной. Удрученный неудачей, он забросил и проповеди, и изобретения, переехал во Флориду и стал фермером, но и в этом не преуспел. В конце жизни он стал солдатом, участвовал в испано-американской войне и в 1902 году умер в Нью-Йорке от туберкулеза, нищий и всеми забытый (*прим. авт.*).

Имение Томаса Джефферсона в Виргинии.

8

Блюдо из поджелудочной или зубной железы телят.

Бисквит, пропитанный вином и залитый заварным кремом и взбитыми сливками, часто с миндалем, фруктами и ягодами.

**10**

*Worm* (англ.) — червяк.

Алмаз «Кохинур», захваченный двумя годами ранее в Пенджабе в качестве военного трофея (или добытый в результате грабежа — кому как больше нравится), стал одним из коронных бриллиантов Британской империи. Легендарный камень разочаровал многих посетителей выставки, ибо, несмотря на огромный размер и вес около 200 карат, он был очень неудачно огранен и давал совсем мало блеска. После выставки бриллиант подвергли радикальной переогранке (вес его при этом уменьшился до 109 карат) и вставили в королевскую корону (*прим. авт.*).

Так называются графства, окружающие Лондон.

«Гнилыми» округами (*rotten boroughs*) назывались местечки, где член парламента мог быть избран очень малым числом голосов. В шотландском городке Бьют лишь один человек (из четырнадцати тысяч населения) имел право голоса и поэтому, естественно, легко мог выбрать самого себя. «Карманными» округами (*pocket boroughs*) считались такие, в которых вообще не было жителей, но за которыми тем не менее сохранялось место в парламенте; тот, кто контролировал «карманный округ», мог продать или подарить это место (например, своему безработному сыну). Самым знаменитым «карманным округом» был Данвич, прибрежный городок в графстве Саффолк. Некогда большой порт, третий по величине в Англии, он был полностью разрушен штормом еще в 1286 году. Несмотря на очевидное отсутствие города, вплоть до 1832 года его представляла в парламенте длинная череда привилегированных ничтожеств (*прим. авт.*).

Специальные констебли (*special constabulary*) — служба добровольных помощников полиции, учрежденная в 1831-м специально для борьбы с гражданскими беспорядками.

Джейн Джекобс (*Jane Jacobs*, 1916–2006) — американская писательница, теоретик урбанизма.

В Британии со времен англосаксов слово *corn* означает любое зерно, а также любой маленький круглый предмет, вот почему мозоль по-английски тоже называется *corn*. Традиционное блюдо *corned beef* (отварная маринованная солонина) называется так потому, что изначально говядину для этого блюда пересыпали крупными гранулами соли. Так как в Америке кукуруза является главной зерновой культурой, то еще в начале XVIII века ее тоже стали называть *corn* (прим. авт.).

*Solar* (англ.) — солнечный.

Династия Тюдоров правила в Англии в 1485–1604 годах.

*Domesday Book* — свод результатов первой в средневековой Европе всеобщей переписи, проведенной в Англии в XI веке по повелению Вильгельма Завоевателя.

Покоренный, очарованный (англ.).

*Witold Rybczynski* (1943) — канадский архитектор и писатель, теоретик урбанистики.

Дословно — «земляной этаж», «земляной пол».

*Сupboard* дословно — «доска для чашек».

Глагол *dress* может означать как «одеваться», так и «приправлять пищу».

Дословно — «комната и доска» (стол), т. е. проживание и питание, «полный пансион».

Дословно «сидящий на стуле за доской» (т. е. столом).

Дословно — «сделать постель».

Малышка мисс Мафкет / Уселась на тафкет...

Низкие двери во многих старинных домах, в притолоки которых самые рассеянные из нас то и дело врезаются лбами, объясняются вовсе не тем, что люди, как часто думают, были раньше ниже ростом и им было вполне достаточно столь низких дверных проемов. На самом деле наши далекие предки вовсе не были низкорослыми, а двери делали маленькими по той же причине, что и окна: они очень дорого стоили (*прим. авт.*).

Спальня, дословно — «комната с кроватью» или «пространство кровати».

Шкаф, чулан, кладовка.

Шкафчик с отделениями.

Будка, кабина.

«Хардвик-холл: больше стекло, чем стен».

Здесь и далее отрывки из романа «Путешествие Хамфри Клинкера» даны в переводе А. В. Кривцовой.

Буквально — «пекарская дюжина».

Примерно 90 га.

Густая острая похлебка, популярная в штате Луизиана. Готовится из стручков бамии с рисом, мясом, курицей, крабами, морепродуктами и т. д.

Эпидемия чумы в XIV в., в результате которой в некоторых регионах Европы вымерло до трети населения.

Английское слово *scullery* («буфетная») происходит от старофранцузского *escullier*, которым обозначалось помещение для мытья и хранения посуды. Здесь-то вы и найдете глубокую большую раковину. Слово *larder* («кладовая») вовсе не так прямо, как может показаться, связано со словом *lard* («сало»); оно произошло от французского *lardon* («бекон»). Слово *pantry*, которым также называют кладовую, происходит от латинского *panem* («хлеб»), первоначально так именовалась кладовая для хлеба и муки, но к середине XIX века этим термином стали обозначать помещение, где хранились все продукты питания (*прим. авт.*).

Эпоха царствования Эдуарда VII (1901–1910).

Привычный для нас образ прислуги в черной униформе или в чепце с оборками и накрахмаленном фартуке на самом деле характерен для довольно короткого периода. Униформа стала обычной для слуг только в середине XIX века, когда увеличившийся импорт хлопка сделал общедоступными качественные ткани. До этого одежда, которую носили представители высших слоев общества, настолько превосходила по качеству одежду рабочего класса, что не было необходимости отличать прислугу с помощью униформы (*прим. авт.*).

*Foot* — нога, *man* — человек.

*Massa* — обращение чернокожих рабов на юге США к своим господам, искаженное *master* («хозяин»).

*Pithole* — яма, трещина в породе.

*John Wilkes Booth* (1838–1865) — американский актер, убийца президента Авраама Линкольна.

**47**

По шкале Фаренгейта. Соответствует 3,3 градуса по Цельсию.

Крышка для огня (франц.).

Дословно — «в свете извести».

Городок в штате Нью-Джерси, где Эдисон в 1876 году открыл свою исследовательскую лабораторию.

Дословно — «комната для рисования».

Дословно — «комната, куда можно удалиться».

Дословно — «комната для сидения».

Сегодня фурлонг используется в качестве единицы измерения расстояния на скачках и составляет 220 ярдов, то есть одну восьмую мили. Фермерские фурлонги первоначально не имели какой-то конкретной длины. Само слово *furlong* означает всего лишь «длинная борозда» (*long furrow*) (прим. авт.).

Английский бушель — примерно 36,4 л, американский — примерно 35,2 л.

Количество комнат в большом доме или дворце — обычно понятие весьма условное. Оно зависит от того, считаете ли вы кладовые, туалеты и прочие подсобные помещения отдельными комнатами. В разных источниках, описывающих Бленэмский дворец, указывается разное количество комнат: от 187 до 320 — согласитесь, довольно сильное разночтение (*прим. авт.*).

Это была эпоха прославленных ремесленников. Одним из них был великий резчик Гринлинг Гиббон (1648–1723). Гиббон вырос в Голландии, в семье англичан, и приехал в Англию примерно в 1667 году, после Реставрации и восхождения на престол короля Карла II. Он поселился в Дептфорде, на юго-востоке Лондона, и вырезал довольно примитивные носовые украшения для кораблей, но в 1671 году мимо его мастерской случайно проходил писатель Джон Ивлин. Они разговорились, и Ивлин покорили мастерство резчика, его приятные манеры и, возможно, также его привлекательная внешность (по всеобщему мнению, Гиббон был поразительно красив). Писатель уговорил молодого резчика взяться за более сложные заказы и представил его влиятельным знакомым, таким как Кристофер Рен. Благодаря поддержке Ивлина Гиббон весьма преуспел, однако большую часть его богатства составляли доходы от мастерской, специализировавшейся на статуях и других каменных работах. Видимо, именно Гиббон придумал изображать британских героев в виде римских государственных деятелей, в тогах и сандалиях. Несмотря на то, что сейчас он считается величайшим из резчиков по дереву того времени, при жизни Гиббон был не особенно знаменит. Для Бленэмского дворца Гиббон вырезал каменный орнамент стоимостью 4000 фунтов стерлингов, однако стоимость другого орнамента, деревянного, составила всего лишь 36 фунтов. Сегодня его великолепная резьба по дереву ценится очень высоко — отчасти потому, что она такая редкая (*прим. авт.*).

*Beda Venerabilis* (ок. 672–735) — средневековый хронист, «отец английской истории», автор «Церковной истории народа англов».

Сейчас мало кто читает Уолпола, но в свое время его романы пользовались огромной популярностью. Кроме того, он был мастером сочинять новые слова. Оксфордский словарь английского языка содержит целых 233 его неологизма. Многие из них (в частности, *gloomth*) не прижились, однако большинство употребляется и поныне. Например, Уолпол придумал или иным способом ввел в английский язык слова «бульвар» (*boulevard*), «импресарио» (*impresario*), «карикатура» (*caricature*), «кафе» (*cafe*), «малярия» (*malaria*), «нюанс» (*nuance*), «сказка» (*fairy tale*), «сувенир» (*souvenir*), «хмурый» (*somber*) и, как уже упоминалось несколькими страницами выше, слово «комфортабельный» (*comfortable*) в его современном значении (*прим. авт.*).

Адмиралтейство при этом использовало не лимонный, а лаймовый сок, потому что он был дешевле; вот почему прозвище британских моряков — «лайми» (*limey*). Сок лайма в качестве противоцинготного средства далеко не так эффективен, как лимонный (*прим. авт.*).

Английская унция — 28,4 мл, американская унция — 29,6 мл.

Особенно это касается ртути. Доказано, что с помощью 1/25 чайной ложки ртути можно отравить озеро площадью в шестьдесят акров. И все же, как ни странно, отравление ртутью встречается крайне редко. По данным одного исследования, ни много ни мало — 20 000 химических веществ, с которыми мы имеем дело в нашей повседневной жизни, тоже токсичны: их нельзя ни трогать, ни есть, ни вдыхать. Большинство этих веществ появилось в XX веке (*прим. авт.*).

Мускатный орех — это семя плода мускатного дерева, а мацис — это его присемянник (ариллус), то есть часть плода, окружающая семя. Мацис ценился выше: ежегодно собирали около тысячи тонн мускатного ореха и всего около ста тонн мациса (*прим. авт.*).

Сами индейцы тоже болели сифилисом, но страдали от него меньше, точно так же, как европейцам были не так страшны эндемичные для них корь или свинка (*прим. авт.*).

Ну и ладно (лат.).

*Cord* — американская мера объема дров, 128 кубических футов (3,63 м<sup>3</sup>).

Семья Эдисона тоже жила в Канаде и незадолго до его рождения уехала оттуда. Интересно, как сложилась бы североамериканская история, если бы и Эдисон, и Белл остались к северу от границ Соединенных Штатов и создали бы свои изобретения там? *(прим. авт.)*

Историческая граница в истории Соединенных Штатов, разделявшая рабовладельческий Юг и свободный Север.

Норвежскую крысу раньше часто называли коричневой крысой, но эти названия обманчивы: расцветка крысиного меха не всегда указывает на ее вид, поэтому современные ученые стараются избегать подобных терминов (*прим. авт.*).

На этих картинах представлена моральная деградация богатого молодого человека, так что нет ничего удивительного в том, что их приобрел, еще до своего разорения, Уильям Бекфорд, владелец Фонтхилла (прим. авт.).

В следующем столетии Ньюнэм-парк прославился иначе: именно после визита сюда в 1862 году с компанией друзей, среди которых был и декан одного из оксфордских колледжей Генри Лидделл с дочерью Алисой, Чарльз Лютвидж Доджсон начал писать «Приключения Алисы в стране чудес» (*прим. авт.*).

Игра слов: английское *capability* может означать и «умение», и «ВОЗМОЖНОСТЬ».

Радикальная протестантская конфессия, возникшая при Елизавете I. Нонконформисты выступали за независимость церкви от государства и часто находились в напряженных отношениях с официальной (государственной) англиканской церковью.

В конце концов «Лейланд» забросила газонокосилки и заинтересовалась новым изобретением — двигателем внутреннего сгорания. Компания «Бритиш Лейланд» стала одним из первых автопроизводителей Британии (*прим. авт.*).

Комната в древнеримском доме, примыкавшая к внутреннему дворику-atriуму.

Перевод Ф. А. Петровского.

Шееле открыл восемь химических элементов: хлор, фтор, марганец, барий, молибден, вольфрам, азот и кислород, — но при жизни не удостоился признания ни за одно из этих открытий. У него была опасная привычка пробовать на вкус каждое вещество, с которым он работал, чтобы лучше почувствовать его свойства; и в конце концов это его погубило. В 1786 году Шееле нашли бездыханным на его рабочем месте: он умер от случайного отравления каким-то ядовитым соединением (*прим. авт.*).

Несмотря на то, что люди давно знают, насколько опасен свинец, его даже в XX веке активно использовали в самых разных областях. Консервные банки и емкости для питьевой воды запаивались с помощью свинцового припоя, из него делали тюбики для зубной пасты, пестицидами на основе свинца опрыскивали фрукты. Свинцовые краски и многие другие продукты с его использованием были запрещены в США в 1978 году, а в Британии — в 1992-м, однако свинец продолжает использоваться в промышленности и поэтому накапливается в атмосфере. В организме современного человека примерно в 625 раз больше свинца, чем в организме человека, жившего пятьдесят лет назад (*прим. авт.*).

Слово *mercury* по-английски означает и «Меркурий», и «ртуть», которая считалась металлом бога Меркурия.

Дословно — «безумно лающий».

На современном английском языке гардероб называется *wardrobe*.

*Privy* — «частный», «приватный».

Одним из сводных братьев Эдвина Чадвика (сыном его отца от второго брака) был Генри Чадвик, чья карьера развивалась совсем в другом направлении. Он стал спортивным обозревателем и энергичным пропагандистом бейсбола. Его иногда называют отцом современного бейсбола. Он изобрел счетные карточки, табло с результатами, показатели среднего уровня достижений и среднего числа пробежек, а также множество других статистических параметров, которые так любят бейсбольные болельщики (*прим, авт.*).

По-немецки *Otzi*, первая буква читается примерно как «е» в русском слове «лед». В русском языке нет буквы, передающей этот звук в начале слова.

Раздавленный горем муж бросил в гроб жены пачку ее рукописей, не оставив себе копий; семь лет спустя он передумал, приказал разрыть могилу и в следующем году опубликовал эти стихи (*прим. авт.*).

Перевод А. В. Дружинина.

Мы не можем с уверенностью утверждать, что эта комната действительно была детской. Это еще одна комната, появившаяся в доме, но не включенная в первоначальные чертежи Эдварда Талла. Но ее скромные размеры и расположение рядом с главной спальней подсказывают, что это была именно детская, а не просто дополнительная спальня. Теперь уже невозможно сказать, какие намерения были у холостяка Маршема (*прим. авт.*).

Особняк на улице Уайтхолл, построенный в 1619–1622 годах архитектором Иниго Джонсом, образец английского палладианства.

Фундаменталистская протестантская религиозная группа.

Английский порок (*франц.*).

Сто лет спустя ученые наконец поняли значение этого открытия и назвали геологический период, к которому относится находка Фрира, хоксенским — в честь деревни, где эта находка была сделана (*прим. авт.*).

*Bank Holidays* — довольно странное название; Лаббок никогда не объяснял, почему он решил именно так назвать государственные выходные для рабочих. Иногда считают, что он хотел учредить каникулы только для банковских служащих, но это не так. Выходные предназначались для всех (прим. авт.).